ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ
Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2010. № 3

(июль - сентябрь)

Научный журнал
Издается с 2009 года

Политическая концептология:
журнал метадисциплинарных исследований
Научно-аналитическое издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.
ISSN 2218-5518

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:

Главный редактор
Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины,
Доктор политических и доктор философских наук, профессор **В.П.Макаренко**
Кандидат философских наук, доцент **С.П.Поцелуев** (зам. главного редактора)
Кандидат политических наук **М.С.Константинов** (ответственный секретарь)

Редакционный совет:

Председатель редакционного совета
Доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор А.В.Лубский (Ростов-на-Дону)
Доктор политических наук, доцент А.И.Бардаков (Волгоград)
Доктор экономических наук, профессор В.В.Вольчик (Ростов-на-Дону)
Профессор ординарный, доктор габилитованы Анджей Захариаш (Жешов, Польша)
Доктор политических наук, профессор В.С.Малахов (Москва)
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ О.Ю.Мамедов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор Н.С.Розов (Новосибирск)
Доктор философских наук, профессор В.В.Савчук (Санкт-Петербург)
Доктор исторических наук, профессор В.Н.Ткаченко (Киев, Украина)
Доктор исторических наук, профессор И.М.Узнародов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор С.Г.Чукин (Санкт-Петербург)
Доктор философских наук, кандидат психологических наук В.И.Шкуратов (Ростов-на-Дону)

Электронная версия журнала: **http://politconcept.sfedu.ru**

Адрес учредителя:
344006, г.Ростов-на-Дону
ул. Б.Садовая, 105
тел.: (863) 263-31-58 263-84-98
факс: (863) 264-52-55
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Пушкинская, 160, к.112
тел.: (863) 264-02-64
факс: (863) 264-52-55
e-mail: politconcept@mail.ru

Содержание

Слово редактора
МАКАРЕНКО В.П. Идея и концепт национальной самокритики.....4

Общие проблемы политической концептологии
Современность: дилеммы и парадоксы (материалы круглого стола).....25
ЧУКИН С.Г. Перспектива приходской колокольни против статуи Свободы: к полемике между коммунитаристами и ролзовцами.....103

Национальный и региональный контекст
ГУДКОВ Л.Д. Есть ли основания у теоретической социологии в России?.....137
Проблема воспроизводства абсурда (от редакции).....162
ДЕРЛУГЬЯН Г.М. Главы из книги «Адепт Бурдье на Кавказе».....174

Научная жизнь
СУББОТИН А.И. Незавершённая дискуссия в рамках семинара по политической концептологии.....321

Наши авторы.....325
Contents.....326
Summaries.....327
К сведению авторов.....329

Слово редактора

ИДЕЯ И КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОКРИТИКИ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Странная любовь

В известном стихотворении М.Лермонтов назвал свое отношение к родине «странной любовью». Из этой любви он исключил старину, славу и покой – т.е. официальную политическую историю России. Взамен поэт испытывал отраду при восприятии русской природы и этнографических свойств «пьяных мужичков». Правда, это не помешало Лермонтову – в качестве поручика Тенгинского полка – принимать участие в завоевании Кавказа. Никто ведь не мешал ему бежать за пределы «немытой России» и досягаемости «голубых мундиров» – по примеру казачьего атамана Некрасова или своего современника Печерина…

«Россия, – пишет Эдуард Саид, – обрела свои имперские земли исключительно за счет соседей. В отличие от Британии и Франции, которые прыгнули на тысячи километров от своих границ на другие континенты, Россия проглатывала все земли и народы, прилегавшие к ее границам, которые таким образом расширялись все дальше на восток и юг»[1]. Значит, даже образ «милого севера» – в отличие от опасной «южной стороны», куда несутся «тучки небесные» (в другом стихе Лермонтова), – навеян территориальной экспансией. Значит, лермонтовский конфликт между ощущением русской природы и восприятием русской державы в чувстве родины является мнимым. И не отменяет факта: поэт участвовал в «проглатывании» южных земель и народов. Здесь его поведение было банальным. Абсолютное большинство русских/советских писателей славословили территориальные захваты Российской империи, затем СССР[2]. Многие отечественные публицисты продолжают дуть в ту же дуду[3].

[1] См.: Саид Э. Культура и империализм. Киев, Критика, 2007, с.45

[2] См.: Томпсон Е. Трубадуры империи. Русская литература и колониализм. Киев, Основы, 2008

[3] См., например: Шапталов Б. Русская экспансия: бей первым или погибнешь! М., ЭКСМО, АЛГОРИТМ, 2005

Правда, есть приятные исключения. Примерно столетие спустя после Лермонтова В.Набоков отказался даже от своего русского имени и языка – начал писать на английском. Такова была его реакция на одно из ключевых событий политической истории СССР: заключение договора Сталин-Гитлер. О России можно только «выть» от горя, муки и стыда за ее политику. Так определил чувство родины эмигрант В.Набоков. Простить этот вой нельзя – ни вождям страны, ни ее верноподданным[4].

Могу привести еще ряд аналогичных сентенций. Но лучше оттолкнусь от факта: «странная любовь» к царской природно-этнической России спустя столетие преобразовалась в «вой» от событий советской политической истории. Как изучать природу этой трансформации?

Исторические предпосылки

Напомню, что для политической концептологии исходной является процедура дистанцирования исследователя от реальных политических процессов, систем и конъюнктуры, поскольку реальная политика в большинстве случаев является реализацией абсурда. Проблема сводится к детальному описанию всех аспектов данного абсурда с помощью корпуса социогуманитарных и политологических знаний[5].

Оттолкнусь от *противоположности* между европейским (естественным) и русским (неестественным) национализмом. Ее описал Кшиштоф Помян книге «Европа и ее нации»[6].

Естественный европейский национализм генетически связан с христианством, которое почти три столетия было преследуемой религией. При Константине христианство стало государственной религией, взяв на себя роль прежних языческих культов. Деление на Восток и Запад, на Север и Юг сложилось внутри Римской империи. Раньше Священная Римская Империя была языковой и экономической единицей, в которой греческие провинции были богаче римских. Во всех случаях речь шла о противопоставлении варварства и цивилизации. После превращения христианства в государственную религию возникло деление на духовную и светскую власть. Раздвоение власти императора на духовную и светскую было навязано соображениями обороны, но оно придало военно-политическое измерение двойственности Империи. Теория разделения власти на духовную и светскую обусловлена стремлением сделать убедительной новую идею: государство отличается от индивидов, которые его персонифицируют и ему служат. В итоге государству был приписан статус невиди-

[4] См.: История России. XX век: 1939-2007. Под ред. А.Б.Зубова. – М.: Астрель:АСТ, 2009, с.29

[5] См.: Макаренко В.П. Проблема дистанции при описании социо-политической динамики России // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2009, № 1

[6] См.: Pomian K. Europa i jej narody, Warszawa 1998, s.13-14, 35-36, 80, 118-119, 136-167

мого, постоянного и успешно действующего бытия. Так с помощью идеи бога была санкционирована автономия государственной бюрократии.

В Новое время Пьер Бейль разработал концепт иного типа государства по сравнению с христианской империей. Он назвал это государство «республикой ученых». Это – страна свободы, поскольку свобода тождественна самостоятельности и независимости индивида от любого партикуляризма, случайности и локальности. Гражданином такой страны можно стать только по собственной воле, а не по внешним обстоятельствам. Для этого надо освободиться от любых связей с сообществами, к которым люди принадлежат на основании рождения (семья) или внешнего принуждения (государство, нация). Граждане равны независимо от их социального статуса. Единственная иерархия в таком государстве вытекает из различия между вкладами индивидов в общее дело.

При принятии гражданства «республики ученых» человек оставляет за бортом принадлежность к религии и верность (любовь) в отношении страны, нации и семьи. Указанные принадлежности тождественны случайным партикулярным локальным свойствам, которые не могут быть конституирующими для человека. Никакой родины в таком государстве нет и оно само не является родиной. Только разум является всеобщим, необходимым и глобальным. Ценность продуктов духовного творчества зависит от того, насколько они согласуются с разумом. Граждане этого государства должны руководствоваться такой точкой зрения, которая не зависит от любой частной системы отсчета. Если точка зрения удовлетворяет перечисленным условиям, – она объективна. Государство должно предоставить гражданину свободу совести, если он не нарушает публичный порядок.

Войны Французской революции и Наполеона открывают в Европе следующую фазу генезиса наций. Она протекала на двух уровнях: горизонтальном – каждая нация определялась по отношению к господствующей или подчиненной нации или к соседям; вертикальном – каждая стран вынуждена была решать конфликты между образующими нацию группами, исключая собственные элиты из наднациональной культуры и распространяясь так, чтобы охватить и тех, кто в социальной иерархии занимал низшее место.

Пути преобразования европейских народностей в нации были случайной величиной. Она зависела от борьбы и взаимодействия множества сил в разных комбинациях:

1. Царствующие династии обычно рассматривались как «священные» и представляли страну перед своим населением и зарубежьем. Чувство групповой идентичности (привязанность и верность) кристаллизовалось вокруг династий.

2. Военно-бюрократические аппараты государств обладали собственными иерархиями, традициями и символами, используя организованное насилие и осуществляя контроль над подданными.

3. Территориальные связи (города, провинции, кантоны), в которых определенные права принадлежали всем жителям или выборным инстанциям. В

этом случае чувство групповой идентичности концентрировалось не вокруг лиц, а вокруг традиционных форм общественной жизни.

4. Культурные элиты и институты создавали предметные и постоянные носители коллективной памяти, представлений, чувств языковой общности, территории, прошлого и будущего.

5. Религиозные институты и авторитеты тоже принимали участие в этой борьбе.

6. Сами нации и их элементы реагировали на внешнее давление других наций и внутреннее давление собственных политических институтов.

В конечном счете генезис европейских наций был различен.

Нации Англии, Дании, Франции, Испании, Португалии, Швейцарии, Швеции были сформированы царствующими династиями и военно-бюрократическими аппаратами. В этих странах был подготовлен открытый конфликт между народом и государством. Представленный своими элитами народ был лишен любого влияния на общие дела, присвоенные государством.

Нации Швейцарии, Нидерландов и Бельгии возникли на основе территориальных связей.

Германия, Австрия и Италия возникли в результате деятельности культурных институтов.

Нации Восточной Европы (литовцы, латыши, эстонцы, финны, венгры, чехи, поляки) были созданы в результате воздействия собственных религиозных и культурных элит.

Так или иначе появление национальных идеологий подорвало систему европейского равновесия. Дестабилизация была усилена прогрессом военной техники. При этом армии всех государств воплощали насилие во внешней политике, а дипломатия была и остается мирной формой насилия.

Главная стратегическая цель всех государств промышленной Европы состояла в завершении вертикальной интеграции нации. Это способствовало росту вмешательства государства в общественную жизнь. На рубеже XIX-XX вв. в Западной Европе образовалась связь демократических и бюрократических институтов (включая армию). Эти институты функционируют на основе противоположных принципов, предлагают две разных модели национальной интеграции, имеют также разных внешних врагов. Вслед за этой связью в Европе возникло два типа национализма: демократический и авторитарно-бюрократический. Эти национализмы могут перетекать друг в друга на основе антисемитизма, милитаризма и шовинизма.

Русский национализм является неестественным, поскольку он возникал иначе. Московское государство не знало феодализма, сословной системы, не участвовало в первом объединении Европы, не пережило возрождения искусств и литературы, гуманизма и Реформации. Оно переняло от Византии ненависть к Европе. Россия была продолжением Московского княжества и вплоть до конца XVII века не принадлежала к Европе. Россия была наследницей империи мон-

голов, царь пользовался экономической независимостью, основанной на налогах, дани, монополии внешней торговли, полезных ископаемых и исключительном владении землей.

Стала ли Россия частью Европы в результате реформ Петра? Да, поскольку: создала интеллектуальную элиту (писателей, ученых, художников), научные, образовательные и художественные институты; начала принимать участие в европейских войнах и дипломатии, а значит и в истории Европы, которая взамен начала влиять на внутреннюю эволюцию России. Нет, поскольку: по мере европеизации страны форма правления стала еще более Самодержавной, не идущей ни в какое сравнение с европейским абсолютизмом (российский монарх всегда выходил за рамки религии и уважения к традиции); господствовало крепостное право, в котором даже дворяне не имели ни свободы, ни права на инициативу; православие как государственная религия отбрасывало все, связанное с латинским миром.

Это противоречие фиксирует центральную проблему русской культуры: *спор между старым и новым приобрел форму спора между сторонниками и противниками входа России в Европу. В этом смысле Россию можно сравнить с Грецией, Румынией, Сербией, Болгарией. В каждой из этих стран господствует православие и есть свои сторонники и противники Европы. Поэтому указанные нации еще не завершили свое становление.*

Вплоть до отмены крепостного права русский народ делился на две категории: бесправное крестьянство и дворянство. Поэтому национальное чувство в России приняло двоякую форму: у дворянства оно было связано с привязанностью к царю, государству, отечеству, осознанию религиозного, культурного и цивилизационного отличия от Запада, который обычно считался хуже России, а также с патернализмом в отношении крестьян; у крестьян преобладала идентичность с собственной деревней и осознание границы между ним и дворянством. Крестьянское национальное чувство концентрировалось вокруг личности царя как предмета религиозного культа и (в меньшей степени) вокруг православной церкви. Суть дела в следующем: *модернизация России после отмены крепостного права затормозила процесс формирования русской нации. Все составные элементы становления наций в России только складываются и пока еще отодвинуты в будущее.*

С другой стороны, все европейские нации с конца XIX в. оправдывают империализм, поскольку разделяют тезис о культурном превосходстве Европы над остальным миром. В результате даже культура стала инструментом пропаганды. А СССР сам поставил себя вне Европы.

Холуйство и религиозная восторженность

Что можно противопоставить указанным фактам и тенденциям? Предлагаю исходить из общего положения, сформулированного С.Франком: «Критика

породившей ее культуры есть родовая сущность философии»[7]. Однако даже в эмиграции русские «мастера культуры» воспроизводили известный стереотип поведения: прав только «начальник», остальные служат ему в меру приспособленчества. Значит, и русские мудрецы не свободны от шаблона «начальству виднее».

Историки определяют этот стереотип поведения и мышления как холопство, которое распространялось по мере территориальной экспансии Москвы[8]. Присоединение к Москве Украины, затем Новороссии породило важное следствие: «Победоносен элемент великорусский и мало-помалу все подчиняет своему влиянию, но во имя великорусского элемента вносится сюда великорусская мерзость; или, лучше сказать, побеждает не великорусский элемент, а какой-то немецко-российский, трактирно-московский, рассейско-лакейский»[9].

Рассейско-лакейская мерзость была перенесена в советский быт и приобрела свойства властно-коммунальной паранойи[10]. Свежее конкретно-социологическое исследование еще раз подтвердило: холуйство остается господствующим типом политической культуры российской «элиты»[11].

Но этот стереотип не является исключительно русским. Румынский (по происхождению) и французский (по месту жительства) философ Э.Чоран пишет: «Я – из народа рабов, отсюда мой неимоверный страх перед властью, любой властью. Стоит мне увидеть человека в форме или ГОСУДАРСТВЕННОГО (выделено Э.Чораном, – В.М.) служащего за окошком конторы, и на меня нападает паралич»[12]. Значит, есть предмет дискуссии: насколько русское холуйство отличается от румынского, греческого, сербского и болгарского рабства и страха перед властью, поскольку в этих странах распространено православие. Фон для соотнесения имеется: 96% населения Голландии всегда скажет своему начальнику все, что о нем думает. Прямота голландцев выражается в пословице: «Я думаю, ты идиот, но не принимай это близко к сердцу»[13].

Кто ближе нам с этой точки зрения – румыны или голландцы? Не все русские философы были рабами. Они уже высказали идею национальной самокритики. В письме Г.Федотову С.Франк отмечал: «Русские меньше, чем кто-либо, склонны уважать независимую мысль и склоняться перед правдой. Замечательно у русских, как склонность к порицанию порядков на родине всегда сочеталась и доселе сочетается с какой-то мистической национальной самовлюбленностью. Русский национализм отличается от естественных национализмов

---

[7] См.: Кантор В.К. Философия национальной самокритики (письмо С.Л.Франка Г.П.Федотову) // Вопросы философии. 2006, № 3, с.139

[8] См.: Хелли Р. Холопство в России: 1450-1725. М., Академия, 1998

[9] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Эпистолярный дневник 1838-1886 гг. с предисловием, комментариями и воспоминаниями А.Ф.Аксаковой. Т.2. Письма 1849-1857 гг. 2004, с.227

[10] См.: Утехин И. Очерки коммунального быта. М., ОГИ, 2004

[11] См.: Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней России. М., 2007

[12] Чоран Э. После конца истории. Перевод с французского Б.Дубина, Н.Мавлевич, А.Старостиной. СПб, Symposium, 2002, с.447

[13] См.: Макаренко В.П. Экономика, власть, культура. Ростов-на-Дону – Сочи, 2005, с.56

европейских народов именно тем, что проникнут фальшивой религиозной восторженностью и именно этим особенно гибелен»[14].

Из приведенных фактов вытекает: холуйство перед властью переплетено с религиозно-мистической национальной самовлюбленностью. В данном симбиозе сосуществуют: убеждение «начальству виднее»; приспособленчество; пренебрежение к независимой мысли. Как реализовать идею национальной самокритики для освобождения от религиозно-мистической национальной самовлюбленности?

Православие и внутренняя колонизация

В книге почти двадцатилетней давности я показал: «В какой бы стране ни приходили коммунисты к власти, они делали из своего «марксизма» такую идеологию, действительным содержанием которой был национализм, расизм или имперские амбиции. Большевистская партия способствовала пробуждению националистических идеологий, используя их в качестве средства взятия и удержания власти. То, что происходит сегодня, свидетельствует, что коммунисты сами произвели на свет своих могильщиков»[15].

Сходные мысли высказывает уже упомянутый Кшиштоф Помян, фисирующий связь между радикальным национализмом и революционным социализмом. На первый взгляд, они базируются на разных традициях. Радикальный национализм опирается на романтизм и монархию, использует риторику частного (нации, расы, земли, крови), рассматривает войну как защиту отечества. Революционный социализм апеллирует к Просвещению и якобинцам, использует универсальную риторику (интернационализм, человечество, мировая революция) и рассматривает войну как империалистическую бойню. На деле радикальный национализм совпадает с революционным социализмом в ряде пунктов: отбрасывание парламентарной демократии со всеми ее составными частями; отбрасывание правления права; отбрасывание границ между публичной (контролируемой государством) и частной сферой; отрицание рынка как механизма распределения благ; трактовка насилия как нормы политической жизни[16].

Указанные совпадения полностью подтвердились в России на протяжении последних 15 лет, включая обновление связи между военно-репрессивными структурами страны и Русской православной церковью[17]. Православная церковь всегда была сторонником религиозной нетерпимости и сотрудничала с полицией и армией. Поэтому ее миссионерская деятельность носила не столько религиозный, сколько военно-полицейский характер. Например, миссионеры на Кавказе подчинялись военным комендантам Моздока и Кизляра. Обращение

[14] Кантор В.К. Указ.соч., с. 141-142

[15] См.: Макаренко В.П. Марксизм: идея и власть. Ростов-на-Дону, изд. РГУ, 1992, с.463

[16] См.: Pomian K. Europa i jej narody, Warszawa 1998, s.194-196

[17] См.: Воронцов В. В коридорах безвластии. Премьеры Ельцина. М., Академический проект, 2006; Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М., НЛО, 2004

горцев осуществлялось на основе грубо-утилитарных мотивов. Так, по сведениям тифлисского военного губернатора, число обращенных в христианство горцев Кавказа к 1828 г. достигло 62249 человек. В то же время от отмечал, что горцы получали при крещении по 10 аршин холста и потому крестились по несколько раз[18]. Православные миссионеры отбирали детей у раскольников и сектантов, а родителей лишали прав гражданства. Поэтому православные миссионеры получили кличку «опричников духовенства» и «шпионов правительства». При Николае I сложилась также программа «военного православия» как элемент международной политики России. Именно в период его царствования были приняты решения о строительстве второго Храма Христа Спасителя в Москве, оглашена триада «православие, самодержавие, народность» и начал реализовываться план «монументальной пропаганды» Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода русской армии в 1813-1814 гг.[19]. Церковь поддерживала государственный аппарат для помощи колониальной политике России[20].

Но эта политика направлялась не столько против инородцев, сколько против коренного населения. Главные пути российской колонизации были направлены внутрь метрополии – в тульские, поморские, оренбургские деревни. Здесь государство раздавало латифундии и подавляло восстания, открывало общину и записывало фольклор, изучало старинные обычаи и религии, привозило в столицу уродов и раритеты, направляло паломников в страну Востока. Миссионерство, этнография и экзотические путешествия – характерные феномены колониализма. В России они были обращены внутрь собственного народа. Классические империи имели заморские колонии в разных концах света. Россия колонизировала свое собственное население. Такова природа российской внутренней колонизации, самоколонизации и вторичной колонизации собственной территории. Внутренняя колонизация включала военные и иностранные поселения, переселения, участие имперских интеллектуалов. «В силу своей парадоксальной обращенности на себя внутренняя колонизация оказывается циклически повторяющимся, трудно завершимым процессом. В России и Америке революция совпала с деколонизациями. В американском случае освобождение от внешней зависимости закреплялось в законах и институтах, становясь необратимой основой национального взросления. В русском случае революционное разрушение системы внутренней колонизации вело к циклическим процессам воссоздания ее в новых формах»[21].

При описании данных форм надо учитывать, что в последние годы в отечественной историографии пересматривается концепция мирного и добровольно-

[18] См.: Русское православие: вехи истории. Научн.ред. Клибанов А.И. М., Политиздат, 1989, с.438-442

[19] См.: Сироткин В.Г Золото и недвижимость России за рубежом. М., Международные отношения, 2000, с.204

[20] См.: Русское православие: вехи истории., с.442-455

[21] Эткинд А. Бремя бритого человека или Внутренняя колонизация России // Ab Imperio: теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. 2002, № 1, с.296-297

го присоединения нерусских народов и территорий к России. Акцент делается на завоевании, колониальной политике и экспансии. Изучаются факты и степень сопротивления русским местного населения и число вооруженных столкновений. Первыми представителями русского народа и власти были «государевы служилые люди» и «промышленные люди» – русские пионеры-землепроходцы. Обобщенный портрет механизма русской колонизации дан рядом авторов.

Например, А.В.Гринев исследовал историографию проблемы русской колонизации и показал, что на протяжении XIX-XX вв. сложилось три основных точки зрения на характер русской колонизации: обличительная оценка как следствие реакционной политики царского режима; апология российской колонизации сложилась в начале 1960-х гг. и доминировала вплоть до 1990-х гг.; в 1990-е гг. некоторые отечественные и зарубежные ученые высказывают мнение о гуманизме российской колонизации. На основе критического разбора этих концепций с учетом исторических фактов А.В.Гринев заключает: «Разговоры о какой-то «гуманизации» колонизации представляются не научными. Повсеместно и всегда это был процесс извлечения прибыли путем той или иной формы эксплуатации и сверхэксплуатации местного населения и природных ресурсов. Обычно конкретные проявления гуманизма в отношении туземцев в конечном итоге преследовали коньюнктурные экономические или политические цели властей метропологии или колониальной администрации»[22].

Как известно, эксплуатация и сверхэксплуатация не может обойтись без прямого и косвенного насилия. Я уже писал, что историко-концептологический метод позволяет детально описать физическое, ментальное и духовное насилие [23]. Как говорил Гамлет: «Весь мир тюрьма, а Дания – худшее из его подземелий». Поэтому духовно-политическое зло, воплощенное в государственных институтах своей родины, нуждается в детальном описании.

Факты и тенденции

Социолог Б.А.Грушин обратил внимание на интересный факт: перед перестройкой комсомольские вожаки перебежали в КГБ, в результате чего аппарат госбезопасности первым воспользовался в своих целях перестройкой и последующими преобразованиями[24]. О каких же целях идет речь? На этот вопрос отвечает историк А.В.Островский: «Кто же осуществлял программу перестройки? Кто направлял огонь по штабам? Кто разрабатывал планы самоистребительной идеологической внутренней войны? Кто провоцировал национальные конфлик-

[22] Гринев А.В. Характер взаимоотношений русских колонизаторов и аборигенов Аляски // Вопросы истории. 2003, № 8, с.109

[23] См.: Макаренко В.П. Политическая концептология: первые итоги разработки // Полис. 2009, № 6, с.153-154

[24] См.: Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева. (часть 2). М., Прогресс-Традиция, 2006, с.877-878

ты? Кто выводил диссидентское движение из подполья? Кто готовил и осуществлял «бархатные» революции? КГБ. Учреждение, которое должно было стоять на страже интересов советской империи, вольно или невольно стало одним из ее могильщиков. И ведь никто не застрелился. Как академик Легасов. Как Зубатов»[25].

Действительно, во время существования СССР вне критики оставались деятельность органов управления высших уровней, госбезопасности, армии и внешней политики. Я довольно давно показал, что все эти институты и сосредоточенные в них группы являются, как правило, реакционными и консервативными частями политической машины[26]. Последующее развитие событий подтвердило эту констатацию. Зато после 1991 г. открылись шлюзы для критики. Теперь дипломаты критикуют военных и чекистов, генералы и журналисты критикуют чекистов и дипломатов, чекисты критикуют дипломатов и идеологов, главные полицмейстеры критикуют военных, бывшие идеологи огрызаются на все стороны, почти все плюются вслед ЦК КПСС, а сыновья стремятся выгородить своих папаш[27]. Накапливается громадный эмпирический материал для анализа «змеиного клубка интересов» (Б.Льюис) господствующих меньшинств современной России.

Для его обобщения полезно использовать идеи бывших сотрудников и выпускников Ростовского университета. Приведу два примера.

М.К.Петров поставил проблему сравнительного изучения социокультурных типов критики. Общее свойство западной и русской критики – воспроизводство реликта антично-христианского умонастроения: «…иерархии административного всезнания, где объем знания прямо связан с положением должности, и тот, кто оказывается на вершине должностной иерархии, оказывается в силу своего положения и высшим авторитетом»[28]. Но есть и различие между западной и русской критикой. Западная критика направлена против науки как причины отчуждения. С помощью науки репродукция омертвляется и машинизируется. Поэтому на Западе воплощается ситуация мясорубки талантов, а руководители и исполнители есть рабы и кастраты. Русская критика направлена против фигуры властного идиота – реформатора, администратора, активного деятеля социального строительства. Эти люди ни в чем не сомневаются, отличаются административным восторгом, привыкли жить «под сенью директив и

[25] Островский А.В. Солженицын: Прощание с мифом. — М., 2004, с.570

[26] См.: Макаренко В.П. Революция и власть: размышления политолога. Ростов-на-Дону, 1990, с.188-206

[27] Приведу навскидку несколько публикаций: Гриневский О. Тайны советской дипломатии. М., Вагриус, 2000; Шебаршин Л. Рука Москвы. М., ЭКСМО, 2000; Филби К. В разведке и в жизни: сборник статей и мемуаров. М., Эксмо, Яуза, 2005; Сухомлинов А. Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела. М., Детектив-Пресс, 2004; Бовин А. 5 лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (из дневника). М., Захаров, 2003; Шлыков В. Что погубило Советский Союз. Генштаб и экономика. М., 2002; Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в 2 кн. Кн.1. – М., Захаров, 2006; Протоиерей Георгий Эдельшейн. Записки сельского священника. М., РГГУ, 2005; Черняев А.С. 1991 год. Дневник помощника Президента СССР. М., «Республика», 1997; Микоян С. А. Анатомия Карибского кризиса. М., Academia, 2006

[28] Петров М.К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М., РОССПЭН, 1995, с.108

указаний». А вместо науки культивируют «конвульсии ученой мысли на скользкой философской почве». Поэтому позиция русских критиков более точна. Хотя в русской политике искусство и наука не имеют решающего голоса [29].

Бывший студент РГУ, затем кремлевский спичрайтер А.Бовин говорит о себе: «Я не был палачом и не был жертвой. Но я был неотъемлемой частью того большинства, молчание которого сделало возможным появление палачей и жертв». Одновременно он замечает: «Как ни ужасна правда, которая открыта нам, правда, которая еще не открыта, вернее, открыта не полностью, наверное, во сто крат ужаснее»[30]. Часть правды А.Бовин открывает.

Как известно, дипломаты и разведчики в общественном мнении традиционно квалифицируются как «государственные мужи». На деле для группы российских дипломатов типичны следующие свойства:

1. Крайняя скупость (не выписывают никаких журналов и газет, не ходят в театры и концерты, если надо покупать билеты, распустили профсоюз, поскольку надо платить 1% зарплаты в качестве членских взносов, доллары меняют не в бухгалтерии, а у знакомого менялы на рынке), грубость (особенно в консульских отделах), крайне низкая общая культура (не знают литературы, искусства, философии, современной мировой общественной мысли).

2. Не умеют смотреть на себя со стороны, с долей иронии, в МИДе они чиновники, а за границей барахольщики.

3. Усердие подменяют холуйством (перед визитом начальства у них появляется лихорадочный блеск в глазах).

4. Уклоняются от выполнения служебных обязанностей, пьянствуют, перепродают на местных рынках закупленные с дипскидкой товары.

5. Отличаются крайней бюрократизацией, коррумпированностью и скаредностью (назначают дорогие цены на визы в Россию, особенно для израильтян). В целом за претензиями на голубую дипломатическую кровь скрывается комплекс неполноценности[31].

Соседи из КГБ-ФСБ и ГРУ тоже недалеко ушли. Советская разведка всегда перебарщивала по части массовости, вербуя шоферов, врачей, уборщиц и прочих посольских холуев; 25% дипломатов посольства в Тель-Авиве были работниками спецслужб; «товарищи из органов» выступали при послах как комиссары и полиция нравов, хотя их собственные нравы не отличались строгостью; многие из них – малоквалифицированные люди, которых слали за рубеж по знакомству, а они вели себя там как хозяева; спецслужбисты отличаются безделием, кляузничеством; за пять лет работы посол России в Израиле А.Бовин не столкнулся ни с одной государственной тайной; вместо этого – безбрежное поле чиновничьего произвола, облеченного в форму инструкций; они собирают

[29] См.: там же, с.107, 98-99, 110, 24-29

[30] Бовин А. 5 лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (из дневника). М., Захаров, 2003, с.118

[31] См.: Бовин А. Указ.соч., сс. 143, 468, 41, 73, 108, 160, 182, 339

сведения, какие русские девушки встречаются с израильскими гражданами; отличаются допотопным мышлением: «Пытался пару раз собирать «соседей» для обмена мнениями. Не получилось. Как-то они имели склонность сводить крупные политические проблемы к разного рода козням, интригам, происка сионизма»; существует мнение, что данные, которые поставляет политическая разведка, необходимы для принятия политических решений». «Я бы дорого дал, чтобы узнать, какая информация, полученная Москвой помимо посольства, от «соседей», пригодилась для формирования политики, принятия решений. Жаль, что я так и не узнаю этого»; стремятся восстановить позиции, которые они занимали в штатных расписаниях посольств и которые в начале 1990-х гг. были сужены; идея бдительности и безопасности, которую лансируют в последние годы, есть «Возврат к тем временам, когда всех иностранцев считали потенциальными шпионами, а всех «совграждан» потенциальными предателями. Если согласиться с предлагаемым порядком, то «загранучреждения» превращаются в подсобный цех разведки». А.Бовин сообщает попутно, что Мост-банк – это деньги МВД и КГБ. Не случайно аналитическую службу банка возглавляет Ф.Бобков – бывший зам.председателя КГБ, начальник бывшего идеологического управления. Он принес в банк не только деньги, но и досье на представителей политической и экономической элиты[32].

Таким образом, носители московско-рассейского холуйства, о котором писал И.С.Аксаков более 150 лет назад, частично опознаны. Поэтому история и социология генезиса различных групп политической бюрократии России и связанных с ними банков – важный элемент на пути анализа духовно-политического зла на фоне общей проблемы переосмысления феномена государственной тайны в ее связи с коммерческой тайной.

На пути к теории политической критики

Теперь сошлюсь на зарубежного коллегу. М.Уолцер разработал целую теорию политической критики на основе обобщения опыта XX в. Он определяет критику как внутреннюю работу членов общества, которые подвергают сомнению его политику и практику. Критика имеет разные формы выражения, теоретическое и идеологическое содержание. Она базируется на разном социальном опыте внутри критикуемого общества. Идеальный критик – активный член общества.

Практика критики базируется на постулате «Я выражаю недовольство, следовательно, существую», который отражает суть социального бытия. Главный вопрос современности – отношение элиты и массы, специалистов и обычных людей. Внутренняя жизнь специалистов имеет смысл, если они культивируют социальную критику. Ее концепт базируется на утверждениях: 1. Критика как

[32] Там же, с.528, 70-71, 258-259, 292-293, 387, 529

саморефлексирующая деятельность возникла после Просвещения и романтизма. 2. В прошлом объектами критики были поведение и мнения отдельных людей. Критика социального порядка в целом (комплекса социальных структур, практик, политических институтов и идеологий) – современное изобретение. 3. Но она пока не имеет надежной социальной позиции, роли и признания. Это надо сделать.

Для изменения ситуации Уолцер вводит *различие* между интеллектуалами, социальными критиками и революционерами: «…независимо от социальной принадлежности класс отчужденных интеллектуалов не тождествен классу социальных критиков»[33]. Интеллектуалам присущ эскапизм, богема, нежелание просвещать и реформировать массы, желание шокировать и т.д. Революционеры часто начинают как социальные критики, но большинство социальных критиков не становятся революционерами. Только консерваторы считают революционность качеством критики. Революция и критика – разные виды деятельности. Современная академическая среда институционализирует отчуждение. Общество изолирует, но в то же время и защищает тех, кто ставит под сомнение его легитимность.

Формы социальной критики – политическое осуждение, моральное обвинение, скептические вопросы, сатирический комментарий, гневное пророчество, утопические спекуляции. Критика – тотальный процесс, в котором используются два языка: дискурс религии, морали, медицины, истории, философии; народный язык, который талантливые критики поднимают на вершину логической убедительности. Критик вызывает гнев друзей и врагов и обрекает себя на интеллектуальное и политическое одиночество[34]. Мужество – главная добродетель социального критика[35]. Исторический детерминизм с нею не совместим, ибо в детерминированном мире сопротивление бессмысленно.

---

[33] Уолцер М. Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX века. М., Идея-пресс, 1999, с.25

[34] Вначале критики были связаны с определенным этносом (пророки Израиля) и полисом (греческие циники). Но эти формы общности ограничивают критику. Потребовалось ее универсальное обоснование. Предшественники социальной критики–пророки древнего Израиля, Христос, Сократ, софисты, римские сатирики, средневековые монахи, гуманисты эпохи Ренессанса. Мощные импульсы в этом направлении даны платонизмом, стоицизмом и христианством: «Отныне критики общественного устройства должны были покидать родной город, который представлялся им мрачной пещерой, искать свой собственный путь к свету Истины, путь одинокий и непроторенный, и только после обретения этого света возвращаться к согражданам, имея право испытывать и порицать их. Эти вернувшиеся назад критики уже не воспринимали этнос, из которого они вышли, как родственный. Они смотрели на него с позиции вновь обретенной объективности… Поиск истины за пределами родственных и гражданских связей становится отныне характерной меткой социального критика… Дистанцированность критика создает новую разновидность критики. Но возможность эта достигается с большим трудом, поскольку требует сознательного разрыва со своей общиной. От критика героизм требуется еще до того, как он стал критиком, – когда он порывает со своей общиной и дистанцируется от нее». Там же, с.35

[35] Эта добродетель не связана со сплетней как распространенной формой недовольства. Сплетня – это женский дискурс, потенциально бросающий вызов публичной точке зрения, создающий язык для альтернативной культуры. Мужчины тоже сплетничают, но именно у женщин сплетни становятся средством компенсации социальной субординации. Сплетня не требует мужества и предназначена для тех, кто не может позволить себе публичную демонстрацию мужественности. Там же, с.37

Мотивы социальной критики – страсть к истине, осуждение несправедливости, симпатия к угнетенным, разочарование, страх перед массами, стремление к власти. Процесс становления социальной критики специфичен. Критики обычно происходят из отсталой части страны, колонии, уходящей социальной страты, плебеев, угнетенных и париев. Обычная форма маргинальности – это страстная приверженность культурным ценностям, которые лицемерно отстаиваются в центре и которыми цинично пренебрегают на периферии. Антагонизму принадлежит ведущая роль в пробуждении критической деятельности. Самая резкая критика всегда направляется на самые близкие критику лица и группы, а разочарование – на народ и социальные институты.

Современные критики вовлечены в деятельность партий и движений и податливы опасному соблазну власти. Они рассматривают партию как потенциальное правительство, а себя – как его чиновников. Но обладание властью гибельно для социальной критики, ибо после прихода к власти критик перестает критически оценивать результаты своих действий: «Вся история социальной критики недавнего времени может быть описана как цепь такого рода замещений. Но всегда существовали, и существуют сейчас, критики, которые отказались … пойти во власть»[36].

Опыт таких критиков позволяет поставить проблему отношения социальной критики к народному восстанию. Х.Ортега-и-Гассет считал, что «восстание масс» требует изменить ориентиры социальной критики. Она должна быть направлена не только на руководителей государства и промышленности, но и на массу отечественных бездарей – «вертикальных варваров». Уолцер уточняет Ортега, указывая две возможности социальной критики:

1. Поражение марксизма-ленинизма свидетельствует о том, что народ не может быть средством социальной критики.

2. Народ является субъектом критической деятельности, поскольку восстание масс мобилизует общее чувство недовольства. Критик изнутри возбуждает, советует, оспаривает, протестует. Он должен занимать позицию, которая близка тем, на сторону которых становится, и в то же время сохранять независимость.

На основе указанных общих посылок М.Уолцер анализирует главные формы отчуждения (или типы) социальной критики XX в.

Ж.Бенда обосновал позицию *радикального дуализма* между нацией и критиком. Интеллектуалу опасно иметь родину, ибо национализм – сильнейшее из всех искушений. Он должен судить о ней как гражданин другой страны. Интеллектуалы должны помешать политикам и военным считать себя великими людьми, поскольку последние наполняют историю ненавистью и кровью. Интеллектуалы говорят себе и другим суровую правду. Бездомность – их естественное состояние, а жребий – чаша с цикутой. Наиболее привлекательный образ истинного интеллектуала – гражданин республики всеобщих истин[37]. Сред-

[36] Там же, с.48-49

[37] Образец такого интеллектуала – А.Эйнштейн, который сказал: «Политика преходяща, а уравнение вечно».

невековые монахи и философы раннего Нового времени не были частью городской общины и отвергали национал-патриотизм. Мнимые интеллектуалы современности превратили нацию в культ путем отказа от общих ценностей. Оправдывали рост силы и благосостояния государств. Превратили естественный антагонизм наций в систематическую ненависть, которая в конце концов вылилась в войну.

Р.Борн обосновал позицию *критической дистанции*. Всякая служба нации и государству заинтересована в неравенстве и порождающих и оправдывающих его порядках. Большинство интеллектуалов предпочитают привилегии убеждениям, проповедуют культурный национализм и войну, оправдывают интеллектуальную нетерпимость. Отрицание этих явлений сопряжено с отчаянием. Критик подобен рабочему, который всегда находится в состоянии нужды.

М.Бубер создал образец *внутренней критики* на основе уточнения понятий народности (область коллективного опыта), национальности (коллективное сознание единства судьбы) и национализма (обостренное сознание в условиях раскола и угнетения). Он ввел понятие легитимного национализма (принцип равенства наций) для борьбы с ростом национального эгоизма. Истинное служение своей нации есть критика нации внутри нации. Нелегитимный национализм исповедует концепцию политического реализма: «Реалист видит мир как скопление национальных государств, каждое из которых рассматривается им вне его истории и культуры, следовательно, как тождественное со всеми остальными по своим целям и действиям, направленным на самосохранение и самоутверждение»[38]. Бубер отвергал все атрибуты государственной власти – пушки, флаги, гербы и прочие декорации. Требовал противостоять политике государства изнутри государства. Отметил вечный соблазн государственности и политического реализма – превращать сиюминутные интересы в конечную цель. Политические интересы несовместимы с требованиями морали: «Успех как обычная мера людских дел не может служить мерой социальной критики. Социальный критик оценивается по шрамам, которые остаются у его слушателей и читателей, по конфликтам, в которые он их вовлекает, и не только в настоящем, но и в будущем, наконец, по той памяти, которую оставляют по себе эти конфликты»[39].

А.Грамши – единственный коммунист XX века, которому для сохранения невинности не понадобилось выходить из партии. Он разработал концепцию *позиционной войны* с обыденной жизнью. Ее гегемония проявляется в повседневных делах, отношениях, идеях и привычках. Пока она не подорвана, захват власти не имеет смысла. Современный государь (т.е. партия) ради воплощения национально-народной воли должен быть глашатаем интеллектуальной и нравственной реформы. Партия обязана совершить культурную революцию по типу религиозной реформации и заменить политэкономию культурной антропологи-

[38] Там же, с.110-111
[39] Там же, с.123-124

ей. Для постижения подлинных интересов рабочего класса воинствующий марксистский интеллектуал не должен дистанцироваться от здравого смысла и культуры. Он должен быть одновременно критиком, теоретиком, тактиком, революционным лидером и бродячим проповедником.

И.Силоне – типичный критик своего общества и революционер. Он заплатил за это внутренним смятением, разрывом с семьей и опасной жизнью. Его радикализм – естественное продолжение традиционных духовных принципов кровного родства и дружбы. Физические странствия и тяготы изгнания – неизбежное следствие данных принципов. Силоне определил русскую революцию как всемирно-историческое поражение мечты. Поэтому современные критики должны воевать одновременно против капитализма и русско-советского социализма как извращенного средства преобразований, против денег и государства – двух видов зла, старых и ненавистных как кашель и блохи. Такова мудрость *идеологического беженца*. Это – несгибаемый критик несправедливости, которого не сломили испытания. Его позиция обернулась одиночеством, но взамен породила критическую традицию здравого смысла и общечеловеческой морали.

Д.Оруэлл занимал идеальную позицию социального критика – *разрыв с корнями, потеря четкой социальной принадлежности, скептицизм и ненависть к социальной иерархии*. Критиковал истеблишмент и оппозицию одновременно: «Потребительство и патриотизм, которые культивируются правящим классом, представляют собой идеологические мистификации; задачей же социального критика является демистификация как отношения к предметам потребления, так и отношения к своей стране»[40]. Всякая народная революция усиливает политическую и религиозную специфику общества, в котором совершалась. Поэтому левая интеллигенция Запада возвеличивала социальную реальность советской России. Оруэлл показал, что народная культура Англии связана с гегемонистской культурой английского капитализма. Поэтому отождествление общества и нации с семьей оправдано только во Фрейдовском смысле слова: сыновья должны убить отца для устранения его власти, но отказаться от всякого политического комфорта.

А.Камю – типичный представитель французской традиции критики, которая пытается играть роль Бога. Его риторика – признак *предательства*. Путь социального критика должен начинаться с отказа от социума-в-себе-самом. Но опыт Камю (особенно его позиция во время войны Франции с Алжиром) показывает, что от классовой принадлежности отказаться проще, чем от национальной. Социальный критик опирается на принципы родной страны, но применяет их с последовательностью, которая ставит сограждан в неловкое положение. Цель социального критика – задеть за живое. Все еретики, пророки, мятежные интеллектуалы и бунтовщики принадлежат своему народу. Они знают все уязвимые места культур, к которым принадлежат по рождению. Социальная критика предполагает родство, но не единство с народом: «Социальное про-

[40] Там же, с.187

странство не тождественно пространству семейному, и потому родственность критика не принимает характера внутрисемейного общения»[41]. Всякая попытка обвинить кого-то другого, всякая ссылка на внешние обстоятельства есть акт предательства.

Феминистская критика (С. де Бовуар) и *критическая теория* (Г.Маркузе) малозначимы. Для анализа социальной одномерности требовался лишь минимальный стоицизм, а не смелость. Критическая теория выражает то, что уже существует на уровне простого недовольства. Одномерный человек – порождение текста Маркузе, а не реального общества. Нет людей, которые довольны покупкой рекламируемых товаров и услуг. Пристрастие Маркузе к отстраненному философскому языку говорит о неудаче попыток объяснить массам высокую культуру на обыденном языке. Его критическая теория – это объяснение всеобщего тезиса о судьбе довольных рабов.

Суть *одинокой политики* М.Фуко – разработка понятий плюрализма и дисциплинарного общества как средств социальной критики. В политическом дискурсе Фуко отсутствуют выборы, партии, массовые движения, парламент, политические дебаты и т.д. Власть не вырастает из индивидуальных и коллективных воль и интересов. Власть народа – это обман, ибо народ есть идеологическая абстракция, которая не может править. Права и обязанности граждан и правительственная власть вытеснены профессиональной экспертизой и локальной дисциплинарностью. Теоретики легитимируют совокупность властных отношений Прошлого. Плюралисты отрицают существование центра и устраняют цель радикальной политики. На деле такой центр есть, хотя не всегда видим: «Закон и политика принимали форму, соответствующую совокупности интересов; эти интересы, навязывая форму, оказывали преобладающее влияние или полностью контролировали принятие законов и проводимую политику»[42].

М.Фуко отвергает стратегию и тактику Ленина – захват центров власти: «Невозможен захват власти, если не существует центра, который можно захватить. Если власть осуществляется в бесчисленном множестве точек, ей следует бросить вызов в каждой из них»[43]. Но неизвестно, как это сделать? Фуко не верил в существование полновластного государства, правящего класса, захват госвласти, замену правящего класса, демократическую революцию, поскольку народ не существует, а революционный авангард (партия) есть обреченный на неудачу претендент на абсолютную власть.

Теория Фуко – это набор инструментов *локального сопротивления* на дне государства (психиатрические лечебницы, больницы, тюрьмы, армия, школы и фабрики). Это места реального бытия власти, где терпение и страдание от нее переплетено с сопротивлением. Классовая борьба – продуктивный концепт, поскольку позволяет рационально постичь локальную борьбу за власть. Социальные структуры образуют плоть и кровь господствующего дискурса. Код управ-

[41] Там же, с.223
[42] Там же, с.284
[43] Там же, с.285

ления этой машиной является научным, а не правовым. Профессиональные нормы науки победили юридические законы, а локальная дисциплина – конституционное право. Поэтому надо полностью демонтировать дисциплинарную систему – этот карательный город, континуум, архипелаг и паноптический режим. Надо отвергнуть идею общества как системы институтов и практик, а также различие невиновных и виновных: «Вина и невиновность создаются сводом юридических законов, нормальность и ненормальность – научными дисциплинами. Ликвидировать системы власти – это ликвидировать правовые, моральные и научные критерии»[44].

Русская революция провалилась, поскольку оставила нетронутым микрофашизм повседневной жизни – социальные иерархии, дисциплинарные техники и связь «власти-знания». Каждое общество и эпоха устанавливает свой режим истины – типы дискурса, порождаемые и усиливаемые множеством форм принуждения. Для сопротивления им Фуко разработал концепт *локального интеллектуала* – ниспровергателя той особой дисциплины, в рамках которой он функционирует. Традиционные истины морали, права, медицины и психиатрии включены в процесс осуществления власти. Этот факт забывают социологи, ученые и философы.

Но Фуко не вышел за рамки структур знания, которые хотел разрушить. Его анализ повседневной политики верен и неверен одновременно. Нельзя быть критичным, если отвергаешь кодексы и категории социального контекста. Надо создавать новый контекст, кодексы и категории. Отказ Фуко делать то и другое «… есть свидетельство катастрофической слабости его политической теории и социальной критики»[45].

Б.Брейтенбах создал модель *критика-изгнанника*, который пытается даже в эмиграции удержать связь с родиной. Писать книги – тоже способ сопротивления. Чтобы сохранить связь с народом, чье политическое и социальное устройство он решительно отвергает, такой критик вынужден заниматься тайной политикой. Но подполье похоже на отрешенность. Связь с народом, страной и культурой удержать трудно, поскольку все погрязли в отвратительной политической игре. Поэтому эмигрант должен быть непримиримым критиком нравов, взглядов и мифов своего общества. Разделять чувство стыда за свой народ и страну. Выступать против чернокожих революционеров не меньше, чем против белых реформаторов. И хотя за старым угнетением обычно следует новое, старое в любом случае надо разрушить. Иного не дано. Критик в изгнании – неприкаянный одиночка. В российской истории до сих пор преобладали критики-изгнанники, что дает основание увидеть параллель между изгнанником-африканером и русскими изгнанниками – от Герцена до Солженицына.

В заключение М.Уолцер формулирует нормы и идеал критики. Дистанция социальной критики сегодня «…по-прежнему измеряется дюймами»[46]. Строгая

[44] Там же, с.293
[45] Там же, с.302
[46] Там же, с.326

объективность не достижима, поэтому критик всегда приверженец чего-то одного. Социалистические революции и национально-освободительные движения XX в. не отвечают стандартам социальной критики. Для преодоления разочарования в них есть три пути:

1. Стать апологетом. Ч.Милош детально описал советский социализм как главную форму капитуляции левой критики.

2. Стать универсальным критиком мира в целом, современности, массовой культуры и общества, бюрократии, науки и технологии, государства всеобщего благосостояния и т.д. Таков путь Маркузе.

3. Стать локальным критиком, заплатив за это радикальным сужением сферы собственной деятельности (путь Фуко).

Уолцер предлагает опираться на нравственное чувство как четвертый путь социальной критики. Это руководство к социальному и политическому знанию лучше марксизма как потерпевшей крах теории. Критик пользуется зеркалом Гамлета – безжалостно подвергает сомнению банальности и мифы своей страны и общества, выражает чаяния народа, но не отождествляет народ и государство. В состав критики входит утопия: «Надежды и идеалы обитают в определенном месте – в наших душах и повседневном понимании морали. «Нигде» не локализован только общественный строй, где чаяния и идеалы уже претворены в жизнь»[47].

Существует три задачи критического исследования: выставлять на всеобщее обозрение ложные условности своего общества; выражать наиболее глубокие идеи людей о том, как надо жить; показывать другие формы лжи, надежд и чаяний. Таков идеал национально-народной критики после низвержения идолов коммунизма и национализма.

Успех критики наиболее вероятен, если она: принимает национально-народный характер; сохраняет связь с традициями социального недовольства; отвергает любую национально-народную апологетику; не превращается в пленника и средство власти; всегда занимает критическую позицию в отношении государств, способствующих укреплению стран, и движений и партий, которые защищают народ. Все иные действия ведут к поражению критики или фашистской ментальности.

Идеальный критик – это человек, отказывающийся платить дань уважения любой власти: «Именно этот отказ и обеспечивает дистанцию критики, и больше ни от чего ради критики отказываться не нужно… Решающее значение имеет независимость критика, его свобода от ответственности перед государством, от религиозных авторитетов, корпоративной власти, партийной дисциплины»[48]. Критик должен взять на себя максимум отчаяния, но не пойти ко дну. Балансировать между солидарностью и служением и бороться с разобщенно-

[47] Там же, с.332-333
[48] Там же, с.339

стью. Закреплять такие формы критики, которые уместны для демократической политики. В этом и состоит его мужество.

В заключение отмечу параллели между теорией М.Уолцера и аппаратом московских концептуалистов. При описании прошлой и современной России они предлагают исходить из положения: «Честному наблюдателю, пристально приглядевшемуся бы к картинам этой тишины и умилительности, со всей неприглядностью открылась бы грязь и хлюпающая бездна безнравственности, … ужас и пустота и аморальность самых начал»[49]. Концептуалисты определили смыслы основных понятий для описания русской истории и современности.

Они предлагают описывать отношение «Россия-Запад» с помощью следующих концептов: *Россия* – это область проявления подсознательных, деструктивных аспектов западной цивилизации. *Запад* – супер-эго по отношению к России, доказательством чего служат постоянный протест России против Запада и характерное для русской культуры желание выйти за пределы западной культурной нормы. *Андерсы* – совокупное название субъектов европейской истории. *Политическая сказка* – синтез образов традиционной фольклорной иконографии и визуального арсенала советской мифологии.

Для описания русско-советской идеологии можно использовать следующие концепты: *идеоделика* – манипуляции с идеями и идеологическими конструктами, а также галлюциногенный слой идеологии; *идеотехника* – учет и каталогизация технических приемов, применяемых в ходе идеологического производства; *идеологии больших ремиссий* (христианство, буддизм, коммунизм) намекают на возможность великого отдыха; *идеологии малых ремиссий* (Дао, рыночный капитализм, психоанализ) не пренебрегают краткими периодическими облегчениями; *журземма* – галлюцинаторные образы и переживания, связанные с русским православием. Подобна варенью, в сладкие массы которого внедрен металл.

Феномены **молчания, текста и говорения** в русской культуре тоже можно описать. *Гносеологическая жажда* связывает умозрительную потребность в познании с физиологическим процессом, представлением о русском «коллективном бессознательном» как о едином нерасчлененном «теле», мучительно желающем узнать о себе, что оно есть «на самом деле». *Гносеологический шум* вытекает из гносеологической жажды и означает непрерывные и мучительные вопросы о существующем. *Зассанный матрас* – апофатическая категория для обозначения добровольной и окончательной самокомпроментации дискурса. *Текстурбация (речеложство)* – экстаз говорения, отличительная особенность речевых актов в русской культуре. *Похуй всему* – умозрительная точка полнейшей индифферентности.

Наконец, современная ситуация в России описывается с помощью концептов *про-регресс* и *хроношовинизм*. *Про-регресс* – это возврат на уже пройденные этапы в новом оснащении (например, возвращение к магической

[49] ЕПС: Ерофеев, Пригов, Сорокин. М., Зебра-Е, 2002, с.357

стадии культуры с помощью научно-технического прогресса). *Хроношовинизм* – пренебрежение прошлым и будущим в пользу настоящего[50].

Резюме

Таким образом, для реализации идеи национальной самокритики уже созданы исторические, эмпирические и теоретические предпосылки. Требуется их синтез для применения теории политической критики к социальным процессам в российском и глобальном масштабе. Сможет ли социальная наука возглавить этот процесс?

Сошлюсь на один пример. После взятия Берлина Советской армией были введены продовольственные карточки для групп населения побежденной Германии. Участники антифашистского сопротивления получали дополнительные продовольственные талоны. «Как-то днем в мое дежурство в приемную генерала Берзарина пришел пожилой немец с маленькой собачкой. – Я антифашист, – заявил он. – И хотел бы получить дополнительные продовольственные талоны. – А какие у вас есть документы о вашей антифашистской деятельности, какие свидетели? – спросил я. – Сейчас вы их увидите. Есть у вас кусочек сахара? Одна из наших машинисток достала из ящика стола коробочку с рафинадом. Немец взял один кусочек и положил его на пол перед лицом собаки. Та обнюхала сахар и взяла его в рот. – От Гитлера! От Гитлера! – закричал немец. Собака тут же выплюнула сахар. – Вот, видите, – торжествующе заявил немец. – Так я ее воспитал. А теперь смотрите. От Сталина! От Сталина! Собака тут же проглотила сахар и довольно облизнулась. – Вот, видите! – повторил немец. – Надеюсь, все понятно?»[51]

Или надо разъяснить с учетом нынешней ностальгии, усердно распространяемой государственными СМИ и другими любителями сладкого?..

[50] См.: Словарь терминов Московской концептуальной школы. Составитель и автор предисловия Монастырский А. М., Ad Marginem, 1999, с.123, 35, 142, 117, 41, 118, 43, 169, 43-44, 70-71, 119, 180, 78, 84, 189.

[51] Стеженский В. Солдатский дневник. Военные страницы. М., Аграф, 2005, с.230-231

Общие проблемы политической концептологии

СОВРЕМЕННОСТЬ: ДИЛЕММЫ И ПАРАДОКСЫ
(материалы «круглого стола»)

Материалы «круглого стола», проходившего в г. Ростове-на-Дону 17 июля 2009г.

Участники:

Архипов А.Ю., доктор экономических наук, профессор (ЮФУ)
Драч Г.В., доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ (ЮФУ)
Капустин Б.Г., доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН, ординарный профессор Йельского университета США
Козер В., соискатель (ЮФУ)
Лешкевич Т.Г., доктор философских наук, профессор (ЮФУ)
Макаренко В.П., доктор политических и доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины (ЮФУ)
Морозова Н.О., кандидат экономических доцент (Астраханский государственный университет)
Поцелуев С.П., кандидат философских наук, доцент (ЮФУ)
Старостин А.М., доктор философских наук, профессор (СКАГС)
Узнародов И.М., доктор исторических наук, профессор (ЮФУ)
Швец Л.Г., доктор философских наук, профессор (СКАГС)
Шкуратов В.А., доктор философских наук, профессор (ЮФУ)

В.П.Макаренко: Дорогие коллеги, разрешите приступить к очередному мероприятию. Здесь собрались преподаватели и исследователи вузов Ростова-на-Дону, Москвы, Нью-Йорка, Волгограда и Астрахани. Присутствуют несколько научных специальностей: историки, философы, политологи, психологи, экономисты, юристы. Прежде всего представлю нашего гостя Бориса Гурьевича Капустина – известного политического философа. Сейчас состоится первый тур второй летней школы «Политическая концептология: теоретико-методологические основания и институционально-символические аспекты социальных наук». Мы проводим круглый стол на тему «Современность: дилеммы и парадоксы». Он будет состоять из трех блоков. Первая часть – презентационная, вторая – доклады, третья – дискуссия.

Как я уже говорил неоднократно, чтение порождает разнообразные следствия. В том числе нашу сегодняшнюю акцию. Как автора я знаю Бориса Гурье-

вича Капустина с начала 1980-х годов. Примерно в одно время мы с ним опубликовали статьи о Максе Вебере в журнале «Философские науки». В советское время специалистов по Веберу можно было пересчитать по пальцам. До 1991 года число людей, знающих работы модного сейчас в России Макса Вебера, было незначительным. Поэтому Б.Г. Капустин меня заинтересовал. В 1988 г. мы с ним непосредственно познакомились. В нашем способе работы есть определенное созвучие, хотя мы движемся самостоятельно. Одним из фрагментов этого созвучия будет и сегодняшний круглый стол.

На протяжении последних 20-ти лет Б.Г. Капустин проделал чрезвычайно большую работу для того, чтобы современная политическая философия стала достоянием российского научного сообщества, включая донское. Впрочем, Борис Гурьевич об этом расскажет сам, чуть спустя. Сейчас даю слово для приветствия первому проректору ЮФУ, доктору исторических наук, профессору Игорю Мироновичу Узнародову.

И.М.Узнародов: Я – историк, но проблемы современности меня интересовали всегда. Однако какие мысли приходят в голову, когда на улице жара 37 градусов? Надо бы где-нибудь в холодке, с кружкой пива, на берегу моря, в крайнем случае, реки, пытаться перенести эту жару. Но когда приходишь в зал и видишь полный аншлаг, причем абсолютно добровольный, столько людей, знающих и желающих принять участие в дискуссии в такую жару, – не только удивляешься, но и думаешь: как все здорово! Я отдаю должное, во-первых, нашему гостю, которого от души приветствую в Ростове. А также всем присутствующим, которые, несмотря на жару и отпускное время, нашли возможность принять участие в нашем мероприятии. Поэтому я от лица ректората ЮФУ вас приветствую. Думаю, сегодняшний разговор будет интересным, полезным для каждого, независимо от представляемой им отрасли гуманитарного знания.

Хочу также обратить внимание на то, что предлагаемая сегодня тема «Современность: дилеммы и парадоксы» – близка присутствующим не только в плане профессиональном, но и в плане гражданском. Все мы современники. Через себя пропускаем современность, только каждый делает это по-разному. Поэтому, я думаю, получится интересный разговор. Но перед тем как предоставить слово Борису Гурьевичу, я хочу выразить благодарность Виктору Павловичу Макаренко. Виктор Павлович обладает беспокойным характером, по настоящему творческим, всё время придумывает интересные вещи, благодаря чему мы общаемся с удивительными людьми, знающими и оригинально мыслящими. Очень приятно, что у нас есть такие люди в ЮФУ. Поэтому, Виктор Павлович, Вам особое спасибо за то, что Вы все время проявляете настойчивость, изобретательность, что не хотите в спокойствии где-то в сторонке находиться, а наоборот, всегда на переднем крае. За это Вам большое спасибо.

В.П.Макаренко: Слово Б.Г. Капустину для презентации его исследований.

Б.Г.Капустин: Уважаемые коллеги, прежде всего, доброе утро! Я испытываю угрызения совести от того, что лишаю вас возможности полежать на заме-

чательных берегах Дона. Я вам искренне признателен, честно говоря, даже удивлен, что такая аудитория собралась. Это впечатляет, просто здорово. Я благодарен Виктору Павловичу за организацию этого мероприятия. Он вносит очень заметную лепту в интеллектуальную жизнь федерального университета в Ростове и в общероссийском масштабе. Теперь хочу сказать, что я презентации, честно говоря, делать не умею. У меня никогда это толком не получалось. Вместо того, чтобы говорить о книгах, мне бы хотелось сказать об ином. О том, что может быть преамбулой или прологом нашего дальнейшего разговора о современности.

Речь идет о тех проблемах, которые совпали как раз с тем периодом, в который мы с Виктором Павловичем познакомились. То был период моей колоссальной интеллектуальной растерянности. Он и обусловил некую траекторию моего движения, по крайней мере, с конца 1980-х годов по настоящее время. Эта траектория была обусловлена следующим: в условиях перестройки, когда у многих из нас что-то ломалось, какие-то новые идеи возникали и был великий сумбур, – у меня впервые в голове появились мысли, что контрсхема детерминистской истории не объясняет многое. Конечно, меня сбивала и волновала больше всего схема детерминистской истории. Схема эта опирается на то, что Мишель Фуко и Пьер Бурдье потом назвали трансисторическими законами в истории: изменения ведомы некими законами, которые сами имеют иммунитет по отношению к истории. Это что-то типа гегелевского провиденциального плана истории и его бесчисленные варианты – в последующих философско-исторических концепциях или позитивистской социологии, какие бы конкретные формы эти законы не принимали. На мой взгляд, эта детерминистская схема истории не объясняла ни краха социализма в нашей стране, ни того, что дала перестройка, ни чем она кончилась, ни того, что последовало за 1991 годом.

Я так говорю потому, что теоретические подходы вытекают из моей биографии. Всё начинается с чего-то личного, с какой-то боли. У Ницше был гениальный афоризм: не является философией то, что не сочится кровью. Только сочащиеся кровью понятия в самом деле что-то дают и открывают горизонты. Я очень остро почувствовал как раз в тот период, что у меня что-то начало сочиться кровью, а выразить это не мог. Тогда начались искания. Они меня привели к концепции современности, о которой мы будем говорить. Естественно, это не мое изобретение, десятки людей до меня об этом писали. Эта тема на Западе уже к тому времени была достаточно вспахана. Легендарная книжка Юргена Хабермаса «Философский дискурс современности» к тому времени уже была опубликована. На русском языке она появилась позже. Это я к тому, что никаким первопроходцем я не являюсь. Речь идет просто о моей попытке найти какой-то новый концептуальный аппарат, новые подходы к тому, что меня погружало в состояние растерянности. Это предполагало выход не столько за рамки марксизма, с которым я лично не готов расставаться и сейчас. Это предполагало гарантию от того, что Маркузе назвал советским марксизмом. А

также выход за рамки тех либеральных схем, которые предлагали детерминистские схемы объяснения истории. Вот с этого сумбура все началось.

В начале 1990-х гг. я выпустил цикл работ по либерализму. Я изучал массив либеральной философской мысли для объяснения того, что происходило у нас. Это немножко странно получается. О России я писал мало. Правда, в 2000 г. в издательстве «Логос» вышел сборник моих статей «Идеология и политика посткоммунистической России». Но и там я о России почти не писал. Уже давно я преподаю в США, но русских курсов не читаю. Поэтому мой цикл работ о западном либерализме – следствие той боли, о которой я говорил. Я пытался найти инструменты и формы для решения вопросов, которые для меня были в высшей мере актуальны. Это не получилось, хотя было потрачено несколько лет. Я не жалею о них. Наверное, они в чем-то меня просветили. Быть может, внесли скромный вклад в формирование нашего либерального дискурса 1990-х гг.

Кстати, моя прилежная аспирантка обычно лазит по Интернету, собирая там самые одиозные вещи обо мне. Она недавно нашла сайт, где я был аттестован как «классик отечественного либерализма». Что для меня было полным шоком. Зато на другом сайте я был обозначен как «злобствующий ницшеанец». Видимо, эти две характеристики наиболее ярко характеризуют то, каким образом я вхожу в отечественный дискурс.

Конечно, к либерализму у меня критическое отношение. Это был период, когда я пытался для себя что-то уяснить. Но в смысле нахождения инструментов и способов решения проблем, с которыми я столкнулся, он дал мало, хотя общее просвещение произошло. Книжка о современности возникла на основе моего неприятия парадигм и подходов западного либерализма, не говоря уже о наших российских вульгарностях.

Вторым этапом для меня была книжка «Моральный выбор в политике». В ней я развил одну из ключевых линий книги о современности. Мне важно было не просто понять, каким образом возможен синтез и взаимодействие нормативного и дескриптивного знания. Эта проблема пронизывает западные социальные науки, в меру их способности к саморефлексии. Намного важнее для меня было понять: каким образом и в какой мере наши нормативные установки, которые еще не совсем стерты цивилизацией, выражаются и высказываются в наших практических действиях? Речь идет о политической практике и нормативистике. Каким образом они переплетаются не на уровне оценивания, как предполагается кантовской моральной философией? Помните, у Дж. Ролза есть гениальная фраза, в которой он освещает теорию справедливости: «С точки зрения вечности, с точки зрения этой самой фундаментальной морали мы оцениваем наши поступки как феноменальное существование в эмпирическом мире». Вот этого мне казалось мало. Такая мораль меня никогда не устраивала. Меня гораздо больше интересовала мораль не в строгом кантовском смысле, а та мораль, которая позволяла и даже побуждала людей лезть на Бастилию. Хотя по-

тери там были маленькие, в военном отношении то было событие крайне скромное. Или почему мораль позволяла нашим людям стоять три дня вокруг Белого дома? Я сам там стоял два дня. Ведь никто не знал, будет ли Кантемировская дивизия наступать или нет. То, что это был по большому счету факт, стало понятно задним числом. Но те, кто стояли, они ведь не знали, что это факт. Что заставляло их там стоять? Такое включение морали в политику меня в высшей мере интересовало – как мораль работает? Именно так я понимаю переплетение нормативного и дескриптивного знания. А не как с помощью морали можно оценивать те или иные явления. Эта работающая на практике мораль была развитием одной из ключевых тем книжки о современности. Отсюда родилась вторая книга, которая для меня была вехой.

То, что сейчас я делаю, тоже вытекает из книги о современности. Я начал большой проект, который, возможно, к концу данного года отольется в книгу о революции. Даже сегодня эта тема звучит одиозно. А в 1990-е гг. шли поверхностные разговоры о политологии, транзитологии, модернизации, демократизации, либерализации и прочей белиберде. Казалось, что революционная проблематика осталась далеко позади – в чуланах истмата, о котором мы пытаемся забыть. Я не хочу сказать, что моя задача – воскресить трактовку революции в учебниках истмата. Дело в том, что онтология современности имеет импульс революции. А революция – атрибут современности. Причем, именно в той мере, в какой этот атрибут стирается. В той мере, в какой происходит такая утилизация современности, что она приобретает характер автоматического или квазиавтоматического воспроизводства статус-кво, ключевые характеристики современности исчезают. Я настаиваю: есть революция и современность – или современности нет. Какой бы ни был научно-технический прогресс, – Интернет-технологии, Бог знает что еще, вокруг чего делает культ современная идеология. Именно к этому доминирующие идеологии пытаются редуцировать современность. Я же начал новый проект, вдохновляясь мыслью: представить революцию как атрибут современности.

Конечно, надо упомянуть еще одно обстоятельство. За интеллектуальной жизнью в России я слежу из США. Поэтому мои возможности ограничены по сравнению с вами. Но я обратил внимание, что в последние три-четыре года возобновился интерес к революции. Хотя в очень экстравагантных, интеллектуально неинтересных формах. Мне кажется, возник запрос, который пока существует в узких интеллектуальных кругах. Лиха беда начало. Недавно в Санкт-Петербургском издательстве «Алетейя» вышла книжка «Концепт „революция“ в современном политическом дискурсе». Очень спорная книга. В Москве и Питере она породила большие дискуссии. Книга Артема Магуна о негативной революции сфокусирована на антикоммунистических событиях 1989-1991 годов. Вышли и некоторые другие работы. Их авторы через Алена Бадью, новейшую французскую философию пытаются поднять эту тему. Мой проект о революции – реакция на этот запрос.

Но речь идет не о воскрешении той концепции революции, которая была завязана на теорию формаций, противоречия производительных сил и производственных отношений. И всего прочего хлама советского марксизма. Напротив, воскрешающийся интерес к теории революции направлен на понимание характера истории как таковой и описание революции как события. Привлечение французских современных теоретиков произошло именно потому, что там разрабатывалась теория событий как альтернатива теории исторической детерминации и трансисторическим законам. В этом смысле теория революций оказывается интересной и тесно привязанной к проблематике современности.

В заключение скажу еще об одной линии, которая меня всегда очень интересовала. В последние годы по всему пространству бывшего коммунистического блока проводятся семинары под эгидой ReSET, за исключением стран, которые успели уже войти в Евросоюз. Эта линия заключается в том, что очень хотелось бы восстановить академическое сообщество. То ли в дисциплинарных рамках (философов, политологов, социологов), то ли в более широком смысле гуманитарного сообщества. Это хорошо, что рухнули старые советские формы организации интеллектуальной академической жизни. Но ужасно, какая фрагментация сообщества из этого последовала. В известном смысле мы все, независимо от места пребывания (включая Москву и Петербург) стали местечковыми. Замкнулись в свои микрогруппы и микропроблематику. Однако современная наука, в том числе гуманитарная, социальная, не может делаться в такой среде. Это не исключает появления отдельных блестящих мыслей. Но более или менее систематическое и планомерное движение невозможно. Эту местечковость необходимо преодолеть.

Книжка-сборник «Голоса российской политологии» и возникла как скромная попытка по мере сил реализовать эту задачу. Она вышла несколько лет назад. На деньги Национального фонда подготовки кадров мы провели большую конференцию политологов. Нам хотелось зафиксировать состояние российской политической, политико-теоретической мысли на тот период. Попытаться найти молодые таланты. В этом сборнике есть статьи известных ученых, в том числе мои статьи. Но сборник интересен прежде всего работами молодых, талантливых ребят из Перми, Екатеринбурга, Новосибирска. Такова была наша цель. Мы хотели втянуть в какое-то целое некий агрегат и попытаться сделать из него сообщество.

Вторая книжка – «Европейская политическая мысль XIX века» – только что вышла в Институте философии РАН. Ее подготовил сектор истории политической философии, в котором я работаю. Мы хотели проследить линии развития западного либерализма в той мере, в какой они вытекают из Просвещения XIX века. До того кризиса либерализма, который обнаружился во второй половине XIX века. Почему период действительно максимального интеллектуального взлета либерализма кончился банальностью в конце XIX века? Это задает некий фон, на котором мы можем обсуждать проблемы XX века и начав-

шегося XXI века. Можно ли выйти из той банальности, в которую превратилась основная часть либерализма? Для этого нужно было понять, почему такое превращение произошло. Вот, наверное, и всё.

В.П. Макаренко: Вопросы Борису Гурьевичу мы зададим чуть позже. Тем более что он – организатор первого в России факультета политических наук в Московской школе социальных и экономических наук. Имеет богатый организационный опыт. Мы этим опытом воспользуемся. Сейчас разрешите предоставить слово доценту Астраханского университета Н.О. Морозовой. Она расскажет о летней школе в Монголии. Она недавно оттуда вернулась, является постоянным участником других школ.

Н.О.Морозова: Большое спасибо за теплый прием и возможность участвовать в круглом столе. Что касается организации летних школ, то они направлены на повышение квалификации преподавателей высших учебных заведений. Их программы рассчитаны на две-три недели, между сессиями проводятся также региональная конференция и региональная встреча участников проектов. Кроме повышения квалификации работников высших учебных заведений можно выделить две основные цели: помощь в преподавании дисциплин; проведение исследований. Не менее важная цель – создание научных сетей, которые формируются в рамках летних школ. Из опыта общения с молодыми преподавателями и научными сотрудниками в региональных вузах видно, что у людей есть желание работать, участвовать в грантах, выполнять исследования. Но не всегда достаточно знаний и уровня для проведения серьезных исследований, в которых мы были бы конкурентноспособны с центральными университетами. Недостаточно и связей в научной среде для того, чтобы подключить других ученых к своим проектам. Программа *The HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching (ReSET)* помогает налаживанию, становлению данных связей, которые впоследствии помогают проводить качественные исследования – междисциплинарные, межрегиональные и межстрановые. Результатом данных школ может быть разработка авторских курсов и отдельных тем. Профессора рассказывают не только о новых тенденциях в конкретных дисциплинах, но и презентуют свои исследования. Предлагают участвовать в них всем желающим в своих регионах и странах.

Если возвращаться к цели научных сетей, то в данном случае хотелось бы отметить форму дискуссии, которую проводят в данных летних школах. В рамках дискуссий поднимаются интересные вопросы. Участвовать могут все желающие, акцентируя внимание на тех вопросах, которые их интересуют.

Если говорить о промежуточных сессиях, которые проводятся в рамках данных региональных семинаров, то здесь можно проводить конференции и также приглашать как профессорско-преподавательский состав данных летних школ, так и непосредственно участников.

Хотелось бы подвести итог и дать оценку практической значимости летних школ, их плюсов и минусов. Если говорить о преподавателях, о помощи в пре-

подавании дисциплины, помощи в разработке авторских курсов, то не всегда эта цель выполнима. В силу того, что в ряде стран существует учебная программа, учебные планы и очень сложно свой разработанный курс включить в рамки университета. Однако эта сложность преодолима. Например, я организовывала факультативы, на которых можно отобрать желающих студентов, которые способны изучать предлагаемые дисциплины. Конечно, здесь надо отметить необходимость знания иностранного языка, поскольку литература, информация, которая распространяется в летних школах, написана на английском языке. Однако это тоже преодолимо.

Если говорить об исследованиях, то хотелось бы проводить исследования с именитыми профессорами, которых приглашают в летние школы. Здесь хотелось бы отметить ученых (А.Олейник, А.Лиденева, Э.Гидденс и др.), которые читают лекции в рамках летних школ. Конечно, хотелось бы делать исследования вместе с ними, но не всегда, и даже зачастую недостаточно уровня знаний для того, чтобы заинтересовать ученых с такими именами. Однако это тоже преодолимо, поскольку существуют дистанционные консультации с этими преподавателями и они активно идут навстречу и помогают в выполнении тех или иных проектов.

Если говорить о научных сетях, которые формируются в рамках данной летней школы, то здесь хотелось бы отметить возможность приглашения на чтение коротких курсов лекций как преподавателей, так и участников этих летних школ. Эта практика активно ведется в нашем университете. Люди, которые принимали участие в летних школах, приглашают уже на повторные курсы именно преподавателей в наш университет. Это идет также факультативом не только для преподавателей, но и для студентов. И мы еще не готовы участвовать в грантах и проводить интересные исследования, то на первом этапе мы подключаем студентов к работе. Они занимаются темами, которые сейчас заявлены, сейчас интересны и актуальными. Если судить по результатам работы нашего вуза, – то происходит расширение тем бакалаврских, дипломных и курсовых работ, именно по интересным и современным темам, которые были отобраны «Ресетом» в рамках летних школ. Таковы основные пункты, которые хотелось бы отметить.

Б.Г.Капустин: Я хочу дополнить Н.О. Морозову, поставить сказанное ею в более широкую рамку. Одна из многих моих функций состоит в том, что я – член наблюдательного совета программы ReSET. Поэтому меня удивляет отсутствие заявок от Южного федерального университета, вполне известного своими научными достижениями. Между тем данная программа существует уже больше 5 лет. Можно проводить трехлетние преподавательские и двухлетние исследовательские школы. Мне много приходится как члену наблюдательного совета ездить по летним школам и проверять, как они функционируют. Я знаю, что сейчас в России двойственное отношение к империи Сороса. Ряд университетов, которые хотят быть святее Папы Римского, воздерживаются от кон-

тактов с ней, зато другие свободно контактируют и работают. Сейчас на территории России одновременно работают 14-16 летних школ. Естественно, они находятся на разных годах этого цикла.

Хотя эта программа не свободна от недостатков, у нее есть три плюса:

1. Школы стягивают постсоветское научное сообщество в нечто цельное. Завязываются отношения между преподавателями, особенно молодыми, из разных регионов. Сети довольно прочные, поскольку обеспечены виртуально. Есть чаты или блоги, которые ведет данный семинар и руководит исследовательской работой участников в межсессионный период, в течение года. Руководят ресурсные люди, в основном преподаватели, которые приезжают с Запада, но не только. С помощью данных сетей худо-бедно решается проблема фрагментации научного сообщества.

2. Преодоление местечковости. Расширяется горизонт видения проблематики, люди подключаются к международному уровню исследований.

3. Реализуется попытка изжить одно из травматических следствий советского опыта – в СССР было почти законом и даже институционализировано разделение науки и преподавания. Требуется их интеграция. Интеграция науки и преподавания непосредственно будет выражаться в авторских курсах при отсутствии учебников.

Мне бы очень хотелось, чтобы Южный Федеральный университет представил свои заявки на летние школы. Чтобы вы стали центром коагуляции ныне рассеянного академического сообщества. Вы бы еще могли приглашать сами сюда интересных людей из СНГ и с Запада. Помимо работы в семинаре они могли бы и лекции читать.

В.П.Макаренко: Большое спасибо за информацию, Борис Гурьевич. Мы эту тему всесторонне обсудим.

В перерыве состоялась презентация новых журналов и книг ученых ЮФУ и СКАГС.

В.П.Макаренко. Разрешите перейти ко второй части. Мы ее начинаем с доклада «Современность как предмет политической теории». Слово предоставляется профессору Йельского университета США, главному научному сотруднику Института философии Российской академии наук Б.Г. Капустину.

Б.Г.Капустин. Уважаемые коллеги! С вашего разрешения и с учетом лимита времени я буду выступать в форме изложения семи тезисов. Я понимаю, что эта форма не оптимальна для фундаментальной работы. Понятно, что я могу только обозначать мысли без приведения доказательств и развертываний тезисов. Если они вас заинтересуют, оставим их на дискуссию. Это первое, что я хочу сказать.

Второе. Я сам крайне не люблю интеллектуальное пижонство, когда бросаются именами, концепциями и т.д. Но сейчас я прошу прощения, если буду

вскользь упоминать какие-то имена. Надеюсь, вы меня простите, что упоминаю их в стенографическом смысле – как отсылку к конкретным работам или идеям. Расшифровка названных имен будет во время дискуссии.

Третий момент. Содержательно я буду говорить о том, что, на мой взгляд, позволяет мыслить современность как самостоятельную политико-философскую категорию. Она является одной из ключевых проблем хотя бы потому, что лишь в незначительной части обществоведения (включая западное) современность не имеет статуса самостоятельного понятия. Современность обычно с чем-то отождествляется – с индустриальным, постиндустриальным, информационным обществом. Или с обществом какой-то демократии – репрезентативной либо либеральной, как более продвинутой по сравнению с репрезентативной. Но в любом случае таков стандартный ход мысли. Против него и будет направлено мое выступление.

Современность не сводима ни к одному из упомянутых институтов. Современность – это не сущность, в том смысле, в каком можно найти сущность капитализма как определенной системы. Или демократии, или индустриализма как определенного технологического типа производства. Мой центральный тезис звучит так: современность – это историческая ситуация. Современность не может быть определена как система, это не системное целое. Это довольно прочная спайка разных элементов. Логику этой спайки саму по себе интересно понять. И те следствия, которые образуются из спайки институциональных элементов. Но принципиально современность невозможно мыслить как систему. Из этой преамбулы можно сделать один вывод.

Если верно, что современность – это историческая ситуация, то с точки зрения методологии познания должен вытекать один вывод: теорию современности создать невозможно. Теории информационного, индустриального и т.п. обществ редуцируют современность к неким институциональным сущностям. Но мы не можем создать и теорию современности в смысле Ю.Хабермаса: «Современность – это незавершенный проект». Ю.Хабермас имел ввиду дисбалансы между инструментальной рационализацией мира, о которой писал Вебер, и с которой Хабермас согласен. На мой взгляд, ни нормативная рационализация (М.Вебер), ни «рационализация жизненного мира» (Ю.Хабермас) невозможна. Современность не может быть описана даже как дисбаланс между указанными двумя видами рационализации. Если современность – это ситуация, а не цельная система и объект, то мы можем предложить только нарратив о современности (в смысле Ханны Арендт) в виде ответов на вопросы: как возникла современность? через какие фазы она проходила? какими коллизиями пронизана? какие основные действующие лица современности на ее различных этапах. Мы обладаем только нарративным знанием, а не системно-теоретическим знанием. Теперь я перехожу к главным тезисам.

1. Мой первый тезис непосредственно вытекает из преамбулы и гласит: методологически, концептуально современность может быть описана в категори-

ях знания, которое Аристотель называл *фронесис* – в отличие от того типа знания, которое он называл *эпистема*. Я не хочу сейчас жестко пользоваться этими строго диффенированными категориями данных типов знания. Но кратко подчеркну, что мне важно взять из Аристотеля, чтобы идти дальше, с учетом дистинкции между *эпистемой* и *фронесисом*.

Фронесис – это не просто благоразумие, как гласят классические переводы Аристотеля. *Фронесис* – это знание включенное, когда мы не можем построить знание о предмете, отключившись от наблюдателя. Человек не просто наблюдатель, как предполагается классической парадигмой естественно-научного знания, особенно галлилеевско-ньютоновского типа. Мы как действующие лица участвуем в ситуации. Познавая ситуацию, мы познаем и себя. Познаем способ нашего включения, а также то, как мы на нее воздействуем. У ситуации и предмета, который познается в *фронесисе*, нет собственной логики, автономной от нас. Действуя определенным образом, мы формируем логику ситуации. Это и есть включенное знание.

Тогда как (по Аристотелю) *эпистема* – это некое объектное знание, при котором можно отрешиться от наблюдателя. Наблюдать и не участвовать, только созерцать. Объектное знание предполагает сущностное мышление. Категория сущности у Аристотеля возникает при описании *эпистемы*. Сущность – это нечто неизменное, характеризующее данный предмет в его явлениях. Надо обозначить сущность независимо от наблюдателей. Знание в модальности *фронесис*, знание об исторических ситуациях – это знание постметафизическое, как принято теперь называть. Это знание отвергает саму идею сущности.

Здесь начинается мой первый элемент интеллектуального пижонства. Я делаю ссылку на Ницше: постметафизический переворот начался, по крайней мере, был маркирован Ницше. Он начался с его знаменитой фразы: «Предыдущие философы занимались удвоением мира. Удвоением мира на сущности, на явления, на трансцендентное знание, эмпирическое знание». Согласно Ницше, удвоенного мира не существует. Есть только один мир – наша жизнь, наша практика, если использовать Гегелевскую терминологию. Нам нужно понять, что делать в этом мире. На мой взгляд, теория современности начинается с ницшеанского открытия одного единого мира, мира как практики нашей воли. А уж как мы практикуем и насколько преуспеваем в практике – другой вопрос.

В мире нет никаких предпосланных сущностей. Если использовать язык Г.Лукача, видимости сущностей могут возникать в той мере, в какой присутствует *реификация* наших практик. В реифицированных практиках может возникать видимость сущности, которую она детерминирует. Но как таковых объективных онтологических сущностей нет. На этом я остановлю изложение первого тезиса: современность есть историческая ситуация.

Она познается в модальности аристотелевского фронесиса. Непосредственным методом познания является ницшеанская идея *единого*, а не философски удвоенного мира. Если современность существует как самостоятельная катего-

рия, то центральным для теории современности оказывается практический вопрос: «Как быть и что делать с современностью?». Поэтому само знание о современности будет знание практическое – о возможностях и преградах нашей деятельности. Отсюда вытекает невозможность создания онтологической философской теории современности. Эта теория будет возникать в рамках практической или политической философии. Это мой первый тезис.

2. Второй мой тезис: современность – это не просто историческая ситуация. Историческую ситуацию мы должны понять, когда она возникает, почему продолжается и модифицируется. При ответе на вопрос о начале современности я принимаю датировку Макса Вебера и Карла Маркса – примерно XVII-XVIII век. Но дополняю ее рассуждением Ницше о веселой науке: бог умер как событие. Это не атеистическая позиция, не констатация факта из онтологической организации мира типа атеистической декларации: бога нет. Бог умер в смысле разрушения *моральных и нравственных культурных структур*. Именно в этом смысле мы убили бога. Из этого много чего будет вытекать. Современность – это смерть бога. Современность – это событие, которое эмпирически и локально произошло в начале в Западной Европе. Затем эта ситуация стала глобальной и всемирной. Макс Вебер в своей концепции констеляции, начиная с протестантской этики и духа капитализма, описывает факторы, которые привели к возникновению этой ситуации (открытие Нового света, рецепция римского права, религиозные войны, бухгалтерская книга двойного счета и т.д.). Из сцепления этих факторов возникла и продолжается современность.

Мой второй тезис: современность – это глубоко проблемная ситуация. Речь идет о проблемах, которые не поддаются окончательному решению. Невозможно решить проблему современности так, как можно решить математическую проблему: мы нашли правильный ответ на некую задачу, и проблема снята. Современность – не техническая проблема (типа постройки моста) и не решаемая проблема. Для меня это принципиально важный тезис. Эта проблема была заявлена именно в начале современности, в XVI-XVII веках. В XVIII-м веке Просвещение заявило некую проблему, с которой можно научиться обращаться. Я сейчас буквально повторяю ту характеристику проблем, которые давал Людвиг Витгенштейн.

Есть два вида проблем – технические и жизненные. Технические проблемы поддаются решению, когда мы нашли правильный ответ. Жизненные проблемы не поддаются решению, но с ними можно научиться обращаться в той или иной мере. Это нужно для того, чтобы проблема не взрывала социум, как термоядерная бомба. Хотя жизненные проблемы воспроизводятся постоянно. На мой взгляд, жизненная проблема современности – это проблема строительства социального и политического порядка на основе свободы. Вот квадратура круга.

Эту квадратуру круга гениально, ясно и в высшей мере проблемно сформулировал Томас Гоббс – первый великий теоретик современности. На его языке это проблема невозможности заключения общественного договора как выхода

из состояния «войны всех против всех». Как возможен порядок, если мы обладаем свободой в радикальном смысле? В том смысле, который Гегель в «Феноменологии духа» назовет абсолютным правом субъективности. Мы имеем возможность во всем сомневаться. И имеем право признавать только то, что соответствует нашему разуму. Абсолютное право субъективности – это и есть одно из средств опыта, который мы имели при советском строе.

Обычно свобода ассоциируется с чем-то положительным. Она сама по себе есть некое благо. Свобода и современность – именно этим Гоббс силен. Однако свобода – это проклятие, а не благо. Ближайший синоним свободы – смерть. Отсюда и состояние «войны всех против всех». Если мы имеем право и возможность руководить нашими собственными усмотрениями, – это означает, что мы можем отвергнуть элементарные устои общественного порядка. Отсюда вытекают войны, тотальное разрушение и тотальная гибель. Свобода первоначально проявляет себя в условиях современности, когда рухнуло то, что Мангейм называл «онтологией мира» – комплекс традиций, которые нас автоматически регулируют, которые дают последние критерии и основания для суждений о том, что должно, а что не должно. Если объективная онтология мира рухнула, то мы вынуждены принимать свободу. Свобода – это бремя, которое мы вынуждены принимать, а не потому, что хотим его принять. Нам это бремя навязала ситуация краха нравственных онтологий. Ситуация европейских религиозных войн была непосредственным историческим контекстом Гоббсовского «Левиафана». Мы вынуждены полагаться на себя, потому что нам просто не на что больше полагаться. Не построится общежитие на нравственных очевидностях.

Вот это абсолютное право субъективности прорывается как трагедия и несет в себе трагедию. Дальше возникает вопрос: что сделать с этим кошмаром? Каким образом можно выстроить общежитие, в котором можно жить? Вот проблема гобссовского «Левиафана». Однако Гоббс не смог идеологически обосновать общественный договор. Ведь общественный договор претендует на решение, но логически не выведен из «войны всех против всех». В этом проблема. Тут зерно многих важных линий политико-философской мысли – в этой невыведенности общественного договора из ситуации естественного состояния «войны всех против всех». Общая ориентация мысли была такова: решить проблему нужно за счет того, что свобода – не произвол, а нравственное самоопределение. Позитивное понимание свободы означает: мы можем так свободно самоопределиться, чтобы наша индивидуальная свобода вписывалась и даже образовывала коллективную свободу. Такова природа руссоистской концепции всеобщей воли. Мы свободно самоопределяемся, но одновременно это есть самоопределение коллектива. Таким образом решается проблема «войны всех против всех». Мы индивидуально самоопределяемся, и за счет этого возникает всеобщая воля – высший безошибочный законодатель нашего общежития.

Наверное, в это можно было верить, но потом произошла Французская революция. Нож гильотины, якобинский террор, бардак директории, наполеоновская диктатура… Всеобщая воля не получилась. Не потому, что те, кто собирался ее создать, оказался на это неспособен. И не в том дело, что они были одержимы атеистическими интересами. Дело в том, что даже когда они нравственно самоопределялись, они самоопределялись по-разному. Возникал нередуцируемый плюрализм. Даже нравственное самоопределение свободы – квадратура круга. Когда мы выясняем, что всеобщая воля не является решением проблемы, то как возможен порядок на основе свободы? Завершая второй тезис, я по остальным буду говорить короче.

Если такова квадратура круга, то ради человеческого общежития нужно научиться обращаться с этой проблемой. Идеальное решение Руссо – второй общественный договор и возникновение справедливой республики – не годится. Любые промежуточные и временные решения есть путь, который в конце концов привел к Мишелю Фуко. Потому что теоретически неразрешимые проблемы все равно решаются практически. Иначе общество было бы в принципе невозможно. Современное общество оказалось возможным за счет дисциплинирования свободы. Такова суть идеи дисциплинарного общества и дисциплинарных технологий Мишеля Фуко. Не получается так, чтобы наша индивидуальная воля возвысилась и влилась в коллективную, абсолютно нравственную волю. Но нас можно контролировать, ограничивать, создавать социальные каналы, по которым мы себя реализуем и выйти за которые мы не можем как раз в силу контроля, дисциплинарной организации общества. Все это Фуко гениально схватил термином «дисциплинирующие технологии», которыми оперирует современность – активно и по-разному.

Протестантские технологии понравились многим. Макс Вебер попытался из распавшихся религиозных онтологий создать этические императивы. Какое-то время это срабатывало. Вспомните кальвиновскую Женеву – самое тоталитарное общество, которое когда-либо в мире существовало. Алексис Токвиль в «Демократии в Америке» начинает описание колоний Новой Англии с Коннектикута, где я последние годы работаю. Протестантские конгрегации были обществами жесточайшего контроля. Удавалось активизировать элементы традиций, которые срабатывали как жесткие дисциплинарные технологии. Т.е., ресурсы дисциплинирования можно находить в традициях. Они рушатся, но не исчезают до конца. Из них что-то можно извлекать. И сам капитализм оказался великолепной дисциплинарной технологией.

Макс Вебер в конце первого тома «Экономика и общество» пишет: рынок – это прежде всего социальный контроль, самый эффективный механизм социального контроля, который вообще когда-либо вырабатывала история. Причем здесь свобода? Важно понять, что современность – это не свобода. Это не то, в чем пытался нас убедить Бенедетто Кроче (последний великий гегельянец) в книжке «История как рассказ о свободе». Прогрессирующей свободы нет.

Современность оказалась не рассказом о свободе, а рассказом о том, как жесткие дисциплинарные технологии используются для фабрикации мнимо свободной воли. И.Шумпетер в «Капитализме, социализме и демократии» пишет: что такое, в конце концов, современная демократия? Это способ фабриковать волю избирателя.

Итак, переплетение дисциплинарности и свободы – следствие моей формулировки о современности как проблемной ситуации.

3. Свобода в условиях современности переплетена с дисциплинарными технологиями; нравственное разрешение проблемы современности (в виде руссоистской республики справедливости, коммунистического царства целей и т.п.) невозможно. Как же вообще понять свободу и в какой мере она присутствует? Я считаю, что свобода не может быть понята как свободное самозаконодательство. Согласно Канту, мы полностью определяем мир гетерономии, но вопреки этому миру автономны и определяем себя как полностью нравственные существа. Однако такого раздела не получается. Отсюда вытекает мой третий тезис: полное и предельное антикантианство, поскольку я снимаю разделение двух миров.

В презентационном выступлении я говорил о разочаровании в либерализме. Конечно, кантианство – не единственно возможное философское течение либерализма. Но философски оно самое влиятельное, особенно после революции Джона Ролза в политической философии. Меня кантианство не устраивает в принципе, в осмыслении проблемы современности, в концепции разделенных двух миров. Правда, в «Критике способности суждения» Кант пытался построить мост между ними посредством sensus communis и общезначимости единичного суждения. На мой взгляд, двух разделенных миров не существует. Ницшеанский единый мир – это и есть переплетение свободы и дисциплинарных технологий. Применительно к этому миру возникает вопрос: что такое свобода? Если свобода не есть свободное самозаконодательство, значит вообще нет свободы? И мы должны прийти к выводу Фуко: существующий мир есть мир надзора и наказания?

Напомню, что бентамовский паноптикум есть мир сплошного визуального пересечения, мир под надзором. В этом мире ни о какой свободе не может быть речи. Но я думаю, что Фуко не прав. Нам нужно переосмыслить саму концепцию свободы – таков мой следующий тезис. Позвольте сослаться на Мориса Мерло-Понти. Его книга «Гуманизм и террор» непосредственно относится к нашей бывшей советской жизни. В этой книге он прежде всего рефлектирует над Бухаринским процессом и его описанием в известной книге Артура Кестлера. У Мерло-Понти есть фраза, которую я считаю философской квинтэссенцией переосмысления свободы в условиях дискурса о современности. «Свобода возможна только как освобождение. Свободой нельзя обладать. Она не есть. Она практикуема. Свобода это и есть процесс преодоления того, что нас ограничивает».

В данном случае понятие свободы растворяется в процессе освобождения. Этот процесс никогда не может привести к финальному результату. Мы никогда не придем в царство свободы в виде руссоистской республики, кантовского и марксового царства целей. Мы всегда будем преодолевать определенные препятствия, которые считаем недопустимыми сегодня. Будем создавать новые формы и иерархии, новые формы дисциплины потому, что иначе не удержим квадратуру круга проблемы современности.

4. К этому добавлю еще одно замечание. Конечно, колоссальная проблема свободы в контексте современности состоит в том, что у нас в России понимание свободы наиболее часто ассоциируют с Токвилем, с его пониманием современности как формой демократии, с нарастанием равенства. Это приходит в противоречие со свободой. Если же мы свободу определили как освобождение (тезис Мерло-Понти), то какой вывод из этого можно сделать относительно пары категорий: равенство и свобода? Можем ли мы принять токвилевскую антиномию между равенством и свободой – чем больше равенства, тем меньше свободы и наоборот? На мой взгляд, нет. Все выглядит гораздо сложнее. Я проиллюстрирую это одним маленьким примером.

Помните, Гегель в «Философии истории» описывает три основные фазы всемирного исторического процесса и обращается к античному миру с формулой свобода немногих. А германо-христианский мир это свобода всех. Я хочу кратко с этими формулами поиграть. В том смысле, в котором они связаны со свободой в контексте современности. Греческая свобода – это прекрасный цветок. Сама идея полиса строилась на идее свободы. Но в полисе свободны немногие, свобода выступает как привилегия эллина. Т.е. как политический институт современного мира. Не этим ли объясняется греческий ренессанс всей германской философии Нового времени, начиная с Винкельмана и Лессинга? Почему античный мир так важен вообще? Откуда эта захваченность нашего мышления античным миром?

Да потому что в полисе есть свобода немногих, свобода как привилегия, не универсальная свобода. Это определяет параметры равенства. Равны только те, кто свободны, – т.е. немногие привилегированные. Возникает параллель с современностью. Современность говорит прежде всего нормативно – в «Декларации прав человека и гражданина». До этого бессвязно говорит в английском «Билле о правах». Затем в американской «Декларации независимости». Свобода универсальна, это свобода всех. Она перестает быть привилегией, становится «свободой всех». В этом смысле снимается конфликт равенства и свободы. Если свобода всех – значит все равны. Пусть на нормативном уровне – как носители разума, морали, философии.

Но мы-то прекрасно знаем, что равенства не существует. Универсальный посыл свободы всегда материализуется в определенных институтах. Мы знаем, что французская Декларация прав человека провозгласила универсальность прав, а реально осуществила права французов. Отсюда идея нации-государства

как организующей формы. Получается всегда, что универсалия замкнута в партикулярном. Вот здесь и появляются дисциплинарные технологии. Универсальный посыл современности «свобода всех» реализуется как замкнутость свободы. Пользуясь метафорой Вебера, свобода замкнута в очередную «железную клетку» – организации институтов, государства, капитализма, его системы реальных неравенств и пр. Дальше была «цивилизация египетского типа». Так вот, свобода как освобождение – это и есть преодоление очередных оков свободы, дисциплинарных технологий, сословного общества, границ, наций, государства, аспектов классовых неравенств и т.д.

5. В какой-то мере это дало государство благоденствия. Мы всегда перешагиваем определенные границы реального существования свободы. Но тут же создаем новые границы и новые проблемы. Так мы подходим к моему следующему тезису. Современность как ситуация означает, что она является констелляцией разных институтов. Энтони Гидденс в книжке «Современности» дает подробную классификацию: капитализм, репрезентативная демократия, индустриальные или постиндустриальные технологии, определенный тип семьи и т.д. Современность выступает как плотно спаянная констелляция разных институтов. Ее можно развивать с любой степенью детализации. Но нужно любой ценой избегать телеологии. Этим грешил не только советский марксизм – абортированная версия Маркса. Я думаю, сам Маркс не был свободен от идеологии эволюционизма XIX века и вытекающей из нее политической философии. В логике «Капитала» содержится идея эволюции капитализма. Товар полагается клеточкой, из которой вырастает всё: демократия, определенные формы технологического производства, вся надстройка. Веберовская логика констелляции ориентирует нас на то, что такой системы нет. Капитализм, действительно, неким случайным образом на определенном этапе – после введения всеобщего избирательного права в самой якобы либеральной стране мира (Великобритании) – принимается после первой мировой войны. Либерализм и капитализм прекрасно сосуществуют. Не просто без демократии, против демократии.

Кстати, великие дебаты об общем избирательном праве в Англии были начаты реформами 1832 года. Избирательные права были даны только 2-5% взрослого населения. Так и было на протяжении всей викторианской эпохи. Главными противниками всеобщего избирательного права в Англии были именно манчестерские капиталисты. «Пробили» всеобщее избирательное право очень интересные силы – альянс консерваторов и чартистов. Рабочие и консерваторы выступили против классических манчестерских буржуа. Таких парадоксов можно рассказать много.

Но понимая современность как констелляцию этих фактов, надо учитывать, каким образом они слипались. Они слипались не потому, что внутри них какая-то органика, что их тянула логика развертывания системы. Нет. Только в борьбе возникали связи. Где-то борьба складывалась так, что капитализм слипался с демократией, где-то это приводило к иным результатам, где-то капита-

лизм слипался с индустриальными формами производства, а где-то нет. Где-то с одним типом семьи, а где-то с другим. Но, так или иначе, на Западе сложилась модель, которую теперь принято называть демократическим капитализмом. Вывод из этого очень прост: если действительно политика первична в том смысле, что она обусловила саму возможность склейки разных институтов, значит мы отошли от системной логики развертывания марксовой клеточки. Мы смотрим на историю как на цепь событий, где происходили конфликты и стяжки определенных институтов. То, что мы сделали политически, не желая того в логике непреднамеренных следствий, которые Эрнст Юнгер гениально описывал, то мы можем разрушить и переделать. Это важно для понимания процессов, которые у нас сейчас происходят.

На мой взгляд, капитализм – это не фатум ни России, ни мира. В формах рынка и политического устройства нет никакой фатальности. Есть логика инерции слипшихся институтов. Именно в логике этой модель «демократического» капитализма набрала значительную инерцию. Поэтому Вебер мог сказать: капитализм – наша судьба. Сцепка крепкая, устойчивая. Пережила и Великую депрессию, и вторую мировую войну. Хотя многие не верили, что может пережить. И все же это не некая телеология истории, не жесткие «железные законы» истории. Все это было сделано определенной политикой. Значит, эту сцепку можно разорвать.

6. Как связана современность и модернизация? Сама этимология этих слов помогает понять связку. Модернизацию часто понимают в экзистенциалистских теориях современности, которые сводят современность к капитализму, индустриализму или чему-то еще. Модернизация – это путь движения к современности, понимаемой как некая модель. Отсюда всякие советники со стороны приезжали к нам и рекомендовали полную бредятину. О том, что модели нужно осуществлять. И это претендует на практику. Не зря Ницше сказал, что «категории сочатся кровью».

Все эти размышлизмы проецируются на живую и конкретную жизнь. Если модернизация – путь движения к современности, то существуют какие-то якобы законы. Помните, Ф.Фукуяма сказал: «Модернизация есть императив современности». Если это императив и железные законы, то надо воспроизводить эту траекторию. Тогда мы придем к какой-то единственно правильной модели. Я же полагаю: если современность – это ситуация, то модернизация – не путь движения к современности. Это способ бытия в современности, способ обращения с неразрешимой проблемой квадратуры круга.

7. Почему проблема стала глобальной? – ответ на это связан с моим последним тезисом. Современность – глобальное явление, хотя разные общество и культуры испытывают эту проблему по-разному. Рушатся разные традиции, следствия разрушений тоже разные. Поэтому модернизация – это неизбежное многообразие векторов движения. Это экспериментальные способы справиться с проблемой современности в разных культурно-исторических контекстах. С

этой точки зрения исламская революция в Иране в 1979 году точно такое же современное явление, как революция 1968 года в Красном Париже или Интернет. Это и есть попытки разных обществ, мобилизуя свои специфические культурные, институциональные, экономические и иные ресурсы, среагировать на эту проблему. Т.е., создать и удержать какой-то порядок. На мой взгляд, отсюда наступает свобода истории – когда мы снимаем телеологию однонаправленного процесса и понимаем модернизацию как плюрализм способов существования в ситуации современности.

Мой последний тезис о глобальном характере современности. Все предыдущие тезисы были сфокусированы на темпоральном измерении современности. Мы говорили о современности как о времени в определенной ситуации. Современность как событие началась в Западной Европе, потом распространилась по миру. Распространилась не потому, что есть некие предзаданные законы истории, которые тащили латиноамериканские, африканские, славянские страны некоей исторической логикой этих железных законов по тому же направлению, по которому двинулась Западная Европа. Не было никакой исторической телеологии. Был колониализм, торговые войны, культурная экспансия и т.д. Модель, которую Запад создал, практически оказалась сильнее. Помните, в предисловии к «Капиталу» Маркс пишет: «Весь мир будет создан по образу и подобию». Я не верю в мир по образу и подобию. По моему, он никогда не будет создан ни по чьему образу и подобию. Но Запад смог поставить колоссальную проблему, на которую вынуждены были так или иначе реагировать общества, в том числе закрыться (Япония Токугавы, Китай). Так создавалась современность как глобальная проблема – через политику, насилие, кровь и торговлю. А не через эманацию нравственного разума или телеологию законов истории. Из этого я делаю один практический вывод: а кто современнее?

Я скажу так: есть глобальная идеология господствующего капитализма. Ее стержнем является представление о том, что одни общества современные, а другие несовременные и отсталые. Это – деление мира на агнцов и козлищ. Получается странная вещь: само понятие современности, которое имеет позитивную нормативную нагрузку, узурпируется господами мира. Кто современный? Штаты, Западная Европа, Япония. Остальные – несовременны. Право называться современными узурпировано теми, кто подчинил себе мир и объявил себя бенефициарием современности. Жертвы современности современными не считаются.

На мой взгляд, это современная версия аристотелевской теории естественного рабства. Только у Аристотеля был мощный теоретический фундамент. У этой идеологии особого фундамента нет. Зато мощнейшая машина массмедиа вдалбливает это на уровне рефлексов. Таков политико-идеологический, а не теоретический итог сказанному.

Мы живем в ужасно грустную эпоху, когда история, действительно, кончилась. Я Фукуяму терпеть не могу. Это – чрезвычайно пошлый и пустой человек,

если судить по его сочинениям. Но его отчеканенная фраза «конец истории» имеет большой смысл. Не в том смысле, что история объективна и по законам пришла к финалу. Нет. Историю можно остановить. Ее уже неоднократно останавливали. Сам конец истории – это тоже одно из событий истории. В одной из книг С.Аверинцева есть потрясающий образ при описании времен Константина Багрянородного: «В это время в Византии будущее превратилось в вечность золоченого иконостаса». Т.е. будущее закрыто. Настоящее воспроизводит себя, мы не знаем и не видим альтернатив. Поэтому само будущее – лишь проекция настоящего и ничего больше. В этом смысле история останавливается.

Если отказаться от философской метафизики, от метафизики философии истории, возникает вопрос: что останавливает историю? Остановка истории бывает нередко. Вот сейчас мы живем в эпоху глобализованного капитализма, в его разных зонах, сегментах, где действует масса разнообразных факторов. Но за рамки этой системы мы не можем выйти. У нас тоже есть «золоченый иконостас» – американский Диснейленд или еще какая-нибудь гадость. Сама идеология современных, не современных и не вполне современных обществ есть мощное идеологическое оружие тех, кто хотят, чтобы у нас не было будущего. Чтобы место будущего занял «золоченый иконостас» или Диснейленд. С таким понятием современности нужно по настоящему идеологически бороться. Надо создавать оружие сил, которые смогут оспорить статус-кво. Спасибо!

В.П.Макаренко: Дорогой Борис, должен тебе сделать комплимент: ты всех очаровал, особенно дам. Прошу задавать вопросы Б.Г. Капустину.

Л.Г.Швец: Что влияет на качество сцепки – с точки зрения прикладной политической мысли – в противоречивой современности?

Б.Г.Капустин: Цементом служит политическое насилие. Я не люблю Карла Поппера. Но он в свое время сформулировал: где есть разум, там есть насилие; остальное от лукавого. А как они между собой переплетаются – это другой вопрос. Из естественных (т.е. мнимых) законов разума и истории невозможно вывести необходимую связь капитализма с демократией, типом семьи и сексуальных отношений, типом милитаризма и т.д. Всегда надо учитывать конкретные исторические ситуации. Тогда становится ясно, что все связки возникают в борьбе. Под насилием я не имею в виду непосредственное физическое насилие. Как показал П.Бурдье, понятие насилия гораздо глубже. Под насилием я имею в виду любые формы принуждения и недобровольную организацию любых интеракций. Например, в становлении английского капитализма никакой логики эволюции не было. Была конкретная борьба, с поражениями и победами. Вначале подавили чартистов, затем расстреливали луддитов (назначали по 13 гиней за одну голову). Так вот, сцепка ранее указанных элементов в любых обществах не диктуется некими естественными законами разума, а происходит через конкретные формы насилия.

Но дальше начинается самое интересное. Ницше поставил тему забывания, а Жак Деррида, Вальтер Беньямин, Никлас Луман описали ее логику. Искусство истории – это искусство забывать, искусство не помнить. Превращать событийное (политическое) в нечто якобы естественное, данное разумом. Великое искусство забывания – это превращение эмпирических случайных событий (в сознании позднейших поколений) в реализацию божественных заветов или естественных проявлений разума. Примеров тому масса. Октябрьскую революцию 1917 года и советский вариант современности сумели представить как проявление всемирно-исторической логики перехода от капитализма к империализму. Социализм рассматривали как фактор всемирно-исторического развития. Железную логику истории приписывали событиям, которые произошли чудом. Но то же самое можно сказать о ключевых событиях истории США – Декларации о независимости и Гражданской войне. Они начались по случайным обстоятельствам. Затем итогу этих обстоятельств была приписана великая логика эманации разума: мы все рождены свободными, равными и т.д. Так работает история.

Поэтому ответ на ваш вопрос будет такой: насилие, которое потом должно быть забыто, дает мощный цемент. Когда начинается идеологическая критика, то потомки проигравших историческую битву восстают против парада победителей. Происходит взрыв континуума истории – идеологическое раскрытие действительного фундамента статус-кво. Политическая борьба начинается с таких раскрытий.

А.Ю.Архипов: Какова Ваша позиция в отношении модернизации?

Б.Г.Капустин: Ваш вопрос – следствие моего скомканного тезиса о пространственном измерении. Модернизация – это не вестернизация по определению. Современность – это не воспроизводство западного опыта. Модернизация – это разные реакции обществ, использующих свои культурные, экономические, военные и иные ресурсы, для ответа на вопрос о нестабильности – постоянной ненадежности социального порядка. Запад дал не модель, а поставил мир перед проблемой, которую он распространил по миру, подорвав стабильность традиционных обществ. И потому даже попытки фундаменталистской реакции, как та же иранская революция, не содержат никакой архаики. Это их способ стабилизации общества, подорванного революцией шаха, проникновением Штатов и так далее. И этот способ революции исламского режима ничуть не менее современен, чем режим Штатов и чего угодно еще. Это их способ реакции.

И в этом плане Китай – великая, поднимающаяся страна, супердержава. Я недавно в замечательном издании под названием «Таймс» прочитал, что надо построить 12 авианосцев – и геополитика Тихого океана будет другая. США будут державой второго сорта. Китай на подъеме, поскольку в условиях кризиса дает 7% роста. Китай – очень конкурентноспособный вариант ответа на ситуацию современности. Будет ли он постоянно конкурентноспособным? Если мы

мыслим логиками ситуаций, то когда-то очень конкурентноспособные ответы показывали себя в уже изменившейся ситуации как гиблые. Помните, у основателя исторической политэкономии Фридриха Листа была книжка, которую он начинает с полемики с Адамом Смитом? Он говорит (извините за неточную цитату): Адама Смита считают автором, который открыл некие универсальные законы. Но Адам Смит – это мышление лавочника. И это лавочное мышление в специфических обстоятельствах Англии XVIII века, – когда она смогла монополизировать определенные ресурсы глобальных конкурентов, – себя оправдало. Так это же смешно универсализировать, поскольку как раз Адам Смит – писатель специфического случая Англии и его воздействия на мир. Фридрих Лист впервые выдвинул эту идею, которую потом Маркс комментировал в известных статьях об «исторической школе». Главный ресурс – человеческий капитал, а вовсе не материальный капитал. Адам Смит и классическая политэкономия не имели представления о том, что невещественная, товарная, неденежная форма их выражения, а человеческое свойство есть главный фактор, в том числе экономического рывка. С точки зрения Листа это говорило об убожестве классической политэкономии, дефектности английской модели развития и альтернативных возможностях Германии. Но зато мы знаем два фактора: Фридрих Лист – настольная книга князя Бисмарка; после франко-прусской войны Германия обогнала Англию за несколько десятилетий. Не прошло и 50 лет после выхода этой книжки. Германия стала великой державой, способной воевать на всех фронтах. Англия едва держалась в союзе с Антантой. Правда, после франко-прусской войны 1870-71 гг. Бисмарка обвиняли в том, что войну не столько выиграли германские солдаты, сколько германские учителя начальных школ. Вот это была реализация идей Фридриха Листа: рывок Германии и отставание Англии. Будет как с Китаем. Впрочем, бог его знает…

В.А.Шкуратов: С моей точки зрения, Вы красиво экзистенциализируете политологию. Но не считаете ли Вы, что прогресс рационального мироустройства по-западному – это как раз разделение экзистенции и политических установлений? Что это разделение эмансипации и свободы? И что уже Гоббс дает достаточно хорошее определение свободы? Это пределы человеческих возможностей, где он не стесняет естественные права других. Еще один вопрос. Фуко считает, что это дисциплинарные практики, наложенные на нашу свободу. Но у Фуко дисциплинарные практики налагаются на тело. «Душа – тюрьма тела». Душа – это некий конструкт, созданный для дисциплинирования тела. Не считаете ли Вы, что рациональная политология отделяет пространство индивидуального самоопределения от социально-политических установлений?

Б.Г.Капустин: Не является ли рациональной политической теорией, рациональной политической практикой именно та, которая отделяет пространство индивидуального существования от публично-политического? И за счет этого разграничения получается так, что свобода индивида осуществляется

в этом пространстве в той мере, в какой она не вторгается?.. Я скажу, хотя это может привести к еще более сложной дискуссии. Вы абсолютно точно сказали – Гоббс выступил в качестве пионера. Потом был ряд формулировок, с кульминацией у Канта. Это именно так. Если бы я был готов оставаться в рамках классического либерального мышления, я должен был бы с Вами полностью согласиться. Но у меня в связи с этой линией рассуждения возникают вопросы:

1. На мой взгляд, проблема Гоббса скрывается в «Левиафане». Главная проблема заключается не в том, что должно существовать приватное и публичное пространство. Как можно эту линию провести? Что ее проводит? Как ее учинить? Линию разграничения приватного и публичного пространства из чистого разума не вывести. Ведь если каждый человек одержим теми страстями, которые Гоббс описывает, получается абсолютно рационально пересекать любые границы ради максимизации выгоды и интересов. Из такого рационализма никакое разграничение пространств не выведешь. Оно выводится из чего-то другого. Это – самый большой вопрос. Что первично – рационализм максимизирующего свою выгоду эгоизма или что-то другое? Ответ Гоббса мы знаем: каким-то образом существа, обитающие в естественном состоянии, заключили общественный договор. Т.е., основополагающим оказывается коллективная, публично-политическая воля. Общественный договор – это эманация публичной коллективной воли. Каким образом, откуда она берется? – величайшая загадка Гоббса. У него нет ответа. Последующая теория общественного договора пытается дать ответ. Руссо ломает голову: каким образом единичная воля может превратиться во всеобщую волю? Он выстраивает целую теорию. Пытается эксплицировать то, что у Гоббса остается загадкой: люди каким-то образом смогли этого достичь. Хотя в естественном состоянии они этого не могли, будучи рациональными. Разум – это прирожденное явление. Я готов принять рациональность либеральной посылки о разграничении приватного и публичного пространств, если либерализм будет в состоянии мне объяснить: какая сила первична по отношению к разуму, устанавливающему эту границу? Какая сила это делает? Какая сила является нелиберальной предпосылкой самой возможности либерального устройства?

В.А.Шкуратов: В основе лежит метафизический вопрос.

Б.Г.Капустин: Совершенно верно. Его можно представить метафизически, и мы хорошо знаем, в каких философских традициях шла такая работа. Но можно сделать другой ход, который Гегель начинает с Йенских рукописей и заканчивает в философии права. Помните, как он объясняет собственность? Ведь собственность имеет массу проявлений. Собственность для Гегеля есть акт коллективной воли. Мы принадлежим коллективу и, признавая друг друга членами коллектива, через это признаем наши права на ту собственность, которая вычленяется из коллектива. Таков гегелевский ход. Примат некоей коллективной воли, которая стоит еще вне либеральной рациональности, но является необхо-

димой предпосылкой для возможности либерального устройства. С добавлением объяснения воли или силы, которая делает возможным либеральное устройство. Я готов это всё принять, но для меня либеральный рационализм идет не от основ, а что-то упускает. И потому вызывает неудовлетворенность. Он не направлен на собственные основания.

2. Что касается Фуко. Абсолютно правильно Вы сказали – это прежде всего то, что отпечатывается на теле человека. Но отпечатывание на теле человека выражает то, что нечто у нас не отпечатывается на душе. Предыдущая философия была сферой саморефлексии, самопонимания, миром души и нравственного самоопределения. Потом все это уходит, остается уровень рефлексов. Литературный и философский шедевр Фуко – это описание бентамовского «паноптикума». Когда возникает полный автоматизм взаимонадзора самих заключенных, надзиратель не нужен. Этот взаимный контроль через систему окон (там всё просматривается под разными углами) отпечатывается на уровне рефлексов. Это и есть то, что Ролан Барт назвал «смерть автора» как своеволия. Здесь Фуко прав. Но на мой взгляд, это именно есть выражение капитального явления: политического, философского, которые Фуко фиксирует как исчезновение нормативно-рационального индивида, с которого начиналась современность, – гуманистического человека. Тут возникает вопрос: если мы хоть как-то интересуемся перспективами освобождения, что можно этому противопоставить? Это же фукоистский вопрос (не только в смысле его ранних маоистских эссе): какая стратегия малых дел может быть противопоставлена глобальной системе дисциплинарного общества в поздних работах? Это западная забота о себе, стоическое культивирование личности. Мне кажется, из этого не получилось политической теории. Хотя возможности индивидуальной оппозиции дисциплинарному обществу он прописал.

В.Козер: Что здесь марксизм и либерализм? Что лучше – свобода или несвобода?

Б.Г.Капустин: По поводу либерализма и марксизма. Вы сказали: к либерализму утвердилось некое пренебрежение, а к марксизму – уважение, несмотря на все его дефекты. Я как-то пытался в голове воспроизвести ситуацию моего участия в круглых столах, конференциях, выступлениях в разных вузах, где такая же атмосфера (я сейчас только про Россию говорю). Может быть, я заблуждаюсь, но буквально до последнего года у меня было ощущение: ситуация прямо противоположная, Маркса третируют, как дохлую собаку. Маркс возражал против третирования Гегеля. А сегодня говорят: либерализм – наше светлое будущее. Может быть, Вы наблюдали иные интеллектуальные срезы, мой опыт другой. Но я сейчас не об этом хочу сказать. По сути вопроса: можем ли мы испытывать пренебрежение к либерализму и должны ли априорно испытывать уважение к марксизму или наоборот? Я позволю себе ответить так: я глубоко уважаю либерализм и считаю, что без освоения либерализма нельзя стать марксистом. Ведь то и другое – дети Просвещения. Более того, в той мере, в ка-

кой мы можем определить интеллектуальную или историческую значимость Маркса, – мы можем это определить только как рефлексию антиномий, которые возникли в рамках либеральной мысли. У меня в журнале «Свободная мысль» была серия статей по идеологиям современности. Позволю себе только один тезис напомнить оттуда: либерализм в конкуренции с другими течениями возникал как мышление о современности. Вообще, это первая философия современности, в которой современность начала рефлектировать сама себя. Критика либерализма началась потом, когда в практической политике (особенно в период Французской революции) вскрылись его антиномии. В полемике с ним складываются консерватизм и социализм. Не поняв логику либерализма, не поняв его как первую и осевую философию современности, мы вообще ничего внятного не можем сказать. Гоббс не просто первый теоретик современности. Не поняв «тайны и парадокса Гоббса», невозможно ничего сказать и о марксизме. Поэтому не о пренебрежении речь. Здесь ситуация анализа, смысл Кантовской критики.

Что касается нашей российской действительности. У меня, наверное, устаревший рефлекс и от него надо избавляться. Вы много меня моложе. Поэтому у вас есть один недостаток, на фоне остальных преимуществ: вы не участвовали в либеральных дискуссиях конца 1980-х – начала 90-х годов. Я же прекрасно помню, как на моих глазах формировался отечественный либерализм гайдаровского типа, который доминировал долгое время, будучи идеологией «Демвыбора России». Я помню, как работал гайдаровский Институт переходного периода, им же возглавляемый, после его ухода с поста вице-премьера. Этот хуторской либерализм, который господствовал в умах, выходил на политические решения. То была далеко не невинная беседа. Вот с этим либерализмом я готов бороться до конца, до последнего патрона!

В.П.Макаренко: Тогда я перефразирую вопрос аспиранта Козыря. Из чтения газет типа «Аргументов и фактов» мне стало известно, что в истории СССР все чубатые вожди (Сталин, Брежнев, Андропов) были диктаторами, а все лысые (Ленин, Хрущев, Горбачев) – либералами. А ты здесь говоришь про патроны. Но я ведь лысый, а ты чубатый! Как быть? Не пожалеешь ли ты на меня патрона? (Смех в зале).

Т.Г.Лешкевич: Зачем путать категориальный и конфигурационный язык? Что Вы скажете об имитационной демократии в России?

Б.Г.Капустин. Давайте разберем два теоретических вопроса, потом повеселимся с имитационной демократией. Зачем путать два языка? Один язык – категориальный, а другой язык – конфигурационный. Хороший термин, мне понравился. «Украду» ваше изобретение. На этот вопрос отвечу так: для меня категория – не только структура аналитического знания, т.е. того знания, которое предполагает объектный тип познания, без включенности, которая ориентирована на выяснение сущности и работу с застывшими, а не текучими формами. Категории могут быть разными. Я ваш вопрос переформулирую: фронезис –

это категориальное знание или нет? или категория целиком удел эпистемы? В классической, естественнонаучной традиции и в традиции аристотелевской физики, вам скажут: удел эпистемы. А если мы подумаем: у самого Аристотеля есть это противоречие или нет, какие понятия образуют строй *фронезиса*? Там есть веер различных понятий добродетели. Сам *фронезис* – одна из добродетелей. А из справедливости, умеренности, по всему списку категориального описания добродетели мы пройдемся и зададим вопрос: все понятия, в которых выражается *фронезис*, могут быть поняты как иные категории, чем категории логики? Перейду на язык современной этической теории или метатеории. Она обладает своим понятийным строем, ее категории живут в другой логике, чем категории формальной логики. Приведу пример из собственной интеллектуальной биографии. Я получил философское образование, а во время перестройки прошел через Гегеля и раннего Маркса. Гегель стремился из метафизических категорий делать текучие диалектические категории. Но уже в феноменологии духа есть не диалектические категории: несчастное сознание, раб и господин и т.д. Они не являются также категориями аристотелевской логики. Поэтому я отвечу на первый Ваш вопрос так: я не считаю, что смешиваю два языка. Конечно, нужно помнить о различном строе знания, о модальности и *фронесисе*, модальности и *эпистеме*. Их наложение друг на друга – это сумбур в голове и ничего больше. Но при этом мы должны задуматься: *фронесис* сам обладает своим категориальным строем или нет? Я считаю, что да. Этическое мышление обладает своим строем, который отличается от строго аподиктического знания, но, тем не менее, является всё же категорией.

В.П.Макаренко: Здесь присутствует профессор Г.В.Драч – специалист по античности.

Г.В.Драч: На какие переводы Аристотеля Вы опираетесь при толковании терминов *фронесис* и *эпистеме*?

Б.Г.Капустин: С проблемой переводов языков я не очень знаком, явно хуже, чем Вы. При трактовке Аристотеля я опираюсь на работу Аласдера Макинтайра «После добродетели». Особенно на его сопоставление Аристотеля с Ницше и с Троцким. Этот пласт у нас почти неизвестен. Эта работа в высшей мере деликатная и тонкая. Поэтому признаю справедливость Вашего замечания в отношении классического и современного языков. Теперь второй вопрос. Ситуация зависит от нашей включенности, от нашего мышления, поэтому любое знание ситуации может быть фальсифицировано. Полностью с Вами согласен, но сделаю оговорку, которая отдалит нас друг от друга. Если позволите, сделаю отступление для прояснения моей позиции.

Я люблю и раньше любил, когда был моложе, западный марксизм в варианте Г.Лукача и К.Корша. В данном случае я говорю об интеллектуальной любви. У Аристотеля были описаны разные виды любви. На мой взгляд, философия привела на Западе к тому, что называют «культурный поворот в теории».

Марксизм как политэкономия был сменен марксизмом как теорией культуры. Затем пошел ортодоксальный марксизм Лукача, философия марксизма Корша, критическая теория и т.д. Пролетариат – это тотальный субъект, он берет на себя, по сути дела, всю энергетику и трансформационные силы ситуации. Но и зависит от мысли. Помните, как пролетариат получает истинное классовое сознание по Лукачу? Он пишет: марксизм создает классовое сознание. Вот эта сила мысли, буквально оплодотворяющая материю. Это для меня политический идеализм, который потом привел к колоссальному кризису западный марксизм. При всей моей любви к нему, это то, что я считаю абсолютно неприемлемым. Поэтому наша включенность сама формирует характер ситуации. Но это вовсе не означает, что ситуация зависит от нашей мысли. Мы должны, видимо, уйти от такого рационализма, позвольте мне жаргон Бурдье. Мы должны мыслить об истории политики и политике не на уровне транспарентности сознания, а на уровне темноты. Вот ужасная формулировка!

После Гегеля моя вторая философская любовь – к шотландскому Просвещению. Прежде всего к Юму. Речь идет об истории как коагуляте непреднамеренных следствий, логике непреднамеренности. Мне кажется, эту юмовскую логику надо вмонтировать в Ваш вопрос. Ситуацию невозможно концептуализировать, игнорируя нашу включенность. Но это – слишком рационалистический, слишком классический подход, согласно которому ситуация зависит от нашей мысли. Более того, наши действия есть стерилизация нашей мысли. Наши мысли – одно из слагаемых наших действий. Это слагаемое нужно делить на десять, чтобы понять, какие непреднамеренные следствия из наших действий вытекают. И уж сколь скоро мы ведем политически ориентированную беседу, сфокусироваться на моментах критики идеологии. В частности, на моментах, объясняющих крах последнего антиимпериалистического восстания 1968 года, крах левого радикализма.

Пролетариат инкорпорирован в истеблишмент. А кто вне этой инкорпорации? Сможем ли мы принести им истинное сознание? Это опять работа с идеологией как ложным сознанием. Она показывает, насколько марксизм есть истинное дитя Просвещения. Политическая трансформация всё равно делается через очищение сознания. Через формирование истинного сознания и очищения сознания от всей фальши, которая там была. Вот почему важен Юм и подобные ему консерваторы. Можно вырабатывать адекватную современную идеологию. Мир меняется не тем, как очищается сознание, а тем, какие непреднамеренные последствия производят наши действия и как они коагулируют историю. Поэтому было бы очень здорово в логику *фронесиса* присоединить Юмовскую, шотландскую, циничную, но мудрейшую, по моему, тему непреднамеренных последствий. Ни одна идеология никогда и нигде реализована не была. А события по-прежнему складываются не по нашему плану.

Теперь о российской ситуации. Мне кажется самым смешным и нелепым в объяснении советского социализма и его краха ссылка на утопию. Помните

книгу «Утопия у власти»? Там был представлен социализм как господство какой-то утопии. Но это же полный бред. Никогда никакие утопии не осуществлялись. И поэтому никакой пятилетний план никогда не был реализован. Если бы это объяснить через Юма, то было бы чрезвычайно понятно. Насчет имитационной демократии и произвола чиновников. До возникновения «суверенной демократии», идеологии Единой России, при Ельцине имитировали как умели. Конечно, очень плохо, но она была чисто имитационной. Произвол чиновников в рамках имитационной демократии тоже понятен. Но из этого один моралите может быть выведен: чем вернее власть имущие пытаются копировать идеальные модели, тем дальше они от них оказываются. История это потрясающе подтверждает. Те, кто умышленно (как Германия времен Бисмарка) бросают вызов модели, потом преуспевают и ее обходят. Это опять к тому, что модернизация – это разные векторы, способ существования в современности, а не движение к какой-то модели. Конечно, у нас хуже всего получилось. Маркс писал, что Прудон пытался только положительные стороны вещей собрать в свою философию. У нас получился сбор наиболее отрицательных вещей в модель так называемого «транзита».

А.М.Старостин: Не лучше ли было поставить в заглавие книги слово «рефлексия»? За десять лет после написания книги «Современность как предмет политической теории» Ваше отношение к современной России переменилось?

Б.Г.Капустин: Я готов с Вами согласиться в том, что заглавие не очень удачно. Может быть, вместо слова «теория» лучше было бы поставить саморефлексия. Но это не очень звучит. О предмете я жалею меньше, т.е. как предмет теории жалею, а как предмет праксиса – нет. Современность, в том прочтении, которое я в этой книге предложил (как ситуация труда у Маркса), имеет предмет. Беспредметной ситуации и праксиса быть не может. Есть в рамках ситуации некий предмет, на который мы должны направить участие, будучи включенными в ситуацию. Я не верю в то, что мы целеполаганием можем определять эту ситуацию. Мы предмет не полагаем, мы с ним сталкиваемся. А предмет мы понимаем через его сопротивление нам. Я согласен с переформулировкой моего названия книги, кроме понятия «отчуждения».

С понятием «отчуждение» пока работать не готов потому, что это понятие для меня остается эссенциальным. Оно означает то, чем мы обладали и что утратили. Это – логика описания пролетариата ранним Марксом на уровне «Святого семейства» и т.д. Пролетариат, сливаясь с антропологическим типом рода, нечто утратил. Он сведен к полному отрицанию, и потому готов к радикальной перестройке всего общества. Он утратил и должен обрести себя. Мне кажется, мы имеем исторические ситуации, а не сущности, которые они утратили или могут обрести. Поэтому минус «отчуждение», с остальным готов согласиться.

Изменилось ли мое отношение к современной России? Честно сказать, оно стало более мрачным. Строить из себя пророка, что в 1990-е годы я предвидел

путинизм, была бы и наглость и глупость с моей стороны. Я предвидел – сразу после и накануне дефолта 1998 года – какую-то инволюцию в направлении обществ типа Сомали или Сьерра Леоне, когда государственность как централизованость исчезает. Происходит деконструкция государственности. Общество живет в безгосударственном состоянии. Это не та анархия, о которой писали Кропоткин и другие замечательные ребята. Скорее это Гоббсовская «война всех против всех». Я не думал, что Россия превратится в Сомали, но думал, что произойдет утрата государственности. То, что я сейчас вижу, для меня грустнее 1990-х годов. Хотя мне ельцинизм был глубоко омерзителен. Мне кажется, серьезные политические рассуждения может делать не тот, кто включен на уровне мысли, а тот, кто на уровне праксиса. Я давно живу вне российского праксиса и не знаю, как в него включиться, кроме сочинения книг или элементарной просветительской работы. Меня этот способ включения не удовлетворяет и сильно настораживает в отношении того, смогу я хоть что-то минимально дельное сказать о России дальше.

Вопрос из зала: Что было современным в античности?

Б.Г.Капустин: У меня есть ссылка в этой книге, где я, наверное, не очень удачно нахожу ответ. Но давайте я так скажу: что есть античная современность? Были волнообразные религиозные кризисы, расшатано то, что Мангейм назвал нравственной и религиозной онтологией мира. Но были и ресурсы реставрации новых онтологий. После кризиса греко-римского пантеона возникало что-то другое, очень прочное и надежное, обеспечивающее новую онтологию, хотя не без борьбы. А вот не очень это получилось после религиозного кризиса, давшего начало Европе Нового времени. Я в этом вижу отличие. Каких именно ресурсов Европа не нашла для того, чтобы реставрировать после религиозных войн и всего остального новую онтологию? Попыток было много. Здесь уже упоминали Нанси с его нацистским мифом, были также другие попытки реставрировать эти онтологии. Далеко не всегда и не обязательно религиозным путем. И каждый раз это оказывались неустойчивые времянки.

Что касается связи античности и современности. Вы знаете, от Ницше и Беньямина идет важная линия мысли: история делается задом наперед. Эволюционистский метод истории предполагал поступательное движение по стадиям. Например, Кондорсе сидит, прячется от якобинцев, кругом рубят головы, а он пишет о прогрессе. Такая экзистенциальная картинка замечательна, вплоть до десятой стадии. Потом всякие Гегели-Конты-Марксы. Предполагалось, что так идет дух, по восходящей, снизу вверх. История – это движение от прошлого к настоящему. Беньяминовский тезис о философии истории – история делается наоборот. Под современностью совсем не обязательно брать ту форму, о которой я сейчас говорю. Существующая в данный момент форма организации жизни берет контроль над прошлой историей и подстраивает ее под себя – в смысле ресурсов и смыслов, которые она придает тем или иным фазам. Ведь Просвещение сделало Средневековье одним из самых «темных веков». Но это фанта-

стика! Средневековье с его великими духовными достижениями объявляется «темными веками»… Вот такая операция происходит постоянно.

Мы, нынеживущие, утилизуем и творим прошлое. Прошлое живо только в нас и через нас. Мы фактически являемся авторами прошлого. Пишем историю назад. Античность в этом плане входит в нашу современность. Есть навязчивая идея с античностью и античным полисом как ключевой составляющей нового европейского мышления. Но почему полис, а не средневековый замок или империя? Почему именно так это утилизуется? Почему современность находит это в античности и актуализирует? И через это выстраивает свои исторические корни. Ведь потенциально корней много. Но что-то другое подвергнуто забвению, что-то ушло, что-то не утилизовано современностью вовсе. Для меня участие античности в современности интересно прежде всего под этим углом зрения. Каким образом современность себя строит из прошлого?

С.П.Поцелуев: А что востребовано именно сейчас?

Б.Г.Капустин: Что сейчас востребовано? Да, это действительно, как Виктор Павлович сказал, еще на три часа вопрос. Скажу кратко: с одной стороны, по-прежнему существуют откровенно марксистские журналы и они «выживают», не имея никакой государственной поддержки, как и любой американский марксистский журнал, хотя марксизм там Бреннеровского толка. Или в духе Эллен Мейсон Вуд. Но журнал, идентифицирующий себя как ортодоксально марксистский и в этом плане дистанцирующий себя от неомарксистского журнал «Нью лефт ревью». Все это читаемо настолько, чтобы давать возможность присутствовать в библиотеках, иметь минимальную подписку, позволяющую «выжить». В этом смысле марксизм жив. Что касается других ипостасей марксизма, это терминологически сложно. Вы, скажем, готовы считать марксистом Шанталь Муф и Эрнесто Лаклау? В этом мы утонем. Давайте скажу так: когда Шанталь Муф приезжала год назад в Нью скул, которую в свое время основали франкфуртские беженцы, она читала свой курс по возврату политического. Ее перевели на русский язык. Это был хит. Такие и подобные марксистские версии живы, более того, пользуются высоким спросом. Считать их марксизмом или нет – не знаю.

Помните, эту замечательную полемику после книги «Гегемония – социалистическая стратегия»? Норман Джерас в Англии персонифицирует себя как хранитель гербовой печати марксизма, потом два отлупа в «Нью вест ревью», в которых его называют не марксистом, а пошлым и банальным. Вот такие версии марксизма существуют. Наряду с этим существует и струя академического марксизма. Что сейчас востребовано в марксизме? Не мне об этом судить. Мое скромное мнение заключается в том, что пусть каждый решает. Но востребован далеко не мировой разум. Вы что-то востребуете, я востребую, Наташа, может быть, что-то востребует, т.е. опять практическая ситуация, когда мы прошлое усваиваем неким образом. Но мне кажется, есть не очень большой набор имен теоретиков-ителлектуалов, начиная с Нового времени. Если они и не дали отве-

тов, то поставили убедительный вопрос. В этом всё искусство. Есть группа мыслителей, которая не дала ответы, а сделала более важную работу, поставив убедительные вопросы. Убедительные настолько, что мы хотели бы, но не можем их миновать. Потому что без них не выговаривается что-то о современности. Мне кажется, Маркс в этом ряду. Проскочить его вопросы невозможно.

В.П.Макаренко: Мой доклад называется «Интерес как парадигма социальной мысли современности». Начну с хорошо известного. Польша была самым веселым бараком в социалистическом лагере. Диапазон переводов книг современных авторов в сфере философии и социальных наук на польский язык был намного шире и оперативнее, чем в бывшем СССР и нынешней России. Научную и художественную литературу на польском языке я читаю со времени аспирантуры. С академическим сообществом Польши тоже связан давно. В 1988-1989 гг. работал визитинг-профессором университета Марии Склодовской-Кюри (Люблин). Одним из итогов этой работы был перевод коллективной монографии польских политологов «Элементы теории политики». В 1995 г. участвовал в международной конференции, посвященной столетнему юбилею Львовско-Варшавской философской школы. Вслед за этим в 1996 году получил грант Фонда Стефана Батория Польской республики по теме «Духовное сопротивление коммунистической системе власти в странах Восточной Европы». Был на стажировке в Институте философии и социологии Польской академии наук. Выпустил сборник работ польских и российских ученых «Проблемы социальной трансформации», а также перевел на русский язык книгу известного польского философа и логика Анджея Гжегорчика «Жизнь как вызов: введение в рационалистическую философию». Затем получил приглашение на работу в Жешовском университете. Как обычно, много читал. В том числе книги известного современного экономиста и социолога Альберта Хиршмана. Написал о нем статью и послал ее в журнал «Социологические исследования», включая перевод работы А.Хиршмана «Рыночное общество: противоположные точки зрения»[1]. Вот здесь и возник казус.

Выдающегося современного американского ученого редакция (у меня не поинтересовавшись) назвала «профессором одного из польских университетов». Мою статью исковеркали. Правда, потом ответственные лица передо мной извинились – вначале по телефону, затем при встрече в Москве. Однако в Интернете до сих пор (прошло десять лет!..) висит текст, за который я не отвечаю[2]. Поэтому мой доклад имеет и побочную цель: наряду с адекватным изложением концепции Альберта Хиршмана затронуть общую тему о тенденциях развития социальных наук в постсоветской России.

Стремление к автаркии заложено в самой дисциплинарной организации науки. Университеты обладают системой символических границ, разделяющих области знания и работающих в соответствии с принципом: все, что их пересе-

[1] См.: http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/22636.html
[2] См.: http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/273748.html

кает, считается «грязным» и опасным для научного сообщества. Российские университеты и институты РАН не являются продуктивными зонами обмена идеями и концепциями[3].

До середины 1970-х гг. власть требовала от так называемых общественных наук идеологического обеспечения и подтверждения легитимности репрессивного режима, критики буржуазной идеологии, научного обоснования пропаганды и контрпропаганды, и подготовки кадров для аппарата управления и контроля. Поэтому основная масса обществоведов (сотрудников АН и преподавателей университетов) восприняла крах СССР и последующие реформы со скрытым негативизмом и пассивным сопротивлением. Идеологический плюрализм был декларирован сверху и не касался институциональной организации науки. Весь корпус преподавателей остался на своих местах и переквалифицировался в социологов, политологов, психологов, политтехнологов, экспертов по политическому пиару и рекламе. С тем же убогим уровнем знаний, кругом идей и сервильных установок.

По идее, развитием теории, осмыслением и применением западного опыта к российским реалиям должны заниматься академические или университетские ученые. Но этого не происходит из-за низкой квалификации персонала, отсутствия когнитивной культуры, критических дискуссий и просто незнания языков и литературы. К тому же прежняя функциональная роль общественных наук не потеряла свое значение. Понятие академической автономии в большинстве голов современных обществоведов пока не возникло. Они по-прежнему готовы обслуживать власть. Верноподданнические установки практически полностью парализуют познавательные интенции в социальных науках. Философский и исторический факультеты в МГУ, Институт философии РАН превращаются в прибежище захолустного антисциентизма, имперской геополитики, религиозного национализма. Зато число докторов в сфере социально-политических наук увеличилось в 1990-е гг. на 26%.

Короче говоря, социальные науки в основном занимаются консервативной защитой распавшегося советского порядка и его идеологических постулатов. Образовательные учреждения являются не генератором новых идей и концепций, а системой консервации старого знания и идеологических предрассудков, средством блокировки процессов модернизации[4].

Сопоставляя перечисленные общие тенденции в социальных науках и ситуацию с первой публикацией моей статьи об Альберте Хиршмане, нетрудно указать общую проблему: какова мера обскурантизма в научных журналах России по социальным наукам?

При этом надо учитывать, что после распада СССР и краха «мировой системы социализма» генезис, функционирование и перспективы капитализма

[3] См.: Александров Д. Место знания: институциональные перемены в российском производстве гуманитарных наук // НЛО. 2006, № 1/77, с.273-285

[4] См.: Гудков Л. О положении социальных наук в России // Там же, с.314-339

опять стали главной темой политических дебатов и академических дискуссий. Например, теоретико-социологические аспекты проблемы обсуждались на одном из «круглых столов» журнала «Социологические исследования»[5]. Дискуссия сконцентрировалась вокруг доклада Ю.Н. Давыдова. Его позицию можно свести к следующим основным положениям:

Генезис термина «капитализм» связан со взглядами мелкобуржуазных социологов середины XIX века. Он означал определенную экономическую систему. В марксизме «капитализм» никогда не был экономическим понятием, а мировоззренческой категорией. Эта категория на протяжении второй половины XIX в. отождествлялась с понятием «современность». Такое отождествление было типично как для радикалов (социалистов и коммунистов), так и для либералов. Ю.Н. Давыдов полагает, что взгляды либералов более продуктивны в теоретическом отношении. Например, М. Вебер был национал-либералом по своим политическим ориентациям. И на рубеже XIX-XX вв. предложил разделить капитализм на «архаичный» и «современный». Только второй из идеальных типов капитализма связан с генезисом множества факторов, определивших культурно-историческую уникальность европейского капитализма.

Различие между указанными типами капитализма существовало на протяжении двух третей XX в. Однако в 1970-е гг. снова произошло отождествление капитализма и современности. Понятие капитализма опять выполняет мировоззренческую роль. Ю.Н. Давыдов с этой тенденцией не согласен. Со ссылкой на труды Ф. Броделя он трактует нынешний европейский капитализм как «паразитический нарост» на отношениях обмена. Эта болезнь присуща капитализму в той степени, в которой нарушаются правила эквивалентного обмена. В Европе давно существуют слои «честных капиталистов» и «мошеннических утилизаторов». Последние всегда «деформировали» позитивные результаты спонтанного развития рыночной экономики.

Ю.Н. Давыдов считает, что руководство России при выработке программы социально-экономических преобразований заимствовало опыт европейских мошенников. Поэтому в стране сегодня господствует дикий, разбойничий, авантюристический, торгово-ростовщический капитализм. В нем можно обнаружить все признаки «архаичного» капитализма. Поэтому для оценки ситуации в современной России веберовская концепция капитализма более продуктивна, нежели взгляды Маркса и современных левых теоретиков.

Позиция Ю.Н.Давыдова изложена в многочисленных публикациях. За последние годы она стала популярной в социальной науке и публицистике. Кстати, все участники «круглого стола» поддержали идею о «современном» или «нормальном» капитализме. Правда, из нее следуют противоречивые выводы.

С одной стороны, в России никогда не было и нет до сих пор «нормального» капитализма. Все участники дискуссии согласны с тем, что заимствованные

[5] См.: Капитализм как проблема теоретической социологии: «круглый стол» // Социологические исследования. 1998, №2

на Западе «образцы» социально-экономического развития никогда ни к чему хорошему не приводили. С другой стороны, в современном мире вмешательство государства в экономику является «нормой». А Россия здесь давно чемпион...

Точка зрения Ю.Н. Давыдова порождает больше вопросов, чем предлагает ответов и аргументов. Здесь меня интересует один вопрос: существует ли в современной социальной науке концепции, позволяющие дистанцироваться от представления о «нормальном» капитализме, с которым могут (или должны) сравниваться все остальные? Этот вопрос разбит на несколько соподчиненных: можно ли концепцию М. Вебера считать продуктивной при оценке социально-экономических трансформаций? являются ли интересы и социальные институты, сложившиеся в условиях европейского капитализма, наиболее надежной формой таких трансформаций?

Реальная проблема и ложная дилемма. В одной из своих работ я рассматривал теорию неожиданных последствий при обсуждении вопроса о связи групповых интересов с властно-управленческими процессами[6]. Однако диапазон этой теории значительно шире. Б.Г. Капустин называет «блестящими и глубокими» работы А. Хиршмана, посвященные проблеме становления рыночной экономики[7]. Но эти работы в социальных науках России остаются практически неизвестными.

Начну с того, что А. Хиршман развивает свою концепцию в противовес главным направлениям социальной мысли Нового времени. Он обосновал принципиальное положение: ни рыночная, ни централизованная, ни смешанная экономика не являются эффективными средствами решения социальных проблем. Ни один из видов экономики не может считаться образцом для подражания.

Однако в массе интеллектуальной продукции, в практической политике и публицистике господствуют противоположные подходы. Здесь можно напомнить полемику между «купцами и кавалеристами» (А. Стреляный) или «идеалами и интересами» (А. Нуйкин) в начале «перестройки» в СССР. В сегодняшней России тоже существуют адепты рыночной, управляемой сверху, и смешанной экономики. Этот факт свидетельствует о кризисе всей системы социального знания. Социальные науки в целом пока не в состоянии описать губительные последствия развития экономики в любых социальных системах – капиталистических, социалистических, смешанных. Анализ таких последствий и определяет содержание исследований А. Хиршмана.

Не менее того в социальном знании распространено противопоставление Вебера и Маркса. Оно приобрело статус стереотипа. Действительно, эти мыслители различаются между собой в оценке относительного значения экономиче-

[6] См.: Макаренко В.П. Групповые интересы и властно управленческий аппарат: к методологии исследования // Социологические исследования. 1996, №11; 1997, №7

[7] См.: Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М., 1998, с. 52

ских и внешнеэкономических факторов. Но есть и моменты сходства позиций Маркса и Вебера:

- анализ генезиса капитализма и рождения его духа как борьбы с прежними идеалами и социальными отношениями;

- общее убеждение в коренной противоположности между «традицией» и «современностью»; для обоснования данной противоположности Маркс создал теорию общественно-экономических формаций, а Вебер – концепцию идеальных типов экономики, социальной структуры, господства и образов жизни;

- описание социальных изменений (в том числе генезиса и функционирования капитализма) в категориях рождения новой социальной системы;

- убеждение в том, что новые этосы или идеологии возникают более или менее параллельно процессу упадка прежней системы отношений.

Указанные гносеологические и мировоззренческие установки присущи как Марксу, так и Веберу. В результате ни тот ни другой не обращали внимания на способы воспроизводства старого в новом или рассматривали эту проблему как второстепенную.

А. Хиршман ставит перед социальным знанием более сложную задачу – выявить и описать процессы становления и изменения идеологий как длительный эндогенетический процесс, повлиявший на субординацию всех (внешних и внутренних) факторов при генезисе новой социальной системы. Для этого надо установить последовательность взаимопереплетения идей, принадлежащих к совершенно противоположным идеологиям – либеральной, консервативной, социалистической. Речь идет о построении таких теорий экономики, общества, политики, идеологии и культуры, которые были бы свободны от всех (или хотя бы главных) исторических форм, идеалов и институтов, типичных для идеологий Нового времени.

Однако ни одна школа социальной мысли XX в. этого сделать не смогла. Нынешнее поколение ученых во всех сферах социальных знаний все еще движется в кильватере духовных вождей, создавших главные идеологии современности. А сами вожди, обычно, не осознают или равнодушны к проблеме непредвиденных последствий собственной системы взглядов. Если бы такие следствия были известны заранее, – не исключено, что Локк и Бентам отказались бы от либерализма и утилитаризма, Берк и Токвиль – от консерватизма, а Маркс – от социализма.

Почему же такое осознание невозможно по определению? Потому что для всех идеологий Нового времени отношение между идеями (идеалами) и интересами было и остается по сей день центральной проблемой социального знания и практической политики. Акцент на идеи или интересы породил целую гамму теорий. В любой из них связь между идеями и интересами трактовалась либо как отношение детерминации (прямой или обратной), либо как отношение констелляции. Ни одно из направлений социальной мысли даже не пыталось целиком отбросить данную альтернативу. А ее идейные предпосылки пока еще изучены

недостаточно. А. Хиршман прослеживает специфическую «логику» становления данных предпосылок.

В докапиталистических обществах был наиболее распространен героический этос (с мотивом и идеалом славы). Затем его заменил буржуазный этос со всеми добродетелями протестантской этики. В какой же момент времени торгово-промышленная деятельность начала рассматриваться как занятие, достойное человека? Ведь на протяжении более тысячи лет – т.е. в период идейного оформления, институционализации и распространения христианства – в торговле и промышленности видели воплощение пороков жадности, скупости и жестокости. Затем вдруг торгово-промышленной деятельности начали приписывать положительные свойства. Причем, эта модификация не заключалась в упадке традиционных ценностей: «Критика героического этоса, – отмечает Хиршман, – нигде не сопровождалась пропагандой нового буржуазного этоса». Исторические, психологические и культурные причины столь неожиданного изменения оценок до сих пор являются предметом дискуссии.

С чего же все началось? С попыток создать новую теорию государства. Она должна была усовершенствовать искусство политического управления в рамках существующего порядка. Макиавелли заложил основы этой теории. Он не пытался создать новый этический кодекс. А предложил рассматривать человека таким, каким он есть на самом деле. Люди руководствуются страстями, а не верой и не разумом. Это порождает бесконечную цепь жестокостей, из которых и состоит человеческая история. Требования христианской морали, включая угрозу осуждения на вечные муки, ничуть не улучшили человеческую природу. Значит, надо найти более эффективные средства для совершенствования людей и управления обществом. Начался интенсивный поиск средств, образующих альтернативу христианской морали.

В этом контексте было сформулировано три рецепта: применять насилие; сдерживать страсти путем убеждения; использовать страсти для достижения «общего блага». Эти рецепты были преобразованы в проекты социального развития. Они существуют до сих пор как наиболее распространенные варианты идеологии, социальной теории и политики, порождая бесчисленные комбинации.

Первые два средства были известны издавна и новизной не обладали. Третье привело к повороту всей ориентации социальной мысли. Да, жадность и своекорыстие – главные человеческие страсти, но на их основе может быть построен справедливый социальный порядок. Главный аргумент для доказательства этого положения сформулировал Мандевиль. Божественное провидение использует человеческие страсти для обеспечения общего блага, и потому надежды на лучшую жизнь терять не следует!

Первоначально слова «страсти» и «жадность» были нагружены отрицательным смыслом. Постепенная эволюция языка привела к тому, что они были заменены нейтральными терминами «польза» и «интерес». Тогда как идея о возможности использования страстей для достижения общего блага стала главным элемен-

том либерализма и парадигмой политической экономики. Если вспомнить Н. Лескова, эта «сиянс-госпожа» сразу стала претендовать на статус «главной» социальной науки.

Одновременно указанная идея повлияла на выработку представления о закономерном характере социальных процессов. На его основе были созданы гегелевская, марксистская и позитивистская концепции социально-экономических закономерностей. Все они восходят к метафоре «хитрость разума». Эта метафора выражала убеждение: хотя люди живут страстями, на самом деле страсти служат достижению некой высшей общечеловеческой цели, которая непостижима для индивидуального сознания. Метафора «хитрость разума» введена в социальную философию Вико и Гердером, а окончательную легитимизацию получила в философии истории и философии права Гегеля. Немецкий ученый колпак положительно оценил страсти, поскольку в них непосредственно проявляется и воплощается «хитрость разума»…

Короче говоря, модификация моральной оценки страстей с отрицательной на положительную предшествовала становлению социальной теории. Затем происходила легитимизация страстей как предмета теоретического анализа.

Предполагалось, что все люди руководствуются тремя главными страстями – эгоизмом, жаждой власти и богатства. Эти страсти противостоят вере (условиям христианского спасения) и разуму. Они порождают войну, голод, эпидемии – три главных несчастья человеческого рода. Одновременно страсти свирепы по отношению друг к другу. В целях их теоретической легитимизации были обоснованы идеи о *взаимопожирании* (Ф. Бекон и Спиноза) и *равновесии* (Юм) страстей: «Мысль об управлении социальным прогрессом посредством продуманного установления одной страсти против другой, – констатирует Хиршман, – стала распространенным занятием интеллектуалов XVIII века».

В XVII в. идея взаимопожирания страстей вытекала из общего пессимистического взгляда на человеческую природу и убеждения в том, что страсти опасны и деструктивны. В XVIII в. произошла полная реабилитация страстей. Она выражала оптимистические представления (прежде всего французских материалистов) о возможности «улучшения и исправления» человеческой природы. Гельвеций первым снабдил термин «интерес» положитеьным смыслом. Он обозначил этим термином только те страсти, которым приписывались уравновешивающие функции.

Таким образом, история социальной теории есть процесс превращения моральных оценок в онтологические основы и гносеологические принципы социального знания. Отсюда вытекает тотальная аберрация мышления, которая еще далеко не закончилась.

«Отцы-основатели» США и вожди Французской революции пали первыми жертвами преобразования моральных оценок в политические постулаты. Те и другие начали использовать идею равновесия страстей как идеологические оружие для обоснования и практической реализации принципов разделения власти

и социального договора. Американские демократы и французские революционеры полагали, что оба института не задевают человеческую природу и являются универсальными свойствами общества. На самом деле в основании принципа разделения властей и теории социального договора лежит представление о животной природе человека.

«Примечательно, – пишет А. Хиршман, – что при обосновании принципа разделения власти эта идея была переодета в другую одежду. Сравнительно новая мысль о контроле властей путем их взаимного сдерживания и уравновешивания стала убедительной благодаря представлению ее в форме общеизвестного и общепринятого принципа равновесия страстей». Иначе говоря, практика демократического конституционализма и революционного преобразования общества опираются на одни и те же теоретические основания.

Теория социального договора стала элементом достижения равновесия. Гоббс во всех своих сочинениях лишь один раз сослался на равновесие страстей. Без этой ссылки он не мог сформулировать теоретическое обоснование государства. Причем такого, в котором раз и навсегда решены все проблемы, вытекающие из человеческих страстей. Однако большинство либералов и демократов не замечают собственной непоследовательности и применяют указанную стратегию постоянно. Она является результатом еще одной идеологической аберрации – противопоставления интересов и страстей. На этих иллюзиях – разделения власти в социальном договоре – до сих пор держится вся теория и практика демократии и связанная с нею парадигма социальной мысли Нового времени.

Природа указанных иллюзий состоит в том, что интересы начали отождествляться с материальной выгодой и пользой индивидов и групп. Этот смысл до сих пор является главным в повседневной жизни, политическом языке и словаре социальных наук. На протяжении XIX – XX вв. выражения «государственные», «классовые», «национальные», «групповые» и тому подобные интересы стали общепринятыми и уже не вызывают никаких возражений. Однако вплоть до XVII в. под интересом понималась совокупность человеческих намерений и связанных с ними размышлений. На протяжении последних 300 лет происходило сужение данного смысла с одновременной универсализацией единственного мотива человеческой деятельности – стремления к материальной выгоде и пользе.

В рамках данного процесса А. Хиршман выделяет две тенденции.

Первая восходит к Макиавелли и связана с отождествлением интересов с «государственным разумом» (принципами существования государства): «Эти понятия должны были вести борьбу на два фронта. С одной стороны, в них явно декларировалась независимость от правил и требований христианской морали, образующих основание политической философии до Макиавелли. С другой стороны, они должны были определить рациональную волю, не замутненную страстями и ежеминутными порывами. Именно такая воля становилась для Князя путеводителем». Однако доктрина Макиавелли ограничивала властвующих лиц ничуть не меньше, чем прежняя христианская мораль.

Властвующие обязаны были доказывать, что все их поведение определяется исключительно «высшими государственными соображениями», свободными от личных страстей, произвола, династической политики, комбинаций политической игры и т.п. Но никто из людей, стоящих у кормила власти, не собирался меняться в соответствии с доктриной. Поэтому отождествление интересов с «государственным разумом» вскоре обнаружило свою бесплодность: «Если традиционные христианские стандарты добродетельного поведения были труднодостижимыми, то не менее трудно было определить интерес». Тем самым использование понятия интерес для обозначения властвующих лиц и структур государства (класса, нации, группы, вероисповедной общности и т.д.) становилось крайне размытым и могло обозначать любое случайное содержание. Но этот случайный произвол теперь выступал в маске необходимости и приобретал «теоретический» статус. Данная традиция существует до сих пор в социальной и политической практике и теории.

Вторая тенденция заключалась в отождествлении интересов с поведением индивидов и социальных групп: «Связь эгоизма и расчета стала квинтэссенцией поведения в соответствии с собственным интересом. Она показалась многообещающей в дебатах об искусстве управления». В начале XVII в. концепция интереса определялась в контексте династической внешней политики. Но под влиянием революции и гражданской войны в Англии эта концепция начала использоваться для идентификации проблем внутренней политики. Они определялись отношениями между вероисповедными группами пресвитериан, католиков, квакеров и т.д. После стабилизации политической ситуации и установления религиозной толерантности под интересом начали понимать стремление «делать деньги». Оно стало эквивалентом всеобщего интереса. А. Смит придал этому понятию теоретическое содержание, полагая улучшение благосостояния главным мотивом поведения людей.

Аналогичный процесс шел во Франции. Здесь исходный смысл интересов определялся вопросом Макиавелли: что требуется для роста влияния, власти и богатства государства? По стандартам героического этоса для этого надо иметь честь и славу. Теперь социальный и моральный смысл интересов начал заменяться материальной выгодой. Первоначально такой мотив поведения был типичен для евреев-ростовщиков. Под влиянием данной социально-вероисповедной группы материальные интересы начали считаться универсальным мотивом поведения. Тем более что у большинства простых людей не было никаких иных доказательств достойного существования, кроме материального благополучия.

В результате указанных процессов внимание возникающей социальной теории начало концентрироваться не на поведении властвующих лиц, а на поведении подвластных. Так возник еще один узел для связи социальной науки с произволом властвующих. Эта традиция тоже сохраняется вплоть до настоящего времени.

Интерес как новая парадигма социальной мысли. А. Хиршман показывает, что история понятия «интерес» парадоксальна: сужение смысла понятия шло параллельно с универсализацией его одной стороны.

Первоначально интерес означал способность человека рационально, расчетливо и дисциплинированно управлять собственным эгоизмом, жаждой власти, богатства. Так понятый интерес противопоставлялся страстям. С помощью интереса в поведение людей вводились элементы расчета и предусмотрительности. Но в результате противопоставления возникло убеждение: одну группу страстей (жадность, алчность, скупость, своекорыстие, любовь к деньгам) можно использовать для усмирения других страстей (тщеславия, плотских и властных желаний). Неожиданное следствие заключалось в том, что этот смысл интереса соответствовал традиционным ценностям. Отсюда вытекало: люди (человеческая природа) не обязаны меняться ни по религиозным, ни по рационалистическим рецептам.

Следовательно, любые ссылки на любые интересы в последующем развитии социальной и политической мысли и практики содержат в себе значительную долю традиционализма и консерватизма. Хотя этот момент обычно не осознается ни либеральными, ни социалистическими апологетами интересов.

Так была создана важная интеллектуальная предпосылка для связи идеи равновесия страстей с идеей их неизменности. Теперь эта неизменность выступала под прикрытием интересов. Обе эти идеи восходят к Макиавелли. Но конечный результат заставил бы его перевернуться в гробу: жадность становилась главной и привилегированной страстью, на которую к тому же возлагалась задача обуздывать другие страсти! И этот противоестественный и ядовитый симбиоз приобретал статус «вклада» в искусство управления государством и социальное знание...

Раньше алчность оценивалась отрицательно. Теперь «делание денег» было названо интересом. А само понятие интереса стало претендовать на оценочную нейтральность, объективность и теоретический статус. Однако в основе столь «нейтрального теоретизирования» лежит положительная оценка самой мерзкой человеческой страсти. К тому же подобная аберрация связывалась с надеждой на возможность научного руководства обществом. Эта возможность была первоначально реализована в просвещенном абсолютизме. *В его основе как системы политического устройства лежит самое грязное своекорыстие*. Зато теперь оно могло прикрываться соображениями о «государственных интересах».

Интересы стали новой парадигмой социальной философии и политики. В конце XVII в. максима «Интерес не подведет» была преобразована в теоретический постулат «Миром правят интересы». В первом случае имелась в виду способность рационально управлять страстями. Во втором – одна страсть становилась господствующей. Никто вначале не вдумывался в эти тонкости. Понятие интереса

казалось самим собой понятным. Никто не пытался дать строгое определение интересов и выяснить их отношение к страстям и разуму.

Со времен Платона категории страстей и разума доминировали при анализе мотивов человеческого поведения. Однако исторический опыт показал, что страсти деструктивны, а разум бессилен. Вера тоже не смогла исправить человечество. Такие результаты делали весьма мрачной перспективу существования человеческого рода. Но большинство людей отличается легкомыслием и не склонны задумываться о трагизме собственного существования. А большинство политиков и государственных мужей не желают учиться у Марка Аврелия – единственного философа на троне.

И европейские интеллектуалы в очередной раз пошли на поводу у большинства. Они умудрились «прописать» интересы (с указанной модификацией) между страстями и разумом. Эта процедура базировалась на воспроизводстве традиционной христианской ценности Надежды. Правда, теперь Надежда выступила в наряде социальной теории. Теория обещала: жить станет лучше и веселей, если люди будут руководствоваться интересами. Философы предпочли оптимистическое обещание беспощадному анализу мотивов человеческого поведения, из которых вытекали и вытекают до сих пор убийственные перспективы. Почти никто из мыслителей не желал создать такую социальную философию и теорию, в которых бы содержалось еще большее осуждение человека по сравнению с христианской религией. Речь идет о том мотиве христианства, в котором содержится абсолютное и безусловное отбрасывание мира и обвинение человеческого рода.

Интерес стал новой гибридной и противоестественной формой человеческого поведения. И ее начали считать свободной от разрушительных страстей и бессильного разума. Прежде жадность, пиетет перед деньгами и материальным благополучием вообще считался свойством рабов, евреев, лакеев и простонародья. Теперь из этой страсти сделали залог «светлого будущего»: «Доктрина интереса в данное время была воспринята как действительный завет спасения», – иронизирует Хиршман.

Правда и в XVII в. более проницательные философы и просто умудренные жизнью люди не дали себя увлечь новой доктриной. Одни (Боссюэ) отвергли ее целиком, другие (Спиноза) сомневались в параллелизме страстей и интересов, понятых как «разумный эгоизм», третьи (маркиз Галифакс) полагали, что люди не в состоянии распознать собственные интересы. Однако оптимистические ожидания победили трезвую мысль. Надежда на спасительную роль интересов стала первой и главной интеллектуальной модой нового времени. И социальная мысль и политика до сих пор находятся под ее гипнозом!

Потребовалось совсем немного времени для горького похмелья. В XVIII в. интересы подверглись сокрушительной критике. А страсти были реабилитированы как потенциально положительная сила. Одни доказывали, что принцип «Люди руководствуются только интересами» полагает мир хуже, чем он есть на самом деле. Другие выдвигали принцип «Люди живут страстями». Мир, в котором

господствуют страсти, тем самым полагался лучшим по сравнению с миром, в котором доминируют интересы. Действительно, едва интерес был сведен к своекорыстию, мир потерял привлекательность. Постулат «Интересы правят миром» превращался в жалобу или обвинение мира, в котором, кроме цинизма, ничего не существует. Поэтому Юм развил концепцию, согласно которой страсти могут улучшить мир, управляемый интересами. Реабилитация страстей соответствовала оптимистическим идеалам Просвещения. Оно окончательно отбросило типичный для Возрождения трагичный образ человека и мира.

Надо учитывать, что сами термины «оптимизм» и «пессимизм» появились в философском и социальном словаре лишь в XVIII в. В этом контексте использование данных терминов для обозначения любого поведения, взгляда на мир или продукта духовного творчества означает либо косвенное согласие со всей цепью описанных преобразований, либо элементарное бессмыслие.

Короче говоря, вся мысль Нового времени кружила вокруг нормативных постулатов, связывая с ними познавательные концепции. Вначале страсти оценивались отрицательно, а интерес положительно. Затем произошла перестановка оценок. Страсти вошли в симбиоз с интересами и начали оцениваться положительно. С таким симбиозом связано становление политической экономии и, опосредованно, всей системы социальных наук. Эта связь и определила все главные просчеты и поражения социальной мысли на протяжении последних двухсот лет. Она до сих пор не смогла освободиться от морально-мировоззренческих постулатов.

Реабилитация страстей ничего не добавляла в их традиционное содержание. Зато максима «Интересы правят миром» вызвала значительное интеллектуальное оживление: наконец-то найдена реалистическая основа для жизнеспособного социального строя!

Интересам начали приписывать достоинства предвидимости, неизменности и постоянства. То есть, как раз те качества, которые раньше фиксировались только в природном мире. Предполагалось, что если человек руководствуется лишь собственными материальными интересами, то не только ему, но и другим людям будет хорошо. А если действия мотивированы интересами, то их можно предвидеть подобно тому, как нетрудно предсказать поступки добродетельного человека. Тем самым жадный и алчный человек превращался в идеал истинного христианина! Облегчалась и задача властвующих: «По сравнению с теорией экономики теория политики раньше обнаружила шансы взаимной пользы, достигаемой с помощью интереса». Однако и политическая экономия вскоре отправилась в лакейскую Каноссу!

Дело в том, что сфера международной политики была и остается неподконтрольной ни христианским принципам, ни диктату разума. В этой сфере обычно выступают взаимоисключающие интересы. Каждое государство стремится к расширению собственного влияния, власти и богатства. В этом смысле ни одно из государств не является самостоятельным: «Интерес данного государства

является зеркальным отражением интересов его главного противника». Непредвидимость и непредсказуемость – существенные компоненты международной политики. В ней и воплощаются самые зверские человеческие страсти. Предложить что-либо новое в этой сфере философия не смогла. Поэтому она облегчила себе задачу.

Представление о равновесии страстей и интересов было перенесено в сферу внутренних конфликтов государства. Оно положило начало живой до сих пор концепции «равновесия сил». Наибольшую пользу от предвидимого поведения начали усматривать в экономической деятельности. Локк обосновал идею о том, что неопределенность поведения индивидов и групп есть главный внутренний враг государства. И этот враг должен быть побежден любой ценой!

В результате всякое непостоянство стало рассматриваться как важнейшая помеха для создания такого социального строя, в котором решены главные моральные, социальные и политические проблемы. Тем самым в либерализме были заложены не теоретические основания свободы, а обоснование всеобщей регламентации социальных процессов. С этой регламентацией, в свою очередь, связан рост значения репрессивных институтов в обществе. Другие направления социальной мысли и практики – социализм и консерватизм – без всякого труда могли заимствовать эту идею, прикрывая ее лозунгом «свободы».

Так завязывались узлы между политикой и экономикой. Интерес отождествлялся с любовью к деньгам как вполне легальной и главной страстью. Причем эта страсть оценивалась положительно лишь в той степени, в которой накопление денег становилось самостоятельной целью, а не средством «красивой жизни». Данный момент обстоятельно проанализирован М. Вебером. А. Хиршман подхватывает эстафету, но обращает внимание на парадокс: раньше алчность квалифицировалась как наиболее опасная страсть; теперь она становилась добродетелью, поскольку связывалась с постоянством поведения индивидов. «Для того, чтобы столь радикальное изменение оценки стало убедительным, надо было снабдить алчность безвредностью». И эту задачу тоже выполнили философы!

Превращение материальных интересов в постоянные страсти вело к тому, что они начали сметать все на своем пути. Сто лет спустя осознание этого факта нашло наиболее полное выражение в «Манифесте Коммунистической партии». Как известно, становление капиталистического общества сопровождалось всеобщей коррупцией. Деньги начали рассматриваться как наиболее сильная социальная связь. Она не шла ни в какое сравнение с кровнородственными отношениями, честью, дружбой, любовью. Представление о деньгах как сильнейшей социальной связи было и остается до сих пор самой распространенной и опасной формой идеологии. К тому же она не нуждается в доказательстве именно в силу своей повсеместности. Никакая политика, даже самая революционная, не смогла сломить это убеждение. Большинство политиков и теоретиков даже не ставили

перед собой такой задачи. В результате развитие общества и социального знания пошло по совершенно другому пути.

Стремление к удовлетворению собственных материальных интересов было признано множеством мыслителей невинным и безвредным занятием. Однако это признание – непредвиденное следствие длительного господства идеалов аристократии. Она всегда питала презрение к ростовщикам, купцам и промышленникам. Это – грязные, серые и неинтересные люди, социальные отбросы и маргиналы. Аристократическое презрение породило убеждение в том, что торгово-промышленная деятельность лежит за пределами добра и зла, является этически нейтральной и потому не может играть важную социальную роль. «В определенном смысле победа капитализма, – пишет А. Хиршман, – как и победа множества современных тиранов, многим обязана всеобщему презрению к купцам и промышленникам. Это презрение не способствовало серьезному отношению к данной группе и не позволяло поверить в ее способность к великим делам и свершениям».

Для обозначения парадоксального синтеза презрения и невинности был изобретен специальный термин «douceur». Он означал мягкость, покой, комфорт и наслаждение – в отличие от непостоянства, стремительности, порыва и беспокойства, порождаемых другими страстями. Предполагалось, что погоня за деньгами и торговля смягчают и облагораживают нравы людей. Этот смысл и вошел в выражение «благородные народы», которые противопоставлялись «диким и варварским народам». Указанные метафоры стали первой попыткой осознания дихотомии, которая в XIX – XX вв. приобрела вид противоположности между «историческими» и «неисторическими», «развитыми» и «отсталыми» нациями. Эта противоположность сохраняется по сей день в различных вариантах философии истории, теориях социального развития, модернизации и цивилизации.

Корни указанного термина связаны с некоммерческим значением коммерции. Оно означало не только торговлю, но и приятную беседу, и другие формы любезного (обходительного) общения людей, в том числе между мужчиной и женщиной. Но даже филологический смысл выражения «doux-commerce» поражает апологетикой и несоответствием действительности. Облагораживание коммерции происходило в XVIII в. На этот период как раз приходится пик коррупции и работорговли. Да и обычная торговля была крайне жестоким, рискованным и опасным предприятием. Иначе говоря, все аргументы в пользу торговли содержат идеологические конотации.

И все же, в конечном счете, «делание денег» начало рассматриваться как стабильная и спокойная страсть. Она переплелась с достижением частных интересов. Мирная жажда обогащения (в отличие от жадности) требовала действий с опорой на разум. Такое понимание интересов утвердилось в XVII в. Расчетливая погоня за деньгами осознавалась как сильная, но спокойная страсть, способная победить бурные, но слабые страсти. Своекорыстие начало противопоставляться стремлению к наслаждениям. Особый акцент на этом сделал Юм: «Ведущий фи-

лософ эпохи прославлял капитализм потому, что он должен был оживить полезные склонности людей за счет вредных и подавить, а то и уничтожить, деструктивные и губительные свойства человеческой природы».

Лишь только после осуществления указанных семантических и идеологических процедур начала культивироваться надежда на то, что развитие экономики позволит решить все проблемы и улучшить социальный и политический строй. Таким образом, возникающая социальная наука так и не смогла освободиться от христианского принципа Надежды. Правда, теперь он выступал в виде экономикоцентризма – наиболее распространенной иллюзии последних двухсот лет.

Можно ли с помощью экономики улучшить социальный строй? А. Хиршман детально прослеживает основные звенья этого процесса. Зеленый свет для погони за деньгами – продукт длительного развития европейской мысли. Тогда как принцип «Интересы противостоят страстям» остается до сих пор малоизвестным и неизученным. Существует несколько причин указанного «белого пятна» в социальном знании.

Прежде всего данный принцип относится к так называемому «неосознанному знанию». К. Поланьи определял таким образом комплекс убеждений, настолько очевидных для данной группы, что они никогда не выражаются полностью и систематически. Кроме того, «белое пятно» возникло в результате развития экономической мысли. В частности, А. Смит пренебрег различием между интересами и страстями. Он подчеркивал положительные, а не отрицательные политические следствия экономической деятельности. Однако теория А. Смита лишь завершила длительный процесс. Она сама стала неожиданным следствием надежды на то, что с помощью политики (искусства управления государством) можно решить социальные проблемы.

В трудах Монтескье, Д. Стюарта и Д. Миллара начала формироваться противоположная тенденция.

Монтескье сформулировал и обосновал положение о позитивном влиянии торговли на политику и культуру. По его мнению, демократия есть положительное следствие развития торговли. Как известно, торговля длительное время осуждалась церковью и потому стала занятием евреев. А бедные евреи долгое время страдали от преследований, насилия и эксплуатации со стороны королей и аристократии. В этой юдоли они находились до тех пор, пока не изобрели вексель – «невидимые деньги».

Однако главный аргумент Монтескье в пользу торговли и промышленности был типично верноподданническим. По его мнению, торговля и промышленность способны предотвратить «злые умыслы» и государственные перевороты, которыми всегда отличалась и занималась аристократия. Поэтому французский мыслитель поставил интересы выше страстей и разума.

Он также первым сформулировал положение: прямая критика политиков за несоответствие их действий морали и разуму не имеет смысла. Она всех убеждает, но никого не исправляет. Лучше «пойти другим путем» – показывать бесполез-

ность страстей и намерений аристократии и властей. Иначе говоря, Монтескье придал принципу пользы политическое измерение.

Правда, взгляды Монтескье не отличались последовательностью. С одной стороны, он положительно оценивал развитие оборота векселей – «невидимого имущества». С другой стороны, опасался роста значения государственных ценных бумаг. Дело в том, что сразу же после изобретения векселя государственные займы и долги получили повсеместное распространение. И пока ни одно государство не собирается от них отказываться. Для борьбы с этим процессом Монтескье предлагал использовать принцип разделения властей и арбитража. Он питал иллюзию, что указанные средства положительно повлияют на международные отношения и увеличат шансы мира.

Общий вывод теории Монтескье поражает бездоказательностью: с одной стороны, торговля позволяет предотвращать гражданские войны, но, с другой стороны, способствует поддержанию военной морали в отношениях между государствами...

Взгляды Д. Стюарта были не менее противоречивыми. Он сформулировал ложную альтернативу в виде диалектического софизма: рост торговли и богатства увеличивает влияние политиков на поведение всех граждан и в то же время уменьшает сферу политического произвола в государственной власти в целом. Эта альтернатива повлияла на всю последующую политическую, экономическую и социальную мысль и практику. От нее до сих пор не могут освободиться ни либералы, ни социалисты, ни консерваторы. Подобный ход мысли, как показала последующая история, ведет в теоретические, политические и экономические тупики.

Для выхода из теоретического тупика Д. Стюарт сконструировал популярное до сих пор различие между властно-политическим произволом и строгим регулированием экономики. По его мнению, произвол власти обусловлен страстями властей предержащих. Тогда как строгое регулирование экономики приписывалось гипотетическому государственному мужу, который руководствуется исключительно общим благом. Развитие экономики устанавливает пределы для произвола и увеличивает потребность во вмешательстве власти в социальные процессы. Такое вмешательство и должно гарантировать устойчивое развитие экономики.

Для доказательства этого софизма Д. Стюарт сравнивал экономику с часами. Мир экономики уподоблялся вселенной, которой можно управлять извне. Произвол портит, а регулирование исправляет часы. Под пером Д. Стюарта библейский Бог (создавший мир из глины) переквалифицировался в Главного Часовщика. Предполагалось, что сконструированные Богом часы могут ходить без всякой помощи со стороны людей. Правда, не всех. Для политиков и государственных аппаратов делалось исключение. Они уподоблялись часовщикам, регулирующим экономические механизмы.

Д. Миллар радикализировал этот вывод. По его мнению, государственный муж не может принимать произвольных решений, а должен непосредственно способствовать благосостоянию страны. Тем самым, экономические и политические механизмы ставились во взаимосвязь. Но как гарантировать правильный ход обоих? Такую гарантию Миллар усматривал в праве на восстание. Его аргументы были не менее механистическими.

Фабричные люди живут в городах. Масса горожан действует как машина, ход которой остановить невозможно. Рабочие постоянно совершенствуются в избранной профессии. Поэтому фабрично-городские слои меркантильно-ориентированных народов без всякого труда постигают общие интересы. Горожане обладают также возможностью контроля над государственными учреждениями и могут устранять невежественных чиновников. Поэтому любые массовые акции обладают положительным социальным смыслом. Трудящиеся массы обладают правом на восстание. Это право соответствует групповым интересам трудового народа и одновременно способствует совершенствованию конституции. Следовательно, плебейские массы выполняют рациональную и полезную функцию в экономическом процессе.

Монтескье, Д. Стюарт и Д. Миллар заложили основы первого направления, в русле которого категория интереса преобразовывалась в движущую силу экономического и политического развития.

Второе направление связано с физиократами. Они первыми потребовали ограничить оборот денег в торговле и промышленности. Главный аргумент состоит в необходимости увеличить определенность экономики. Физиократы также первыми заметили опасность того, что богатые купцы и промышленники могут применять средневековую корпоративную мораль для организации отдельных государств.

Физиократы соглашались с положением о том, что произвольная и некомпетентная политика тормозит экономический прогресс. Для предотвращения этого они сконструировали модель социального строя, в котором общие интересы тождественны индивидуальным интересам властвующих лиц. Такое тождество возможно только при абсолютной монархии.

Именно в этом контексте и была сформулирована доктрина о «гармонии интересов». Согласно данной доктрине, общее благо есть не столько результат стремления индивидов к собственной пользе, сколько следствие абсолютной власти. Идеальный политический строй может быть установлен только просвещенным монархом. Он является собственником всех средств производства и устраняет все конфликты межу властью и обществом.

Таким образом, посредством указанной интерпретации интересов физиократы защищали азиатский деспотизм.

А. Смит завершил эту концепцию. Монтескье и Стюарт были заняты проблемой ограничения власти короля. А. Смита больше беспокоило невежество и произвол аристократии. Он полагал ее крах неизбежным, если только

она решится использовать новые возможности потребления и улучшения материальной ситуации.

А. Смит тоже рассматривал политику как необходимую предпосылку и следствие развития экономики. В то же время он обосновывал необходимость государства не столько соображениями минимализации его функций, сколько потребностью установления рамок для произвола. Если произвол мешает экономике развиваться, то власть надо менять, а не ждать, когда она изменится сама по себе.

Отношение Смита к капитализму (особенно к принципу разделения труда) было неоднозначным. Но он первым заметил неожиданные следствия развития экономики: торговля способствует излишествам, коррупции и обшему упадку нравов; все страсти человека концентрируются в стремлении к наживе.

Отсюда вытекал главный вывод Смита: стремление к богатству не есть самоцель, а средство социального признания. Внеэкономические мотивы поведения не являются самостоятельными, но они направлены на укрепление экономических мотивов. Тем самым Смит отождествил интересы со страстями. Тогда как акцент на внеэкономические (моральные и политические) мотивы человеческой деятельности способствовал анализу экономического поведения в соответствии с прежней концепцией человеческой природы.

Иначе говоря, теория Смита была регрессом – возвратом к исходному состоянию понимания интересов. Это объясняется тем, что британского моралиста и экономиста интересовал «человек толпы» – обычное поведение большинства людей. Главная забота большинства – самосохранение и улучшение материальных условий жизни. Абсолютное большинство людей не в состоянии ни подчинять свое поведение рыцарскому кодексу (этос чести и славы), ни «жить страстями» (как аристократия), ни удовлетворять страсти путем размеренной и систематической погони за интересами (подобно евреям, пуританам и возникающей буржуазии), ни вообще последовательно соблюдать сказанное слово.

Неожиданное следствие теории А. Смита состояло в том, что проблемы социальной морали вообще перестали интересовать экономистов. Такое положение сохраняется до сих пор в профессиональной среде экономистов, независимо от того, каких идеологических и политических ориентаций они придерживаются – либеральных, социалистических или консервативных, этатистских или соиистальных. «Подход А. Смита поставил такое количество интеллектуальных проблем, – пишет А. Хиршман, – что их расшифровка и решение дали пищу многим поколениям экономистов. Как сама гипотеза, так и возникшая на ее основе теория удовлетворяли посылкам победившей парадигмы. Они были удовлетворительным обобщением и одновременно дали возможность сузить поле исследования, по которому до тех пор свободно двигалась социальная мысль. Тем самым были созданы условия для интеллектуальной специализации и профессионализма». Научная специализация способствовала закреплению и воспроизводству указанных аберраций, от которых

до сих пор не может освободиться социальное знание во всем комплексе дисциплин.

Вернемся к уже поставленному вопросу: можно ли с помощью экономики улучшить социальный строй? На него следует ответить отрицательно. В XVIII в. возникло представление о спасительных политических последствиях развития экономики. Это представление есть иллюзия. Она остается привлекательной до сих пор, хотя история ее полностью опровергла.

В частности, сравнение экономики с часами (постоянное движение, стабильность, точность и исправность рыночных механизмов) сыграло роль ключевого аргумента при установлении множества авторитарных режимов XIX – XX вв. в Европе и во всем мире. Этот аргумент впервые был использован физиократами, а затем бесконечно повторялся. В данном контексте была также сформулирована идея о возможности «научного управления обществом» и веберовская концепция «рациональной бюрократии». Ни либералы, ни марксисты, ни консерваторы, ни просто политические прагматики так и не смогли освободиться от этих иллюзий. По сути дела, все остальные направления экономической, социальной, правовой, политической и организационно-управленческой мысли до сих пор испытывают влияние указанных иллюзий.

Например, уже у Барнава можно обнаружить противопоставление «солидарности» (племени, клана) и «торгашеского духа». Преследование материальных интересов создает потребность в социальной стабильности, но оно же может привести к противоположному следствию – стать идейным источником деспотизма. Указанная дихотомия затем была заимствована молодым Марксом, Дюркгеймом, Теннисом, Парсонсом и т.д. Правда, Маркс дополнил этот вывод. При анализе революции 1848 г. он показал, что развитие экономики и забота о материальных интересах могут как улучшать, так и ухудшать искусство управления государством. Однако Маркс полагал, что положительные следствия развития экономики предшествуют отрицательным. От этой идеи все еще не могут освободиться марксистские и постмарксистские теоретики и политики во всех странах.

Содержательные критические аргументы против всей системы описанных заблуждений были развиты Фергюсоном и Токвилем. Они исходили из констатации существующего положения вещей: у большинства людей влечение к материальным благам развивается быстрее, нежели склонность к познанию и навык практического пользования свободой. Если большинство людей занято лишь погоней за материальными интересами, то ловкие политические игроки могут захватить власть даже при формальной демократии. Если же народ требует от правительства только поддержания порядка для преследования материальных интересов, то он является рабом собственного материального благополучия.

Такие мотивы поведения большинства людей существуют до сих пор. При таком положении вещей вероятность появления «авторитарных личностей»,

стремящихся к подчинению всего народа, возрастает пропорционально степени распространения материальных интересов в обществе. Следует ли отсюда, что все политические формы современного общества (включая демократию) и весь корпус современного социального знания стоят на песке?

Интересы «квази-стражей» современного общества. Итак, погоня за материальными интересами и превращение последних в главный и морально мотивированный стимул социального поведения ведет к неразрешимой дилемме:

- любая детерминация политики экономикой лишь *увеличивает* вероятность властно-политического произвола;

- одновременно такая детерминация *уменьшает* участие большинства граждан в политической жизни.

Эту дилемму не удалось обойти ни одному демократическому государству. Тогда так в государствах деспотических и автократических вершины властных иерархий на протяжении XX в. по собственному произволу устанавливали сферу того, что является «полезным» и «вредным» для функционирования «деликатного часового механизма» экономики. Невозможно также отрицать очевидный факт: в современном обществе большинство людей занято погоней за деньгами и материальным благополучием. Это правило не зависит от специфики социально-экономических систем. Одновременно оно лишь увеличивает сферу свободы для тех, кто стремится к власти ради удовлетворения собственных амбиций – или страстей в терминологии XVII – XVIII вв.

Таким образом, «хорошие» и «плохие» последствия развития экономики всегда проявляются одновременно. Отсюда вытекает необходимость отбрасывания всех концепций, признающих идею о детерминации политики экономикой (и наоборот), независимо от положительной или отрицательной оценки данной детерминации. Речь идет о целых направлениях и школах современного экономического, социологического, политического и культурно-цивилизационного анализа. Сюда попадают:

- либеральные концепции свободного рынка и открытого общества (Л. Мизес, Ф. Хайек, Й. Шумпетер, М. Фридман, К. Поппер и др.);

- марксистские концепции отчуждения и борьбы классов (Г. Лукач, А. Грамши, В. Ленин);

- консервативно-аристократические концепции рессентимента и массового общества (Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет и др.);

- социологические концепции солидарности, аномии и дисфункций (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон и др.).

Современное научное сообщество в значительной степени состоит из последователей данных концепций. Однако все аргументы, которыми пользуются последователи, против детерминации политики экономикой и государства вообще были сформулированы П. Прудоном. Он видел в частной собственности главную гарантию от угрозы вмешательства государства в социальную жизнь. Перечисленные концепции не дают возможности противодействовать данной

угрозе постоянно и ежечасно в любых обстоятельствах места и времени. Отсюда вытекает кардинальное положение: *никакого «нормального» капитализма не было и нет, а всякая связь материальных интересов с политическими (и наоборот) подозрительна по определению*.

Как же в таком случае относиться к веберовской теории капитализма, в основании которой лежит представление о констелляции материальных интересов и идей во всех сферах социальной жизни?

Вебер и его последователи интересуются прежде всего психологией и этикой поведения индивидов. На этом основании объясняются причины концентрации определенных групп на рациональной калькуляции аккумуляции денег и других капиталов. Вебер полагал капитализм непредвиденным и непреднамеренным следствием поиска индивидуального спасения. Кальвиновская доктрина предопределения преобразовалась в методические действия. Они были одухотворены целью индивидуального спасения. Средством выступили требования протестантской этики, предполагающей самоотречение. Последователи Кальвина сумели найти выход между Сциллой фатализма и Харибдой стремления к мирским благам. В этом состоит парадокс. Он свидетельствует о наличии важных, но неожиданных и не всегда реализуемых следствиях человеческой деятельности. Открытие таких следствий стало важной задачей социальных теоретиков, начиная с Вико, Мандевиля и А. Смита.

А. Хиршман предлагает всему корпусу социальных знаний двигаться по этому пути. Значимое различие между теорией Вебера и концепцией Хиршмана состоит в ряде пунктов, из которых я отмечу лишь основные.

До сих пор социальные науки занимались анализом общества и его отдельных фрагментов. Теперь главным предметом анализа всей системы социальных наук должны стать реакции интеллектуальных, политических и чиновничьих элит на новые явления. Элиты обычно категоризуют все социальные явления и процессы на «положительные» и «отрицательные».

В частности, элиты положительно реагировали на становление и развитие капитализма, связывая с ним собственные надежды. Они считали, что погоня за деньгами удерживает человека на верном пути, сдерживает произвол и авантюризм власти во внутренней и международной политике. Эта надежда не подтвердилась.

Одновременно элиты отчаянно искали средства для коллективного спасения, предотвращения распада общества. По мере становления капитализма такой распад стал перманентной угрозой вследствие нестабильности внутреннего и внешнего социального порядка. Эта нестабильность порождается погоней за интересами и существует до сих пор. Следовательно, поиск средств коллективного спасения ни к чему не привел. Наоборот, истории XX в. с ее мировыми катаклизмами дает материал для противоположного вывода.

Короче говоря, элиты хотели и «невинность соблюсти и капитал приобрести». А. Хиршман предлагает соединить оба мотива при объяснении генезиса капитализ-

ма и любой формы современного общества – социалистического, смешанного и т.д. Эти мотивы определяют поведение интеллектуалов и бюрократии.

Интеллектуально-чиновничьи элиты всегда заинтересованы в поиске путей *группового спасения* (т.е. собственного воспроизводства независимо от социальных и политических преобразований) и преодолению всех преград на этом пути. Здесь они наследуют функцию религиозного клира, хотя их квалификация в Новое время существенно изменилась. Маркс назвал эту социальную группу «идеологами», Вебер писал о «литераторах», а Р.Даль называет ее «квази-стражами» (по аналогии с функцией стражей в идеальном государстве Платона). Неожиданные следствия экономического и социального развития порождаются стремлением интеллектуально-чиновничьих элит найти пути группового спасения.

Однако ни политики, ни интеллектуалы, ни бюрократия не в состоянии ни объяснить, ни преодолеть неожиданные последствия. Любые человеческие решения и действия ведут к результатам, которые в моменты принятия решения и периоды осуществления действий совершенно не предполагались. Да и сами решения и действия предпринимаются лишь потому, что политические и интеллектуально-чиновничьи элиты искренне и с полным убеждением ожидают результатов, которые никогда не появляются.

В этом и состоит главный парадокс социальной жизни: надежды большинства людей остаются приватной сферой; надежды и иллюзорные ожидания политических и интеллектуально-чиновничьих элит возникают в моменты подготовки и принятия решений и становятся *главной причиной выхода социальной жизни из-под контроля*.

Иначе говоря, интеллектуально-чиновничьи элиты в наибольшей степени претендуют на знание социальной жизни и рациональные решения. Но они же несут главную ответственность за хаос социальной жизни. Кроме того, интеллектуально-чиновничьи элиты всегда претендуют на то, что общество надо контролировать. Их надежды приобретают социальную историю, в отличие от индивидуальных надежд большинства людей. Социальная история надежд интеллектуально-чиновничьих элит была и остается вымышленной. Но она позволяет устранить из поля зрения действительные будущие следствия принятых решений.

Стало быть, социальные науки должны ориентироваться на поиск, открытие и анализ невоплощенных следствий принятых решений. Эта задача сегодня становится даже более важной, нежели исследование неожиданных, но реальных следствий. Реальные следствия обладают статусом существования. Невоплощенные надежды и иллюзии главных факторов социальной жизни превращаются в «преходящее мгновение». А если желаемые следствия не наступают, и нет никаких шансов на их появление, то о них не только стараются забыть, но и стереть все следы в памяти.

Процедура забытья – главное средство интеллектуальной самозащиты элит и легитимизации всякой новой социальной системы: «Может ли сохраниться любая социальная система с двойным сознанием, – вопрошает А.Хиршман, – если она

была избрана с самым глубоким убеждением в том, что решит определенные проблемы, но одновременно никогда не в состоянии это сделать?». Социальные науки должны постоянно напоминать о том, что обычно стремятся забыть элиты.

Таким образом, факт существования современного капитализма доказывает лишь то, что это была первая в истории социальная система с «двойным сознанием». Но феномен «двойного сознания» типичен и для других социальных систем, возникших на почве капитализма. Если политики, интеллектуалы и бюрократия продолжают выполнять главные роли в социальной системе, то различие между капитализмом и социализмом (или смешанным обществом) становится *неуловимым*. Социализм лишь воплощает в жизнь всю систему описанных надежд и иллюзий, усиливая ее тысячекратно. Дело в том, что социализм заимствует у капитализма всю систему социальных институтов и организационных структур. Они порождают не менее неожиданные следствия по сравнению с интересами.

От критики к разрыву. Как известно, большинство специалистов в сфере социальных знаний принадлежит к сторонникам рыночной экономики, регулируемой экономики или социального государства (смешанного общества, в котором снята дихотомия капитализма и социализма). А. Хиршман предлагает концепцию, которая может служить средством для того, чтобы вырваться из «заколдованного круга» современных академических дискуссий и политических дебатов. Его больше интересуют внутренние конфликты любой завершенной и институционализованной системы взглядов.

Предельно кратко позицию А. Хиршмана можно определить так: любая идеология и социальная теория порождают комплекс непредвиденных следствий, разрушающих ее собственные основания. В этом смысле нет существенных различий между либерализмом, социализмом и консерватизмом. То же самое можно сказать о социальных и политических системах, пытающихся воплотить в жизнь указанные идеологии или их гибридные формы.

Главный нерв концепции состоит в сокрушительной критике рыночной и управляемой экономики, конституционно-демократического и революционно-тоталитарного способа преобразования общества одновременно. Отсюда не следует, что А. Хиршман ищет «третий путь» по образцу неомарксистов или сторонников «самобытности», предлагающих различные варианты смешанного общества.

При оценке любых социальных процессов требуется терпимость к недостаткам общества и ошибкам социального управления. Большинство обществ до сих пор не видело «смаленого волка», поскольку обладало таким объемом благ, который превышал минимум средств к существованию. Об этом свидетельствует факт воспроизводства социального неравенства на всем протяжении человеческой истории. Отсюда не вытекает, что неравенство следует признать нормой, как предлагают консерваторы. Эта норма ничуть не нормальнее равенства. Просто в социально-исторической жизни происходит постоянное нарушение любых представлений о «гармонии», «золотой середине», «консенсусе» и т.п. Краткие и дли-

тельные периоды нарушений следует рассматривать как свидетельство социальной динамики, которая может принимать разные формы.

Государство – одна из форм социальной динамики. На протяжении всей истории ни одному государству не удалось создать такие социальные и политические механизмы, которые бы полностью предотвратили сбои социального организма. Следовательно, в таких механизмах нет и потребности. Болезнь (кризис, распад, катастрофа) есть нормальное состояние общества. Любые попытки его «оздоровления» и «совершенствования» заранее обречены на провал.

Для доказательства этого тезиса А. Хиршман приводит религиозные и светские аргументы.

Главный религиозный аргумент (в рамках христианства) состоит в квалификации всей истории человеческого рода как грехопадения. Последовательный христианин должен признать исходную испорченность человека. И не конструировать таких социальных идеалов, в которых бы заведомо испорченным людям жилось бы хорошо и комфортно. Однако большинство верующих всех религий (как и большинство неверующих) не в состоянии поступать и жить последовательно. Для обоснования непоследовательности верующих-христиан была изобретена концепция «естественных прав человека».

Эта концепция связала христианскую социальную философию с различными вариантами светского мировоззрения Нового времени. Данная концепция не удовлетворяет ни онтологическим, ни историческим, ни логическим критериям. Тем не менее она породила либеральную модель «государства всеобщего благосостояния», марксистскую модель «коммунизма», социал-демократическую модель «социального государства», христианскую модель «миллениума» и т.п.

Параллельно с формулировкой, разработкой, пропагандой и практическим воплощением всех указанных моделей наступила длительная эпоха кризисов, войн, революций, социальных и политических потрясений. Существует большой соблазн истолковать их как «ненормальное» состояние общества. Значительно больше оснований рассматривать все социальные катаклизмы как расплату за человеческую непоследовательность.

Кроме того, в периоды социальных кризисов можно уменьшать расходы ресурсов и средств, внедрять в жизнь ранее разработанные концепции и методы, испытывать пределы человеческой выносливости. Следовательно, кризисы были и остаются периодами социального творчества. Если до сих пор не удалось обеспечить социальный гомеостазис, то общество и не нуждается в абсолютно исправных механизмах. Любые попытки их создания неизбежно ведут к нормативизму в социальной теории и практике, политике и управлении.

От указанного нормативизма не свободна вся парадигма социального мышления Нового времени. Речь идет о концепциях интересов, конкуренции, демократии, патриотизма, которые конституируют современное мышление.

Об интересах уже шла речь. Действительно, для нескольких поколений людей XIX – XX вв. кажется естественной и непреложной ссылка на интересы как

феномены, определяющие всю сферу социальной реальности. Интересы полагаются «нормой» поведения людей. Ссылка на интересы при теоретическом осмыслении реальности и принятии политических решений сегодня попросту не нуждается в обосновании. Между тем, как было показано, в интересах и скрываются предпосылки всех индивидуальных и групповых практических и теоретических аберраций. Их без труда можно обнаружить в губительных социальных последствиях экономического роста при капитализме, социализме и смешанных социально-экономических системах.

Одним из таких следствий является модель конкуренции. Она прилагается сегодня к любым типам социальных систем, хотя сложилась в рамках капитализма. Эта модель давно уже стала элементом манипуляции и не способствует познанию определяющих для нее конфликтов.

Что же это за конфликты? А. Хиршман предлагает анализировать конкуренцию как связь и противоборство между критикой и разрывом. Индивиды могут критиковать и порывать социальные связи. В этом отношении связь критики и разрыва есть универсальный способ реакции людей на любые ухудшения деятельности любых экономических и политических институтов.

Все индивиды на протяжении жизни связаны с определенными группами и организациями в качестве членов или клиентов. Если взаимодействия людей регулируются рынком, индивиды вправе порвать связи с группами и организациями, которые не обеспечивают им надлежащий уровень доходов, благ и услуг. Реализация этого права зависит от материальных интересов людей. Критика может градуироваться от молчаливого недовольства до резкого протеста. Но в любом случае она требует непосредственного и решительного выражения взглядов. Не все индивиды на это способны. Поэтому критика в большей степени связана с политическим действием, хотя чаще высказывается при сбоях экономических механизмов.

Иначе говоря, существует несоизмеримость экономических и политических аспектов разрыва и критики. Такая несоизмеримость существует в любых социальных системах. Она выражается во всех попытках регламентировать критику и разрыв – от группового и административного давления до статей соответствующих кодексов, определяющих отношения между работодателем и рабочим, прописку, алименты, пропаганду тех или иных взглядов, государственные преступления и т.д.

Указанная несоизмеримость (или конфликт) существует как при конкуренции, так и при монополии – семейной, групповой, корпоративной, государственной, смешанной и т.д.

Конкуренция обычно выражается в соперничестве разных фирм за ресурсы, рабочую силу и клиентов. Но она может выродиться в пустую трату ресурсов и труда, если руководство организационных структур находится под постоянной критикой извне или изнутри. Поэтому всякое руководство стремится блокировать критику. Такая блокировка существует и при конкуренции. Поэто-

му конкуренция не может рассматриваться как норма экономических и социальных процессов.

В любых социальных системах индивиды стоят перед дилеммой: критиковать или порвать связь с социальными группами, организациями и институтами. Критика может быть эффективным дополнением разрыва. Но для этого она должна удовлетворять следующим условиям: быть направленной на изменение экономики и политики в целом (на микро-, мезо- и макроуровнях экономической и политической систем); выражать интересы разных социальных групп; приводить к конкретным результатам; быть элементом (функцией) политических систем; не исключать разрыв связей индивида с любыми социальными группами, институтами и системами.

Ни одна из существующих социальных систем не удовлетворяет данным условиям. Этим определяются пределы социальной критики. Кроме того, до сих пор популярен шаблон поведения и мышления: положение можно изменить, если этим займется начальство. Следовательно, критика обычно не отвергает всю систему иерархического устройства общества и государства. Крайне редко встречаются индивиды, которые способны быть последовательными в критике.

Большинство индивидов не в состоянии порвать связи с теми или иными общностями. Для большинства критика остается единственным способом действия. Этот способ типичен для семьи, церкви и государства. Критикой обычно занимаются те, кто не решился порвать связи с данными формами общности людей. Эти формы были и пока остаются всеобщими. Поэтому всегда существует опасность переплетения конкуренции с монополией – семейной, церковной, корпоративной, государственной. А любое переплетение экономического и политического поведения снижает потенциал критики.

Например, если уровень артикуляции интересов стабилен, то ухудшение дел в сфере экономики (неэластичность спроса и предложения) при отсутствии возможности разрыва способствуют росту критики «вхолостую»: люди на руководящих постах меняются, а социальные и организационные системы остаются прежними. Это правило не смогла отменить ни одна социальная и организационная система.

Общая модель связи критики и разрыва включает следующие варианты:

- при конкуренции в экономике критика дополняет разрыв, но приносят минимальную пользу из-за тенденции семьи, церкви и государства к монополии;

- чем более развивается критика экономики, тем более повышаются требования к качеству товаров и услуг;

- шансы улучшения экономики зависят от совместного действия критики и разрыва:

- но возможность и приоритет разрыва над критикой не способствует улучшению дел в сфере экономики.

Иначе говоря, всегда существует опасность превращения критики в субститут разрыва. Решение о разрыве учитывает шансы успеха критики. Если эти шансы высоки, то индивиды могут отказаться от разрыва. Если человек все же решается на разрыв, то он отказывается от критики, а не наоборот. Поэтому решение о разрыве с социальными группами, организациями и институтами обычно принимается после более или менее длительного опыта бесплодной критики.

При рыночной экономике существует большое количество разнообразных товаров и услуг. Индивид может приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм. Такая ситуация способствует приоритету разрыва над критикой. Однако чем более развита конкуренция и чем более товары и услуги рассчитаны на индивидуальное потребление, тем более возможность разрыва вызывает непредвиденные последствия. Люди превращаются в потребителей, не интересующихся политикой. Если товары и услуги рассчитаны на массовое потребление, политическое содержание критики возрастает. Но интерес к политике может сопровождаться профессиональным и организационным бесплодием.

Таким образом, критика есть искусство, которое может развиваться при любых условиях. Суть критики – открытие новых способов действия во всех сферах социальной жизни. Эти способы направлены на уменьшение расходов и рост эффективности. Тогда как возможность разрыва отрицательно влияет на доведение искусства критики до совершенства и практических результатов.

Однако даже в экономической сфере крайне трудно найти оптимальное сочетание критики с разрывом.

Например, во всех странах мира существует железнодорожный транспорт и система образования как отрасли массовых услуг и государственной экономики. Одновременно существует личный автотранспорт и система частных школ и высших учебных заведений. При конкуренции первая система всегда проигрывает, поскольку ее администрация всегда надеется на помощь государства. Поэтому руководство государственных предприятий при любых типах экономики наименее чувствительно к критике. Оно блокирует критику. Не дает возможности соединить ее с разрывом таким образом, чтобы это сочетание было оптимальным для большинства граждан.

Если государство монополизирует отрасли хозяйства, возможности критики еще более уменьшаются. При любых попытках социальных изменений администрация обеспечивает воспроизводство сложившихся стандартов бесплодной критики.

Отсюда вытекают два важных следствия:

- деятельность государственного и любого другого управленческого аппарата всегда порождает непредвиденные последствия;

- данный аппарат должен быть главным объектом анализа при историческом и социологическом описании опыта социальной критики в любой стране.

Что же такое бесплодная критика? Она существует при любых социально-экономических системах. Ее стандарты направлены на ограничение активности людей, наиболее заинтересованных в повышении качества товаров и услуг в экономической сфере. В итоге даже при конкуренции самые активные, инициативные и последовательные в критике люди становятся первыми в очереди на разрыв. Обычно качество последовательно ухудшается в тех сферах, которые закрепляют за собой корпоративную и государственную монополию. Проблема состоит в определении класса экономических систем и отраслей производства, для которых монополия предпочтительнее конкуренции.

Однако эта проблема переплетена с экономическим поведением индивидов. Если цена товаров возрастает, первыми отказываются от них люди, которые были в них наименее заинтересованы. Если падает качество товаров и услуг, первыми от них отказываются наиболее требовательные клиенты. Вопрос состоит в установлении корреляции между числом потребителей первого и второго типа.

Определить такую корреляцию крайне сложно, поскольку роль качества в экономике изучена мало. А. Хиршман формулирует гипотезу об идентичности показателя эквивалентности для установления экономических мотивов критики:

Если бы падение качества товаров можно было выразить с помощью цены, эквивалентной для всех покупателей, то влияние падения качества и роста цен на решение о разрыве (отказе от покупки определенных товаров) было бы идентичным.

При доказательстве этой гипотезы можно исходить из того, что обычно потребители по-разному оценивают качество. Но если оценка качества является главной, то отказ от определенных товаров и услуг парализует критику, лишая ее главных исполнителей.

Например, если падает качество обучения в государственных школах, то первыми от них отказываются дети состоятельных родителей. Обычно такие родители высоко ценят образование и могли бы предпринять борьбу за улучшение качества образования в государственной отрасли. Вместо критики и борьбы они просто порывают с определенной системой образования. Если же ухудшается качество обучения в частных школах, родители оставляют там детей из-за понесенных расходов. Критика и борьба в этом случае наталкивается на экономические барьеры.

При существовании государственного и частного образования больше вероятность высокого качества в частном секторе. Правда, она зависит от возможности того, что большинство населения готово порвать с государственной системой образования. Если такой возможности нет (из-за низкого качества жизни большинства населения), то как критика, так и разрыв становятся бесполезными. В этом случае недостатки государственной системы образования накладываются на слабости частной системы. Если же контингент учителей сотруд-

ничает в обеих системах одновременно, происходит усиление недостатков и слабостей.

Короче говоря, существуют значительные трудности оптимального сочетания критики с разрывом в сфере экономики. Эти трудности определяются множеством факторов социальной жизни:

- роли производственной бюрократии и государственного аппарата в системе социальных отношений;
- не существует универсальных критериев сравнения профессиональных сфер с точки зрения доли в них талантливых людей;
- не существует универсальных критериев сравнения цены и качества товаров и услуг с качеством жизни отдельных социальных групп;
- существует конфликт между процессами вертикальной и горизонтальной динамики социальных групп;
- либеральный постулат конкуренции (как наиболее эффективной социальной связи) не может быть использован для оценки социальных преобразований.

Эти трудности еще более усиливаются в сфере политики демократических стран.

Эталон демократии или инерционная политическая система? Для иллюстрации указанных трудностей А. Хиршман детально анализирует политическую традицию США – страны, которая традиционно считается эталоном демократии.

В этой стране право на разрыв социальных связей всегда обладало высоким статусом. Само существование США связано с множеством решений множества людей, которые предпочли уход из родных стран критике и попыткам улучшить в них положение. Эта традиция укрепилась и после конституирования США как независимой страны. Возможность разрыва в виде мифа о «диком и открытом Западе» стала моделью решения проблем индивидуальной жизни. Социальное кочевничество (разрыв связей и уход на новое место жительства) предпочиталось изменению обстоятельств, так что разрыв с прошлым заменил опыт европейских революций и стал предпосылкой политической демократии.

Политическая демократия в США начала вырастать из непосредственной демократии пионеров. В этой среде формировались первые социалистические требования и новые политические программы. Избирательный процесс расширялся за счет введения в него институтов непосредственной демократии (выдвижение сенаторов, референдум, гражданская инициатива, отзыв членов парламента, импичмент президента и т.д.). В данных институтах отразилось стремление сохранить образ жизни пионеров, который постепенно исчезал по мере заселения территорий и пограничных областей.

Но эта же традиция породила удивительный конформизм американцев, отмеченный уже А. Токвилем. Зачем вдаваться в споры, критику, наживать врагов и затруднять себе жизнь, если всегда можно «сняться с места» и уйти, едва оно перестало удовлетворять индивида? Миллионы и десятки миллионов американ-

цев предпочли такой образ жизни. В результате они становились равнодушными к любой среде обитания, общине и родине. После разрыва судьба брошенных мест и людей их уже не интересовала.

На этой почве возникала американская идея индивидуального успеха. Речь идет о социальной динамике особого типа. Она связана с вертикальными (по ступеням служебной и социальной карьеры) и горизонтальными (переселение в фешенебельные районы города) перемещениями. Индивидуальный успех стал основанием кристаллизации социальных групп. После этого начала культивироваться филантропия в отношении брошенных людей и топосов. Она еще более затруднила критику и усилила иждивенчество в американском обществе.

Негритянское движение отбросило традиционный образ индивидуальной динамики и сделало акцент на групповое продвижение. Уход выдающихся лиц из общины начал рассматриваться как ее ослабление. Перед разрывом возникли всевозможные ограничения. Однако групповое продвижение в США стало лишь переносом традиционализма в индустриальное общество. Такое продвижение напоминает образцы поведения в современной Африке и других развивающихся странах: в них ни разрыв, ни критика не приносят никаких результатов.

Групповое продвижение связано также с метисизацией, при которой индивиды участвуют в изменениях только в качестве члена группы. На такой основе возникали американские группы интересов. Сегодня они обладают ключевым значением в различных сферах социальной жизни и блокируют любые радикальные изменения.

Указанные феномены породили веру в разрыв как главный способ решения индивидуальных проблем. В свою очередь, эта вера способствовала слепому доверию к рынку, конкуренции и двухпартийной системе. «До тех пор, пока можно отказаться от покупки товара фирмы А и начать покупать товар конкурирующей фирмы В, – пишет А. Хиршман, – национальный романс с идеей разрыва продолжается». Однако разрыв породил собственную противоположность.

Бросая родину, эмигрант принимает трудное решение. Он вынужден порвать самые глубокие эмоциональные связи. Необходимость приспособления к новой среде требует дополнительного расхода сил и энергии. Речь идет о выработке искусственных эмоций – связей с новой родиной, поскольку за это заплачена большая цена. Брошенная родина все более теряет привлекательность. Новая все более идеализируется и выступает в качестве «последней надежды человечества». Поэтому слово «счастье» в американском сленге утратило глубокий смысл и отождествляется с довольством жизнью. Нынешняя Америка – страна довольных жизнью глубоко несчастных людей.

США были и остаются «страной последних шансов». Разрыв с нею для большинства немыслим. Такая ситуация определяет пределы социальной критики: если страну обвинять невозможно, то всякое недовольство требует от индивида принять еще одну пилюлю «приспособления». В этом случае критика мотивируется типично американским убеждением: все человеческие проблемы могут

быть решены путем улучшения социальных институтов. В результате либеральный индивидуализм – предпочтение экономических интересов гражданским добродетелям – завершается самым яростным социоцентризмом. Социальная критика вытекает уже не столько из стремления изменить существующие обстоятельства, сколько из сравнения их с воображаемым идеалом. Таким идеалом выступает «американская идея», легитимирующая тотальный конформизм.

Этот конформизм выражен и в политической системе США. Она основана на конкуренции двух партий и блокирует любые радикальные изменения. Недовольство положением дел в обществе преобразуется в недовольство правящей партией и потому теряет критический потенциал.

В последние десятилетия американские политики и парламентарии перестали пользоваться правом добровольного ухода в отставку из-за принципиального несогласия по тем или иным вопросам. Иначе говоря, мотив идеализации собственной страны преобразовался в отказ от разрыва с ее администрацией. В американском парламенте и сенате появился тип «официального критика». Он согласен выполнять эту роль только в качестве «члена команды», а не для выражения собственных взглядов и политического характера. Однако предвидимость критики сводит ее к нулю. А переход к критике означает, что реальная власть и влияние индивида заканчиваются. В итоге оппортунизм стал главной американской добродетелью. Члены правительства руководствуются неписаным правилом аппаратчика: противодействие проводимой политике не должно выставляться напоказ.

Таким образом, «самая демократическая страна» стала наиболее консервативной и бюрократической. Как известно, нынешний мир состоит из больших, средних и малых стран. Принадлежность к правительству и аппарату управления большой страны в наибольшей степени связана с вероятностью коррупции.

Американские политики и менеджеры подвержены еще одной бюрократической иллюзии: положение в обществе можно исправить только в том случае, если индивид принадлежит к правительству или администрации. На самом деле «... даже крохотная власть и влияние в сильной и большой стране коррумпируют в наибольшей степени». Уход в отставку по причине расхождения в принципах и методах исчез из американской политики потому, что уходящий оказывается без партийной поддержки и поддержки общественного мнения.

Указанные феномены отражают более мощную социально-экономическую тенденцию: конкуренция в странах с рыночной экономикой только укрепляет монополию. Действие механизма разрыва способствует появлению все большего числа требовательных, активных и инициативных членов общества. Но они вынуждены прибегать к критике только тогда, когда находятся в безвыходном положении.

А. Хиршман формулирует эту зависимость в виде социологического закона:

– при данной структуре социальной организации (комплекс социальных институтов и связей между ними) критика становится массовой только тогда, когда большинство индивидов находятся в безвыходном положении.

В этом случае выбор между разрывом и критикой становится просто предпочтением меньшего зла большему, хотя всегда трудно определить, что хуже – разрыв или критика. Конкуренция ведет к тому, что разрыв и критика начинают рассматриваться как неизбежное зло, а не как реализация свободы и творческих потенций личности.

Конкуренция выталкивает из социальных институтов наиболее последовательных и настойчивых клиентов. Если политическая власть отражает экономическую, то во властно-управленческих структурах господствует то же отношение к критике и разрыву, которое характерно для экономических структур: бездарные, неспособные, пассивные и ленивые индивиды эксплуатируют слабых и бедных индивидов. Такая экономическая система неэластична, но весьма устойчива. Она пронизывает подавляющее большинство организаций и институтов в сфере экономики. В этом случае бюрократизация экономической и политической власти становится опосредующим звеном между конкуренцией и монополией. Ленивые и пассивные монополии одобряют конкуренцию лишь потому, что она освобождает от усилий и критики.

Такие монополии типичны как для рыночной, так и управляемой экономики. Они обычно возникают в национализированных отраслях промышленности – военно-промышленный и энергетический комплексы, транспорт, связь, система образования, средства массовой информации. Ленивые пассивные монополии располагаются в таких социальных пространствах, где существует большое число подвижных клиентов, требовательных к качеству.

Ленивые и пассивные монополии существуют и в политических структурах. Например, правительства латиноамериканских стран вынуждают своих потенциальных критиков и соперников покинуть политическую сцену. Им предоставляется право эмиграции и выплачивается за рубежом пенсия выше, чем в родной стране.

В целом возможность разрыва деструктивно влияет на энергичную и творческую политическую жизнь. Разрыв ограничивает критику. Если же потенциальные и реальные критики находятся в безвыходной ситуации, то политические компромиссы отражают давление доминирующей стороны, а не являются следствием обоюдного консенсуса.

Наиболее показательным примером неожиданных последствий разрыва и критики является политическая система США. Она порождает политическую инерцию, в состав которой входят следующие феномены:

- неопределенность программ политических партий;
- движение партий к центру;
- радикализация политических требований вследствие бюрократизации партийного руководства.

Партии обычно положительно реагируют на критику, которая затрагивает практические вопросы. Но партии безразличны к критике политических программ. В результате программы становятся все более неопределенными и потому конкуренция между партиями все более лишается смысла. Чем более партии заключают соглашений между собой (в виде блоков и выдвижения совместных требований в отношении правительства), тем более они становятся чуждыми собственному электорату.

Движение партий к центру не способствует политической активности и последовательности граждан. Из партий выталкиваются наиболее последовательные и принципиальные индивиды. Партия центра – отражение ленивой и пассивной монополии на политической сцене.

Радикализация политических требований партий отражает избирательную конъюнктуру и бюрократизацию политического руководства. Руководство партий обычно не занимается управлением и не реагирует на падение популярности среди электората. Критика противников приобретает чисто инструментальное содержание. Она усиливается не от значимости социальных проблем, а зависит от периода между выборами. Чем больше этот период, тем больше «радикализация» политической конкуренции становится чисто вербальной. Стороны заинтересованы не столько в решении социальных проблем, сколько в победе над мнимым противником.

Таким образом, конкуренция в экономике и политике не может рассматриваться как норма экономических и политических процессов. Политическая традиция и система США не могут служить эталоном демократии. Демократия не в состоянии обеспечить оптимальное сочетание критики и разрыва, а только порождает неожиданные последствия. Нормативная модель демократии базируется на постулате о гражданине как активном участнике политического процесса. Однако в экономических и политических структурах стран таких граждан уже давно не существует. Эти структуры обеспечивают лишь политическую рутину и инерцию. Нормативная модель демократии давно уже стала элементом политической манипуляции. То же самое можно сказать о понятии «политического рынка», введенного для маскировки указанных процессов. Поэтому большинство членов современного общества руководствуется спасительным недоверием к любым пропагандируемым моделям.

Феномен «бессознательной лояльности». Промежуточный вывод А. Хиршмана однозначен: для осуществления социальных изменений требуется оптимальное сочетание критики и разрыва, но конкуренция в экономике и политике не в состоянии его обеспечить. Главной причиной инерции демократии является такое толкование лояльности (законопослушности), которое блокирует критику и разрыв одновременно.

Возможность порвать связи с конкретными формами общности выталкивает критику. Критика играет значительную роль в таких формах социальной организации, разрыв с которыми крайне затруднен. Речь идет о семье, клане, церкви и

государстве. Однако в данных формах социальной, религиозной и политической общности критика существует лишь в таких пределах, которые исключают радикальные преобразования. Взамен добровольного разрыва данные группы используют принудительное изгнание. Причем в большинстве случаев руководство указанных форм общности применяет принудительное изгнание по отношению к критикам и противникам.

Отсюда вытекает, прежде всего, вывод методологического характера:

- при описании политических традиций указанных форм социальной организации число и частота принудительных изгнаний могут составить особый предмет исторической и политической компаративистики.

Не менее важны политические модификации. Если руководство данных групп применяет принцип изгнания, то критика становится функцией лояльности.

Лояльность – это возможность отказа индивидов от определенности разрыва взамен за неопределенность надежды улучшить положение дел в данной социальной общности. А принцип надежды не поддается рационализации. Если индивиды хотя бы в малейшей степени руководствуются надеждой, то критика возрастает по мере роста лояльности. Наиболее критичные индивиды являются наиболее лояльными и наоборот. Если индивиды не могут освободиться от иррациональной надежды и не менее иррациональной сопричастности к семье, клану, церкви и государству, то они используются критикой как средством улучшения и усовершенствования данной общности.

Лояльность включает мотивы надежды и сопричастности и стимулирует критику. Но такая критика не выходит за пределы традиционной формулы патриотизма: «хорошая или плохая, но это моя страна». Достаточно напомнить, что на воротах Бухенвальда висел аналогичный лозунг: «Право или неправо, но это мое отечество». Так что чем более иррациональна лояльность, тем легче ее утилизировать.

Люди могут уходить в эмиграцию, но не в состоянии освободиться от чувственно-эмоциональных связей со страной происхождения и с указанным шаблоном патриотизма. В результате такой несвободы эмиграция не в состоянии породить принципиально новую систему политических идей, направленных на пересмотр данного шаблона.

В результате указанных феноменов различие между религиозной верой и политической лояльностью становится трудноуловимым. Отождествление того и другого приобретает статус «нормы» социальной и политической жизни.

Но так понятная лояльность и связанная с ней критика теряют смысл, если нормы начинают выводиться из сравнительного анализа государств и систем универсальных принципов – свободы, равенства, справедливости. Данные принципы никогда не могут быть полностью воплощены в жизнь ни в одной стране мира. Кроме того, на протяжении XX в. произошла дифференциация стран по критериям качества жизни, экономической эффективности, политической и духовной

свободы, возможности самореализации индивидов. Если расположить страны на этой шкале, то на вершине окажутся государства, не требующие ни иррациональной лояльности, ни патриотической идеологии. Внизу шкалы располагаются страны, транслирующие описанный тип лояльности и патриотизма. Потребность в нем наиболее сильна в маргинальных странах и направлена на удержание их целостности. И все же без традиционной лояльности уже можно обойтись.

Сравнение стран по качеству жизни и другим критериям – лишь первый этап на пути освобождения от всех элементов иррациональной лояльности и разработки новой теории лояльности.

По мнению А. Хиршмана, данная теория отражает процесс постепенного выравнивания стран по всем критериям модернизации. Так что проблема преждевременного расставания (разрыва) с той или иной страной может появиться только тогда, когда эти критерии станут примерно одинаковыми. Конечно, «утечка мозгов» и миграционные потоки фиксируют пока противоположную тенденцию. Если экстраполировать эту тенденцию в будущее, то новую лояльность можно определить как ключевое понятие для понимания конфликта между разрывом и критикой.

Рациональный смысл лояльности определяется тем, что она может сколь угодно долго удерживать индивидов в рамках определенных групп, организаций и стран. Но критерием рациональной лояльности становится освобождение от традиционной формулы патриотизма. Речь идет о массовом использовании населением решительной и последовательной критики в отношении любых форм общности. Для этого должны быть разработаны механизмы, свободные как от традиционной лояльности, так и тех форм разрыва и критики, которые характерны для экономики и политики демократических стран. Пример США может быть только отрицательным. Существующие в ней формы разрыва и критики не могут считаться «нормой». А по сути дела еще ни в одной стране мира не существует таких механизмов.

Рациональная лояльность содержит в себе возможность нелояльности. Лояльность в отношении любых социальных групп и институтов, претендующих на монополию в сфере экономики и политики, тоже не может считаться «нормой». Если социальная критика поддерживается возможностью разрыва, то ее шансы укрепляются. Но превращение данной возможности в действительность не должно быть легким. Особенно в тот момент, когда тенденция к монополии связана с ухудшением деятельности любых организационных структур, социальных институтов и государств.

Короче говоря, рациональная лояльность невозможна как при конкуренции, так и при монополии любой социальной группы, организации и института на экономическую, социальную, политическую и культурную деятельность.

Так понятая лояльность позволяет А. Хиршману зафиксировать моменты тождества тоталитарных и демократических политических систем:

- служебное и утилитарное отношение к критике и запрет разрыва на уровне государства;

- запрет критики на уровне отдельных производственных единиц в целых отраслях;

- культивирование бессознательной лояльности.

В тоталитарных системах правящие партии и государственные аппараты ограничивают критику общества и государства в целом. Критика может касаться только частностей. Осуществляется также регламентация экономического и социального поведения индивидов. Они привязываются к производственным организациям и месту жительства, а всякая миграция монополизируется государством. Устанавливается запрет на добровольный разрыв с государством – он квалифицируется как «измена родине».

В демократических системах критика и разрыв формально доступны для каждого. Однако внутренняя демократия на уровне производственных единиц и политических партий тоже невозможна. В результате индивиды не в состоянии изнутри бороться за изменение ситуации на предприятиях, в корпорациях и партиях. По отношению к недовольным руководство применяет принцип: «Не нравится – можешь уходить». Но тот же принцип применяется и в тоталитарных системах, особенно в период их трансформации.

В обеих системах существует бессознательная лояльность. На уровне отдельных организаций и государств она не позволяет критиковать данные организации и социальные и политические системы в целом. А разрыв с одной организацией и переход в другую ничего не меняет ни в той, ни в другой. То же самое можно сказать об эмиграции. К тому же возможности разрыва могут запрещаться конституциями демократических стран.

Следовательно, мера бессознательной лояльности может быть установлена только со стороны. Хотя никаких абсолютных критериев здесь не существует.

Но можно утверждать совершенно определенно: чем больше возможностей разрыва (формальная и процедурная демократия), тем больше барьеров перед развитием внутренней демократии. Это правило относится к абсолютному большинству организационных структур и социальных институтов, существующих в мире. Формальная (процедурная) демократия на уровне государства одновременно означает блокаду демократии на уровне производственных единиц, групп интересов, корпораций, политических партий и государственных аппаратов. Следовательно, сознательная лояльность, предполагающая использование критики и разрыва большинством населения, невозможна и при демократии. Организационные и институциональные структуры по-прежнему имеют решающее значение для диспропорции критики и разрыва.

Например, во всех странах мира существуют государственные структуры для поддержки лояльности – органы внутренних дел и безопасности, аппараты измерения справедливости. Но они не в состоянии обеспечить эффективную связь критики и разрыва, ограничивая и то и другое. В длительной перспективе

связь критики и разрыва полезна для всех производственных и социальных структур. Однако текущие интересы руководства толкают его к укреплению собственного положения за счет блокировки критики и разрыва. Поэтому государственные аппараты – прежде всего, главные государственные ведомства – обычно вырабатывают такие институциональные решения, которые противостоят интересам общества и государства в целом. Решить эту проблему до сих пор не удалось еще ни одному государству, даже самому демократическому. А по сути дела, ни одно из них и не бралось всерьез за ее решение.

В большинстве организационных структур используются два метода укрепления бессознательной лояльности: высокая цена за вход и выход из организации. Оба метода подавляют критику и запрещают разрыв. В итоге усиливается самообман общества во всех его организационных и институциональных структурах. Эти структуры только удлиняют время осознания экономических, социальных и политических проблем. Чем выше цена за вход в организацию, тем выше уровень индивидуального самообмана.

При этом вершины политических иерархий отличаются наибольшим самообманом. Как правило, они прибегают к критике в безвыходных ситуациях. А в таких ситуациях наибольшую активность проявляют как раз те, кто ранее отличался бессознательной лояльностью, был пассивен и доволен. Этим объясняется классическое правило «Революции пожирают своих собственных детей»: «Делая революцию, – резонирует Хиршман, – революционеры платят большую цену в виде риска, жертв и ориентации на одну-единственную цель. Когда революция совершена, появление разрыва между ожидаемым и реальным положением вещей более чем вероятно. Чтобы ликвидировать такой разрыв, те, кто заплатил наибольшую цену за установление нового порядка, ощущают наиболее сильную потребность опять его изменить. Для этого они вынуждены критиковать революционных товарищей, осуществляющих власть. В результате представители обоих лагерей погибают в развязанной борьбе». Это ведет к росту политической рутины в организационных и институциональных структурах стран, осуществивших революцию.

Кроме того, разрыв со страной обычно связан санкциями в отношении «отступников» и «изменников». Это способствует тому, что сама мысль о возможности разрыва подавляется. Формула традиционного патриотизма в этом случае модифицируется в кредо: «Чем хуже страна, тем больше она моя». Если внутренняя критика страны запрещается, то выбор критики или разрыва преобразуется в альтернативу внутренней или внешней критики. В этом пространстве и возникает потенциальная и реальная эмиграция, которая не в состоянии обойти данную альтернативу и предложить что-либо новое.

По отношению к критике А. Хиршман предлагает разделить все организации на два типа:

1. С нулевой ценой входа и большой ценой выхода, членами которых индивиды становятся в момент рождения. К таким организациям относятся семья, на-

ция, вероисповедная общность.

2. С большой ценой входа и выхода. К таким организациям принадлежат гангстерские группы, тоталитарные государства, политические партии и государственные аппараты.

В группах первого типа стимулируется критика как компенсация разрыва. Исторический опыт показывает, что такие группы являются наиболее устойчивыми.

В группах второго типа критика и разрыв подавляются или отодвигаются во времени. Руководство этих групп обычно вдохновляется либеральным мотивом «общего блага». На самом деле такое благо преобразуется в реальное общее зло, связанное с материальными и политическими интересами. Все ранее описанные модификации интересов способствуют укреплению такого зла. То же самое относится к мотиву престижа во внешней политике, от которого несвободны и демократические государства. Стремление к престижу обычно заканчивается позором на международной арене. Показательными примерами здесь являются поражения США во Вьетнаме, СССР в Афганистане, Югославии в Косово, России в Чечне и т.д. Военные и политические структуры государств в этом случае стремятся подавить разрыв силой. Следствия становятся еще более сокрушительными.

Иначе говоря, в группах второго типа грань между общим благом и общим злом делается неуловимой. А именно такие организации, группы и социальные институты были господствующими в мире на протяжении XX в. Поэтому понятие общего зла обладает значительно большим эвристическим потенциалом по сравнению с либеральной концепцией общего блага.

Кульминация бессознательной лояльности приходится на периоды распада данных групп, время которого пока определить невозможно. Хотя внешние признаки такого распада налицо (крушение мировой социалистической системы), указанные группы обнаруживают дьявольские способности трансформации. Неопределенность периода распада ведет к тому, что решение о разрыве с данными группами становится тем труднее, чем дольше индивиды его откладывают. В периоды распада таких групп среди наиболее «сознательных» членов становится популярным убеждение: надо «оставаться в рядах» для того, чтобы предотвратить группу от еще худшего исхода. Это убеждение транслирует оппортунизм и бессознательную лояльность в новые условия.

В конечном итоге А. Хиршман предлагает следующую типологию организационных структур, социальных групп и институтов:

- критика и разрыв допускаются в мелких предприятиях, добровольных обществах и партиях в многопартийных системах;

- критика и разрыв не допускаются в гангстерских и террористических группах, монопартиях, государственных аппаратах в тоталитарных системах;

- при конкуренции отдельные предприятия и корпорации допускают разрыв, но не допускают критики;

- семья, нация, церковь, государство допускают критику, но не допускают разрыва.

В этой типологии фиксируются только тенденции, которые нуждаются в историко-социологической конкретизации. В то же время данная типология служит главным аргументом против всякого теоретического и практического нормативизма. Любой механизм улучшения под влиянием времени преобразуется в механизм разложения. Руководство любых организационных структур, социальных групп и институтов всегда заинтересованы в том, чтобы превратить критику в «выпускание пара» и институционализировать ее. В современном обществе эту функцию выполняют парламенты и средства массовой информации. А механизм разрыва лишь отдаляет решение экономических, социальных и политических проблем.

Эти тенденции укрепляются бессознательной лояльностью членов любых организационных структур и большинства населения всех стран современного мира. Такая лояльность позволяет руководству всех уровней пользоваться любым методом по собственному произволу. А произвол лишь усиливает неопределенность и неожиданные следствия. При доминировании критики в тех или иных организационных структурах недооценивается разрыв и наоборот.

Таким образом, оптимальное сочетание критики и разрыва пока еще не найдено ни одной экономической, социальной и политической системой. Поэтому ни одна из них не может служить примером социальных изменений для других.

Резюме. Вернусь к вопросам, поставленным в начале этого затянувшегося доклада. Я специально предпочел реферативно-классификационный способ изложения для того, чтобы дать на них определенные ответы:

- в современной социальной науке существуют концепции, позволяющие дистанцироваться от представления о «нормальном» капитализме, с которым сравниваются другие социальные системы;

- теорию капитализма М. Вебера нельзя считать продуктивной при оценке социально-экономических трансформаций;

- интересы и социальные институты, сложившиеся в условиях европейского капитализма, не являются наиболее надежной формой таких трансформаций.

Однако точка зрения о существовании «нормального» капитализма, с которым могут сравниваться другие социально-экономические системы, распространена не только в России, но и в других странах Восточной Европы и современного мира. Поэтому я попытаюсь суммировать те положения концепции А. Хиршмана, которые имеют методологическое содержание. Я полагаю также, что эти выводы могут служить отправной точкой для дальнейшей дискуссии о специфике современного капитализма.

Подход А. Хиршмана может рассматриваться как развитие идеи М. Вебера о том, что любые социальные события и процессы являются непредвиденными следствиями ранее принятых решений. В частности М. Вебер показал, что никто

из создателей капитализма не стремился к его воплощению как некоего социального проекта. Вожди реформации разрабатывали протестантскую этику для достижения индивидуального спасения. В этой этике труд был мирским вариантом мирского аскетизма и преследовал трансцендентные цели. Если же люди ставят перед собой земные цели и реализуют их в традиционных формах общности, то возникает капитализм, в котором зло всегда господствует над добром.

А. Хиршман дает новую интерпретацию генезиса капитализма и его духа. Он показывает, что социальные болезни (кризисы, войны, революции) есть нормальное состояние общества и расплата за непоследовательность поведения индивидов и социальных институтов. Концепция «естественных прав человека» и вся парадигма социального познания Нового времени отражает данную непоследовательность. Но в настоящее время более важно не противопоставлять фигуры и концепции (Вебера – Марксу и т.п.), а изучать моменты общего между ними. Это нужно для установления последовательности взаимопереплетения социальных теорий, принадлежащих к различным идеологиям.

История социального знания Нового времени показывает, что все попытки создания новых теорий для усовершенствования управления обществом и государством заканчиваются крахом или ведут к неожиданным последствиям. Терминология социальных наук, возникших в Новое время, претендует на объективность и нейтральность. Однако в ней содержится аксиологически нагруженные понятия, причем оценки предшествуют выделению предмета теоретического исследования. Познавательные концепции современной социальной мысли связаны с нормативными постулатами. По этой причине социальное знание до сих пор не освободилось от христианского принципа Надежды. В значительной степени это объясняется тем, что социальное знание не разорвало все связи с господствующими группами. Ориентация на анализ поведения подвластных отражает сервилизм социальных наук.

Наиболее ярким примером указанных тенденций является категория интереса. Она все еще является базисом всей системы социальных наук и политики. Однако эта категория при использовании в экономическом, политическом и теоретическом языке может означать любое случайное содержание. Ссылка на интересы всегда содержит консервативный момент. Если даже экономические отношения и действия мотивированы религией и моралью, она не является нормой социального развития.

Квалификация материальных интересов как предвидимых, постоянных и безвредных ведет к неожиданным следствиям. Определение денег как наиболее сильной социальной связи есть наиболее опасная форма идеологии. Все теории социального развития и модернизации базируются на нормативных основаниях. Однако ни интересы, ни идеи, ни их констелляции не являются движущими силами социального развития. Доктрины гармонии интересов и равновесия сил есть разновидности идеологической аберрации.

Конкуренция тоже не может рассматриваться как норма социальных процессов. Она распадается на элементы критики и разрыва. Если экономические и политические мотивы поведения индивидов разорваны, то любая их связь снижает потенциал социальной критики. Это относится ко всем формам прямой и обратной детерминации и политического поведения. Снижение потенциала критики объясняется вытеснением наиболее активных и последовательных индивидов из любых форм социальной организации. Такое вытеснение соответствует интересам управленческих и государственных аппаратов.

Институционализация права на разрыв порождает социальный конформизм. Он выражается в стремлении к индивидуальному успеху, становлении групп интересов и групповом вертикальном и горизонтальном продвижении. При демократии социальное пространство критики ограничивается индивидами и группами, находящимися в безвыходном положении. Это тоже снижает потенциал критики и порождает ленивые монополии, бюрократизацию и инерцию политических систем. Тогда как связь критики с социальными общностями семьи, церкви, нации и государства порождает феномены «бессознательной лояльности» и патриотизма. Они делают неуловимым различие между демократией и тоталитаризмом.

Итак, социальные проблемы невозможно решить ни религиозными, ни моральными, ни экономическими, ни политическими средствами. Главной причиной такой невозможности являются социальные институты и группы, профессионально занятые в сфере экономики, религии, морали, политики и производства идеологий. Теория неожиданных последствий требует отбрасывания (радикальный вариант) или переосмысления (умеренный вариант) всей системы главных понятий и концепций, образующих парадигму социального мышления Нового времени. Представление о возникающих в связи с этим проблемах дает прилагаемый перевод одной из статей А. Хиршмана (см. приложение).

Как осуществить такое отбрасывание или переосмысление вообще и по отношению к истории и современному состоянию России в особенности? – на этот вопрос ни в зарубежной, ни в отечественной социальной науке ответа нет. Концепция А. Хиршмана позволяет его поставить. В заключение я хотел бы обратить внимание коллег и читателей лишь на один аспект данного вопроса.

Если упростить логику анализируемой концепции, то можно исходить из двух постулатов: в истории Европы главным злом была конкуренция в ее разновидностях гражданского общества и демократического государства; в истории России главным злом было и остается государство, поскольку оно всегда господствовало над материальными интересами и социальными институтами.

Для применения данных постулатов к объяснению современного капитализма в России требуется пересмотр практически всех схем социо-гуманитарных знаний. Я думаю, эта задача намного интереснее и продуктивнее, нежели применение к современной России схем из теоретического чулана Европы.

Вопрос из зала: Виктор Павлович, вы серьезно относитесь к термину «капитализм»?

В.П.Макаренко: Я отношусь к нему как к одному из терминов словаря социальных наук, политического языка. Но капитализм может означать и нечто совершенно другое. Сейчас целая издательская серия возникла «Территория будущего». Там опубликована книга Д.Арриги, готовят к переводу Р.Бреннера. Там есть интересные вещи. Мы же, когда произносим слово *капитализм*, – имеем в виду преимущественно Маркса, может быть немного Вебера. Уже двадцать лет на него ссылаются, но «Экономика и общество» до сих пор не переведена. Только фрагменты из нее. Между тем в современных теориях капитализма сокрушительная полемика идет с теорией Макса Вебера, а не только с Марксом. Почему? Потому что многие ученые отвергают веберовскую идею: капитализм может возникнуть только в протестантских странах, а в католических странах не возникает. Некоторые вводят терминологию отцо-центричный, матере-центричный капитализм. Есть очень интересные новые теории капитализма, которые нуждаются в освоении. А всерьез или нет я отношусь к термину – это малоинтересно. Термин есть в сознании массовом, сознании управленцев, политиков, теоретиков. Приходится относиться всерьез.

Вопрос из зала: Но ведь остались господа и рабы…

В.П.Макаренко: Вы меня заставляете выступать в виде идеолога, а я никогда с этой ролью не был согласен. Зачем же мне ставить вопросы, которые я не затрагивал? И Борис тоже не обсуждал. Если бы мы здесь претендовали на создание какой-нибудь вшивой доктрины множества смрадных партий или государств, – тогда другое дело. Повторяю, что в социальном бытии, в социальной практике творится каша. Мы ее наблюдаем непосредственно.

Я студентам читал Вебера в 1978 году, и всё это мне более-менее известно. Но цензура не пропустила мою книгу о Вебере, я написал диссертацию по Марксу. Кто читал мою книгу «Проблема общего зла»? Вот, два-три человека. А нас здесь больше тридцати. Так что дело не во мне. Вспомню один случай. В 1990 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС собрали человек 300 обществоведов. Там выступал уже покойный Вадим Загладин, излагал доктрину «Новое мышление для СССР и для всего мира». Я ему публично тогда говорил, что это бред. И даже написал книжку, но тут М.С. Горбачева скинули. Поэтому книгу я не опубликовал – нехорошо бить лежачего. Зато люди типа Егора Гайдара, претендующие на роль властителей дум, начали публично жевать то, что было известно 150 лет тому назад, вместо обсуждения новейших публикаций. Итог известен.

Б.Г.Капустин: Я этот вопрос считаю легитимным. Это вопрос о смыслах, кантовская триада трех вопросов, которая конституирует всю философию. Вопрос «на что надеяться»? Мне кажется, если науки о людях отказываются отвечать на третий вопрос, они себя дезавуируют полностью. Иными словами: любое социальное знание не может не реализовывать две функции. Одна функция

когнитивная, мы должны разобраться в том мире, где мы живем. Другая – функция смыслообразования. Любое позитивистско-ориентированное знание будет открещиваться от второй функции, говоря, что это презренная философия и метафизика. Это очередной вариант позитивистской «лапши на уши» – ведь смыслообразование делается любым высказыванием о делах людей и об истории. Даже если мы будем как верные позитивисты от этого открещиваться. Помните, как у Канта, в «Критике чистого разума»: неужели философия может претендовать на открытие истин, которые составляют интерес всех людей без исключения? Неужели философия может иметь (наглость. – Б.Г. Капустин) следовать иным путем, чем тот, который открыт самому обыденному разуму? Вот современная парадигма, задаваемая Кантом. Любая философия есть не более чем систематизированная артикуляция обыденного разума. Отсюда три вопроса, включая вопрос Ваш, совершенно легитимный вопрос. А зачем нам вообще бороться? Какой смысл бороться против какого-то гнета, если мы знаем, что не победит этот гнет, возникнет обязательно другой? Конечно, было бы наивным рационалистическим прогрессизмом, думать, что тот вид гнета, который возникнет завтра, он будет лучше, чем сегодняшний. Такая наивная позиция постепенно нарастающего гнета очень метафизична, потому что она применяет разные оценки гнета к человеку сегодняшнему. Если мы говорим, что капитализм лучше феодального гнета – это полная ерунда. Капитализм может быть более мерзостным обществом, чем восточная деспотия. А почему нет? У нас ведь реактивизируются современные точки отсчета. Ваш вопрос ключевой в современной политике. Потому что эта функция провалилась катастрофически, в том числе в критической теории. Лукач еще пытался как-то с ней справиться. Но когда Хабермас черным по белому пишет, что современная теоретическая мораль – это знание о принципах и формах конструирования морального суждения, а не моральное долженствование. Мораль уже не говорит, как жить. Она не говорит о том, что должно. Она говорит о том, как логически конструировать моральные суждения. Левые интеллектуалы принципиально отказываются выполнять эту функцию. Когда родная российская власть изничтожает целенаправленно академию, она, как ни странно, права, в этой зверской логике: если вы ничего не можете сказать обществу, для чего вообще вам платить? За ваше вопиющее тунеядство. Вам интересно копаться в чем-то и вы еще хотите, чтобы вам за это деньги платили. Т.е., вы затронули нерв социально-политической мысли. Это действительно колоссальная трагедия. Понятно, что самые удовлетворенные животные позитивистского типа – это одно. Но те, которые рефлексируют себя в ситуации, соотносят себя с какой-то аудиторией, пусть исчезающей, если еще такие люди остались – они не могут не ставить этот вопрос. А зачем? Найти смысл освобождения, зная, что этого окончательно триумфа свободы не будет, – это вообще самая большая этическая проблема, которая есть в социальном знании. Пусть и абсурдная. А каков результат – не сейчас решать. Но только

без решения этого вопроса социальная наука не может быть жизнеспособной и никогда точно не оправдает своего существования в глазах общества. Вот в этом я абсолютно уверен.

В.В.Вольчик: Я как экономист не мог не задать Вам вопроса, Борис Гурьевич. Читая Вашу книгу, я обратил внимание, как Вы подробно писали о Хайеке, что реформы в России 1990-х годов были антихайековские. Т.е., Вы – не либерал, но очень интересно написали о Хайеке. Действительно, есть такие понятия, которые от своей многозначности становятся бессмысленными. Например: капитализм, либерализм, развитие. Говоря о либерализме, многие за словесами не понимают сути. Наши реформы 1990-х годов называют либеральными, хотя они либеральными не были. Хайек назвал это интервенционизмом – государство оккупирует общество. Тут другая проблема возникает. Дело в том, что экономисты всегда тяготеют к обычным вещам, в отличие от философских многозначных вещей. Форм координации не очень много. Они были известны древним грекам, известны нам. Более того, рыночный обмен никак не может обойти проблему либерализма, проблему свободы. Вот тут и капитализм, и то общество, которое существует с этим рыночным обменом, мы никуда от него не уйдем. И эти институты.

Вопрос Виктору Павловичу. Говоря об интересе, я бы повернул от Норта на символ. Общество создает такие символы, которые позволяют развиваться рыночным обменам и другим социальным институтам, которые вырастают на этом.

В.П.Макаренко: Со вторым тезисом я согласен. Дело в том, что как раз концепт неожиданных последствий входит в состав теории Дугласа Норта. И он определяет как раз то, что называет аномалией. Но я не имею окончательного ответа на вопрос: был ли Дуглас Норт детерминистом? Его можно истолковать как детерминиста, если иметь в виду институты или цельности. Но тогда возникает следующий вопрос: разделял ли он это противопоставление? Можно считать Дугласа Норта представителем теории неожиданных последствий на основании сравнительного анализа его категории зависимости от траектории предшествующего развития и аномалии. Но это упрощение. Мы еще будем заниматься его решением.

Б.Г.Капустин: Я говорил, что либерализм исторически возник как первое осмысление проблематики современности и дал потрясающую трактовку современности, на которую реагируют другие. Если мы хотим понять идеологию, нам нужно понять некий модуль, не либерализм, не марксизм, а их историю. В этом ужас преподавания истории КПСС или истории марксизма, как было в советское время. Нужно понять модуль. Ныне либерализм, консерватизм и марксизм – три основные идеологические течения, которые внутри бесконечно дробятся. Т.е., нужна логика модуля, а не лобовая конфронтация либерализма и марксизма. Это первое.

Вопрос из зала: А разве в марксизме не было современности? Чем отличается понятие современности в марксизме от понятия современности в либерализме?

Б.Г.Капустин: К этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас отвечу на предыдущий. Была в высшей степени интересная книжка И.Берлина, она, по-моему, вышла в 1990-м году с прямой цитатой из «Манифеста коммунистической партии». Чем классическая марксистская формулировка современности отличается от либеральной? Я думаю, это самоочевидно. Для любых либералов (утилитаристского или естественно-правового направления) современный строй – это и есть современность. За ее границами мы ничего не можем сказать. Современность осуществлена. В прошедшем времени мы можем сказать: «мы наблюдаем современность». Для либерала современность осуществлена. Для марксиста современность – это что? Для него капитализм – это предыстория. История еще должна начаться. Современность – это та история, которая должна начаться. Поэтому если мы современность не отождествляем с сейчастностью, совершенно антифилософским образом, а как некую культурную ситуацию, то получится, что у марксизма и либерализма будет прямо противоположное понимание современности.

Вопрос из зала: Тогда получается, что они масштабом только и отличаются. Марксизм это осуществление еще предполагает. А в либерализме проекты – это то, что человек делает здесь и сейчас.

Б.Г.Капустин: Здесь есть один существенный момент. Если мы говорим о классическом марксизме в смысле «Критики Готской программы» – это, действительно, некий проект. Современность мы еще должны осуществить. Возникает вопрос: если взглянуть на современную ситуацию, – что есть марксизм? Марксизм есть философия посткапитализма. Один вариант. Или марксизм есть философия альтернативы капитализму здесь и сейчас. Марксизм никак не посткапитализм. Вот это совершенно другой подход. И тогда марксизм становится не вне программы какого-то будущего, которое нужно достичь, а то, что нужно делать сегодня и сейчас. И тут возникает то, что, может быть, я в суматохе не сказал внятно: если мы капитализм отождествляем с современностью, то тогда чтобы не выступало под капитализмом, гендерное движение, или экологическое движение, все альтернативы капитализму теряют значение. Они в лучшем случае будут выглядеть, как и у Хаейка, призывами к спонтанному порядку, какими-то зигзагами, которые в лучшем случае разрушают естественную спонтанность, а в худшем это уже интервенция, если не тоталитаризм. Имея в виду эту оппозицию сделанного порядка и естественного порядка. Мне более интересна та интерпретация марксизма, которая помогает осмыслить альтернативу сегодня. Не капитализм современности, а не посткапитализм как проект будущего. Теперь к Вашему вопросу. Версий либерализма много, не надо общий знаменатель искать. Есть совершенно не рационалистическая версия либерализма. Антиреалистическая философия – философия спонтанности, филосо-

фия непредсказуемости. Капитализм – это случайность истории. Насколько я терпеть не могу доморощенный либерализм гайдаровского типа.

Без борьбы с капитализмом рынок невозможен. Это цитата из Адама Смита. Должен быть баланс социальных сил. Власть ничья. Что такое демократия? Это пустое место власти. Для того чтобы был спонтанный порядок, капиталисты ни в коем случае не должны обладать властью. Мысль классика либеральной экономики в ушах наших записных либералов есть большевизм. Когда я понял, что на этом уровне идет дискуссия с нашими либералами, я понял, что уже нужно хотя бы за просвещение бороться.

Насчет спонтанного порядка. Очень кратко. Едва мы упоминаем идею о непреднамеренных следствиях, как сразу имеем дело с определенным либерализмом. Это Шотландская школа, «хитрость разума». У Локка и Дж. Ролса не будет «светоча разума». Значит, мы имеем дело с определенной моделью либерализма, идущей от шотландской школы. Я считаю, что Гегель и Маркс вырастают из идеи непреднамеренных следствий. Маркс сам признает свой долг английским политэкономам. Он пишет: «Что есть политэкономия – единственная современная наука». Тут вроде бы марксизм должен признать свой долг. Марксизм сырой, тут, наверное, Лукач прав был, вот эта логика непреднамеренных следствий, принципиальная темнота истории. От того, что мы уяснили, что у нас полная темнота, это не добавляет света. Мы еще больше теряемся. Парадокс истории – Юм и Смит показали, что нам нужна воля. Без воли мы бездействуем, у нас не будет непреднамеренных следствий. И если бы эта скептическая философия реализовалась на уровне обыденного сознания, она бы убила саму историю. Считая, что любые действия бесплодны, мы не будем действовать, у нас не будет непреднамеренных следствий. Мы должны выйти к полностью транспарентному и рациональному обществу, где не будет этой логики. Выход из предыстории в историю – это есть выход из логики непреднамеренных следствий. К логике рационально упорядоченного общества, транспарентности. Отсюда этот тотальный пролетарский субъект. Суть этого субъекта – вбирать в себя объект. Только пролетариат есть субъект-объектное тождество. Он и устраивает полностью транспарентное общество. На мой взгляд, критика марксизма должна позволить нам понять ситуацию, в которой мы живем. Полностью упорядоченное общество – это и есть кантовское царство цели. Оно недосягаемо. Невозможность достижения этого идеала показала актуальность марксизма здесь и сейчас.

Вопрос из зала: Как вы оцениваете постмодернизм?

Б.Г.Капустин: Действительно, мы сегодня ни разу не использовали термин «постмодернизм». Зигмунт Бауман сказал так, что постмодерн можно рассматривать как изменение ментальности (в духе Лиотара). Крах метанарративов, возникновение нового многобожия – дискурсивных сообществ. Которые уже не пересекаются и каждый говорит на своем приватном языке. Бауман пишет об эстетской версии постмодернизма, но возможна и социология. Описать

это новое явление не на уровне структур сознания и каких-то эстетских и квазифилософских дискурсов, а описать на уровне трансформации институтов. Т.е. постсовременность как социологически уловимая реальность. Для меня это всё разговоры типа «бла-бла». Знаете почему? Вы задали вопрос: можно ли капитализм воспринимать серьезно? А что же мы бедные будем делать, если будем несерьезно его воспринимать? Постсовременность или что угодно, она отменила логику накопления или нет? Рабочая сила перестала быть товаром или не перестала? Лиотар замечательно написал книжку о крахе двух метанарративов: марксистского и либерального. Но он не ответил на один вопрос: у нас нет явления коммодификации? Ни Лиотар, ни Бодрийяр не сказали о крахе капитализма. Я считаю постановку вопроса некорректной, поэтому я не говорил о постсовременности ничего.

В.А.Шкуратов: Сформировалось некоторое пространство анахронизмов. Существует большое количество схем, в которых мы запутываемся. А вот мы эти наличные схемы берем и ставим в таком порядке потому, что они есть наше пространство. Может быть наоборот. По Гесиоду, в древней Греции была почти протестантская этика. А в имперском Риме было общество потребления. А сформировалось некоторое пространство. Повторяю, это дело постмодерна. Постмодерн произвел на самом деле революцию, которая не замечена. Он размонтировал большое историческое время. Как оно мучительно… Через него проходит момент истории. Громадный момент истории, поскольку ситуация, в которой человек проходит события – это настоящее. А марксизм – это будущность, либерализм – настоящее. И мы всем этим нагрузим человека. История в современном понимании трагична. Мы видим, когда на смену истории переживания (темпоралистике, по Сартру) приходится постулировать, где история уже не является переживанием, не является болью. А имеет ли это какое-то социальное основание? Имеет. Потому что сформировался уже большой слой населения, которому наши накаленные идеологические и терминологические дискуссии, как говорится «на фига». Они живут в другом времени. Это время уже имеет название «сетевая социальность». Люди говорят по мобильному телефону. Они не выстраиваются в некую линейную последовательность. Об этом уже написана масса книг. Это иное общество, для которого наша терминология и споры уже не имеют смысла. Мы пишем длинные трактаты без картинок. Без гиперссылок. Молодежь так не читает. Она не читает длинных трактатов и не втягивается в сюжет. Она не втягивается в большие нарративы. У нее укороченные нарративы и у нее видеодигма. Культура образа, объясняющий образ. В какой степени мы включаемся в эту культуру? – это, конечно, наша судьба. Наша судьба гуманитарной культуры. Гуманитарная культура – это большие сюжеты.

Вопрос из зала: Видеодигма сложнее в изучении, чем Сартр, Гегель? Или проще?

В.А.Шкуратов: Да и нет.

Вопрос из зала: Что значит да и нет?

Б.Г.Капустин: Коллега затронул очень интересный вопрос. Что мы можем сделать на уровне прикладных технологий, в том числе и политических, чтобы те люди, которые идут нам на смену, не общались только на уровне видеоигр? Подумайте о форме подачи. Нужно поиграть на их языке. Потому что я уважаю марксизм. А если мы обыграем идею (шумно, не понятно).

Г.В.Драч: У нас сегодня чрезвычайно интересная встреча. В марксизме было нечто такое, что давало уверенность в осознании процесса. В индивидуальной, групповой идентификации. Никогда не забуду выступлений Ю.А. Жданова. Мы были внутри ситуации, которая вполне укладывалась в русло гегельянства и марксизма. Мы внутри этой ситуации. Мы нуждались в такой саморефлексии. Что касается сегодняшнего дня: мы должны считаться с реалиями, которые диктуются не интеллектуалами. Это претензия на выживание. Мы тоже обязаны обеспечить себе право на выживание. Постмодернизм – это практически холодный душ на наш опыт. Сегодняшняя дискуссия для меня показалась крайне интересной тем, что затронула важнейшие концептуальные основы теоретического видения, причем и философии политики и философии как таковой. Встреча наша была крайне интересной. Резюме: мы все попали в ситуацию фронесиса. Что такое субъект фронесиса?

Б.Г.Капустин: Я сейчас подумал вот о чем. В последних репликах, выступлениях, вопросах есть много интересного. Одно ваше выступление чего стоит – зафиксировал шесть позиций, на которые мне нужно было бы отреагировать. Уже нет времени. Отвечать на эти вопросы я не смогу. С одной стороны плохо, есть ощущение недосказанности, а с другой стороны, только такие дискуссии, которые заканчиваются вопросами – они настоящие. Огромное вам спасибо за дискуссию, которая окончилась вопросами.

В.П.Макаренко: Благодарю всех за работу. Борис Гурьевич дал согласие на публикацию его книги на нашем сайте. Борис, очень тебе благодарны за участие. Спасибо приехавшим немногочисленным, но очень для нас значимым гостям. Спасибо молодежи. Повестка дня исчерпана.

ПЕРСПЕКТИВА ПРИХОДСКОЙ КОЛОКОЛЬНИ ПРОТИВ СТАТУИ СВОБОДЫ: К ПОЛЕМИКЕ МЕЖДУ КОММУНИТАРИСТАМИ И РОЛЗОВЦАМИ

С.Г. Чукин
Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России

«Философия, - продолжал Пигасов, - высшая точка зрения! Вот еще смерть моя, эти высшие точки зрения. И что можно увидеть сверху? Небось, коли захочешь лошадь купить, не с колончи на неё смотреть станешь!»

И.С. Тургенев. Рудин

Последняя четверть двадцатого века ознаменовалась для философии двумя событиями, которые повлияли на её дальнейшее развитие, стали своеобразной точкой бифуркации. Но если о первом из них, – постмодернизме, – написаны горы литературы, работы западных гуру постмодерна переведены на русский язык, а быть постмодернистом до недавнего времени считалось очень модным, то второе осталось почти незамеченным российским философским сообществом. Речь идет о дебатах, развернувшихся вокруг книги американского философа Джона Ролза «Теория справедливости» и приведших к оформлению коммунитаризма – популярного на Западе социально-философского течения, в рамках которого предпринимаются попытки создания нормативной теории общества. Постмодернизм и коммунитаризм – это разные способы реакции на одну и ту же особенность западной культуры – тотализирующий универсализм. Постмодернисты (постструктуралисты) выступили с убийственной критикой «проекта модерна», обвинив его в том, что он явился, по сути, философской основой тоталитаризма всех мастей. Причем этот тоталитаризм, как настойчиво утверждали М. Фуко, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, был «запрограммирован» в новоевропейском разуме, явился неизбежным следствием его природы. Отсюда вывод: разум – это власть, насилие, диктат общего над единичным, целого над частью. Спасением от этих напастей может быть только отказ от разума как верховной инстанции и признание радикальной гетерогенности мира, плюрализма рациональностей как единственно нормального состояния бытия.

Коммунитаризм единодушен с постмодернизмом в том, что современные общества переживают кризис, проявляющийся в десолидаризации, утрате идентичности, источников легитимации и в разрушении общих ценностей. Причину этого кризиса он усматривает в идеологии либерализма и неолиберализма с её ядром – индивидуализмом. Коммунитаристы так же, как и постмодернисты, призывают к отказу от всеохватывающих социальных форм и ратуют за реанимацию статуса и ценностей сообщества (community). Но, в отличие от постмодернистов, они не пользуются техникой деконструкции, составляющей основу методологии последних, и, более того, они признают формирующую, то есть, по сути, тотализирующую функцию сообществ по отношению к индивиду. А это – «красная тряпка» для любого, мало-мальски себя уважающего постмодерниста.

Постмодернисты и коммунитаристы сходятся в главном – в толковании разума. О постмодернистской критике разума сказано много. Результирующая этой критики такова: единого, всеохватывающего разума, выступающего в качестве общего знаменателя, третейской инстанции, мета-дискурса – не существует. Жизнь на самом деле представлена множеством отдельных типов рациональности, имеющих собственные истоки, логику функционирования и развития и цель. Между собой эти типы рациональности могут связываться лишь произвольно, ситуационно, и их отношения являются координирующими, а не субординирующими. Для обоснования своего диагноза постмодернисты ссылаются на историю разума и на результаты его опредмечивания: кризис современного мира есть, по их мнению, следствие господства так называемых «мета-нарративов», в число которых включается идеология Просвещения, гегелевский историзм и марксизм. Любые «-измы» – это попытка монополизации права на истину, которая, на самом деле, по справедливости, должна быть объектом свободной конкуренции. Появление постмодернизма было следствием длительной истории и традиции критики разума, которая началась еще с Ницше, а вехами стали «Идеология Просвещения» Адорно и Хоркхаймера, работы позднего Фуко и других французский постструктуралистов. То, что выплеснулось на поверхность в 80-90-е годы – вполне ожидаемый результат.

Коммунитаристы также критикуют разум, но делают это по другой причине. Для них он ассоциируется с ясностью, прозрачностью, калькулируемостью жизни, её «расколдовыванием». Разум выступает в качестве средства установления господства над жизнью через её прояснение и, в определенном смысле – упрощение. Логика рационализации приводит к выявлению предельного единичного объекта, который понятен, предсказуем, доступен манипулированию. В обществе таким объектом является индивид, который выступает в качестве основания общественной жизни, её «кирпичика». Вся общественная жизнь строится этим сознательным и самодостаточным индивидом как форма совместной жизни, нацеленная на обеспечение частных интересов. Права и свободы такого индивида образуют исходный пункт и цель политико-правовой

доктрины либерализма, господствовавшей на Западе в течение последних трехсот лет, но в середине XX века столкнувшейся с серьезными теоретическими и практическими трудностями. Коммунитаристы видят главную теоретическую проблему либерализма в слабости его социальной теории, в которой почти не просматривается связь с онтологией общественной жизни, а социально-философский дискурс подменен социологическим. Как следствие – игнорирование нормативных структур, исключение ценностей из состава обществообразующих факторов. Это привело к кризису справедливости, которую коммунитаристы считают «цементом» общественной жизни.

Справедливость явилась кончиком нити, потянув за который коммунитаристы поставили амбициозную задачу распутать весь клубок общественных проблем. О результатах можно спорить, однако бесспорным является то, что дискуссия между ними и приверженцами либерального проекта способствовала переходу обществознания на более высокий уровень в понимании и постановке проблем постсовременного общества.

Предыстория. Проект Ролза

Коммунитаризм появился как «незапланированный ребенок» дискуссии, которая, с разной степенью активности, с 30-х годов XX столетия, велась в западной либеральной мысли по вопросу о границах государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Джон Кейнс настаивал на том, что государство во время рецессии должно усиливать свои функции, а также более активно влиять на распределение общих благ. Милтон Фридман утверждал, что именно это привело к дискредитации либерализма, поскольку на него стали возлагать ответственность за чрезмерную централизацию, сопровождавшуюся усилением бюрократии и ростом коррупции. Фридман предложил возвратиться к модели действительно либерального государства, которое придерживалось бы задач, сформулированных еще Локком, а именно: защите свободы в строго определенных и ограниченных рамках, особенному вниманию к тем, кто не может действовать самостоятельно и ответственно. Вмешательство в экономику, по Фридману, оправдано лишь в том случае, если оно преследует цель защиты рыночной свободы, в частности, от монополизма.

Особую роль в указанной дискуссии сыграла книга Джона Ролза «Теория справедливости», которую он опубликовал в 1971 году[1]. За короткое время она оказала сильнейшее влияние на практическую философию в США, а затем в Европе, и способствовала оформлению коммунитаризма. Учитывая проблемы, переживаемые современным либерализмом, Ролз предложил обновленные теоретические основы либеральной демократии, уделив большое внимание социальным вопросам. Он исходил из того, что важнейшей добродетелью социальных институтов является справедливость, и именно кризис в её понимании и

[1] Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, Harvard University Press, 1971. - Русский перевод: Ролз Дж. Теория справедливости. Пер. с англ. В.В.Целищева. - Новосибирск.: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995.

институциализации лежит в основе трудностей, переживаемых либерализмом. Не вдаваясь в разбор многочисленных концепций справедливости, Ролз отталкивается от традиции общественного договора и задается вопросом: какое социально-политическое устройство выберут люди, если будут решать свободно и беспристрастно?

В качестве предпосылки для действительно свободного решения Ролз предложил сценарий собрания, в котором каждый его участник будет находиться под так называемой «пеленой неведения». То есть, он будет выбирать, не зная, кто он такой: мужчина или женщина, богатый или бедный, здоровый или инвалид, светлокожий или африканец. При этом он будет обладать одинаковыми с другими знаниями об основополагающих принципах хозяйственной организации, устройстве общества, политической и правовой жизни. Ролз хотел показать, что общества, созданные при соблюдении указанных условий, с высокой степенью вероятности будут справедливыми. В первую очередь эта надежда основывалась на том, что партикулярные интересы тех, кто обладает правом на принятие решения, игнорируются, а за основу выбора берутся универсальные ценности. Предметом выбора являются социальные институты и их взаимодействия, права и обязанности отдельных лиц и распределение благ среди тех, кто участвует в общественной жизни. Иными словами, речь идет об основных структурах общества. Принудительно предписывается только форма, в которой предлагаются эти основные структуры: первым шагом к справедливому обществу является установление публично признанных высших принципов, которые имеют значение для всех и всегда. Ролз называет это публично признанной концепцией справедливости.

Находясь под «пеленой неведения» участники договора согласны в том, что население, в подавляющей массе, интересуется главным образом своими собственными делами и довольно существующей концепцией справедливости, поскольку проблема распределения в ситуации умеренного дефицита благ решается вполне удовлетворительно. Кроме того, в распоряжении участников имеется набор концепций справедливости, из которых они могут выбирать. Это:

- концепция самого Ролза;
- классические теории справедливости, среди которых особенно выделен утилитаризм;
- концепции, в которых утилитаристские идеи смешаны с либертианскими;
- интуитивистские и эгоистические концепции.

Ролз рассматривает три стратегии, которые могут поспособствовать выбору из этих возможностей:

- стратегия «максимина», ведущая к выбору лучшей альтернативы из худших;
- стратегия «максимакса», позволяющая выбрать из хороших альтернатив лучшую;
- стратегия максимизации пользы, в соответствии с которой результаты реализации той или иной альтернативы тщательно взвешиваются, и на основании этого предлагается результирующая.

Стратегия максимина связана с определенными рисками: участник договора может, к примеру, решить в пользу абсолютной монархии, поскольку не исключено, что он сам станет монархом. И при этом проигнорировать то обстоятельство, что при абсолютизме только один единственный человек обладает всей полнотой власти, а все остальные – подданные. Против стратегии максимизации пользы говорит то, что истинность и ценность результата вряд ли могут быть точно взвешены. Тем более, что консервативно настроенных людей отпугивают возможные риски.

Таким образом, остается стратегия «максимакса». Применяя её, Ролз выбрал два принципа, составляющих основу публично признанной концепции справедливости:

- принцип равенства, устанавливающий, что каждый человек имеет одинаковые с другими основные права и свободы;
- принцип различия, допускающий экономическое и социальное неравенство лишь при двух условиях: во-первых, оно должно быть связано с должностями и позициями, которые открыты для всех при условии честного равенства шансов, и, во-вторых, оно должно вести к выгоде наименее преуспевших членов общества.

В обобщенном виде это выглядит так: Все первичные блага общества, – свобода и возможность благополучия и богатства, а также право на самоуважение, – должны быть распределены равно, если неравное распределение одного или нескольких из этих благ не идет на пользу кому-либо из обездоленных.

Ролз утверждал, что указанные принципы надежны в исполнении, так как они ни для кого не являются непосильными, и скорее поддерживают людей, поскольку ведут к благу отдельного человека. Кроме того, эти принципы гарантируют каждому самоуважение и улучшают социальную кооперацию. Он считал свою теорию интуитивно понятной: предложенные принципы распределения общих благ являются очевидными каждому, поскольку объясняют, почему лучше довольствоваться меньшим, и почему большее не всегда является лучшим.

После установления принципов справедливости «пелена неведения» частично спадает, появляются политические, экономические и правовые знания, позволяющие создать конституцию. По мере расширения и углубления знаний,

«пелена неведения» спадает полностью, и жизнь продолжается в новых общественных формах.

Коммунитаристская альтернатива

Первые десять лет обсуждение ролзовской концепции сводилось, в основном, к восторженным комментариям, прояснению и популяризации её базисных положений. Была, конечно же, и критика: соратники по партии – неолибералы и либертианцы – упрекали Ролза в том, что он слишком упрощенно трактует общие блага, понимая их как «с неба упавшую манну» и допуская существенное вмешательство в права собственности. Но это был, так сказать, внутрисемейный спор. Ситуация изменилась после того, как Майкл Сэндел в 1982 году опубликовал книгу «Либерализм и пределы справедливости», в которой содержалась очень жесткая критика Ролза[2]. Она была направлена на онтологические и методологические основы его теории, и велась с внешних по отношению к либерализму позиций. Затем, с небольшим разрывом во времени появляются работы Алесдаира Макинтайра, Чарльза Тейлора и Майкла Уолцера, направленность и содержание которых перекликалось с исследованием Сэндела, и позволило позже объединить их под общим названием «коммунитаристов». Основанием для такого наименования стала убежденность указанных авторов в том, что только будучи членом языкового, этнического, религиозного, культурного сообщества (community), человек в состоянии отыскать и сформулировать работающие принципы справедливости. В сообществе господствуют определенные, разделяемые всеми его членами ценности, моральные представления и традиции, а также общая концепция блага, которые должны быть «имплантированы» в состав концепции справедливости. Ролз и его последователи, которых я называю «ролзовцами», напротив, считали, что в современной ситуации радикального ценностного (культурного) плюрализма только всеобщий принцип равных прав, свободы и возможностей может служить в качестве нормативного масштаба, с которым должна соизмеряться общественная справедливость.

Майкл Сэндел о «несвязанной Самости»

Сэндел начинает свою критику с напоминания о том, что либерализм, на поддержание которого направлен проект Ролза, придает особое значение справедливости, честности и индивидуальным правам. При этом, под справедливым обществом понимается такое, которое не пытается навязывать своим членам определенные ценности, цели и требования, а создает для них возможность следовать своим целям, при условии, что те согласуются со свободой всех. Поэтому принципы, которыми регулируется либеральное общество, не предполагают

[2] Sandel M. Liberalism and the Limits of Justice. – Cambridge. Cambridge Univ. Press, 1982.

определенной концепции блага, а опираются на право. Иными словами, справедливое общество является справедливым не из-за какой либо цели или ориентира, но из-за его отказа изначально делать определенный выбор между конкурирующими целями и ценностями. Посредством своей конституции и законов справедливое общество создает себе границы, внутри которых граждане могут следовать своим собственным ценностям и целям до тех пор, пока это не нарушает свободы других участников общественного договора. Постулируемый либерализмом приоритет права перед благом направлен, во-первых, против утилитаризма, поскольку исключает возможность приносить индивидуальные права в жертву общему благу, и, во-вторых, против многочисленных идеологических концепций, которые основывают справедливость на тех или иных представлениях о «хорошей жизни». По убеждению Сэндела, в основе философии либерализма в целом, и его ролзовской версии в частности, лежит вполне определенное представление о личности, которое Сэндел характеризует как концепцию «несвязанной самости»[3]. На неё и направлено острие сэнделовской критики Ролза.

Истоки ролзовской концепции личности Сэндел усматривает в философии Канта, в частности, в его понятии трансцендентального субъекта, которое является условием возможности морального закона. Проект Ролза состоял в том, чтобы поддержать и развить моральное и политическое учение Канта, заменив сложности немецкого языка Канта, упрощенной метафизикой, более близкой англо-американскому натурализму: «Для того, чтобы актуализировать кантову концепцию справедливости, желательно освободить его учение от укорененности в трансцендентальном идеализме и дать его процедуральное истолкование с помощью конструкции первоначального состояния (внутри разумных эмпирических рамок)[4]. Первоначальное состояние должно дать то, чего не в состоянии предоставить трансцендентальный аргумент Канта, а именно – мирское обоснование приоритета права перед благом.

«Пелена неведения», под покровом которой находятся индивиды в первоначальной ситуации заключения договора, предполагает, по Сэнделу, что самость этих индивидов ничем не связана. Иными словами, если человек может делать выбор, будучи покрытым «пеленой неведения», то это означает, что сущность человека не находится в непосредственной связи с его целями. Эта дистанция между самостью и её целями свидетельствует, что никакое намерение, цель или обязанность не могут быть настолько значительными, что их наличие или отсутствие может поставить под сомнение самость как таковую. Для Ролза значение имеет только способность индивида выбирать между целями, не обращая внимания на существующий порядок, традиции или свой статус. Человек оказывается в определенной дистанции по отношению к общественной среде и не в состоянии следовать своим ценностным установкам.

[3] Sandel M. Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst. In: Kommunitarismus: Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt/New York. Campus Verlag, 1993. S. 20

[4] Rawls J. Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978-1989. Frankfurt/M, 1992. S. 75.

Сэндел считает существенным недостатком теории Ролза принцип различия, который, в качестве составной части его учения о справедливости, означает, что социальное и экономическое неравенство оправдано лишь в том случае, если дает какое-либо преимущество обездоленным членам общества. В интерпретации Сэндела содержание этого принципа выглядит следующим образом: распределение талантов или таких личных качеств, как сила и интеллектуальные способности, с моральной точки зрения, является случайным «даром судьбы», а потому преимущества, которые человек получает от них, незаслуженны. Следовательно, таланты и доходы от них должны быть общим достоянием. Это обоснование Сэндел опять сводит к постулируемому Ролзом различию между личностью и её свойствами. Он ставит под сомнение вывод, согласно которому, из того, что отдельный индивид не имеет морального права на указанные выше преимущества от своих талантов, с неизбежностью следует, что права на них имеет определенное общество. Ведь принадлежность к одному из обществ является таким же случайным, как и обладание талантом. Чтобы оправдать эти притязания, требуется моральный союз тех, для кого выгода от общей пользы была бы очевидной. Сэндел спрашивает: Откуда этот союз возьмется в обществе, которое основывается исключительно на принципах свободы и равенства? Если пользу от преимущества извлекают лишь другие партнеры по договору, то в таком случае призыв к всеобщему благу есть вмешательство в свободу изначально обделенных членов общества. Необходимо, скорее, чтобы извлекающие пользу индивиды были членами сообщества, которое обеспечивает идентичность тех, кто имеет выдающиеся успехи и чтобы их отношения могли быть сведены к глубоким связям в определенном сообществе. Поэтому, делает вывод Сэндел, принцип различия требует общинных моральных обязательств, которые глубоко укоренены в личности каждого индивида, влияют на его самость. Следовательно, нужно выбирать между тезисом Ролза о несвязанной самости, которая не имеет глубоких общинных связей, и принципом различия, который, по убеждению Сэндела, имеет смысл только при наличии таких связей. Если следовать Ролзу, то этот человек должен выбирать из уже наличествующих целей, которые подвергаются процедуре своеобразной рациональной «инвентаризации». Для свободной воли и действительного выбора не остается места. Выбор этот существенным бременем ложится на конкретного человека, который не находится за «пеленой неведения», а живет в мире конкурирующих целей и ценностей.

Сэндел видит выход из этой затруднительной ситуации в возрождении и обновлении республиканской традиции. Выступая с курсом лекций в Венском институте антропологии, он уточняет некоторые положения своей полемики с Ролзом. Суть спора, пишет он, не в самом принципе приоритета права над благом, а в трактовке этого принципа. Ролз признает связь между благом и правом, однако ограничивает представления о благе традициями западного политического сообщества. Благо как некий всеобъемлющий принцип обществен-

ной жизни, влияющий на право, он исключает. Сэндел говорит, что на самом деле связь между правом и политикой, с одной стороны, и общими представлениями о благе существует, и более того, она реализована в республиканизме как одном из типов политической культуре США[5].

На критику Сэндела последователи ответы со стороны ролзовцев, а затем и самого мэтра. Эмми Гутман, соглашаясь, в принципе, с возражениями Сэндела относительно антропологических предпосылок теории Ролза, считает, что они не имеют решающего значения для той теоретической плоскости, где располагается теория справедливости. Гутман использовала для оправдания Ролза исторический аргумент[6]. Разрушение традиционной картины мира привело, как она считает, к возникновению ситуации, когда конфликт представлений о благе становится нормальным случаем в жизни людей. Это потребовало от зарождающегося либерального порядка создания таких условий, при которых индивид имел бы возможность самостоятельно и свободно определять свои жизненные цели. Поэтому ответ на нормативный вопрос о том, как должно быть устроено в моральном отношении общество, следует давать не через конструирование подходящего понятия человеческой личности, а исходя из адекватного определения исходной исторической ситуации. Поскольку уже невозможно предложить всеохватывающие ценностные убеждения для моральной интеграции политического сообщества, то высшая добродетель общества состоит в том, что каждый его член наделяется равными правами на те элементарные свободы и социальные блага, которые делают для него возможной автономное обнаружение своих жизненных целей. Справедливость в смысле принципа равных прав и свобод возникает, по убеждению Э.Гутман, не из нормативного состояния примата общего блага, а только из учета того исторического обстоятельства, что единственным содержанием такого общего блага сегодня становится цель индивидуальной самореализации.

Сам Ролз, в ряде статей, появившихся после «Теории справедливости», попытался дать договорной ситуации, из-за которой было сломано много критических копий, более сильное историческое истолкование, с тем, чтобы она приняла характер универсально значимого мысленного эксперимента. В качестве личностей, которые при нормативных ограничениях «пелены неведения» должны принять участие в дискуссии по поводу устройства общества, он предполагает уже не абстрактных субъектов, наделенных только рациональной способностью, но конкретных граждан государства, сформировавших свою мораль в традициях западной демократии. Особенно отчетливо эти изменившиеся, подчеркнуто политические, притязания ролзовской теории справедливости выражены в его статье «Справедливость как честность: политическая, но не метафизическая»[7]. Договорное соглашение трактуется, с учетом этого уточнения, как

[5] Sandel M. Liberalismus oder Republikanismus. Von der Notwendigkeit der Bürgertugend. Wien. Passagen-Verlag, 1995. S. 14-15

[6] Gutmann A. Communitarian Critics of Liberalism, In: Philosophy and Public Affairs, 1985. Vol. 14. P. 310.

[7] Rawls J. Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978-1989. Frankfurt/M, 1992. S. 255.

демократическая процедура, обосновываемая только в коллективно разделяемых ценностных убеждениях западной демократии. Это означает, что граждане современного западного общества принимают нормативные ограничения договорной ситуации как приемлемое выражение морального идеала, который они имеют, несмотря на фактическое различие представлений о благе, наряду со справедливой системой общественной кооперации. Таким образом, признанием контекстуальной обращенности «оригинальной позиции» к конкретной нравственности демократически устроенного общества, Ролз дезавуирует антропологическую критику Сэндела, поскольку теперь человеческий субъект уже не истолковывается как самость, у которой отсутствуют ценностные связи, приобретенные через коммуникацию.

На критику Сэнделом принципа различия, Ролз возражает, что общественная солидарность и лояльность возникают вовсе не на основе согласия относительно какой-либо концепции блага. Они образуются через широкое публичное согласие относительно концепции политической справедливости, а также через стабильный и всесторонний консенсус отдельных социальных групп. Таким образом, общим благом являются принципы справедливости, а их применение выступает в качестве общей цели. Ролз, тем самым показывает, что кооперация может возникнуть и существовать в социальном пространстве, в котором наличествуют и конкурируют различные представления о «хорошей жизни». Для этого лишь необходимо придерживаться принципа первичности права (справедливости) над благом.

Именно этот принцип стал одним из центральных пунктов дальнейших дебатов и привел к окончательному оформлению коммунитаристской платформы. Отчасти уже Сэндел, но в большей степени А. Макинтайр и М. Уолцер, обратили внимание на тот факт, что достаточный моральный ресурс, необходимый для существования, в том числе и либерального государства, не может сформироваться в обществе, живущем на индивидуалистических установках. Разногласия по принципиальным для общества вопросам, таким как применение смертной казни, аборты, эвтаназия, границы социального государства, показывают, что коренная причина этих разногласий – непонимание природы морального устройства общества. Коммунитаристы настаивают на том, что эффективная мораль не может быть сформирована вне рамок небольших локальных сообществ (коммун), в которых индивид получает решающую долю своей идентичности. Сообщество образует границы, в которых существуют моральные блага, и оно же принуждает индивида к моральному поведению.

Наиболее полно и последовательно связь сообщества и морали проанализирована в трудах Алесдаира Макинтайра.

Алесдаир Макинтайр: справедливость как производная от практической рациональности

В качестве философа политики и морали Макинтайр стал известен с 1981 года, когда вышла его книга «После добродетели»[8]. До этого его знали в основном как автора работ по истории этики, католической философии и метафизике. Творческая эволюция Макинтайра шла от марксизма к католицизму, от Аристотеля к Фоме Аквинскому. Его политическую философию отличает последовательная антипатия к современному капиталистическому миру, самой характерной чертой которого он считает отсутствие морального кодекса, недостаток подлинного сообщества и значимого смысла жизни. Он обращается к идеалу греческого полиса и к философии Аристотеля, чтобы показать альтернативный современному образ жизни, сопряженный с разделяемым большинством граждан ценностным сообществом. Именно жизнь в таких сообществах способна наделить людей сознанием полноты своего индивидуального бытия.

Макинтайр убежден, что изучение работ прошлых философов не принесет никакой пользы, если не учитывать одного принципиального обстоятельства: философские (в широком смысле этого слова) прозрения этих мыслителей являются плодом индивидуальных интеллектуальных усилий людей, живущих в определенном духовном и социальном контексте. Философы всегда ищут решения не вечных и универсальных, а свойственных их времени и их культуре проблем. Макинтайр считает, что не существует этики, которая не была бы этикой какого-то специфического общества. Что философы делают в первую очередь, – это изучают фактический мир, в котором они живут, его политику, традиции, социальную организацию, семью и пытаются при этом найти идеи и ценности, которые лежат в основе образа жизни и социальных институтов. Потому что простые члены общества этого сделать не в состоянии. Философы же могут исследовать не только идеи, ценности и принципы, определяющие феноменологию жизни, но они способны также разъяснить последствия принятия тех или иных ценностных установок. Невозможно пытаться стать на внешнюю, объективную точку зрения и при этом предложить этику для конкретного, специфического общества.

Для объяснения того, почему дискуссии по моральным вопросам в современном обществе ведутся с таким ожесточением и почему это общество оказывается совершенно неспособно к достижению согласия в области этики, а предпочитает пребывать в состоянии морального хаоса, Макинтайр использует метафору, которую некоторые его критики ставят в один ряд с платоновской метафорой пещеры. В аллегории, напоминающей научно-фантастический роман Уолтера Миллера «Гимн Лейбовичу», Макинтайр воображает череду экологических бедствий, настраивающих людей против ученых-естествоиспыта-

[8] MacIntyre A. After Virtue: A Study in Moral Theory. - Notre Dame, Indiana : University of Notre Dame Press, 1981. Русский перевод: Макинтайр А. После добродетели: Исследование теории морали. Пер. с англ. В.В.Целищева – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000

телей: повсеместно вспыхивают бунты, лаборатории сжигаются дотла, физиков линчуют, книги и инструменты уничтожены. К власти приходит невежественное политическое движение, запретившее науку и заключившее ученых в тюрьму. Позже начинается обратная реакция, новая, просвещенная власть пытается восстановить науку, но сталкивается с тем, что это невозможно. Все, что имеется в её распоряжении – это фрагменты теорий, неполные описания опытов, разрозненные инструменты, предназначение которых неизвестно, главы из книг, порванные и разрозненные страницы статей.

Сходство с людьми платоновской пещеры призвано оттенить то, что характерно для жителей этих двух эпох: непонимание, что они живут в своеобразном эпистемологическом аду, в Вальпургиевой ночи запутанных понятий, пустых мнений и бесплодных идей. Но когда обитатели пещеры антиутопии Макинтайра появляются на свет, они видят не Солнце идеального мира, а простые черепки и фрагменты прошлого, разбросанные в беспорядке, без всякой надежды на новое соединение. Тем не менее, эти фрагменты прошлого повторно воплощены в наборе методов, используемых в физике, химии, биологии. Взрослые спорят о соответствующих достоинствах теории относительности, эволюционной биологии, теории флогистона, несмотря на то, что имеют о них лишь общее представление. Дети заучивают наизусть некоторые фрагменты периодической таблицы и как какое-то колдовство преподносят некоторые из теорем Эвклида. Никто, или почти никто, не понимает, что делает, ибо контексты, для которых создавались и формулировались теории прошлого, безвозвратно утеряны. Примерно так же выглядит, по убеждению Макинтайра, состояние дискуссии по моральным вопросам. Вера в моральные рассуждения подорвана различными катастрофами, в том числе и скрытыми, и все, что мы сейчас имеем – это слова «хороший», «моральный», «полезный», оторванные от контекста и превратившиеся в реликвии. Таким образом, люди современности живут подобно пещерным людям, используя для сложной моральной беседы грубые орудия, созданные в каменном веке и пригодные только для него.

Важным свойством диалога по моральным проблемам Макинтайр считает способность поддерживать целостность и честность собственной позиции. По действующим сегодня правилам это не так просто: многие полагают, что спор с либерализмом есть все же спор в пределах либерализма. Сам либерализм заинтересован в этом и всячески пытается представить обозначившиеся разногласия как внутренние споры между консервативным и радикальным лагерем. Макинтайр пытается развеять эту иллюзию, утверждая, что она не в состоянии скрыть внутреннюю катастрофу, приведшую к моральной философии пещеры: хотя логический позитивизм в качестве философского направления уже утратил свое значение, либеральная культура все еще использует этику утилитаризма для укрепления индивидуалистических чувств и мнений. По этой причине либерализм обращает внимание на общественное мнение по моральным проблемам, ибо он по-прежнему сводит эти проблемы к мнениям, которые можно изучать

путем различных опросов, выявляя самые массовые из них. По этому поводу Макинтайр замечает: никто не сможет аннулировать десять заповедей, указывая на количество убийств в Детройте, число разводов в Рено или посещаемость церкви в Пеории.

Развилкой пути, от которой пошла линия, приведшая к нынешнему моральному коллапсу, Макинтайр считает разрыв с аристотелевской традицией. В предисловии к книге «Чья справедливость? Какая рациональность?» он пишет: «Главным выводом, к которому я пришел в ходе написания «После добродетели», является следующий: трехсотлетнее господство моральной философии и социологии не выработало достаточных аргументов в обоснование либеральной индивидуалистической доктрины. В связи с этим вновь востребованной может быть аристотелевская традиция, настаивающая на связи между моральностью и рациональностью и призывающая к прозрачности и понятности наших нравственных и социальных добродетелей. Но тезис о связи морали и практической рациональности нуждался в подтверждении. Я обещал написать книгу, в которой было бы показано, почему одни поступки являются рациональными, а другие – нет, и почему одна концепция практической рациональности оказывается предпочтительнее другой»[9].

В 1982 году, в рамках карлейлевских чтений в Оксфордском университете, Макинтайр прочитал три лекции на тему: «О некоторых изменениях в понимании справедливости». В них он высказал мысль о том, что различные концепции справедливости тесно связаны с соответствующими концепциями практической рациональности. Подтверждение этому, как он считает, можно найти в трудах таких мыслителей, как Аристотель, Григорий VII и Д.Юм. Таким образом, Макинтайр связывает ответ на вопрос о том, что такое справедливость, с более широкой проблемой природы практической рациональности и предпринимает её историко-философскую реконструкцию: «Чтобы знать, что такое справедливость, необходимо предварительно знать, каких поступков от нас требует практическая рациональность. Тот, кто последует этому порыву, сразу же обнаружит, что споры о природе рациональности вообще и практической рациональности в частности ведутся столь же активно, как и споры о справедливости. Одни считают рациональным такое действие, которое максимально учитывает соотношение между издержками и возможным результатом. Другие придерживаются точки зрения, что рациональное действие является беспристрастным и объективным. Третьи полагают, что рациональность связана с благом. Так что налицо является конфликт интерпретаций рациональности»[10].

Макинтайра беспокоит то, что людей оставляют наедине с самими собой при разрешении подобных конфликтов. Для тех, кто не безразличен к ним, есть два возможных ресурса, к которым они могут обратиться за помощью: академическая философия или различные общины, церкви, политические ассоциа-

[9] MacIntyre A. Whose Justice? Which Rationality? University of Notre Dame Press, 1988. P. I.
[10] Ibid. P. 6.

ции, уже обладающие выработанными позициями по нравственно значимым вопросам. Современная академическая философия в состоянии лишь предоставить средства для обнаружения и артикуляции разногласий, но не может помочь их разрешить. Поэтому гражданам остается воспользоваться теми ресурсами, которые они получают через участие в жизни групп, духовная и практическая история которых привела к выработке определенных моделей справедливости и практической рациональности. Те, кто обратился к философии, надеялись получить теоретические аргументы, с помощью которых можно было бы оправдать их понимание справедливости. Те же, кто обращается к набору верований, воплощенных в жизни группы, высказывают доверие не теоретическим аргументам, а людям.

Для иллюстрации связи между концепциями справедливости и практической рациональности, Макинтайр рассматривает четыре интеллектуальные традиции: аристотелизм, Августина Аврелия, Аквината и Юма. Каждая из них является частью истории западной культуры, содержит специфическое толкование справедливости и практической рациональности, находящееся в отношении конфронтации, синтеза или взаимодополнения с другими традициями. Так, аристотелевское решение проблемы справедливости и практической рациональности проистекает из конфликтов древнего времени, но Аквинат, развивая его, избегает ограничений, налагаемых полисом. Версия Августина вступила в сложные отношения с аристотелизмом, от первоначального антагонизма до синтеза, а позднее опять антагонизма. В Шотландии XVII века, на основе многочисленных симбиозов августиновской, аристотелевской и кальвинистской позиций была создана традиция, позже ниспровергнутая Юмом. Затем появился либерализм, рожденный антагонизмом ко всей предшествующей традиции, и превратившийся, в свою очередь, в традицию.

Подводя итоги этого рассмотрения, Макинтайр отмечает, что указанные концепции справедливости и рациональности предстают как тесно связанные между собой аспекты человеческой жизни в целом и дают достаточно полное представление о её характере. Концепции практической рациональности всегда воплощаются в специфических типах социальных отношений. Так, концепция справедливости и практической рациональности Аристотеля отражает требования одного специфического типа сообщества на основе практики, частично иллюстрируемой полисом, в то время, как Аквинат, подобно Маймониду и Ибн-Рушду выражал требования более сложной формы сообщества, в котором в рамках одного целого сосуществуют религиозные и светские элементы. Юмовская концепция справедливости и отношения размышления к действию была своей, родной, и выражала требования особой формы английского языка или «английства», сформулированного на английском языке и предписанного в терминах обоюдности и взаимосвязи между страстью и интересом. Аристотель, Аквинат, Юм и другие философы, которых рассматривает Макинтайр, представляли в исторической ретроспективе те общества, в которых они были во-

влечены в конфликты, имеющие важное значение для этих социальных образований, с учетом специфики их времени и места. Макинтайр резюмирует: «Таким образом, теории справедливости и практической рациональности противостоят нам как аспекты традиции, лояльность к которой требует признания того, что каждая такая теория более или менее систематически воплощена в определенной форме человеческой жизни, с её специфическими способами социальных отношений, собственными канонами интерпретации и объяснения поведения других людей, собственными методами оценки. Это, конечно, не значит, что нельзя быть аристотелианцем без фактического членства в полисе, или быть адептом философии Юма, не будучи интегрированным в иерархическую систему отношений Англии восемнадцатого века. Если бы это было так, то изучение Аристотеля или Юма имело бы только антикварный интерес. На самом деле имеется в виду следующее: можно быть аристотелианцем в любое время и в любом месте, поскольку особенности полисной жизни, оказавшие существенное влияние на становление аристотелевской концепции справедливости и его схемы практического рассуждения, могут быть повторно воплощены в любом месте и в любое время. И аналогично, можно быть юмианцем в той мере, в какой особенности социальной системы, в терминах которой Юм создавал свое понимание справедливости и социального действия, могут быть воспроизведены в другое время и в другом месте»[11].

Особенность человека постпросвещенческой (постмодерной) эпохи состоит, по мнению Макинтайра, в том, что он, в ситуации спора конкурирующих ценностных представлений не может опереться ни на одну из традиций. Это объясняется реакцией на неспособность Просвещения (модерна) обеспечить декларируемые им безличные, нейтральные и независимые от традиции стандарты рационального суждения. Человек эпохи постмодерна (хотя Макинтайр не употребляет этого термина, предпочитая ему «Постпросвещение), рассматривает мир исходя из прагматических потребностей. Любые верования и убеждения, притязания которых простираются за пределы границ ситуационных, прагматических потребностей, он считает необоснованными. Нет такой системы верований, в которой этот индивид считал бы себя «находящимся дома», и любые схемы верований, которые не соотнесены с фактичностью, не могут быть объектом рационализации. Подобный индивид считает, что верования, приверженность определенным концепциям справедливости и использование специфических схем практической рациональности являются маскировкой, за которой скрываются произвольные желания и интересы. Поэтому он не в состоянии вести диалог при столкновении с традицией, отличной от его традиции. С точки зрения Юма его чувства деформированы таким образом, что сделали его неспособным к взаимности; у Аристотеля он отказался учиться тому, что нельзя думать только о себе, что быть рациональным можно только через участие в рациональном сообществе через практическую деятельность; с точки зрения

[11] Ibid. P. 391.

Августина он проигнорировал даже тот стандарт, благодаря которому люди способны знать свои собственные недостатки и, тем самым, имеют шансы их исправить. В каждом из этих случаев такой человек нуждается в корректировке своей позиции, для того, чтобы вступить в диалог с той или иной традицией. Но как это возможно? – Только в том случае, если эта отчужденная личность сможет найти язык, который позволит ей вступить в диалог с традиционной позицией. Нейтрально-рациональные языковые средства здесь непригодны, поскольку не включают в себя желания и предпочтения этой традиционной культуры. В отличие от человека, который, при соприкосновении с некой традицией приобретает самопризнание и самопознание из-за того, что обладает языковыми, эмоциональными и когнитивными средствами этой традиционной культуры, указанный выше тип личности находится вне традиции и лишен необходимых для успешного диалога знаний, языка, культуры и эмоционального настроя.

Макинтайр убежден, что такие люди чаще встречаются в философских и художественных текстах, чем в реальности. Большинство же современников в той или иной степени причастны к определенной традиции, но предпочитают скрывать это, принимая навязываемое либерализмом индивидуалистическое отношение к общественным проблемам. Но одновременно они несут на себе бремя созданных традицией ресурсов мысли и поведения, которые передаются по семейным, религиозным, образовательным, культурным и социальным каналам. Это тип самости, у которого слишком много половинчатых убеждений и слишком мало прочных, последовательных позиций, слишком много частично сформулированных альтернатив и слишком мало возможностей для их систематической оценки. Поэтому, при столкновении с требованиями конкурирующей традиции, он обнаруживает фундаментальную растерянность, которая слишком опасна, чтобы относиться к ней, как к некой застенчивости [12].

Одной из причин эпистемологического тупика, в котором оказалась социальная философия, Макинтайр считает отказ от телеологического принципа при рассмотрении моральных и политических вопросов: «Абстрагируйте концепции истины и рациональности от их телеологической структуры и тем самым Вы лишитесь единственного контекста, в котором они могут быть поняты и рационально обоснованы. Тем не менее, широко распространенное отклонение аристотелевой телеологии и целого ряда сопряженных с нею понятий, произошедшее в XVI-XVII веках, привело к такой утрате. И следствием было то, что концепции истины и рациональности пустились в свободное плавание»[13].

Но свобода была кажущейся: на самом деле, на место Аристотеля заступили Ньютон и Дарвин с их типами объяснения. Возможно, говорит Макинтайр,

[12] Ibid. P. 397.
[13] MacIntyre A. The Tasks of Philosophy: Selected Essays, Volume 1 Cambridge University Press, 2006. P. 14.

это было самой большой ошибкой, имевшей место в истории философии. Аристотелева традиция полагает, что между человеком каким он есть (существующим), и человеком, каким он мог бы быть, если бы знал свою природу (должным), существует принципиальное различие. Преодоление его, движение в сторону своей познанной природы, и есть добродетельная жизнь. Макинтайр убежден, что если бы указанное различие вновь допустили в философию, то это имело бы революционное значение для всех её отраслей, ибо в таком случае благо расценивалось бы как передача фактической информации, а не как простые эмоции. Сравнение с целью позволяет отличить хорошего чиновника от плохого, качественное изделие от бракованного, справедливый закон от несправедливого. У Аристотеля не было того различия между фактами и ценностями, на котором настаивает эмотивизм, когда отказывает обществознанию в праве называться научным познанием. Социальный контекст античного полиса уравнивал оценочный язык с фактическим языком.

Отказ от признания культурно-исторической обусловленности содержания общественной жизни, оставляет перед социальными философами небогатый выбор: Кант или Ницше. Последнего Макинтайр сравнивает с «канарейкой в угольной шахте», которая сигнализирует о предстоящем бедствии. Одна из глав «После добродетели» называется «Ницше или Аристотель?» и в ней речь идет о том, что дилемма моральной философии может быть представлена так: «эмотивизм или телеология?» Ницше, по мнению Макинтайра, великолепно изобразил в беллетристической форме современное моральное предположение: «… если мораль представляет собой не что иное, как выражение воли, то моя мораль может быть только тем, что создает моя воля»[14]. Результатом метаний между Кантом и Ницше, является одиночество и аномия, вытекающие из образа жизни, который пренебрегает добродетелями. Засилье эмотивизма привело к тому, что из состава социально-философских теорий, в угоду их мнимой объективности, исключены ценности. Но ведь эти ценности входят в состав онтологии общественной жизни, а значит должны быть концептуализированы.

Полемизируя с оппонентами, которые обвиняли его в «местечковом патриотизме», Макинтайр приводит такой аргумент в пользу своей позиции: «Патриотизм, как я его понимаю здесь, возможен только в определенных типах национальных сообществ и при определенных условиях . … Поскольку все современные бюрократические государства имеют тенденцию к тому, чтобы понизить статус национальных сообществ, они ведут к состоянию, в котором нет места для настоящей морали патриотизма, а то, что провозглашается как патриотизм, есть не что иное, как беспочвенный симулякр»[15]. Но если такое государство окажется перед угрозой войны, откуда оно сможет почерпнуть моральный ресурс, необходимый для сохранения единства? Макинтайр считает таким

[14] Макинтайр А. После добродетели: Исследование теории морали. Пер. с англ. В.В.Целищева – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. С. 156.

[15] MacIntyre A. Ist Patriotismus eine Tugend? In: Kommunitarismus: Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt/New York. Campus Verlag, 1993. S. 100.

ресурсом патриотизм, проявляемый солдатами при защите своей страны, а не безличных интернациональных интересов: «Хороший солдат вряд ли может быть либералом, и в его действиях в определенной мере обязательно должна присутствовать мораль патриотизма»[16].

Макинтайр, таким образом, представил философскую платформу для принципиально отличной от ролзовской концепции справедливости. Он настаивает на том, что вопросы справедливости могут рассматриваться только на фоне определенной социально-философской теории, которая, в свою очередь, должна найти способ включить в свой состав нормативное измерение общественной жизни. Работающая концепция справедливости возможна, по Макинтайру, только тогда, когда в её состав имплантированы специфические для общества ценности. Эта позиция получила развитие в работах М.Уолцера.

Майкл Уолцер: сложное равенство

Уолцер сравнивает противостояние коммунитаризма и либерализма с ситуацией в мужской моде, когда длинные брюки со складкой то лишаются широкого признания, то появляются вновь. Но полностью они не исчезнут никогда, по крайней мере, до тех пор, пока будет существовать этот вид одежды. Так и коммунитаризм является, по убеждению Уолцера, непременным атрибутом либеральной политики и общественной организации: «Никакой, даже самый большой успех либерализма не сможет полностью избавить его от критики, точно так же, как коммунитаристская критика, даже самая остроумная, не может быть ничем иным, как непостоянным сопутствующим явлением либерализма»[17]. Но признание того, что коммунитаризм как бы «имплантирован» в либерализм и является его постоянным протагонистом, существующим то в имплицитном состоянии, то в виде открытого оппонента, не делает Уолцера «ролзовцем». Это видно по тому, как он формулирует и решает главную проблему коммунитаристско-либеральной полемики: место и роль сообщества в формировании персональной идентичности и в определении концепции справедливости.

Уолцер исходит из очевидного расхождения между теорией и политико-правовой практикой либерализма: мир не является таким, каким его видит либеральная теория, и не может быть таким. Люди без социальных связей, свободные и независимые в буквальном смысле слова, являющиеся единоличными творцами собственной жизни, без общих норм и масштабов, которыми бы они при этом могли руководствоваться, – это не люди, а какие-то мифические существа. Как возможна социальная группа, члены которой чужие друг для друга? Ведь каждый из них имеет родителей, эти родители имеют друзей, родственников, соседей, коллег по работе, соратников по вере и сограждан, – то есть отношения и обязательства, которые при внимательном рассмотрении оказываются

[16] Ebd. S. 100.

[17] Walzer M. Die kommunitaristische Kritik am Liberalismus. In: Kommunitarismus: Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt/New York. Campus Verlag, 1993. S. 157.

меньше всего добровольно выбранными, а являются переданными и унаследованными? Отрицая важность таких связей, и настаивая на чисто договорных отношениях, либерализм, по убеждению коммунитаристов, пытается внушить людям, что все формы их связей друг с другом есть простое рыночное братство, волюнтаристское и наполненное эгоистическими интересами, которое не простирается дальше сиюминутной пользы. Однако не все так однозначно, полагает Уолцер. Следует признать, что в большинстве политических теорий от Локка до Ролза предпринимались попытки зафиксировать и стабилизировать либеральное учение для того, чтобы положить конец бесконечности освобождения индивида. Один из способов – перенос акцента с внутрисоциальных обязанностей индивида на свободу его мобильности. В либеральных обществах, как и в любых других, люди живут в разнообразных группах (сообществах), в составе их идентичности большую роль играют предзаданные факторы: пол, религия, этничность, социальный статус, воспринятый от родителей и другие, которые больше предписаны, чем добровольны. То, что отличает либерализм – это не предоставленная индивидам свобода объединяться на основе этих идентичностей в группы, а скорее свобода покидать эти группы, а иногда и идентичности. Различные объединения в рамках либерального общества всегда находятся под угрозой распада. Никто не контролирует их границы, состав участников, их мобильность. Часто в составе сообществ можно встретить людей, которые не принимают активное участие в работе по их поддержанию, зато вкушают преимущества от членства в них.

В своей лучшей формулировке либеральное общество есть описанное Дж. Ролзом социальное сообщество всех сообществ, плюрализм групп, которые связаны друг с другом через общие представления о толерантности и демократии. Но если все группы являются нестабильными, находящимися под постоянной угрозой ослабления или распада, то в таком случае и большое сообщество неизбежно является слабым и уязвимым. Уолцер называет четыре вида мобильности, которые делают либеральное общество привлекательным, но которые одновременно подтачивают его фундамент. Это: географическая мобильность, проявляющаяся в присущей особенно американцам перемене мест с постепенной атрофией чувства «малой родины»; социальная мобильность, состоящая в том, что дети часто не наследуют социальный и профессиональный статус своих родителей и зарабатывают себе на жизнь иначе, чем они; супружеская мобильность: разводы, раздельное проживание, повторный брак, межконфессиональные и межэтнические браки ослабляют институт семьи, в котором человек получает значительную часть своей идентичности; политическая мобильность, заключающаяся в том, что поколение детей не имеет устойчивых политических и партийных симпатий и пристрастий своих родителей, а потому на выборах ведет себя в зависимости от сиюминутных соображений. Это приводит к институциональной нестабильности, в особенности на локальном уровне, где функцией политических организаций традиционно было укрепление общинных связей.

Таким образом, либеральное общество, чтобы не распасться под действием центробежных сил, среди которых находятся и названные выше мобильности, должно искать дополнительные интегрирующие факторы. Выбор, по мнению Уолцера, не так уж и велик, если оставаться в границах либеральной доктрины: это государство, находящееся под контролем права. Но достаточно ли этого? Либеральное государство во главу угла ставит свою ценностную нейтральность, используя для её оправдания аргумент, дедуцируемый из факта социального и культурного плюрализма: поскольку диссоциированные индивиды никогда не достигнут единства в вопросе о том, что есть «хорошая жизнь», государство не должно благоприятствовать определенному пониманию «хорошего», «лучшего». Это порождает проблему: чем диссоциированней индивиды, тем более сильным должно быть государство, потому что оно становится единственной, или, по крайней мере, важнейшей социальной скрепой. И тогда может легко случиться, что принадлежность к государству, – единственное благо, принадлежащее всем индивидам в качестве общего блага, – одновременно рассматривается как «лучшее» или высшее благо.

Все же реальный опыт либеральных обществ свидетельствует о том, что повседневная деятельность его граждан проходит в многочисленных социальных группах, которые придают жизни своих членов форму и смысл, вопреки триумфу индивидуализма и невзирая на видимую свободу пребывания в таких группах. Но существованию этих групп угрожает постоянная опасность. И государство, если оно желает оставаться либеральным, должно способствовать некоторым из них, прежде всего тем, которые по образу и целям соответствуют ценностям либерального общества. Уолцер подкрепляет это утверждение ссылкой на авторитет Джона Дьюи, который писал: «Государство не есть только третейский судья, который предотвращает превышение полномочий одной из групп в отношении другой. Его функции обширнее: Желанным объединениям оно помогает в большей стабильности и устойчивости. … Нежелательных оно лишает содействия и угрожает их дальнейшему существованию. … Членам уважаемых объединений оно дает больше свободы и безопасности, устраняя стоящие на их пути препятствия. … Оно дает возможность отдельным своим гражданам с некоторой уверенностью рассчитывать на поведение других»[18]. Ссылка на Дьюи не является случайной: он, как и сам Уолцер, считал своим политико-правовым идеалом республиканизм. В классическом и неоклассическом выражении республиканизм является учением, рассчитанным на потребности маленьких, гомогенных сообществ, то есть таких, чья гражданская структура является однообразной. Республиканизм можно определить как философию, в которой национальное и радикально-социальное измерения являются двумя сторонами одной медали. Он, по убеждению Уолцера, создает условия для развития потенциала общинности, который имманентен либерализму, но намеренно заглушается демократической политической практикой. В то же время, именно республиканизм дает «зеленый свет» инсти-

[18] Dewey J. The Public and its Problems. Athens: Ohio University Press, 1985, P. 71.

тутам гражданского общества, в первую очередь, добровольным локальным ассоциациям, среди прочих функций, выполняющих важную задачу взращивания гражданских добродетелей. Весьма существенный недостаток такого общества Уолцер видит в его желании быть нейтральным: «С идеальной точки зрения гражданское общество – это такое общество, в котором все учтены, но никто не предпочтен. … Лозунгом гражданского общества мог бы стать следующий: «Вступайте в ассоциации по вашему собственному усмотрению!»[19]. В этом Уолцер видит парадокс либерального общества, которое, с одной стороны, провозглашает себя «сообществом сообществ», а, с другой, ничего не предпринимает для укрепления этих сообществ, уравнивая в статусе и те, что укрепляют государство, и те, что вольно или невольно его разрушают. Выход из этой парадоксальной ситуации Уолцер видит в переходе от идеи «гражданского общества» к идее «хорошего общества», то есть такого, в котором установлены, поддерживаются и, отчасти, навязываются социально значимые ценности и добродетели.

С позиций такого «скорректированного», республиканского толкования либерализма Уолцер предлагает свою концепцию справедливости. Он убежден, что ставить справедливость на первое место, значит соглашаться с тем, что мы являемся сообществом чужих[20]. Критерии справедливости не могут устанавливаться в отрыве от распределяемых благ и контекстов распределения. В книге «Сферы справедливости» Уолцер предлагает теорию «сложного равенства», в соответствие с которой различные социальные сферы устанавливают свои внутренние принципы распределения благ, соответствующие общинным ценностям. Он признает важность и ценность либерального принципа разделения общества на сферы, области, уровни жизни, но подвергает его коммунитаристской корректировке. Она проявляется в том, что он наделяет сообщества нормативными полномочиями, то есть, правом генерировать нравственные принципы и в соответствие с ними осуществлять распределение благ и признание заслуг. Если человек обладает благом власти, то, утверждает Уолцер, это не означает, что он должен обладать благом признания в качестве ученого или победителя спортивных игр, поскольку последние – из другой области. Каждый получает блага и признание в рамках той сферы жизни и деятельности, в которую он интегрирован в качестве члена. Принципиальное значение имеет лишь то, что между самими сферами должно соблюдаться равенство: занятие сельским хозяйством не должно рассматриваться как менее почетное, чем работа в сфере высоких технологий.

Открытым остается вопрос о том, как обеспечивается необходимый для устойчивости большого общества баланс между этими сферами? И кто его обеспечивает? – Ответ Уолцер дает в статье под названием «Моральный мини-

[19] Walzer M. The Concept of Civil Society // Toward a Global Civil Society. Providence: Berghahn Books. 1995. P.16-17.

[20] Walzer M. Die kommunitaristische Kritik am Liberalismus. In: Kommunitarismus: Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt/New York. Campus Verlag, 1993. S. 161.

мализм»[21]. В ней он задается вопросом: «Почему мы в состоянии понимать людей, отстаивающих свои права за тысячи километров от нас, и заочно соучаствовать в их протестах, хотя и принадлежим к отличной от них политической культуре?» – В поисках ответа автор вводит понятия «толстой» и «тонкой» морали, определяя первую как внутреннюю мораль локальных сообществ, а вторую как мораль, содержащую универсальные правила и нормы, делающие возможным межобщинное, в широком смысле – интернациональное понимание и общение. «Толстая мораль» является первичной, она вырастает в определенной культуре, есть её органический элемент, говорит на её языке, понятна людям этой культуры. Но в эту мораль уже встроены и «тонкие» элементы, в виде минималистских требований, которые общи всем культурам: наблюдая за политической демонстрацией в Праге, мы сочувствуем лозунгам, с которыми выступают её участники. Но в требования «свободы» и справедливости», звучащие там, мы, наряду с универсальным содержанием, вкладываем и свое собственное содержание: фактически, – утверждает Уолцер, – мы при этом совершаем свою собственную демонстрацию[22].

Двойственный характер моральной действительности приспособлен к двойственному характеру человеческого общества, которое является универсальным, потому, что оно *человеческое*, и оно является партикулярным, потому что оно есть *общество*. Но в отличие от «толстой морали», которая существует как действующая и субстанциально укоренная система регулятивов, минимальная (тонкая) мораль не имеет такой укоренности, поскольку является результатом договоренностей, переговоров, компромиссов. Моральный эквивалент эсперанто, по убеждению Уолцера, невозможен, точнее сказать, так же, как эсперанто намного ближе стоит к западноевропейским языкам, чем к каким-либо другим, и минимализм, если он находит выражение в минимальной морали, насильственно втиснут в язык и ориентацию максимальной морали. Не существует нейтрального языка морали. Минимализм полезен в рамках ограниченной, однако, важной и воодушевляющей солидарности. Он не способствует полнокровной универсальной доктрине. Так, некоторое время люди могут маршировать вместе, но затем возвращаются на свои собственные парады. Понятие морального минимума присутствует в каждом из этих моментов, не только в первом. Моральный минимум объясняет, каким образом возможна встреча, и он же выступает гарантией возможности разделения. Именно тонкостью морального минимума оправдывается возвращение к «толстости», которой всегда является локальная мораль. Таким образом, делает вывод Уолцер, мораль, в которую «вставлен» моральный минимум и от которой он лишь на время может быть абстрагирован, есть единственная полнокровная мораль, которую мы можем иметь.

[21] Walzer M. Moralischer Minimalismus. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1994. N 1. S. 3-14.
[22] Ebd. S. 5.

Уолцер критически относится к попыткам выработки минимальной морали с помощью процедуры в «этике дискурса» Ю.Хабермаса. Основную проблему он видит в правилах, которыми руководствуются участники дискурса: предполагается, что сначала есть правила, а только потом – участие. Правила участия должны гарантировать, что ораторы являются свободными и равными только в том случае, если они избавлены от насилия, порабощения и страха. В противном случае, утверждают Хабермас и К.-О. Апель, мы не смогли бы уважать их аргументы и решения. Уолцер замечает, что если однажды эти правила установлены, то вместе с ними, подспудно, установлено и согласие по большинству субстанциальных вопросов. Структура общества, политические механизмы и стандарты распределения являются, в значительной степени, уже предзаданными. «Тонкая мораль» уже является очень «толстой», обогащенной вполне сносной либеральной или социал-демократической толщиной. Правила участия на самом деле конституируют образ жизни. Мужчины и женщины, взаимно признающие свое равенство, выказывают требование свободы слова, практикуют добродетели толерантности и взаимного уважения, которые не берут свое начало из духа философов, как Афина из головы Зевса. Они являются творениями истории, на них, так сказать, работали многие поколения, и они присутствуют в обществе, которое «приспособлено» под их особенности и тем самым поддерживает, усиливает и воспроизводит людей, которые ему очень подходят. Они являются уже максималистами, прежде чем принимают правила ведения дискуссий.

Уолцер приходит к заключению, что предписанная теорией дискурса минимальная мораль просто обобщена от современной демократической культуры, и степень этого обобщения не так уж и сильна. Если бы такой культуры не было, то эта партикулярная версия минимальной морали не стала бы для нас очевидной. В действительности максимализм предшествует минимализму. Хабермас и сторонники дискурсивной теории морали и права призывают к отказу от моральных, политических и правовых принципов, которые получены вне предлагаемой ими процедуры. Но если нет возможности идентифицировать нейтральный исходный пункт, из которого вышли различные и равно легитимные культуры, то не существует возможности сконструировать минимальную общечеловеческую мораль. Очевидно, что существует множество источников морали, и все они имеют локальный характер. Только через встречу локальных культур можно нащупать то общее, что у них есть, и что может послужить основой для сотрудничества. Но таким встречам, по убеждению Уолцера, предшествует долгий путь самостоятельного и изолированного морального развития.

* * *

Общим для всех представленных выше коммунитаристских проектов является стремление их авторов доказать, что все попытки создания теории

общества, в составе которой отсутствуют нормативные элементы, обречены на неудачу. Это относится и к «Теории справедливости» Джона Ролза, которая, на поверку, оказалась теорией справедливости западного либерально-демократического общества. Для того, чтобы быть жизнеспособным и солидарным, современное общество должно быть «хорошим обществом» (Good Society), то есть иметь и поддерживать ядро разделяемых всеми членами нормативных предпочтений. Только оно способно, по мнению А.Этциони, Р.Беллаха и других адептов «хорошего общества», взращивать и поддерживать гражданские добродетели, дефицит которых начинает сказываться на моральном климате западных обществ[23].

«Хорошее общество» коммунитаристов – реальность или утопия?

Авторы теории «хорошего общества» настаивают на том, что их конструкция не имеет ничего общего с «идеальным обществом» в смысле Платона или утопическими проектами. Более того, она доступна эмпирическому обоснованию, что делает её устойчивой к эмотивистской критике. Модель «хорошего общества» популярна в США и Западной Европе, в особенности в Германии. На счету приверженцев этой теории множество реализованных проектов, направленных на решение местных хозяйственных, социальных или культурных проблем, создание или восстановление чувства общинности, укрепление общих ценностей. Симпатии к теории «хорошего общества» демонстрируют такие политические деятели, как Б.Клинтон, А.Гор, Э.Блэр, Й.Фишер. Не в последнюю очередь её успех объясняется тем, что в ней видят замену изрядно затасканной модели «гражданского общества», которой все сложнее противостоять давлению бюрократического государства.

Представленные в современной западной литературе теории «хорошего общества» различаются признаками «хорошего» и способами их обоснования. Признанными считаются проекты А.Этциони, А.Хоннета, Н.Фрезер и А.Маргалита.

Амитаи Этциони принадлежит к «социологическому» крылу в коммунитаризме, которое занимается эмпирическими исследованиями базисных положений коммунитаризма о важности общих представлений о благе для конституирования постмодерных обществ. Именно он реанимировал и ввел в дискуссионное поле социологии концепт «хорошего общества», обратив внимание на то, что он существенно шире понятия «гражданского общества», с которым теоретики неолиберализма связывают большие надежды по улучшению имиджа либерального государства. Коммунитаристы считают, что гражданского общества уже недостаточно, ибо оно не решает проблемы общих ценностей.

[23] Фукуяма Ф. О моральном возрождении современной Америки // Интеллектуальный форум. 2002. № 8. – http://if.russ.ru/issue/8/20020309_fyk.html

Этциони отстаивает подход, в соответствие с которым общество, используя свои социальные механизмы, должно выказывать предпочтение одним формам поведения перед другими. Эти канонические формы вырабатываются в ходе публичного диалога по нормативным проблемам, с участием авторитетных в моральном отношении людей: писателей, деятелей культуры, глав религиозных конфессий. Они создают нормативную канву общества, которое, в силу этого, имеет все основания называться «хорошим обществом». В подтверждение реалистичности моделей «хорошего общества» Этциони ссылается на успешные коммунитарные проекты, реализованные по всему миру.

Хорошее общество не тоталитарно, ибо допускает плюрализм по многим вторичным нормативным вопросам. Этциони приводит в качестве примера американское общество, «… которое благосклонно к религии, а не к атеизму, но нейтрально в отношении того, какую религию человек предпочитает. Точно так же американское общество ожидает, что его члены покажут необходимую меру обязательности к американскому мировоззрению, и в то же время принимает людей, которые не расстаются со своей этнической идентичностью, пока она не противоречит указанному мировоззрению. В отличие от тоталитарных режимов американское общество не поощряет какой-то определенный вид музыки в ущерб другим (нацисты и коммунисты, как известно, пытались подавить джаз). Нет никаких предписаний относительно одежды (например, рубашек а ля Мао), установления количества детей, жилища, отдыха и т.д. Короче говоря, хорошее общество отличает то, что содержание «хорошего» разделяется всеми членами общества, а не навязывается государством»[24].

Хорошее общество предусматривает развитую систему взаимных добровольных обязанностей людей: родителей по отношению к детям; детей по отношению к пожилым родителям; соседей по отношению друг к другу; членов общины по отношению к другим членам общины. Средства взращивания и укрепления общинных добродетелей, на которые полагаются хорошие общества, входят в содержание культуры и включают в себя: институты социализации (семью, школу, некоторые социальные группы, церкви, добровольные ассоциации); институты стабилизации и укрепления общества, которые поддерживают уже существующие ценности (особенно обязательства членов по отношению друг к другу и к сообществу); институты, создающие социальные ценности (например, брак). Большое значение хорошее общества придает «моральному голосу», убеждающему людей вести себя просоциально. Этот голос должен быть ясным, авторитетным, обращенным ко всем и отстаивающим общие ценности.

Кризис, с которым сталкиваются современные общества, – это в первую очередь кризис морали, проявляющийся в утрате смысложизненных ориентиров, девальвации ценностей, размывании добродетели. Этциони уверен, что обнаружившийся нормативный вакуум не может долгое время оставаться неза-

[24] Etzioni A. Die Entdeckung des Gemeinwesens. Ansprüche, Verantwortlichkeiten und das Programm des Kommunitarismus. Stuttgart, 1995. S. 91.

полненным. Выбор невелик: либо фундаменталистские доктрины различного толка, либо общие ценности, выработанные в процессе морального диалога. Программа социальной науки, которую Этциони с единомышленниками изложил в «Коммунитаристском манифесте», предполагает повышение чувствительности к моральным проблемам общества посредством анализа факторов, свидетельствующих о качестве жизни индивидов, а также в деятельности по отстаиванию и реализации форм солидарной жизни, базирующихся на общих ценностях[25].

Германский философ **Аксель Хоннет**, представляющий современное поколение Франкфуртской школы социальных исследований, предпринял попытку подвести под критическую теорию общества нормативное основание, используя в качестве такового понятия признания. В книге «Борьба за признание. К моральной грамматике социального конфликта»[26], Хоннет соединяет в рамках одного проекта нормативный и дескриптивный элементы и утверждает, что теория современного общества должна быть и социальной теорией и социальной этикой в одном лице. С этих позиций он подвергает критике те теории общества, которые анализируют социальные конфликты без учета их мотивационной подоплеки, обращая внимания не на нормативные, а на структурные источники социального неравенства. К таким теориям Хоннет относит марксизм и ориентирующиеся на него учения.

Понятие «признания» является по Хоннету тем искомым понятием, с помощью которого можно анализировать индивидуальные ожидания и притязания, конститутивные для социальных конфликтов. Ссылаясь на актуальные социологические исследования, он утверждает, что «… опыт лишения признания, а также унижение и пренебрежение стоят в центре осмысленного понятия социально обусловленного страдания и несправедливости»[27]. Поскольку опыт социальной несправедливости налицо в том случае, когда участники общественных отношений видят пренебрежение к своей личности, вместо признания, на которое они рассчитывают, то Хоннет надеется на то, что дифференцированное понятие признания сделает понятной и практику несправедливости.

Предпринятый Хоннетом анализ социальных конфликтов с точки зрения теории признания образует дескриптивный элемент его социальной теории. Он открывает возможность интерналистской критики общества, которая использует, в качестве аргументов, нормативные убеждения, разделяемые его членами. Однако, как считает Хоннет, такой анализ ничего не говорит о моральной легитимности принципов признания, и, чтобы выполнить поставленную перед собой задачу, он дополняет этот дескриптивный анализ нормативным.

---

[25] Fraser N. Soziale Gerechtigkeit in der Wissensgesellschaft: Umverteilung, soziale Anerkennung und Teilhabe // Heinrich-Böll-Stiftung(Hg.): Gut zu Wissen, Westfälisches Dampfboot 2002. S. 3-11.

[26] Honneth A. Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1993.

[27] Ebd. S. 156.

Исходный пункт этической рефлексии Хоннета образует следующее социально-теоретическое положение: так как участие в интеракциях, структурированных через социально укорененные принципы взаимного признания, является необходимым условием для образования индивидуальной идентичности, то условием легитимации обществ, а также основанием для признания их справедливыми и «хорошими», является их способность «надежно гарантировать взаимное признание[28]. Только справедливое общество обеспечивает своим гражданам возможность сформировать свою идентичность и самореализоваться, а из этого вытекает, что только справедливое общество дает своим членам возможность участвовать в таких интеракциях, через которые актуализируются определяющие для них принципы признания. Но это предполагает концепцию «хорошей жизни», допускающую определение условий, необходимых для образования персональной индивидуальной идентичности и удавшейся персональной самореализации[29].

Хоннет не представляет себе форм жизнеспособных обществ, в которых нормативная интеграция функционировала бы без определенных образцов или механизмов взаимного признания. Общество, по его убеждению, идентично с учреждением таких образцов интерсубъективного признания. Индивид может воспринимать себя членом общества в той мере, в какой он ощущает себя признанным в конкретном измерении своей личности. И наоборот: другие субъекты могут воспринимать субъекта как члена общества только в том случае, если он является каким-то способом признанным субъектом. В этом отношении признание выступает в качестве основного механизма социального существования [30].

Хоннет считает признание предельно широкой нормативной категорией, включающей все другие, в том числе и справедливость. В этом с ним не согласна **Нэнси Фрезер**, предложившая расширенную концепцию справедливости и соответственно, свой вариант теории «хорошего общества». Она полагает, что акцент на признании является культурализацией и психологизацией проблемы справедливости, при котором не учитывается тот факт, что индивиду, наряду с интерсубъективным признанием равного статуса, требуются также и основополагающие материальные блага, а это является предметом политики перераспределения, а не признания[31].

Опасения Фрезер вызывает то, что с середины 90-х годов в США и в Европе усиливается влияние «политики идентичности», которая постепенно вытесняет с повестки дня вопросы распределения и трактует справедливость в культурных оценочных категориях. Она иллюстрирует это с помощью приме-

[28] Ebd. S. 205-206.

[29] Ebd. S. 211.

[30] Die Anerkennung ist ein Grundmechanismus sozialer Existenz. Interview von Krassimir Stojanov mit Axel Honneth // Critique & Humanism, 2006. Vol. 22, special issue

[31] Fraser N., Honneth A. Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Suhrkamp, Frankfurt a.M., 2003. S. 51f.

ра: в то время, как представители сексуальных меньшинств страдают от дискриминирующих практик гетеросексуальной культуры, рабочие испытывают гнет эксплуатирующих структур капиталистического хозяйства. Если первые могут решить свои проблемы через признание их права на различие, то для вторых признание ничего не дает. Им требуется последовательная и справедливая политика перераспределения.

Свою концепцию справедливости Фрезер называет «двухмерной» и поясняет, что для её создания она использовала «бифокальную исследовательскую перспективу» – одновременное рассмотрение проблемы через две различные линзы: «Рассмотренная через одну линзу социальная справедливость есть забота справедливого распределения; через другую – она есть предмет взаимного признания. Каждая линза выставляет в выгодном свете один важный аспект социальной справедливости, но ни одна из них, сама по себе, не является достаточной. Полноценное понимание возможно только в том случае, если они накладываются одна на другую. В таком случае справедливость проявляется как концепт, который сжимает два измерения социального порядка – распределение и признание»[32].

Главной опасностью для справедливости Фрезер считает «практику вытеснения», состоящую в том, что выделенные перспективы рассматриваются как взаимоисключающие и замещающие одна другую. Чтобы этого не произошло, необходим общий для обоих измерений социальной справедливости масштаб. Фрезер предлагает в качестве такового принцип, названный ею «равноправным участием». Согласно ему, справедливость требует социального управления, которое позволяет всем взрослым членам общества обходиться друг с другом как с равными. Для того, чтобы сделать возможным равноправное участие, должны быть выполнены, по меньшей мере, два условия. Первое, которое Фрезер называет «объективным» условием равноправного участия, должно исключить любые формы и разновидности экономической зависимости и независимости, препятствующие равноправному участию. Исключенными объявляются социальные отношения, институциализирующие обнищание, эксплуатацию и значительные различия в благосостоянии, доходах и свободном времени. В противовес этому, второе условие для равноправного участия является «интерсубъективным». Оно предполагает, что институциализированный ценностный культурный образец выражает равное внимание всем, и дает возможность каждому достичь социального уважения. Это условие исключает все образцы ценностей, которые отказывают определенным людям в статусе полноценных партнеров по интеракциям на основании их крайней «инаковости».

Оба условия необходимы для равноправного участия, но само по себе ни одно не является достаточным. Первое перемещает проблему в перспективу, традиционно относящуюся к распределительной теории справедливости, и обращает внимание на экономическую структуру общества и экономически де-

[32] Ebd. S. 57.

финируемые классовые различия. Второе формулирует вопросы, связанные со статусной социальной и культурной иерархией. Фрезер убеждена, что, проводя политику перераспределения и признания как два взаимно несводимых направления деятельности, можно повысить чувствительность в понимании справедливости, которая затрагивает вопросы экономического неравенства и вопросы статуса. Тем самым появляется возможность обретения нормативного стандарта, позволяющего оценивать как экономические структуры, так и статусную иерархию.

Чтобы избежать движения в сторону «репрессивного коммунитаризма», навязывающего определенные ценности, Фрезер предлагает наделять признанием не специфические культурные группы, а статус отдельного члена группы как полноценного партнера в социальной интеракции. И пренебрежение в этом случае означает не девальвацию и искажение групповой идентичности, а общественное угнетение, в том смысле, что кто-то не может принимать участие в качестве равноправного члена социальной коммуникации»[33].

Для **Авишаи Маргалита** хорошее общество – это «приличное общество» (anständige Gesellschaft), которое он определяет как «… общество, чьи институты никого не унижают[34]. От гражданского общества оно отличается тем, что в приличном обществе речь идет об институтах, которые не унижают, а в гражданском обществе – об отдельных индивидах, которые взаимно не унижают друг друга[35]. Но главные различия, которые Маргалит проводит в своей работе, – это различия между «сдержанным» (gezügelte), «приличным», и «справедливым» обществом. «Сдержанное общество» не является жестоким, приличное общество не унижает своих граждан, а справедливое общество, вдобавок к этому, не оскорбляет. Эти три формы общества находятся, как выразился Маргалит, «в лексикографической субординации» друг к другу, образуя последовательность ступеней: избегание жестокости имеет приоритет перед избеганием унижения, а это, в свою очередь, имеет преимущество перед избеганием оскорбления[36]. Причина, по которой Маргалит ставит в центр своего рассмотрения не справедливость, а приличие, состоит в убеждении автора в том, что у идеала приличия больше шансов быть реализованным.

Приличное общество не допускает не только институциональной жестокости, но и институционального унижения, под которым Маргалит понимает все формы действий и отношений, дающих индивиду основание считать, что при этом фундаментально нарушено чувство его уважения к самому себе (self-respect)[37]. Он выделяет шесть институциональных воплощений унижения: снобизм; вмешательство в частную сферу; бюрократию; бедность; безработицу; наказание. Унижение – это не психологическая, а нормативная категория: к нему

[33] Ebd. S. 65.
[34] Margalit A. Politik der Würde: Über Achtung und Verachtung, Alexander Fest Verlag, Berlin 1997. S. 11, 15, 24.
[35] Ebd. S. 15.
[36] Ebd. S. 167, 180f.
[37] Ebd. S. 23, 25.

не следует относить чувства, испытываемые художником, творения которого отвергнуты зрителями, или старого человека, тяжело переживающего свою физическую немощь. Причиной считать себя нарушенным в праве самоуважения является исключение человека из человеческого сообщества, к примеру, посредством такого его рассмотрения, как будто он есть животное, машина, объект или инвентарный номер[38]. С животным можно обращаться жестоко, но его невозможно унизить. Унижение предполагает человеческий статус тех, на кого оно направлено[39].

Что нового добавляет понятие «приличного общества» в нормативную социальную теорию, в которой уже есть более-менее отрефлексированные понятия «справедливого» и «хорошего» общества? Сам Маргалит, по ходу изложения дает ответ на этот вопрос, признавая, что его приличное общество менее претенциозно, чем «справедливое общество» Хоннета. Справедливое общество – это скорее идеал, нормативная рамка для оценки существующих обществ. А достижение приличного общества является вполне осуществимой целью политики: создать такую социальную атмосферу, в которой институты не унижали бы своих граждан. Приличное общество, как оговаривает Маргалит еще во введении к своей книге, не претендует на то, чтобы быть справедливым обществом. Но оно может рассматриваться как первая ступень на пути к достижению справедливого общества[40].

Работу Маргалита можно отнести к жанру нормативного эссе, в котором излагаются теоретически несистематизированные интуитивные представления автора о том, каким общество «не должно быть». В этом смысле оно представляет собой «негативную» концепцию общества. В ней четко артикулированы ценностные приоритеты, главным из которых является отказ от практики безучастности людей к судьбе друг друга. Приличное общество – это такое, в котором людям не безразлична судьбы друг друга, а особая благосклонность оказывается слабым и беззащитным. Обобщая признаки описанного им приличного общества, Маргалит называет свою конструкцию утопией, «… с помощью которой критикуется реальность»[41].

Промежуточный итог

Острая фаза дебатов между «ролзовцами» и коммунитаристами завершилась в конце 90-х годов прошлого столетия, и основным её результатом стало прояснение позиций сторон и оформление собственно коммунитаристской платформы. Для обществознания в целом стало очевидно, что теория постпостмодерного общества, должна включать нормативные элементы, поскольку таковые присутствуют в онтологии современных обществ. Но для этого необхо-

[38] Ebd. S. 131, 135, 140.
[39] Ebd. S. 137.
[40] Ebd. S. 18.
[41] Ebd. S. 330-331.

димо решить фундаментальную проблему эпистемологического статуса ценностей, то есть обосновать, что они могут быть приравнены к фактам. Один из способов такого обоснования А.Макинтайр увидел у Аристотеля, у которого язык оценок и язык фактов совпадают в рамках общего учения о человеческих целях. Но он годится только для небольших и гомогенных обществ. Созданию полноценной теории мешает «проблема Макса Вебера», которую тот сформулировал в статье «Смысл свободы от оценки в социологической и экономической науке»: «Столкновение ценностей везде и всюду ведет не к альтернативам, а к безысходной смертельной борьбе, такой, как борьба «Бога» и «дьявола»[42]. Иными словами, Вебер выразил твердое убеждение, что этические и социально-политические проблемы не могут быть научно, то есть рационально объяснены. Наука имеет дело с фактами, а ценности таковыми не являются. Детальный разбор этой ситуации в обществоведении дал В.П.Макаренко[43].

Основным препятствием к построению научной картины общества является, таким образом, неустранимый плюрализм ценностей, который образует онтологию пост-постмодерных обществ и не может быть преодолен посредством подведения под некий общий знаменатель в виде обобщающей интеллектуальной инстанции. Интересная и довольно перспективная попытка решения этой трудности представлена в концепции трансверсального разума («трансверсальный» переводится как «сквозной», «пронизывающий насквозь» – С.Ч.) германского философа Вольфганга Вельша[44]. Этот тип разума, сходный с кантовской способностью суждения, может, по Вельшу, создавать переходы между различными типами рациональности, перекидывать между ними мосты, не нарушая при этом автономии каждой из этих рациональностей. Трансверсальный разум, таким образом, исходит из того, что все, на первый взгляд абсолютно гетерогенные ценностные сферы, имеют разную «плотность идентичности»: наряду с ядром, обеспечивающим их самость и составляющим их последнее основание, существует множество содержательных аспектов, которые относятся к «предпоследним» основаниям и относительно которых возможны компромиссы. С ними он и работает.

Трансверсальный разум может быть охарактеризован как подлинно философствующий ум, возвращающийся к одной из главных своих функций – производству мудрых советов, которые имели бы конкретное содержание, то есть были бы для «здесь и сейчас». Продукты работы трансверсального разума напоминают концепты – формообразования мысли, в которых нечто сделано «событием», то есть «схвачено», вырвано из потока времени и представлено в

[42] Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания; Смысл свободы от «оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 565.

[43] Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия. Очерки политической концептологии. М.: Праксис, 2002.

[44] Welsch W. Vernunft. Die Zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft. Fr.-am-M, 1995; Welsch W. Unsere postmoderne Moderne. Vierte Auflage. Berlin: Akad.-Verl., 1993.

определенной форме. Трансверсальный разум дефрагментирует социокультурное пространство, пронизывая разбросанные и автономные части единой смысловой нитью. То, что получается в результате, есть временная, ситуационная форма единства, в которой плюральность не упразднена, а всего лишь ослаблена.

Трансверсальный разум характеризует основную способность постмодерных форм жизни, потому что постмодерная действительность повсюду требует умения переходить между различными смысловыми системами и констелляциями реальности. Эта способность становится прямо-таки постмодерной добродетелью, условием удавшейся жизни под эгидой постмодерна. И эта способность совпадает с трансверсальным разумом, ибо в ней есть то, что требуется для выживания в условиях неустойчивости и неопределенности: переход от одной системы правил к другой, одновременное внимание к различным притязаниям, взгляд за концептуальную решетку. Лиотар характеризовал эту процессуальную форму постмодерной жизни через термины «ловкость», стремительность и изворотливость. Подобно тому, как «ловкость», – интеллигентность, но не догматичность, проворность, но не необдуманность, точность, но не формализм, – проявляется в переходе от одной конфигурации к другой, так и трансверсальный разум находит свое бытие в таких процессах перехода и обмена[45].

В этом же направлении двигаются сторонники социологического крыла в коммунитаризме. А.Этциони настаивает на важности эмпирических исследований, направленных на выявление представлений людей о «хорошей жизни». Эти исследования позволяют сблизить обыденные, интуитивные знания людей по злободневным вопросам их жизни, с тем, как эту жизнь видят социальные теоретики. Итогом является конкретная форма компромисса, своеобразное равновесие между наукой и жизнью как системой конкурирующих ценностных представлений. На возможность такого решения указывал и М. Вебер. Несколькими строками ниже своего диагноза относительно научного изучения ценностей, он пишет: «Между этими последними ценностями и идеалами не существует компромиссов и смягчений. Обращаем внимание: не существует согласно смыслу. В действительности же компромиссы существуют, и мы встречаемся с ними на каждом шагу. Люди в реальных жизненных ситуациях вольно или невольно смешивают ценностные сферы. *Выравнивающая роль «повседневности»* (выделено мной – С.Ч.) состоит в том, что живущие обычной жизнью люди, отчасти психологически, отчасти из прагматических соображений не сознают смешения враждебных друг другу ценностей и, более того, не хотят этого сознавать, поскольку тем самым они уходят от необходимости выбора между «богом» и «чёртом» и, соответственно, от того, какие из ценностей причислить богу, а какие – черту»[46].

[45] Welsch W. Unsere postmoderne Moderne. Vierte Auflage. Berlin: Akad.-Verl., 1993. S. 330-331.

[46] Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания; Смысл свободы от «оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Про-

* * *

Результат, таким образом, не может утешить ни одну из сторон спора. Приверженцы философии как строгого знания справедливо указывают на относительность и произвольность решений, сфокусированных на «здесь и теперь», а вопрос о возможности глобального консенсуса остается по-прежнему открытым. Коммунитаристы будут недовольны тем, что формирующее влияние сообщества ослаблено в пользу персональной самореализации. И, тем не менее, других удовлетворительных решений на обозримом горизонте пока не просматривается.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания; Смысл свободы от «оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990
2. *Макаренко В.П.* Аналитическая политическая философия. Очерки политической концептологии. М.: Праксис, 2002
3. *MacIntyre A.* After Virtue: A Study in Moral Theory. – Notre Dame, Indiana : University of Notre Dame Press, 1981. Русский перевод: *Макинтайр А.* После добродетели: Исследование теории морали. Пер. с англ. В.В.Целищева – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000
4. *Rawls J.* A Theory of Justice. Cambridge, Harvard University Press, 1971. – Русский перевод: *Ролз Дж.* Теория справедливости. Пер. с англ. В.В.Целищева. – Новосибирск.: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995
5. *Фукуяма Ф.* О моральном возрождении современной Америки // Интеллектуальный форум. 2002. № 8 – http://if.russ.ru/issue/8/20020309_fyk.html
6. *Чукин С.Г.* В поисках утраченного единства: концепт трансверсальности у Вольфганга Вельша // Вестник Ленинградского университета им. А.С.Пушкина. Серия «Философия». 2010. № 1. С.57-64
7. *Dewey J.* The Public and its Problems. Athens: Ohio University Press, 1985
8. *Etzioni A.* The Good Society. The Journal of Political Philosophy, Vol. 7. No. 1, (March 1999), pp. 88-103.
9. *Etzioni A.* Die Entdeckung des Gemeinwesens. Ansprüche, Verantwortlichkeiten und das Programm des Kommunitarismus. Stuttgart, 1995
10. *Fraser N.* Soziale Gerechtigkeit in der Wissensgesellschaft: Umverteilung, soziale Anerkennung und Teilhabe // Heinrich-Böll-Stiftung(Hg.): Gut zu Wissen, Westfälisches Dampfboot 2002. S.50-66

гресс, 1990. С. 565.

11. *Fraser N., Honneth A.* Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Suhrkamp, Frankfurt a.M., 2003
12. *Gutmann A.* Communitarian Critics of Liberalism, In: Philosophy and Public Affairs, 1985. Vol. 14. P. 309-322
13. *Honneth A.*, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1993
14. *Die Anerkennung ist ein Grundmechanismus sozialer Existenz*. Interview von Krassimir Stojanov mit Axel Honneth // Critique & Humanism, 2006. Vol. 22, special issue
15. *MacIntyre A.* Whose Justice? Which Rationality?. University of Notre Dame Press, 1988
16. *MacIntyre A.* The Tasks of Philosophy: Selected Essays, Volume 1 Cambridge University Press, 2006
17. *MacIntyre A.* Ist Patriotismus eine Tugend? In: Kommunitarismus: Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt/New York. Campus Verlag, 1993 S. 84-102
18. *Margalit A.* Politik der Würde: Über Achtung und Verachtung, Alexander Fest Verlag, Berlin 1997
19. *Rawls J.* Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978-1989. Frankfurt/M, 1992
20. *Sandel M.* Liberalism and the Limits of Justice. – Cambridge. Cambridge Univ. Press, 1982.
21. *Sandel M.* Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst. In: Kommunitarismus: Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt/New York. Campus Verlag, 1993. S. 18-36
22. *Sandel M.* Liberalismus oder Republikanismus. Von der Notwendigkeit der Bürgertugend. Wien. Passagen-Verlag, 1995. S.14-15
23. *Walzer M.* Die kommunitaristische Kritik am Liberalismus. In: Kommunitarismus: Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt/New York. Campus Verlag, 1993. S. 157-180
24. *Walzer M.* Moralischer Minimalismus. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1994.N 1.S.3-14
25. *Walzer M.* The Concept of Civil Society // Toward a Global Civil Society. Providence: Berghahn Books. 1995. P. 7-27
26. *Welsch W.* Unsere postmoderne Moderne. Vierte Auflage. Berlin: Akad.-Verl., 1993
27. *Welsch W.* Vernunft. Die Zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft. Fr.-am-M, 1995

Национальный и региональный контекст

ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ У ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ?[1]

Л.Д. Гудков
Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр)

1

Основную часть повестки дня XVI симпозиума «Пути России» составили глубокомысленные вопросы: «существует ли в России теоретическая социальная наука и каковы условия ее возможности, какова судьба «спора о методе» и каковы основные формы методологической рефлексии в современной исследовательской практике, каковы причины актуализации дискуссии о кризисе гуманитарного знания и происходит ли смена поколений в производстве социально-гуманитарного знания». Настойчивость, с которой в околоакадемических кругах[2] возобновляются разговоры об изменении «интеллектуального ландшафта России» или даже «самой инфраструктуры производства знания в современных социальных и гуманитарных дисциплинах», поневоле обращает на себя внимание постоянных участников симпозиума и заинтересованных внешних наблюдателей, вне зависимости от того, согласны ли они с такой повесткой или нет[3]. Вопросы, поставленные в подобной форме (существует ли *у нас* некая символически значимая вещь, например, «теоретическая социология в России»), не подразумевает ответа «да – нет» (раз мы говорим о них, то мы ими «обладаем», оперируем в качестве символов). Но другое дело – теоретическая деятельность, она либо есть, либо ее нет, а разговоры о том, при каких условиях она «действительно возможна», напоминают давнюю пародию на античную апорию «о куче».

[1] В основе статьи лежит доклад на XVI симпозиума «Пути России: Современное интеллектуальное пространство» (Москва, Интерцентр - МВШСЭН, 23 - 24 января 2009 г.) .

[2] Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М.: Наследие Евразии, 2006. Можно вспомнить также неудачные попытки М.Габовича в бытность его редактором журнала «Неприкосновенный запас» инициировать дискуссию, начатую В.Воронковым, о количественных и качественных методах и другие.

[3] Поэтому правильнее было бы несколько переформулировать название моего доклада: «Есть ли основания для дискуссии о теоретических проблемах в российских социальных и гуманитарных науках?».

Подобные вопросы задаются не для того, чтобы получить на них определенный ответ, не в этом социальный смысл такого «вопрошания». В ситуации «диалектической мнимости», когда ценностные посылки действующих подменяют предикат существования объекта, важна сама манифестация говорящих, она и есть «ответ» на поставленный ими же вопрос. Выдвижение тематики такого рода оказывается эффективным средством провокации, привлечения к себе внимания профессионального сообщества. Риторичность и противоречивость постановки самих вопросов, задающих тон на этой конференции, свидетельствуют о желании организаторов конференции и тех, кого они репрезентируют, заявить о себе как о фигурах нового поколения в отечественной социологии, противопоставляющих себя как динозаврам советской социологической номенклатуры, так и доминирующей сегодня заказной или ползучей описательной социологии, опирающейся преимущественно на массовые опросы или исследования общественного мнения с очень плоской интерпретацией полученных данных[4]. В какой степени такие вопросы являются аккумулированным и концентрированным выражением диффузных настроений, существующих среди вполне сформировавшегося в последние годы корпуса преподавателей социальных наук, оттесненных на периферию общественного внимания и интереса, судить трудно, но в том, что сами подобные мнения и установки есть, сомневаться не приходится. Положение социологических начальников, по прежнему сохраняющих руководящие позиции в научно-государственной иерархии (Г. Осипова, В. Иванова, В. Кузнецова, В. Добренькова и других), по большом счету, мало кого интересует, поскольку их научная ничтожность не требует особых доказательств. Кадры вчерашних идеологических борцов с буржуазной социологией сегодня заняты защитой национальных и религиозных ценностей и государственной (национальной) безопасностью. Протесты научной общественности против безобразий на соцфаке МГУ и его руководства, казалось бы, затронувшие общие вопросы о положении дел в социальных науках, как и во многих других случаях, не имели особого успеха и лишь показали, насколько низок уровень солидарности в самой научной среде, вяло реагирующей на всякого рода пакости и проявления социальной и человеческой деградации (коррупцию, плагиат, интеллектуальное воровство и организационное рейдерство). Что уж говорить об «имманентном» неприятии серости, господствующей эклектики и т.п., которого следовало бы ожидать в профессиональной среде, но признаков коего пока не обнаружено. Самым важным здесь, в конце концов, оказывается сознание нормативности фактического, ничем не отличающегося по своей природе от массового конформизма или цинизма, без которого не было бы поддержки или условий функционирования нынешнего авторитарного режима.

С другой стороны, видимая популярность массовых опросов в России, идентифицируемых общественностью и властями с «социологией» (ставшей, за

[4] Приходится реконструировать, так как формальных манифестов здесь не предусмотрено.

редким исключением, к тому же частью политтехнологической работы или пропаганды действующего режима), не может не вызывать сопротивления у некоторых представителей академической или университетской фракции этой дисциплины, особенно у тех, кто как-то прикоснулся к миру сложных идей. Не раз высказывая недовольство сложившимся положением дел в социальных науках, они давали самые низкие оценки опросной социологии. Спору нет, сведение всей социологии к перечислению цифр, заменяющих понимание реальности, вещь довольно скучная, а иногда и противная. Уровень интерпретаций, обычный для массовых социологических исследований, мало кого может удовлетворить, кроме самих социологов – их авторов. Российская социология едва-едва поднимается над общим уровнем массовых предрассудков и коллективных банальностей. Нет ничего удивительного в том, что те, кто-то хотел бы заслужить авторитет, стремятся предложить публике свое более глубокое и тонкое понимание реальности, свои определения (конструкции) происходящего. Дело за малым – за самими интерпретациями.

Но тут, как мне кажется, есть одна маленькая загвоздка: ту среду, которую хотели бы репрезентировать организаторы конференции, отталкивает не столько характер общего потока исследований, сколько специфическая ценностная нагрузка, «ангажированность» исследований, которые велись и ведутся в некоторых научных организациях, например, в старом ВЦИОМе, сегодня это Левада-центр. (Говорю это только потому, что я никогда не встречал каких-либо критических высказываний в адрес Института социологии, ИСПИ, ФОМ и множества других социологических организаций, ведущих подобные массовые опросы). «Манифестанты», если они действительно представляют определенное явление в отечественных социальных науках, хотели бы заниматься чистой, «деидеологизированной», наукой, высокой теорией, свободной от любой политической или социальной предвзятости, как от советского прошлого, так и от условного «либерализма», который (опять-таки, как мне кажется – вполне вероятно, что я ошибаюсь) они отождествляют с оппозицией нынешнему режиму. К такой ангажированности социологической деятельности они относятся явно негативно, как можно судить по ряду выступлений на конференции. Причем раздражение вызывает именно определенность ценностной позиции, за которой усматривается моральная определенность, принимающая форму интереса к большим социальным проблемам, включая и прошлое родного отечества, а значит, и чувство личной ответственности за свою работу как профессионала. Эта «инаковость» профессионального отношения воспринималась обычной советской и постсоветской научной средой как «человеческая дистанция» по отношению ко всем «прочим», как высокомерие, которое приписывалось некоторым людям старшего поколения, класса Левады. Но это именно то, что хотели бы забыть как постмодернисты, так и обслуживающий начальство народец. И тем, и другим от этого хотелось бы быть «теоретически чистыми».

Формально неприятие ценностных оснований такой научной деятельности принимает вид критической оценки устаревшего концептуального аппарата или методологических подходов. Отвергая их, постмодернисты претендуют на смену образцов исследовательской работы[5]. Поскольку те, кто выдвигают обозначенные претензии, уже не очень молодые преподаватели, понятна их озабоченность своим статусом в академической и университетской среде.

Дело не в конкретных людях. Я хотел бы, освободившись от чисто персонального рассмотрения этих манифестаций, посмотреть, в какой степени сам факт выхода на сцену российских подражателей западному постмодернизму и их претензии на новое слово в науке отражают состояние дел в отечественных социальных науках. Мне это кажется более важным и необходимым, нежели разбираться в тонкостях словесных игр «качественной» (феноменологической, этнометодологической и т.п.) социологии – российских версий европейского

[5] Более четко это выразил В.Вахштайн на последнем симпозиуме. Впрочем, пытаясь подкрепить такую позицию ссылками на принцип «свободы от ценностей» Макса Вебера (цитировалась, конечно, его лекция «Наука как профессия и призвание»), он совершил типовую ошибку, а именно: принцип «свободы от ценностей» он понимает самым плоским образом: как позицию «ценностной нейтральности» ученого, то есть как воздержание от оценок, что якобы гарантирует объективность познания. Это распространенное, особенно благодаря американским учебникам, заблуждение. Ничего более расходящегося с веберовским пониманием, чем такая схема, нет. Как и большинство нынешних социологов, знакомых с классическими идеями в пересказе, из третьих рук, В.Вахштайн не знает основных работ Вебера, в которых тот излагает свои представления о регулятивной и конститутивной роли ценностей в социальных науках. Я имею в виду, прежде всего, большие статьи «Объективность социально-научного и социально-политического познания» (1904) и «Смысл «свободы от ценностей» социологических и экономических наук» (1918), входившие в составленный после его смерти том методологических сочинений (Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tűbingen, 1968, s.146-214, 489-540). Вебер проводил различие между «оценками» или практическими оценочными суждениями (Werturteilen, praktischen Bewertungen) и теоретической процедурой «отнесения к ценности» (Wertbeziehung), значение которой он осознал благодаря работам Г.Риккерта. Последняя, по мысли Вебера, является важнейшей конститутивной процедурой в отборе материала, различении значимого и незначимого. Ценностные идеи не только указывают выделяемые содержательные обстоятельства, подлежащие анализу, но и задают направление поиска каузального или иного объяснения. Они суть выражение познавательного интереса ученого, без которого не происходит концептуального синтеза – основы образования теоретических понятий. «Трансцендентальной предпосылкой всякой науки о культуре является не то, что мы определенную, или вообще какую-либо «культуру» находим ценной, а то, что мы – культурные люди, одарены способностью и волей сознательно занимать позицию по отношению к миру и наделять его смыслом» (там же, с.180) «*Gesinnungslosigkeit* und *wissenschaftliche* “Objektivität” haben keinerlei innere Verwandschaft» («*Отсутствие убеждение*» и *научная* «объективность» не имеют между собой ничего общего» с.157). Кроме того, отмечу уже не для Вахштайна, а для читателя: «Наука как профессия» не является изложением методологических принципов понимающей социологии М.Вебера, это публичная лекция и ее смысл совершенно другой – помочь учащемуся осознать этический характер своего профессионального выбора. Чтобы не быть заподозренным в произвольности своей трактовки, расходящейся с обычными в академической среде стереотипами и предрассудками ученых профессоров, отошлю читателя к недавно вышедшей очень полной (более 1000 стр.!) интеллектуальной биографии М.Вебера «Страдания мышления», написанной Йоахимом Радкау. «Бесконечно часто цитируемый доклад от 7 ноября 1917 года «Наука как призвание и как профессия» лишь в очень ограниченной мере воспроизводит характер его собственных занятий наукой. Сам он был полной противоположностью тому зашоренному специалисту, которого он там изобразил в качестве специалиста современного типа. Пользуясь лишь горсточкой цитат из названного сочинения, нельзя постичь своеобразие и характер его работы». – Radkau J. Die Leidenschaft des Denkens. München: Carl Hanser Verlag, 2005, S.181. К занятиям чистой теорией (или в его языке – «методологией») Вебер относился резко отрицательно, называя их «методологической чумой» (там же). Подробнее о принципах веберовского «наукоучения» см.: Гудков Л.Д. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М., 1994, с. 69-135.

или американского постмодернизма 1970-90-х годов. Тем более, что это уже приходилось делать, но в другое время[6].

2

«Большие проблемы» предполагают специфический аппарат интерпретации – язык институциональных систем, длительных массовых процессов, социетальный уровень рассмотрения проблематики изменения и проч. Напротив, сторонники постмодернистской ревизии социологии предпочитают (точнее – декларируют) методические подходы микросоциологии – анализ практик, фреймов, этнометодологические приемы, «качественные методы», позволяющих избегать больших обобщений и теоретических абстракций, тем более, как им кажется, оценок или ценностных суждений, которые они иногда отождествляют – и не без оснований – с публицистикой.

Изменения состава оргкомитета конференции «Пути России» в последние годы неизбежно повлекли за собой и смену задач ежегодного симпозиума. После того, как в 2002 году руководство Интерцентра посчитало неудобным сделать фокусом дискуссии влияние второй чеченской войны на российское общество и изменение политического режима, конференция стала медленно переориентироваться с обсуждения содержательных проблем развития российского общества и трансформации его институтов на то, «*как мы изучаем*» это общество, а затем, и – на «картографию интеллектуального пространства», с тем, чтобы «облегчить навигацию в нем». Не знаю, в чем состоят трудности подобной «навигации», но само по себе это обстоятельство – сдвиг тематики – не требует какого-то дополнительного пояснения в условиях усиливающегося давления нынешнего режима на автономные центры общественной мысли и влияния. Обновление повестки работы конференции – от анализа болевых точек аборитивной модернизации к невинности «чистой науки» – это многократно наблюдавшийся в разных сферах и странах процесс приспособления «свободно парящих интеллектуалов» применительно «к обстоятельствам». И аргументы для подобного научного оппортунизма искать далеко не надо, они всегда под рукой[7].

Сказать, чтобы в российских социальных науках были заметны хоть какие-то признаки интереса к теоретико-методологической проблематике социального познания, нельзя хотя бы уже потому, что до сих пор не было ни сколько-нибудь значительных обзорных работ, ни серьезных дискуссий, в которых бы анализировались ***парадигмальные противоречия*** интерпретации получаемых отечественными социологами данных. Есть заметные расхождения в политико-

[6] Гудков Л.Д. Проблема повседневности и поиски альтернативной теории социологии. – В кн.: ФРГ глазами западногерманской социологии. М., Наука, 1989, с.296-329.

[7] Поэтому, несмотря на отдельные успехи конференции, например, на доклады культурологов в 2008 году, общий уровень представленных интеллектуальных разработок в 2008-2009 годах, на мой взгляд, заметно понизился.

идеологических установках социологов, но не в технике или характере предметных объяснений, поскольку никаких собственных теоретических или методологических идей у сторонников государственнической науки не возникает и возникать не может[8]. Мелкотемье же и ползучий эмпиризм «качественников» особых комментариев не требуют и споров не вызывают, несмотря на некоторые усилия, предпринимаемые к этому.

Для дискуссии о дифференциации теоретических школ и методологических подходов нужны в первую очередь сами эти школы и подходы, производящие оригинальные предметные и эмпирические знания, признаков которых пока не видно. Независимых и свободных исследований слишком мало. Поэтому пока все сводится к школярским по стилистике, но, по сути, эпигонским демонстрациям и играм в «спор о методе»[9].

Никаких принципиальных открытий не видно как со стороны, условно говоря, «СОЦИСа», так и со стороны тех, кто давно выступает с постмодернистскими манифестациями, хотя запоминающиеся работы, безусловно, есть. Отмечу, впрочем, что предметная работа при этом заметно расходится с теоретическими декларациями[10].

Разговоры о том, что надо бы что-то обсудить, время от времени имеют место (и нынешний симпозиум тому очевидное свидетельство), но обсуждения как-то не получается, по крайней мере, на российском материале[11].

Новые методы появляются, как известно, в форме «открытий», то есть описаний ранее неизвестного материала или нового описания известного материала, рассмотренного с «неожиданной» стороны. Открытия предполагают смену

---

[8] Ожидать, что на соцфаке у Добренькова или в ИСПИ и в им подобных рутинных заведениях могут завестись «идеи», не стоит, это абсолютно исключено. Сила таких социологических функционеров не в идеях, а в несокрушимой корпоративной солидарности научной или университетской и государственно-управленческой бюрократии, взаимной поддержке и защите чиновников от публичной критике и давления.

[9] Первым симптомом потребности в прояснении парадигмальных коллизий был бы рост интереса к философии науки, к философии познания, важность которой для теоретической работы в социологии невозможно переоценить, поскольку только философия в состоянии поставить вопросы смысла и границ познания. Но в России нет (и по многим причинам не может быть) оригинальной философии, тем более – связанной с теорией социального знания или социологии.

[10] Так, например, В.Волков, протагонист методологии «практик», в своей содержательной («эмпирической») работе декларируемые им модели использует в очень ограниченной мере, оперируя главным образом самыми обычными способами социологической интерпретации. См.: Волков В. Силовое предпринимательство. СПБ.: Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад. 2002. Концептуальная основа его интерпретации коррупционного сращения полиции и бизнеса задана некоторыми идеями Ч.Тилли, Д. Гамбетты и других западных социальных ученых, хотя их практическая разработка применительно к российскому материалу носит оригинальный и нетривиальный характер. В других работах он вообще не пользуется понятиями «практик», обходясь общепринятым набором понятий социально-экономического анализа. См.: Волков В. Госкорпорации: очередной институциональный эксперимент // Pro et Contra, 2008, №5-6 (43), с.75-88.

[11] За образец какого-то нового подхода всегда в таких случаях берутся примеры из зарубежных исследований или манифестации западных авторов (чаще даже американцев или британцев, где проходили стажировку или защищались наши «молодые»). Именно это и заставляет подозревать, что дело не в «парадигмах» и «новых теориях», а в том, что говорящие мотивированы какими-то иными идеальными побуждениями, например, борьбой за признание, конкуренцией за авторитет и влияние в академических кругах, а не озабоченностью решения каких-то предметных научных проблем. Разумеется, это не какая-нибудь вульгарная корысть, а борьба за чистую науку, свободную как от догматизма и номенклатурной скованности советской социологии, так и от политической или коммерческой зависимости исследователей постсоветского времени.

ценностной перспективы рассмотрения материала, «новую» конституцию «предмета». Но для этого нужны «убеждения, «образ мыслей» (по-веберовски: Gesinnung), кристаллизацией которых и являются «ценности», а стало быть, и особая заинтересованность в реальности, что не может быть предметом обучения, институциональных конвенций. Сложность заключается в том, что **сами теории не являются нейтральными словарями и парадигмами**, их использование подчинено логике институционального поведения в науке, с одной стороны, и познавательного (ценностного) интереса, с другой. Соответственно, анализ теоретических средств вынужден принимать во внимание не только то, как согласуются в процессе исследования языки разных научных сфер, предметных регионов («практик»), но как при этом применяются специфические языки описания, чем они отличаются от языков объяснения (генерализованных концептуальных препаратов, чистых конструкций), как последние используются (применительно к эмпирическому материалу, то есть специально уже препарированному, описанному в выделенной перспективе фактическому массиву данных социальных взаимодействий или социального поведения), а также – каковы сами правила отбора различных самих языков – теорий, концепций и т.п.

Теоретических дискуссий в российской социологии нет, потому что нет теоретической работы в отечественной социологии (равно как и в других гуманитарных дисциплинах)[12]. Более того, следует сказать, что такая работа скорее нежелательна для большинства занятых в этих сферах[13]. То, что сегодня у нас

[12] Редкие исключения лишь подтверждают общие заключения. Для меня образцами теоретической работы в российской социологии являются работы Ю.А.Левады. Хотя его идеи (общая концепция репродуктивных систем, сложных структур социального действия в обществах догоняющей модернизации и т.п.) и не были систематически изложены, при желании и интересе со стороны социологов они могли бы дать мощный импульс концептуальным разработкам. Другой пример – оставшиеся совсем без внимания труды Д.Б.Зильбермана, его гигантская по охвату материала и сложности типология культур, основанная на своеобразии идей, традиций и институтов. Мою высокую оценку этих достижений, конечно, можно рассматривать как проявления «кружкового патриотизма», это нетрудно, однако сам факт, что научная среда вытеснила идеи этих авторов, получивших признание у самых рафинированных российских ученых, оспорить будет сложно.

[13] Я не собираюсь давать обзор различных направлений и школ в отечественной социологии, и не столько потому, что это дело отдельной работы, а не выступления на конференции, сколько потому, что их реально нет. Есть по-разному работающие исследователи или даже отдельные группы ученых, есть центры, практикующие какой-то один набор методических приемов в описании ограниченного круга предметных вопросов. Но они не образуют воспроизводящихся направлений в науке и не тянут на статус оригинальной школы или хотя заимствованной парадигмы в науке. За последние 8-10 лет у ряда преподавателей в возрасте примерно 50 лет, в Петербурге или Москве, наметился свой круг последователей из числа бывших студентов, в манере работы которых проступает общность полученного ими образования (я имею в виду, например, В.Волкова, О.Хархордина или В.Воронкова в Питере, А.Филиппова в Москве), но говорить о существовании разных школ или парадигм пока не приходится, в первую очередь потому, что они не выходят на уровень воспроизводящихся практик исследовательской работы, что нет устойчивости получаемых эмпирических результатов или теоретических интерпретаций нового материала. Здесь (в исследованиях), как и в целом в российской социологии, господствует безнадежная эклектика и приземленность в понимании собранного или анализируемого материала. Недавний III-й ВСК лишь подтвердил подобное заключение. Мне могут сразу же возразить: как это не ведется теоретической работы, если соответствующие разделы в специализированных книжных магазинах заполнены соответствующей литературой. Даже в фойе нашей конференции продавался солидный том «Теория социологии». Но если посмотреть на то, что подается под этим названием, то мы увидим, что на 9/10 эти пухлые сборники представляют собой ридерз-дайжесты, содержащие, без какой-либо аналитической интерпретации или разбора, фрагменты переводов работ западных авторов, никак не связанных с проблематикой актуальных исследований российского социума. Предназначены они, если судить по их «имплицитному читателю», то есть издательской

идет под рубрикой «теоретическая социология», является довольно произвольным по отбору материала пересказом чужих слов и идей, в адекватности которого часто стоит сомневаться. Разумеется, среди многих статей на эти темы почти всегда можно найти и несколько работ серьезных авторов, как правило, давно занимающихся историей социологии или преподаванием иной гуманитарной дисциплины. Но в целом они редки, и не потому, что хороший анализ или интерпретация – вещи сами по себе редкие, а потому, что их появление не носит характер систематической работы, то есть они не находятся в общем силовом поле коллективного поиска и разработок. Ни те, ни другие не делают погоду в отечественных социальных и гуманитарных науках. Это индивидуальные достижения отдельно работающих преподавателей и историков социологии. Подчеркиваю этот момент специально, поскольку здесь важно, что достигнутое наиболее удачно работающими авторами не воспроизводится, не аккумулируется в общих приемах исследовательской работы (будь-то эмпирические разработки или история социальной мысли). Они остаются частными достижениями отдельных ученых или авторов, пишущих на общие темы, а это указывает на отсутствие или слабость в наших науках механизмов селекции достижений в практике конкретных разработок, неэффективность системы отбора и признания подобных достижений, а стало быть – незначимость внутриинституциональных принципов гратификации и оценки продуктивной работы, имманентных для самого института, его внутренней конституции. Об этом ниже.

А пока что нет никаких признаков учета этого движения к реальности, к пониманию сложности и гетерогенности социокультурной материи социологией (это был бы первый признак собственно теоретической работы). Болезни российской социологии (социальных наук в широком смысле) давно и всем известны: это творческая бесплодность (отсюда – нужда в заимствовании флажков и символов), интеллектуальная трусость или отсутствие интереса к реальности. Рассуждения о «необходимости теории» в социологии или шире – социальных науках оказываются суррогатами моральных и ценностных самоопределений, попытками привстать на цыпочки, показывая, что мы уже большие, и разыграть спектакль «сцены настоящей науки». По существу же перед нами «попытка с негодными средствами», так как не только нет интереса к собственно теоретической работе или нет соответствующей квалификации у тех, кто претендует на занятия теорией, но нет (и это, пожалуй, самое главное) интеллектуальной среды, которая могла бы воспринимать новые идеи, не говоря уже о том, чтобы их систематически вырабатывать.

Такое положение в отечественной науке не просто не случайно, оно представляет собой особенность ее внутренней организации.

и читательской адресации, студентам или молодым преподавателям в качестве иллюстративного материала или цитатников в рамках соответствующих университетских курсов. Не более того.

Признаками того, что у нас нет потребности в теории, я считаю, как это говорил много раз, отсутствие дискуссий, прежде всего, по расходящимся интерпретациям одних и тех же данных, одних и тех же подходов, описаний, обсуждений корректности использования тех или иных предметов описания и прочее[14].

Можно спорить о том, стала ли лучше в последние 15-20 лет ситуация в этом плане или хуже, или она вообще не изменилась. Первый вопрос здесь: с чем сравнивать и как оценивать[15]. Если сравнивать ситуацию в социальных науках с советскими временами, как это делают И.С.Кон или В.А.Ядов, то, несомненно, мы должны отмечать некоторый прогресс: расширение масштабов исследовательской работы, разнообразие ее тематики, появление новой литературы, повышение методического и технического уровня эмпирических исследований и т.п. Однако я бы отметил и очевидные проявления внутренней деградации, характеризующие состояние дисциплины в последние годы и связанные, на мой взгляд, с утратой чрезвычайно важных ценностных моментов исследовательской работы, мотивации познавательной деятельности. Поэтому сравнивать нынешнее положение, на мой взгляд, нужно не только с предшествующей фазой (такое сравнение дает вполне очевидные позитивные изменения), а с уровнем «должного», с тем понимание теоретической работы, которое присутствует у И.С.Кона или Ю.А.Левады, с «идеальным» представлением о теории, пониманием, для чего она нужна, как связана с корректной, серьезной исследовательской работой[16].

Мне приходилось часто отмечать некорректность широко распространенной практики прямого заимствования понятий или концепций западных социальных наук и их механического приложения к российской реальности. Но выводить из этого заключение, будто нам не нужен опыт европейской или американской социологии, будто российская реальность, общество и история настолько уникальны, что их изучение не нуждается в западном теоретическом аппарате, было бы неверным или недобросовестным занятием. Доказывать, что такая деятельность крайне необходима, несмотря на все недостатки и ущербность нынешней рецепции, связанной с длительной изоляцией российской нау-

[14] Единственным исключением можно считать исследования общественного мнения, в частности, проблемы изучения электорального поведения, где ангажированность участников весьма высока, а поле расхождений в интерпретациях (несмотря на значительное сходство получаемых данных разными центрами или, напротив, как раз именно поэтому).

[15] Это тема прозвучала в недавнем очень интересном интервью И.С.Кона с Л.Борусяк: http://www.polit.ru/analytics/2009/01/20/kon.html

[16] При всей ограниченности условий и возможностей для социологической работы в советское время, ее внутренний смысл для некоторых из тех, кого мы сегодня относим к поколению отцов-основателей, был в полной мере определен стремление к личностной эмансипации, к утверждению собственной свободы, личностного достоинства, которые непосредственно связано с качеством и широтой познавательной деятельности. Соответственно, сама социологическая работа (при условии интеллектуальной порядочности) неизбежно окрашивалась в тона сопротивления тупому и репрессивному окружению. Понять тоталитарный социум означало (хотя бы в перспективе, в модусе отдаленной возможности) изменить существующее общество. Это та ценностная или этическая составляющая, которой начисто лишены молодые эпигоны постмодернизма и присутствие которой у людей старшего поколения так раздражает их.

ки от мирового развития, значило бы «ломиться в открытые ворота». Но это совсем не значит, что не надо менять характер освоения этого ресурса. Сегодня чаще используются «слова», оказывающиеся всего лишь ярлычками приобщенности к современному состоянию (знаками нормы, интеллектуальной моды на то, что сегодня носят в Европе или в Америке), но за рамками понимания остаются сам генезис этих понятий или их функциональный смысл, драматический характер процедур образования новых теоретических понятий, то, как появляется на свет научная «проблема», какими средствами она фиксируется, в какой концептуальной перспективе разрабатывается, какие возможности открываются с выбором именно такого-то аппарата, а что при этом неизбежно теряется, что может быть компенсировано или дополнено обращением к альтернативному подходу и т.п.

Обсуждение или анализ эффективности понятия можно вести только при условии ясного понимания, в ответ на какую социальную или культурную, интеллектуальную коллизию, исследовательскую задачу, выработано соответствующее понятие или термин, какой у него ценностный или идеологический «бэкграунд», как оно связано с историческими, культурными, групповыми или политическими интересами, каковы его функциональные возможности (генерализационные, модальные, идеографические), его смысловые ресурсы (ассоциативный ряд) и проч. Если бы это имело бы у нас место, то есть началась бы серьезная теоретико-методологическая дискуссия по каким-то вполне содержательным проблемам социального знания, то, я уверен, были бы задействованы не последние по времени публикации, с которыми ознакомились те, кто учился или стажировался в зарубежных университетах и вынес оттуда то, что там на тот момент было актуальным, а гораздо более ранние пласты социологической работы, ресурсы основного корпуса позитивного социологического знания (сложившегося в 1930-60-х годах), сегодня остающегося по существу мало известным у нас. Чтобы обсуждать продуктивность научных понятий, необходима история этих понятий, история соответствующих концептуальных разработок, то есть динамика смысловых трансформаций научных понятий на разных фазах работы. Ничего экзотического в таком подходе нет, сошлюсь в качестве примера на соответствующие анализы такого ключевого понятия, как «тоталитаризм», потребовавшие длительных дискуссий в среде историков, социологов и политологов.

Подобных разработок в российской социологии нет, могу утверждать это с уверенностью. В результате мы в нашей литературе сталкиваемся с массой, по существу, по функции, оценочных понятий, остающихся в предметном смысле фантомами, понятиями с неясным эмпирическим референтом («средний класс», «гражданское» или «сетевое» общество и прочее). Поэтому попытки начать «дискуссию о методах» (хотя бы в виде: что лучше – «фреймы» или «практики», как это было подано в программе нашего симпозиума) вне контекста отечественных разработок могут быть лишь имитацией профессиональной

деятельности или своего рода шоу, рассчитанным на сравнительно невзыскательную публику. Такого рода суррогаты механизмов самоорганизации науки или разновидности «карго-культа» весьма вероятно будут популярны в среде постмодернистских эпигонов, поскольку именно такое «обновление» затребовано нынешними социологами, в этом плане принципиально отличающимися как от западных коллег, так и от уходящего поколения.

Апелляция к тому, что сегодня в России называется «теоретическими проблемами социологии», имеет совершенно другой смысл и функциональное назначение, нежели в западной социологии. Там речь идет о рационализации средств и оснований познавательной деятельности. Здесь призывы такого рода связаны с дефицитом средств и оснований профессиональной идентификации (отчасти – дефицитом специфически академической гратификации), в основе которых также неявно лежат проблемы ценностного самоопределения и мотивации научной работы, выбора объекта исследования и соответствующих средств анализа. Истощенность ценностной сферы, за символы которой идет жестокая конкуренция в образованной среде, смысловая, нравственная и культурная бедность общества, оставшаяся от тоталитаризма, – вопрос чрезвычайно чувствительный как для общества в целом, так и для такого зависимого от этих вещей института как наука, прежде всего, социальная наука.

3

Почему, собственно, в России нет запроса на теоретическую работу? Попробую его развернуть иначе: а как вообще возникает запрос на теоретическую работу? В каких обстоятельствах нужна теория социологии, и что это такое?

Признание важности теоретической работы, значимости теории в социальных или социально-гуманитарных науках складывается, по меньшей мере, из трех источников. Во-первых, теория, генерализующая концепция, дает объяснение целого ряда темных мест в социальной жизни, то есть оказывается не просто средством описания действительности, а принципом ее понимания, объяснения того, что происходит в обществе, истории, в самом человеке. Это важнейшая функция социального знания, предназначенного для общества, для публичной рефлексии. Подобные широкие схемы интерпретации множества явлений действительности, охватываемой данной схемой, становятся фазами самоконституции общества, если говорить о социальных науках, или фазами самоконституции дисциплин, дающих предметные конструкции целых областей знания, «предметных регионов». Их появление представляет собой концентрированный ответ на ценностные коллизии, существующие в обществе. Познавательный интерес, требующий появления подобных теорий большого класса, мотивирован, как говорил Вебер, «бегущим светом великих культурных проблем». Таковы теории рационализации, современности, модернизации, теории личности и им подобные социетальные или антропологические конструк-

ции, включая идеи культуры, истории и проч. В зависимости от степени генерализации объяснения теория может играть роль «черного ящика», когда в ее структуре свернуты множество факторов и схем взаимосвязей, процессов, или нормативной смысловой конструкции «социального действия» (института, группы и проч.). Специфика «социологии как науки о действительности», вытекает из ее методологической установки: социология это наука, предмет которой составляют структуры социального взаимодействия, предполагающие, следовательно, акты понимания действующими друг друга. Именно сфера понимания является границей социального, а механизмы понимания (ресурсы «культуры») – тем минимумом дисциплинарной «онтологии», базовых конвенциональных конструкций дисциплинарной реальности, без которых не может обходиться ни одна наука. Другими словами, социология – это наука, в которой процесс теоретизирования исходит (логически первично) из актов субъективного смыслового полагания. Такая посылка устанавливает принцип элиминации всего, что находится за рамками понимаемого, – никакой метафизики, никакой априорной реальности. Но выделение значимого (отделение от незначимого) и важного в каких-то отношениях, интересного для исследователя материала обеспечивается исключительно личностным познавательным интересом ученого, его собственным субъективным отношением к происходящему. Подчеркиваю этот аспект, важный, как никакой другой. Способность «быть заинтересованным», таким образом, сама по себе – уже характеристика весьма развитой субъективности, возникающей только в условиях интенсивной социальной и культурной дифференциации. В познавательном ценностном интересе трансформированы внутренние личностные коллизии и заботы, моральные, групповые, идеологические, экзистенциальные проблемы. Это вовсе не естественно или спонтанно возникающая характеристика личности или общества, каких-то его групп. Готовность «загораться» чем-то, что не связано с непосредственным удовлетворением желания, – продукт длительного культивирования и самовоспитания, самодисциплинирования, требующего сложной системы институциональных и групповых санкций (в том числе – длительной религиозной, гражданской, политической, экономической и прочей социализации).

Способность со страстью[17] относиться к действительности, а соответственно, наделять происходящее смыслом и значением, то есть видеть в науке способ обращения с реальностью, – вещь столь же индивидуальная (и редкая у нас), как и способность к любви, но именно поэтому она так высоко ценится в европейском обществе и культуре[18]. Новые точки зрения на реальность, новый

[17] Такой, как, например, у М.Вебера, доводившей его до полного нервного истощения и многолетней психической болезни.

[18] Напротив, вся система профессиональной социализации в нынешней отечественной социологии направлена на развращение студента, на подавление у него самой возможности возникновения подобного интереса и следования ему в процессах обучения и самореализации. Непропорционально большой объем обучения маркетингу, политтехнологиям, пиару, упор на методике и технике обработке данных в ущерб исторической, гуманитарной и собственно теоретической подготовке – все это вполне сознательная и планомерная деструкция ценностной основы дисциплины. С результатами этого можно ознакомиться по взвешенному и обстоятельному

интерес к ней, потребность в новых объяснениях и понимании материала могут появляться только как ответ на свои собственные жизненные, личностные или экзистенциальные проблемы. По существу, такого рода значения образуют ценностные основания дисциплины, подчеркиваю, – не аксиоматические, а именно ценностные, соединяющие культурные проблемы и познавательные средства и инструменты, то есть то, что составляет внутренний этос автономной науки. Другими словами, мотивация познания непосредственно связана с принципами институциональной организации науки. Только там, где есть или где гарантирована автономия науки, независимость ее от внешних регуляций, где выражен субъективный интерес исследователя, возникает внутренняя потребность в понимании и готовность к постижению реальности, выливающаяся в разработку генерализованных средств ее объяснения. Эпигон же – это всегда имитатор чужой страсти.

Это первая плоскость вопросов о том, как возникает спрос на теоретическое знание.

Второе условие рождения спроса на теоретико-методологический анализ или причина появления новых теорий, – столкновение парадигм (теорий и подходов), предложенных или разработанных в рамках различных подходов и школ. Подобные коллизии заставляют пересматривать методы и базовые посылки общепринятых систем объяснения, конструкций фактов и принципов оценки их достоверности, надежности, валидности, корректности интерпретаций, требуют анализировать генезис тех или иных теоретико-методологических процедур, характер установления связности, причинности и т.п. функциональных отношений объяснения. Необязательно это должно сопровождаться научными революциями в духе Т.Куна. Это может быть рутинная методическая работа самоконтроля проделанных объяснений и процедур получения данных, рефлексия относительно адекватности применяемых мер, подходов и способов объяснения. Нахождение новых принципов объяснения, снимающих одномерности прежних теоретических конструкций, оказывается в таких ситуациях нормальным решением постоянно возникающих в научной практике вопросов интерпретации, а сам разбор понятийных конструкций, их генезиса или границ генерализации – реакцией на социальные ожидания различных участников научного процесса[19].

И, наконец, третья плоскость рассмотрения или третий тип причин обращения к теории, возникающий из второго, – это само устройство науки как института, в рамках которого постоянно работает репродуктивная подсистема, включающая механизмы «памяти» института и социализации новых членов со-

анализу состоянию российской социологии, данному в работах М.Соколова.

[19] В принципе здесь возможно два направления теоретической работы: первое – разработка единого дисциплинарного языка описания и объяснения, «общая теория» (какой ее видел, например, Т.Парсонс или Н.Луман), а второе, прямо противоположное направление работы – методологический и генетический анализ практики эмпирической работы, изучение того, как в ходе черновой эмпирической работы происходит использование языка разных теорий, разных концепций, часто принадлежащих разным предметным регионам, разных пластов научной культуры.

общества, а стало быть, идет непрерывная селекция и отбор значимого и проверенного знания, признанного в качестве бесспорных научных результатов, в качестве «образца» для «исторической упаковки» и примеров для преподавания, для профессионального обучения следующего поколения. По отношению к преподаванию здесь работают механизмы формализации знания, подчиняющиеся принципам объяснения функционирования института. По отношению к «истории» теоретическая и методологическая рефлексия направлена иначе: она ориентируется на выявление скрытых посылок и условий познавательных процедур, латентного знания, общекультурных импликаций в корпус специализированных знаний, перенос социальных ожиданий и требований в научные процедуры и прочее.

Суммируя, я бы сказал, что смысл и назначение теоретического знания заключается в следующем. Общая теория служит не для описания реальности, а для систематизации и упорядочения способов корректного (то есть принятого и одобряемого в академической среде) соединения концептуальных систем (разных «теоретических языков»). Тем самым назначение общей теории – дать возможность исследовательскому сообществу контролировать, то есть проверять, сами способы, которыми соединяются в единое синтетическое целое – объясненную «реальность» – различные его элементы, теоретические понятия, имеющие *разное* происхождение, *разный в методологическом плане генезис*. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы а) избежать «диалектических мнимостей», когда объясняемое и объясняющее содержат одни и те же компоненты, описывается лишь то, что объясняется средствами описания; б) определить эффективность синтеза (устойчивость процедур, генерализационный потенциал). Соответственно, критика результативности объяснения начинается с проверки условий введения понятийных элементов базовой концепции, используемой для описания (отбора таксономических единиц) или объяснения (установления причинно-следственных или функциональных связей и их конструкций). Поскольку и отбор материала, и способ интерпретации заданы не *онтологически*, то есть какой-то априорной картинкой реальности (в социологическом отношении это означает – обеспечены догмами, жесткими групповыми конвенциями держателей нормы реальности), а мотивированы специфическим ценностным интересом исследователя, его субъективным выбором соответствующих предметных теорий и концепций в качестве средств объяснения, то одной из важнейших задачей теоретической работы всегда оказывается выявление функциональной роли ценностей исследователя. Речь при этом идет о необходимости различения практических оценок и конститутивной роли ценностей, познавательного, ценностного интереса ученого, отделяющего важное от неважного, незначимого. Иными словами, смысл теоретической – постоянной, черновой – работы заключается в контроле условий введения предметной теории и правила ее использования для определенных задач исследовательской и аналитической работы. В самой теории не содержатся правила ее построения (равно ее генезис

), а лишь правила (нормы, социальные конвенции) ее использования в качестве либо препарированного и методически контролируемого описания, либо, опять же, методически строгого объяснения (параметров генерализации или установления функциональных связей между элементами рассматриваемых конструкций).

Практическое назначение теории состоит в «опускании» промежуточных фаз или цепочек рассуждения, исследования, обусловленное задачами методологической проверки корректности рассуждения. Это то свойство, что называется «красотой», или «экономностью» теории или концепции.

Правильное (корректное) использование теории заключается в установлении границ применимости – пределов использования теории, недопущении изменений модальности ее применения или переноса ее на несоответствующий материал. Нельзя допустить «одновременное» использование одной и той же концептуальной схемы или системы и как описания, и как объяснения. В противном случае мы имеем дело с диалектическими мнимостями, мифами, сменой субъектов действия (анализа, описания, объяснения и т.п.), как это имеет место в многочисленных случаях использования «архетипов», цивилизационных подходов или внеисторических «институциональных матриц».

4

Что мы имеем в нашей ситуации? Как бы значительны ни были изменения за 20 лет, прошедшие с распада СССР, институциональная организация самого института науки в нашей стране по сути своей не изменилась или изменилась несущественно. Расширился диапазон организационных форм научной деятельности, но мейнстрим социальных наук по-прежнему представлен рутинной продукцией академических институтов (это львиная доля всего социального знания) и ведущих университетов (удельный вес последних в общем раскладе гораздо более скромный). Никакой институциональной автономии при этом у них нет и в обозримом будущем не предвидится. Академические институты и университеты подчинены государству, финансируются из бюджета, планы их работы контролируются соответствующими инстанциями, задающими направление и цели научной работы. Как и в советское время, доминирующая мотивация исследований здесь обусловлена интересами тех, кто представляет власть, основное назначение науки – это обслуживание сегодняшних интересов властей. Поэтому все планы научной работы, общая направленность и характер преподавания[20] заданы ориентацией на власть, на ее сформулированные или предполагаемые запросы (которые вообще-то могут и не быть сформулированными, их зачастую надо угадать, важно объяснить властям ту пользу, которую могут принести им соответствующие разработки). Адаптация постановки проблем,

[20] Разумеется, эти задачи могут быть дополнены преподаванием разного рода курсов, обеспечивающих студента ресурсами профессиональной квалификации – знанием маркетинговых технологий, пиара, теорий организаций и менеджмента и прочего, всего, что сегодня требуют управляемый рынок и суверенная демократия.

приспособление исследовательской работы к видению действительности лицами, располагающими властью, деньгами, административными ресурсами, оказывается более важным фактором, нежели концептуальные ресурсы самой дисциплины. «Этос» государственной сервильности в постсоветской российской социологии определяет институциональные каноны исследовательской работы. Организационные формы научной деятельности в этом плане могут несколько отличаться друг от друга, равно как и сами формулировки задач, но функция и суть их остается примерно той же самой: необходимость обеспечения эффективности государственного управления[21].

Иными словами, производство знания, как и в советское время, ориентировано на практические интересы номенклатурного или заменяющего его руководства, которое выступает и главным оценщиком достоверности знания, его фальсификации, верификации, оправдания и т.п. Собственные научные критерии исследовательской деятельности здесь не работают или выражены очень слабо, внутренние проблемы науки также не важны; имеют значение только внешние, экстранаучные, экстраинституциональные критерии знания и его производства. Поэтому и сегодня для основной части занятых в социологии, то есть внутри самого института науки, приоритетны главным образом вертикальные связи, включая и вертикальный характер финансирования, сертификации кадров и их подбора, структуры авторитетов, тематики исследований и механизмов академического признания. А это означает, что отсутствуют или малозначимы механизмы внутрикорпоративной организации, внутрикорпоративные оценки деятельности работы ученых, оценки их достижения, соответственно, оценки применяемых инструментов, процедуры проверки адекватности полученных результатов и всего прочего[22].

Таким образом, отсутствие дискуссии, обсуждения полученных результатов, рецензирования, полемики, принципиальной избыточности информации и прочего, что необходимо для функционирования «нормальной науки» оказывается вполне объяснимым и закономерным. Они не нужны, поскольку не возникает проблемы конфликта интерпретаций[23], обусловленных разными познавательными интересами и средствами объяснения. Раз действует практика верти-

[21] Соответствующие пассажи и формулировки нетрудно найти в статьях и выступления руководителей социологических институтов Г.Осипова, В. Кузнецова, М.Горшкова, Жукова и других, опубликованных в «СОЦИС» или других журналах. У А. Ослона эти аксиомы научной мотивации выражены более простодушно, а потому и более вульгарно: «социология должна обслуживать лиц, принимающих решения». Но уж совсем в духе «Наших» эти установки науки представлены в хвастливом девизе сурковского ВЦИОМа: «Знать, чтобы побеждать». «Социология» в этом новом ВЦИОМе включена в состав политтехнологической машины обработки общественного мнения, ее задачи ограничены технологией сбора социальной информации, а использование последней и толкование полученных результатов отдано начальству или тем, кто ему исправно служит. Именно такая форма и проектировалась в середине 1960-х годов советским начальством: допустимы только методика и техника социальных исследований, а интерпретация (равно общая социология) должна оставаться за истматом, то есть партийно-идеологическими инстанциями. Но, опять-таки добавлю, этому же преимущественно учат и в лучших российских университетах, а именно: технике обработки и статистического анализа данных.

[22] Многие социологи не согласятся с моими определениями, полагая их слишком радикальными и депрессивными, однако мало кто возражает против такого типа институциональной организации социальных наук, что представляется мне более важным в данном случае.

кального согласования полученных результатов (или ориентация на нее), то внутренних импульсов дискуссии по поводу расходящихся трактовок в такой ситуации практически и не может возникнуть. Проблема интерпретации получает исключительно нормативный характер, поскольку ее характер, направленность и сами стандарты контролируются интересами власти и управления[24].

Но по тем же причинам и преподаваемая история социальных дисциплин оказывается никак не связанной с историей исследований Это два разных и не пересекающихся друг с другом потока текстов.

А раз так, то вполне справедливы утверждения о сохраняющемся «изоморфизме», как сказал бы наш покойный коллега Ю.А. Гастев, между воспроизводством той академической серости (или беспринципности научного сообщества), авторитарным режимом и бедностью научных интерпретаций.

Разумеется, можно найти исключения из этого общего правила, но они о ченм уже упоминалось, будут иметь индивидуальный, а не институциональный характер: импульсы, которые толкают некоторых исследователей заниматься теоретическими вещами, все-таки существуют. Правда, их положение всегда будет положением маргиналов, вытесненных на периферию общественного внимания и интереса коллег[25]. Или, другими словами, конститутивные ценности и когнитивные конвенции постсоветского российского академического сообщества *периферийны* для научных организаций этого типа.

Впрочем, такое положение вещей мало кого волнует, поскольку, как я уже говорил, проблема верификации или фальсификации результатов исследования, значимости получаемых объяснений не так важна в существующих институциональных контекстах, как демонстрация знаков «научности», в качестве которых и используются западные имена или термины. Функция такого использования западных имен, западных подходов – преимущественно демонстративная, идентификационная. Западная социология используется не как «библиотека» исследовательского опыта, а либо как арсенал готовых отмычек для решения стандартных – по умолчанию – проблем социальной реальности,

---

[23] Как говорил один из политтехнологов в сурковском окружении, приписанных к президентской администрации, «нам не нужны ваши интерпретации, нам нужны данные, а интерпретировать мы сами будем».

[24] Лучшим примером здесь являются разногласия по поводу наличия и размеров «среднего класса» в России. Никем не осознается, что когда в отечественную практику, в отечественное преподавание, в отечественные исследования переносится западный материал, западные подходы, западные идеи, то этот материал вырывается из контекста их возникновения и разработки. Походы или концепции привносятся сюда как нечто, совершенно готовое, чужое, абстрактно-отвлеченное, или напротив, использование западных понятий и терминов тянет за собой латентный и плохо учитываемый пласт оценочных значений. Тем самым при работе с ними, при отождествлении понятий и реальности в наших обстоятельствах возникает эффект ложного опознания, последствиями которого становятся неадекватное применение понятия.

[25] Этим объясняется, в частности, и принципиальный для отечественной организации науки разрыв между практикой преподаванием и исследовательской работой. Разработка теорий связана преимущественно с историческим характером преподнесения материала западных концепций в учебных курсах (в европейских или американских университетах эти сферы более или менее соединены в одно целое). Поэтому даже вполне адекватные и серьезные аналитические работы по изложению концепций того или иного западного автора представляют собой не более чем пересказ его идей, данных вне учета проблемной ситуации, в которой они возникли.

либо как кормовые участки для тех, кто занимается «теорией социологии» или «историей социологии». Ссылки на западных ученых в большинстве статей отечественных авторов – это не нормальная процедура отсылки к уже апробированной кем-то методике или высказанной гипотезе, отсылка к мнению, не подлежащему в данных случаях проверке, то есть к уже проделанной работе, а значок собственной «квалифицированности», символ доступа к не всем доступным ресурсам, поскольку цитируются не рабочие тексты, а указываются авторитеты, которые должны подтвердить или сертифицировать «профессиональное» качество соответствующего автора. Повышенная семиотическая значимость этого цитирования, не имеющая отношения к проверке гипотез или полученным достоверным результатам, указывает на церемониальный характер научной деятельности, что ставит под сомнение сам ее смысл. Это подтверждается фактами систематических разрывов с мировой наукой, которые убедительно продемонстрированы тем же М.Соколовым на примерах индексов цитирования.

Главная проблема российских социальных наук заключается в бедности ее ценностных оснований, которая задается институциональными формами ее организации, соответственно, систематическим подбором людей или их принуждением и «обкатыванием». Характер этой бедности обусловлен убогостью представлений о человеке и обстоятельствах его существования, его внутренней жизни, его связях с другими, образующими «общество» вне государства. В поле внимания российских социологов оказываются главным образом те аспекты человеческого существования, которые релевантны в каких-то отношениях для задач «управления», интересов государственных структур. Самостоятельного интереса к различным сторонам человеческой жизни, особенно тем, которые представляют собой сложные формы поддержания самоидентичности или интимных отношений с окружающим миром, у российских социологов нет. Отчасти дело, конечно, в грубости самих нравов и «простоте» социальной материи посттоталитарного и механически интегрированного социума, но этим дело не исчерпывается. Более существенным следует считать вульгарность самих социологических представлений о российском обществе, порожденных органической зависимостью социальных наук от власти и глубинными ориентациями на нее, а не на «общество». Именно эта ограниченность, стерильность ценностных представлений и бросается в глаза в сравнении с характером познавательного интереса, а значит и научной этикой, в социальных науках европейских стран или Америки, считающихся (явно по недоразумению) образцами для российских исследователей. Возможно, именно это обстоятельство и определяет мотивацию российских эпигонов, пытающихся присвоить себе хотя бы знаки чужой полноценности. Имитация чужих, но авторитетных приемов и идей, то есть склонность к эпигонскому заимствованию знаков «признанного», оказывается компенсацией за неспособность понимания своей реальности. Демонстрация чужих флажков позволяет закрыть глаза на историю страны, ее нынешнее со-

стояние, мораль, массовую культуру, интеллектуальные и человеческие особенности ее «элиты». Или иначе и, может быть, точнее: действующая интеллектуальная (научная) организация «производителей идей» в нашем «обществе-государстве» предполагает – как условие функционирования и консолидации научного сообщества – слепоту и неспособность к пониманию своего национального и исторического прошлого, своеобразия своего «культурного» пространства, позволяя тем самым ее членам быть «свободным» от чувства ответственности за него.

Психоаналитик, вероятно, связал бы вытеснение у некоторых постмодернистов латентного чувства ущербности или неполноценности, подавляемого рессантимента, с их интересом к насилию самого разного рода: это может быть и завороженность левым марксизмом и революционизмом, и радостное принятие радикальной критики позитивной академической социологии, или напротив, интерес к антимодерности и склонность к политическому или философскому консерватизму, в ряде случаев даже –фундаментализму и т.п. Едва ли можно считать случайным в нашей литературе повышенное внимание к фигурам, к которым позитивистская либеральная социальная наука относится с явным предубеждением, как, например, Н.Хомски или К.Шмитт, при отсутствии должного внимания к основному корпусу социологической литературы (особенно относящейся к 1930-1960-м годам), включая классические работы Вебера, Зиммеля, Парсонса, Мертона и еще очень многих других. Для меня важен сам факт использования чужой критики теории для собственных нужд. Конфронтационный характер идеологических отношений легко переносится на нашу почву, меняя, правда, свою направленность: здесь не академический истеблишмент становится причиной отторжения, а как раз наоборот – ангажированные, но не академические научные группы и исследовательские структуры. Как и в низовых слоях общества, у слабых в социальном плане или переходных групп, компенсаторное любование силой, насилием, пусть даже это чужое насилие, принимающее вид «настоящего бандитского шика», как говорил Мандельштам, сохраняется и в социальных науках в качестве важного ресурса самоутверждения и самоидентификации.

5

Таким образом, настроения среднего поколения российских социологов, выступающих с идеями постмодернистской ревизии социологии, интересны не собственно своим теоретическим «радикализмом», или «новационностью» (этого как раз и нет или маловато будет), а своей «симптоматичностью», «избирательным родством» с массовыми представлениями, образующими базу коллективной идентичности. Теоретической оригинальности в предлагаемых подходах или концепциях в действительности как раз и нет (иначе сама демонстрация заимствований была бы не так важна). Более того, элементы эклектического

постмодернизма в размытом и менее концентрированном виде уже давно вошли в обиход основной массы университетских преподавателей, знакомых с социологией по свежим переводам новейшей литературы, ссылками на которую полны нынешние учебные пособия и курсы. (О качестве их или характер отбора сейчас не говорю). Смесь раздражения, стеба, апатии, комплекса ущемленности в сочетании с функциональной необходимостью фигур «врагов» представляют собой чрезвычайно характерные и устойчивые реакции основной массы населения нашего общества на происходящее. Явно не будучи способным справиться с напряжениями, вызванными перспективами трансформации тоталитарного социума, необходимостью собственных усилий и веры, российское общество реагирует на текущие процессы вялым раздражением и цинизмом, характерным для людей, которых долгое время донимали моральными прописями: «Оставьте нас в покое». Оно предпочитает дисквалифицировать сами источники внутреннего морального или ценностного «иного», чем сделать такие же шаги, какие предприняли общества других стран. Это понятная реакция астенического поколения, приходящего вслед за поколением «хронической мобилизации», поколения детей советских «идеологических погромщиков» и их жертв. Собственное бессилие оборачивается стойким негативизмом к любому акту сознательного и ценностно выраженного отношения к реальности, в первую очередь – к необходимости аналитического понимания источников насилия и принуждения, будь то в прошлом или в настоящем страны. (Тот же психоаналитик мог бы рассказать, какую смещенную реакцию агрессии вызывают попытки проникнуть в зону травматического сознания пациента, какие мощные защитные силы вступают в игру, когда дело касается самых важных, а потому и очень болезненных точек самоидентификации, вины, рождающейся из сознания своей несостоятельности и т.п.).

Таким образом, дело не в смене поколений[26] и не в акциях или манифестациях постмодернистов, а в проблеме ценностей исследователя в нашей науке, в механизмах самостерилизации ученых или исследователей. Здесь мы сталкиваемся с теми же явлениями или процессами, что уже зафиксированы нами в других сферах общественной жизни: устойчивые механизмы **примитивизации, ценностной девальвации, декультурализации социальных отношений.** Это не раз описанные в работах Левада-Центра стратегии пассивной адаптации населения, снижения уровня запросов, «понижающий трансформатор» человеческих отношений, массовый цинизм и показная религиозность, ригоризм и репрессивность в оценках. Именно эти проявления, казалось бы, должны стать предметом теоретической работы социологов, явно оказавшихся перед необычными проявлениями человеческой природы, реверсными движениями модернизационных процессов и культурной инволюции. При первом приближении к этим проблемами можно сказать, что здесь модернизационные или культурные

[26] В строгом смысле смена поколений не меняет институциональную структура отечественной науки.

новообразования нейтрализуются гораздо более примитивными и архаическими регулятивными механизмами и их соединениями.

Но пока нет никаких признаков подобного движения к «реальности». Вместо этого идет постоянное снижение интеллектуального уровня науки (разумеется, по отношению к **должному** и **ожидаемому**, а не к фактическому уровню советской и постсоветской науки)

Циническую позицию, которая мне мерещится за модой на постмодернизм, я рассматривал бы как признак слабости или творческого бесплодия, все равно, к какой бы сфере общественной жизни это ни относилось: наука, социальные отношения или литература. Кстати, о литературе.

Я глубоко убежден, что возможности развития у российской социологии связаны с перспективами ее кооперации с другими гуманитарными дисциплинами, возможностями взаимообмена методами (концепциями) и материалом. Для меня признаками изменения ситуации в социологии было бы именно обращение социологов к материалу символических форм, оказывающихся предметом рационализации гуманитарных наук. Бедность своих антропологических конструкций российская социология могла бы компенсировать вторичным анализом того, что репрезентируют история, искусство, литература, кино. Именно их опыт и наработки могли бы дать импульс для собственной теоретической работы социологов (что собственно и делается постоянно в западных социальных науках – все научные бестселлеры последних лет связаны именно с такого рода работами). Эти сферы и, стало быть, науки, которые ими занимаются, оказываются гораздо более чувствительными к изменениям смысловых структур, моральных взаимоотношений в обществе, меняющих системы социальных связей. Если бы мы были чуть опытнее и внимательнее, мы могли бы задолго до нынешней фазы увидеть, предугадать нарастание многих явлений и тенденций, например, потребность в авторитаризме, эрозию и разложение элит, слабость солидарных отношений, блокирующих модернизационные процессы и многое другое. Однако ткнуться туда с теперешним концептуальным аппаратом социологии совершенно невозможно, ибо понятийные средства не позволяют фиксировать, анализировать и объяснять сложные формы и структуры взаимодействия, такие как смыслопорождающие действия, игровые структуры и т.п.

Видимо отсюда же проистекает популярность научных суррогатов или интерес к промежуточным или внедисциплинарным формам интерпретации, к эссеистике в духе М.Фуко, Ж. Батая, Ж.Делеза и других французских постмодернистских интеллектуалов. Их многословие, нестрогость, неопределенность, если не сказать, мутность мысли, живописность, частые двусмысленности, вызывающие вполне оправданное нарекание и раздражение позитивистски настроенных ученых, не отменяет функциональной значимости их работы. Они внимательны к внутренним движениям человеческого сознания, они тоньше чувствуют смысловую и социальную диалектику негативных сторон модернизации или становящегося современным общества. Они (или же – их

эпигоны) пытаются ощупать то, что не поддается терминологическому закреплению, то, для чего нет в общепринятых концепциях понятийных средств описания и объяснения, а именно: текстуру сложных смысловых отношений и конструкций. Как правило, даже в случае удачных заимствований такие описания принимает форму ценностно-нагруженных внутридисциплинарных конвенций, не позволяющих их применение в других дисциплинах. Иными словами, для исследователей это очевидный, хотя и вынужденный паллиатив.

Для собственной социологической работы все равно приходится подобный материал переинтерпретировать, то есть, скажем, в литературных формах (то есть – средствах литературного конструирования) увидеть нормы социального взаимодействия, проекции социальных взаимодействий и образований, социальных морфем, выступающих якобы как чисто эстетические конструкции. Нужно разбить их на отдельные элементы – времени (структурованного по типам действия), пространства, антропологии (судьбы, сюжетообразующих коллизий, типов сюжетов и типов персонажей, точки зрения автора как проекции определенных нормативных определений реальности). То же самое и по отношению к истории или экономике. Здесь проблемы сложной мотивации экономического взаимодействия, доверия, солидарности, механизмы депривации, институционализации правил согласования смысла действия, контроля, гратификации, веры и проч. самым решительным образом требуют социологической интерпретации в категориях сложных форм социального действия. Нынешние подходы, скажем, в духе «рационального выбора» или тому подобных моделей страдают от принудительного экономизма, инструментализирующего то, что по существу не является целевым действием.

6

Проблема в том, что социология (как и другие социальные или гуманитарные науки) не «видит» в силу разных причин сложные феномены, сложные, «метафорические» по характеру своего синтеза символических и нормативно-ценностных регулятивов формы социального поведения, соединения гетерогенных социальных и институциональных структур и культурных пластов, поскольку они не укладывается в ее сегодняшний расхожий и крайне бедный аппарат. Это слепота обусловлена тем, что достижения и результаты работы других дисциплин (истории, литературоведения, философии, психологии или психоанализа, культурологии в широком смысле – наук о духе, истории идей и понятий, истории повседневности и прочее) не могут быть переведены на язык социологического знания. Нет понятий и инструментов для выражения сложных форм поведения, прежде всего – смыслопорождающих или смыслогенерирующих, смыслотранслирующих форм и т.п. Социальные науки сегодня работают либо с крайне упрощенными формами действия (целерациональными или

ценностнорациональными), либо с эвристическими и мутными, не «чистыми» формами действия и взаимодействия, что создает иллюзию значительности или условия для шарлатанства.

Однако подобные теоретические разработки сложных форм социальных действий, в свою очередь, невозможны без понимания того, как происходит институционализация смыслополагания – обучение, согласование, социальный контроль, согласование интересов, принуждение или наоборот.

Поэтому, если говорить всерьез о перспективах теории социологии, есть несколько крупных задач, оказывающихся особенно важными именно для российской социологии, поскольку социальная гетерогенность здесь на порядок выше, чем в стабилизированных европейских обществах или в США. Более того, именно здесь мы наблюдаем инволюционные варианты развития, что делает шансы на генерализацию подобных теорий гораздо более высокими, позволяя прилагать соответствующие модели (предположим, что они разработаны) для других регионов, где отмечены явления или процессы абортивной модернизации. Перечислю эти задачи.

1. Разработка теории смыслопорождающего действия (производства, таких действий, в которых смысл, полагаемый действующим, является не только схемой его последующего понимания, но и правилами предполагаемого взаимодействия с партнером). Она может быть реализована как типологическое описание многообразия механизмов смыслогенерации, сложных структур социального действия, синтезирующего более простые регулятивные структуры (понимания того, как это делает сам индивид в форме субъективной инновации или другого действия, соединяющего образцы социальных действий, данных разными институтами или разными пластами культуры). Если эта проблема будет решена как социологическая, то есть будут найдены средства социологического анализа сложных культурных форм в современном обществе (а это значит – наиболее рафинированных и интимных сфер человеческого существования), то мы получим возможность для анализа уже высокодифференцированных институциональных и неинституциональных структур и форм взаимодействия, их объяснения и развития.

2. Теория сложных (синтетических) форм социального взаимодействия, смыслопорождающих механизмов по существу своему представляет решение **проблемы рациональности и ее типов, культурных обоснований синтеза идей и интересов.** Рациональность не сводится к вопросам нормативности какой-то одной схемы рационального действия, а представляет собой условия или возможности синтеза идей и интересов, соответственно, механизмов или структур соединения гетерогенности исторической и социальной, социальной и культурной регуляции и ее воспроизводства. Задача заключается в том, чтобы прояснить сами обстоятельства, в которых происходит этот синтез, правил синтезирования слоев и типов записей культурных значений, интересов и идей, со-

циальных (групповых, институциональных) норм (прагматики) и символического репертуара.

3. Взаимодействие социологии и других дисциплин гуманитарного круга, в первую очередь – истории. Последняя дает иную плоскость для последующей социологической работы – генетический аспект социальных явлений и процессов, происхождение нынешних форм социального взаимодействия, без учета и понимания которых невозможны понимание и теоретическое объяснение «причинности» или ее функциональных эквивалентов в системах интерпретации. Сегодня в общую кучу под именем «культурология» сваливаются проблемы, требующие усилия целого ряда наук: здесь и история идей или понятий, концепции визуальности, экспрессивности, теория символического, священного и мирского и проч., а также те вопросы, которыми занята практическая философия – концепции очевидности, систематического истолкования/рационализации ценностей, зла, теодицеи, смерти и проч.

4. Перспектива развития самой социологии открывается лишь с возможностями использования ресурсов и достижений смежных дисциплин. А для этого необходим не просто *аппарат перевода аналитических и концептуальных языков этих наук* на *языки социологии*, а выработка соответствующих аналогов работы ***внутри самой*** социологии (аналогичную работу пытался проделать Т.Парсонс, а еще ранее – М.Вебер; в меньшем объеме соответствующие усилия предпринимали и другие основатели социологии, и не потому, что им хотелось разработать генеральную теорию социологии, а потому что этого требовала сама практика эмпирической работы).

Такая работа предполагает расширение представлений о типах действия, природе символов, типах антропологии, формах консолидации и более сложных, в смысле более противоречивых, процессах, чем это имеем место сейчас.

Сегодня развитие социологии блокируется ее государственно-академическим статусом. Дело не в каких-то внешних запретах и ограничениях, а во внутренних механизмах саморегуляции исследователей, парализующих автономное развитие дисциплины, отражение в теоретических задачах тех проблем, которыми озабочено общество. Дефицит теоретических средств объяснения заставляет молодых ученых обращаться к ресурсам западной социологии, которая, в свою очередь, оказывается все больше и больше в ситуации утраты к ней общественного интереса, поскольку ресурсы этой социологии заканчиваются. Она постепенно превращается в академическую резервацию, зону интеллектуального застоя и консерватизма. Напротив, именно в России, как и в других странах догоняющего развития, особенно в там, где барьеры на пути модернизации ведут к появлению обходных, параллельных или возвратных процессов, а значит, возникают совершенно новые социальные образования (шунты, заболачивание, тупики человеческого развития и т.п.), там возможности для теоретической работы социолога предельно благоприятны и широки. Поэтому вопрос об деэтатизации социальной науки – это самый

важный вопрос для будущего российской социологии. Не хотелось бы, чтобы ценностный нигилизм стерилизовал мотивационный потенциал российских социологов. В конце концов (и в этом, как оказалось, был конец экзистенциализма), ничего особенного в «пограничных ситуациях» найти не удалось: установка на раскрытие негативной «сущности» человека произвела типологическое множество ситуаций человеческой ничтожности. Вопрос, однако, заключается в другом: «культурные ли мы люди», «одарены ли способностью и волей сознательно относиться к миру и наделять его смыслом»…

ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА АБСУРДА
(от редакции)

В 1996 г. я высказал идею о том, что советскую внутреннюю и внешнюю политику надо рассматривать как воплощение абсурда[1]. Идея постепенно подтверждается другими исследователями: в СССР «…абсурд состоял в том, что если человек строил государственную промышленность, добиваясь ее эффективности, его обвиняли именно в развале промышленности; если он отвечал за обороноспособность страны, в процветании которой был единственный смысл его жизни, его обвиняли в подрыве армии, в работе на иностранные разведки, в продаже секретов тем державам, против которых строилась оборона. Если человек отвечал за развитие науки, подбирал наиболее способные кадры, создавал им условия для максимальной отдачи сил, его обвиняли в развале этой науки, в заведомом вредительстве и саботаже; если это был врач, боровшийся за жизнь своих пациентов, его заставляли признать, что подлинной его задачей было как можно скорее и как можно больше отправить людей на тот свет»[2].

Появились публикации, в которых вся история России/СССР в XX в. рассматривается как накопление абсурда и классифицирована по датам газетных публикаций (от 1 января до 31 декабря) за сто лет[3]. В.Шендерович описывает абсурдность политики руководства России после 2000 года[4], А.Илларионов детализирует этот тезис в отношении 2009 года[5]. Появились также работы теоретического характера[6].

Короче говоря, социальная и политическая история СССР/России может рассматриваться как процесс *вырождения профессионализма* во всех сферах деятельности, включая политику. Влияние данного вырождения на постсоветскую реальность требует специального исследования на уровне страны и регионов.

Мне уже приходилось писать о том, что история и современная ситуация стран Кавказа - продукт длительного противоборства между Османской и Российской/советской империями[7]. Но несмотря на войны между Россией и Турцией в обоих империях развивались общие проблемы: появление и рост класса чи-

[1] См.: Макаренко В.П. Политическая концептология // Народы СНГ накануне третьего тысячелетия: реалии и перспективы. Т.3. СПб, Петрополис, 1996

[2] Никитин А. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России. Москва, Аграф, 2000, с.133

[3] См.: Безелянский Ю. Огненный век. М., Пашков дом, 2001

[4] См.: Шендерович В. Комментарий к событиям российской жизни (сентябрь-октябрь 2004 г.) // Континент. 2004, № 118-140

новников; торговля государственными должностями; конфликт центра и периферии; использование финансов для достижения политических целей[8]. Имперская власть не в состоянии решить данные проблемы. Поэтому политика империй превращается в замкнутый круг одних и тех же проблем, в отношении которых бессильны реакционеры, реформаторы и революционеры[9].

В периоды распада империй возникающие на их обломках государства становятся «змеиным клубком интересов» (по определению Б.Льюиса), зависимостей и карьер. Государство превращается в самодовлеющую силу – оно неспособно решать социальные проблемы, хотя удовлетворяет материальные интересы все большего слоя людей, не создающих материальных и духовных ценностей. В состав этого слоя входят силовые структуры и бюрократия. Поэтому постимперские государства сохраняются даже при неблагоприятных обстоятельствах. Правящие клики с помощью силовых структур и бюрократии преобразуют государство в сословный институт[10].

М.Гаспаров показал, что советский режим был абсурдным (двуличным) не более, чем всякий другой, предписывающий разные мысли и поступки в разных обстоятельствах. Абсурдность в СССР связана с социальной историей христианства: «Когда в самом христианском обществе на время войны отменяется за-

---

[5] В свежем номере журнала «Континент» опубликовано его интервью под заглавием «Две тысячи девятый — год нарастающего абсурда…». Проявлениями абсурда А.Илларионов считает 13 событий и классифицирует их следующим образом: 1. Событие года: Начало гражданской войны на Кавказе (Ингушетия, Чечня, Дагестан). 2. Главный результат года: Новый уровень террора не только против журналистов, правозащитников, адвокатов, любых оппонентов власти (С. Маркелов, А. Бабурова, С. Ямадаев, Н. Эстемирова, З. Сайдуллаева, А. Джабраилов, М. Аушев, И. Джапаридзе, И. Хуторской, С. Магнитский, О. Котовская), но и против всех граждан со стороны политического режима и его отдельных клик. 3. Идея года: Политическая либерализация. 4. Антиидея года: Экономическая и технологическая модернизация без политической либерализации = неосталинизм (сталинизм — логически завершенная форма такой модернизации в национальной истории), ресталинизация. 5. Антизакон года: Закон о государственном регулировании торговли. 6. Решение года во внутренней политике: Соглашение между Ю. Евкуровым и Т. Мамсуровым о возвращении ингушских беженцев в Пригородный район. 7. Антирешение года во внешней политике: Предоставление президенту страны права применения российских войск за рубежом. 8. Антирешение года: Создание Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. 9. Афера года: Большой Климатгейт (серия “малых” климатгейтов, принятие российскими властями Климатической доктрины, Копенгагенская конференция по вопросам изменения климата). 10. “Шутка года”: Путин не исключает возможности баллотироваться в выборах 2012 года. Медведев *этого* тоже не исключает. Медведев уверен, что договорится с Путиным по поводу выборов. Путин уточняет: “Слава богу, у нас никаких выборов нет”. 11. Вопрос года: Какому лагерю во власти — путинскому или медведевскому — принадлежит Медведев? Принадлежит ли Медведев вообще к государственной власти? 12. Событие года на постсоветском пространстве: Внесение Михаилом Саакашвили в парламент Грузии Акта свободы. 13. Событие года в мире: Марксизация США. См.: Илларионов А. Две тысячи девятый – год нарастающего абсурда // Континент. 2009, № 142

[6] См.: Абсурд и вокруг. Отв.ред. О.Буренина. М., Языки славянской культуры, 2004

[7] См.: Турция между Европой и Азией: итоги европеизации на исходе xx века. Москва, Крафт+ИВ РАН, 2001

[8] См.: Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморской мир в эпоху Филиппа 11: В 3 ч. Ч.2: Коллективные судьбы и универсальные сдвиги / Песр. С фр.М.А.Юсима. – М: Языки славянской культуры. 2003, СС. 473-497

[9] См.: Макаренко В.П. Кавказ как предмет концептологического анализа // Sofia. 2001, № 1, с.128-147

[10] Необходимость применения понятия «клика» (а не элита) для анализа постсоветской реальности обоснована в работах: Макаренко В.П. Социальная структура: явные и скрытые элементы. Ростов-на-Дону, Логос, 1992; Тощенко Ж.Т. Элиты? Кланы? Касты? Клики?.. Кто правит нами? // Социологические исследования. Москва, Наука, 1999, № 10

поведь «не убий», а на время мира «не лихоимствуй», это то же самое»[11]. М.Я.Геллер обосновал тезис: вся история России/СССР может рассматриваться как процесс многократного образования и распада империи[12].

Как проявляются эти проблемы в постсоветской реальности? На основе анализа хроники первой российско-чеченской войны (1994-1996 гг.), составленной российскими журналистами и правозащитниками[13], я поставил проблему распада империй в контексте войны в системе «центр-периферия»[14]. Здесь напомню некоторые существенные моменты.

Война в системе «центр-периферия»

Дело в том, что большинство журналистов и правозащитников относятся к праву наций на самоопределение как к модификации прав человека, субъектом которых выступают государства, национальные и этнические движения. Действительно, в период распада СССР в республиках возникли национальные движения. Они возродили лозунг самоопределения, но трактовали его в ленинском духе. Зарубежные советологи тоже утверждали, что народы СССР испытывают угнетение и поэтому имеют право претендовать на политическое самоопределение. Между тем в постсоветское время на законодательном уровне в России не было даже попыток строго определить этот термин. Таким же образом обстоит дело в международной правовой практике. Вопрос о самоопределении запутан, а международно-правовые документы противоречивы. Поэтому ООН не высказывает официального мнения о содержании права народов на самоопределение. В итоге парадигма самоопределения остается наиболее политизированным вопросом, что только освящает властно-управленческий произвол политического руководства.

По сравнению с периодом советской власти никакого изменения в трактовке самоопределения в России и других государствах СНГ не произошло. Пока все реформы советской национальной политики сводятся к разработке множества законов, концепций и программ, каждый из которых можно оспорить. Создаются различные государственные институты по регламентации этнонациональной ситуации в России. Под видом самоопределения народов самоопределяются властно-управленческие клики государств СНГ. Россия стала пионером этого процесса. Требование самоопределения не выражает единую и общую волю населения этих государств. Оно есть продукт фальсификации данного требования этнонациональными кликами.

---

[11] Гаспаров М. Записи и выписки. М., НЛО, 2000, с.292

[12] См.: Геллер М.Я. История Российской империи. Т.1-2. М., «МИК», 2001

[13] См.: Россия-Чечня: цепь ошибок и преступлений. Составители Орлов О.П., Черкасов А.В. Москва, Звенья, 1998. Все цитаты и документы приводятся по этой книге.

[14] См.: Макаренко В.П. Распад империй: война в системе «центр-периферия». Статьи 1-2 // Sofia. 2003, №3; 2004, № 4

Этот вывод доказан теоретически и эмпирически. Современная этнология не дает строго научного обоснования принципу самоопределения, поскольку невозможно вообще и в каждом конкретном случае определить, кто может и кто не может претендовать на это право. Существует ряд нерешенных проблем концептуализации, правового обеспечения и реализации принципа самоопределения: не доказано, что сам принцип относится к базовым правам человека и обеспечивает его интересы; нет однозначных международных правовых норм толкования и реализации этого права; нет четких критериев определения возможных субъектов права на политическое самоопределение; нет бесспорных (с точки зрения демократических принципов) процедур осуществления этого права; нет универсальных способов совмещения политического самоопределения с другими правовыми нормами по поддержанию политического порядка и интересов всех этносов и наций.

Стало быть, категория «естественных, фундаментальных, неоспоримых прав человека» является конвенциональным правом, а связанный с ним принцип самоопределения (политического, национального, этнического) являются заблуждением[15]. Следовательно, сама дискуссия между центром и периферией, связанная с попытками утвердить те или иные государства как субъекты права на самоопределение, не отражает интересы населения, а воплощает волю властно-управленческих клик.

В то же время собранный журналистами и правозащитниками материал позволяет описать в первом приближении механизм проявления общих проблем и особенностей распада империй в постсоветском пространстве[16].

Realpolitik Москвы и Грозного базировалась на произвольных решениях. Центр СССР не препятствовал внутрироссийскому сепаратизму для борьбы с Ельциным. Тогда как российский центр возрождает родовые отношения и играет на них одновременно с подготовкой силового решения проблемы. Политическая ответственность за появление указа № 178 (о введении чрезвычайного положения в Чечне осенью 1991 г.) до сих пор не установлена. Российские СМИ в период подготовки силового решения чеченского вопроса были подверстаны под интересы вершины российской власти. Ни о какой независимости СМИ от данных интересов не может быть речи. Центр устанавливает иерархию и очередность решения политических проблем, в которой содержится возможность войны.

Центр дважды способствовал расползанию оружия среди населения Чечни. Предпочтение личных контактов протокольным мероприятиям в постсоветской политике маскирует произвол правящих лиц и клик. Решения законодательной власти России и Чечни не выполняются, а ответственность за невыполнение не установлена. Перестановки на вершине власти в период подготовки силового

[15] См.: Чешко С.В. Кризис доктрины самоопределения // Этнографическое обозрение. 2001, № 2, с.3-17; Нации и национализм. Перевод с английского. Москва, Праксис, 2002

[16] См.: Макаренко В.П. Распад империй: война в системе «центр-периферия». Статьи 1-2 // Sofia. 2003, №3; 2004, № 4

решения проблемы усилили позиции российских *ястребов*. Возможность международно-правового признания независимости территорий используется центром для манипуляции общественным мнением и введения в заблуждение мирового сообщества. Российское государство по-прежнему грабит население.

Если политические проблемы решает исполнительная власть, это усиливает опасность войны. Россия не выполняет международных обязательств по лимитам на вооружение внутри страны. Российский центр (как и в советские времена) использует тактику насаждения марионеточных правительств. Но уже не в других странах, а на своей территории. Проблема территориальной целостности России ставится и решается в зависимости от интересов высшего уровня власти и политической коньюнктуры. Отрицая сепаратизм на словах, центр делает ставку на региональных сепаратистов. Приемлемость (или неприемлемость) для вершины власти конкретных лиц может служить поводом вооруженного конфликта центра с периферией. Для этого расширяются функции органов безопасности, которым поручается (как и в советское время) контроль экономики в целях сохранения монополии центра на природные ресурсы. В этом контексте власти США играют значительную роль в подготовке силовых решений региональных конфликтов.

Противоположные действия (высказывания) политиков центра маскируют подготовку силового решения. Центральная бюрократия не считает диалог решением политических вопросов и сознательно затягивает переговоры для подготовки войны. Она использует также ложную информацию и перебрасывает ответственность за терроризм со своих силовых структур на периферийные власти и сопредельные государства. Спецслужбы определяют содержание и состав политической оппозиции. Интересы русских националистов совпадают с интересами силовых структур сторон, которые находятся в политическом конфликте. Российский парламент играет значительную роль в политической манипуляции, а Европарламент поддерживает политические иллюзии.

Есть пункты сходства режимов Дудаева и Ельцина. Оба режима расстреляли неугодную им законодательную власть, совершили государственные перевороты, базируются на системе внутреннего шпионажа и предотвращают появление политиков, независимых от властвующих клик. Режим Дудаева предпринимал карательные экспедиции против местностей, которые не желали ему подчиниться. Центр осуществил такую же экспедицию против Чечни. Оба режима не признавали народного ополчения. Применение регулярной армии против населения привело к геноциду. В этом контексте этнические ритуалы используются для политической карнавализации и мобилизации. В Чечне и в России сталкиваются государственно-мафиозный и национально-радикальный терроризм. Для защиты обоих используются силовые структуры. Оба вида терроризма отвергают теорию и практику правого государства. Независимость любого региона от центра не означает, что население данного региона признает возникающее государство, которое официально выступает за независимость.

Нарушения прав человека и норм гуманитарного права Россией и Чечней

По массовости нарушений прав человека, числу жертв и жестокости события в Чечне беспрецедентны для России со времени прекращения в 1950-х гг. массовых репрессий. Чеченцы правы, сравнивая события 1994-1996 гг. с депортацией 1944-1956 гг. По размаху боев этот внутренний конфликт аналогичен гражданской войне в Советской России в 1918-1921 гг. Чечня составляет примерно одну сотую населения России, в войне погибло несколько десятков тысяч человек. Если потери чеченцев перевести на российские масштабы, Россия потеряла бы несколько миллионов человек. Война в Чечне – воспроизводство и новый этап конфликтов Советской власти с коренным (подавление Кронштадтского и Тамбовского восстаний) и нерусским населением периферии (борьба с повстанцами в Средней Азии в 1920-1930-е гг., антипартизанские действия в Западной Украине и Прибалтике в 1940-1950-х гг., вооруженные конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии, Таджикистане в 1980-1990-е гг.). Но все указанные конфликты проходили в советской России, а затем на территории СССР[17]. Российская республика перенесла советские методы решения внутренних конфликтов на свою территорию.

Россия подписала ряд международных конвенций, но не объявила чрезвычайное положение в зоне конфликта. Это сделано потому, что при введении чрезвычайного положения надо четко определять перечень ограничений прав граждан, полномочия федеральной власти в зоне чрезвычайного положения. Для продления действия чрезвычайного положения каждый раз надо обращаться в Совет Федерации России для утверждения указов президента. Вместо конституционного способа действий центр пошел по пути бесконтрольности и беззакония. Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, государственные органы России не имели правовых оснований для ограничения или приостановки осуществления гражданами прав, гарантированных этим пактом.

Этим объясняются главные нарушения прав человека и норм гуманитарного права российской стороной: неизбирательные нападения, чрезмерное применение силы (неприцельные бомбардировки и артобстрелы населенных пунктов и дорог; операции по занятию и штурмы населенных пунктов; неизбирательные нападения, обстрелы и бомбардировки населенных пунктов, находящихся под контролем федеральных сил, а также в период перемирий; использование систем оружия неизбирательного действия, неизбежно ведущее к большим жертвам гражданского населения); преднамеренные нападения на гражданское население; применение принципа коллективной ответственности и

[17] Осетино-ингушский конфликт 1992 г. длился шесть дней, унес несколько сотен жертв и несопоставим с российско-чеченским.

наказания; исчезновения людей, казни без суда; незаконное задержание гражданских лиц, жестокое и унижающее достоинство обращение с задержанными и арестованными, пытки и издевательства над задержанными участниками вооруженных формирований ЧРИ (на фильтрационных пунктах, в неофициальных местах содержания задержанных); использование заложников и живого щита; ограничение свободы передвижения, препятствование выходу населения из блокированных населенных пунктов, недопущение в блокированные населенные пункты врачей и представителей гуманитарных организаций; грабежи и уничтожение имущества гражданских лиц; уничтожение объектов культуры; нарушение избирательных прав граждан; нарушение права на свободный поиск, получение и распространение информации.

Нарушения прав человека и норм гуманитарного права вооруженными формированиями и властями Чеченской Республики Ичкерия аналогичны, но меньше по масштабу: неизбирательное ведение огня, размещение военных объектов рядом с гражданскими; воспрепятствование выезду мирных жителей из Грозного; теракты за пределами Чечни (захваты заложников, преднамеренные нападения на гражданское население и медицинские учреждения, бессудные казни, использование *живого щита*); захват в заложники гражданских лиц, находившихся на территории Чечни; условия содержания пленных российских военнослужащих и насильственно удерживаемых гражданских лиц; бессудные казни, вынесение смертных приговоров на основе процедуры упрощенного судопроизводства, исчезновения людей; телесные наказания.

В целом российское командование не предотвратило массовую гибель мирного населения и нападения военнослужащих и сотрудников спецслужб на мирных граждан. Правоохранительные органы России не смогли расследовать и наказать в соответствии с законом военнослужащих и сотрудников других силовых структур. Правоохранительные органы режима Дудаева тоже не расследовали преступлений членов вооруженных формирований против гражданского населения и пленных военнослужащих. Уголовный кодекс режима Дудаева противоречил международным правовым нормам (в сфере основных определений, системы наказаний, несоразмерности и непропорциональности наказаний, нарушения прав и свобод человека). Таким образом, правовые системы России и Чечни во время войны были подчинены интересам центра и силовых структур.

С учетом всего сказанного можно согласиться с общей оценкой В.В.Волкова: современное российское государство сохранило символический фасад государственности, но прекратило существование с точки зрения ключевых внутренних функций – охраны населения, сбора налогов и обеспечения правопорядка; современное российское государство – это частное охранное предприятие с конторой в Кремле; определенные группы (президентская власть, армия и

другие силовые структуры) контролируют средства организованного насилия и называют себя российским государством[18].

Эту оценку можно дополнить теориями, которые позволяют интерпретировать множество фактов, событий, процессов и тенденций распада империй в более широком смысловом контексте.

Предметы рефлексии

Вначале резюмирую основные факты и тенденции. Победа над внутренней оппозицией в Грозном и Москве обеспечила господство бюрократии и силовых структур над парламентом. Центр финансировал борьбу с режимом Дудаева, понимая под оппозицией марионеточное правительство и собственные вооруженные силы. В самом начале войны российские военные прямо признавали незаконность противоборствующих военных формирований и собственной карательной деятельности. Тогда как деятельность советских/российских спецслужб началась провалом и закончилась перерастанием спецопераций в открытую войну. В начале войны президент переложил собственную ответственность на территориальное звено армейского управления. По мере краха плана блицкрига на армию начали возлагаться полицейские функции. Президент Совет Федерации, вводил в заблуждение население страны и мировое сообщество, исключил парламент из числа политически значимых факторов и подчинил ведение войны собственным избирательным интересам. Ведение этой войны аналогичной сталинской практике взятия городов к праздничным датам. Выборы во время войны проводились с массовыми нарушениями и фальсификациями. Российская дипломатия продолжала агрессивную политику центра. С юридической точки зрения деятельность президента сомнительна, а действия мэра Москвы чисто бюрократические.

Оба режима не признавали законность народного ополчения. Центр создал Территориальное управление федеральных органов исполнительной власти, которое исполняло функции гражданской администрации и контролировало марионетку. В ходе войны ложная информация использовалась для пропаганды и принятия решений. Центр стремился представить власть бывшим коммунистическим функционерам[19], одновременно дезавуируя деятельность уполномоченного по правам человека и решения конференций по реализации мира. Оба режима постоянно нарушали сроки и условия перемирия. Бывшая партгосно-

[18] См.: Волков В.В. Монополия на насилие и скрытая фрагментация российского государства // Полис. 1998, № 4, с.46-47. Следует напомнить, что уже в рескрипте Павла 1 на имя генерала Гудовича от 5 января 1797 г. ставилась цель создания федеративного государства из кавказских земель под эгидой российского императора. Но эта цель не реализована царской, советской и нынешней российской властью, включая лидеров кавказских республик. Взамен Российская империя развязала Кавказскую войну, которая продолжалась 60 лет, а имам Шамиль создал теократическое государство. Силовые структуры режимов Ельцина и Дудаева пошли по стопам русских и кавказских тиранов.

[19] В хронике упоминаются около 100 членов бывшей партгосноменклатуры, имевших прямое или косвенное влияние на события в Чечне.

менклатура и руководители силовых ведомств делали карьеру на чеченской войне. Внутренняя политика пристегивалась к интересам силовых структур, которые осуществляли информационную блокаду и одновременно все более занимали информационное пространство России. Хаос военных действий увеличивался по мере роста влияния политического процесса в центре на события в Чечне.

В ходе войны произошло соединение армии, органов внутренних дел и госбезопасности. Эти структуры извращенно и примитивно понимают демократию. Они не понесли никакой ответственности за массовую жестокость. Завершение войны - следствие сговора властных групп России с верхушкой чеченских боевиков. Этот сговор увеличил влияние силовых структур в регионе, а затем и в стране в целом. Россия перенесла советские методы решения внутренних конфликтов на свою территорию.

Данные тенденции можно рассматривать как способ проявления общих закономерностей и особенностей распада империй в условиях постсоветской России. М.Ферро разработал концепцию *превращенного сепаратизма*, которая, на мой взгляд, позволяет глубже осмыслить природу российско-чеченской войны и интерпретировать описанные факты и тенденции[20].

Превращенный сепаратизм и колониальная война

На основе общей концепции колонизации и применения ее к объяснению политической истории Российской империи и СССР М.Ферро поставил проблему вопроизводства колониализма в современной России. Такой подход совпадает и с мнением российских ученых[21]. Деколонизация в СССР началась после того, как Ельцин стал президентом России, провозгласил суверенитет России и роспуск КПСС. Тем самым он дал свободу остальным союзным республикам, которые поступили аналогичным образом. Центр стал инициатором центробежного движения. Такого в истории еще не было. Внутри России эта тенденция привела некоторые автономные республики (Татарстан, Чечено-Ингушетия) к разрыву (Татарстан) и войне (Чечено-Ингушетия) с Москвой.

Но хотя СССР формально распался, после 1993 г. общие свойства СНГ превзошли прежнее единство[22]. Новизна ситуации определяется этническими

[20] См.: Ferro M. Historia kolonizacji. Warszawa, Bellona, 1997

[21] См.: Акишин М.О Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. Новосибирск, 1996; Имперский строй России в региональном измерении: Х1Х-начало ХХ века. Под ред. Савельева П.И. М., 1997; Мартин Т. Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма // Ab Imperio: теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. 2002; Мишель Фуко и Россия. Сб. статей. Под ред. Хархордина О. Санкт-Петербург-Москва, Летний Сад, 2001; Родоман Б.Б. Внутренний колониализм в современной России // Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства. Под ред. Заславской Т.И. Москва, Аспект-Пресс, 1996

[22] Речь идет о следующих явлениях, типичных для всех постсоветских республик (включая Прибалтику): дезорганизация экономики; сохранение политических клик от 30% до 90% в зависимости от расстояния от Москвы (таково принципиальное отличие СНГ от стран Восточной Европы); сохранение властных связей внутри и между бывшими республиками.

конфликтами на Кавказе, в Средней Азии, Молдавии и Прибалтике. Эти конфликты спровоцированы властно-управленческими кликами. Центр счел их настолько опасными, что начал спешно репатриировать Советскую армию в Россию[23]. Как известно, в странах бывшего советского блока после второй мировой войны армия подавляла восстания и революции (ГДР, Венгрия, Польша, Чехословакия). Этим частично объясняется тот сплав военных и карательно-полицейских функций армии, который реализован в Чечне. Они вписываются в общее отношение центра и периферии, сложившееся в период распада СССР и влияющее на ситуацию в современной России.

Дело в том, что мусульманские республики обладали собственным властно-управленческим аппаратом до провозглашения независимости[24]. Республиканские органы внутренних дел и безопасности раньше других властно-управленческих структур стали национальными, а не советскими. Этим объясняется самостоятельность бывших союзных республик и превращение их силовых структур в носителей национализма. Но независимость мусульманских республик не тождественна сепаратизму. В республиках возник феномен превращенного сепаратизма: руководство республик стремилось захватить власть над центральными ведомствами СССР[25]. Поэтому в конфликте Горбачев-Ельцин руководство мусульманских республик поддержало первого, а не второго[26].

В России перестройка была воспринята значительной частью населения как движение к свободе. Властно-управленческие клики мусульманских республик сочли ее опасной для традиционных социальных отношений, которые еще более окрепли при Советской власти[27]. В период гласности Москва приписала мафиозные интересы только Узбекистану, поскольку там производился мак (непищевой продукт). Едва руководители мусульманских республик потребовали строительства мечетей, центр квалифицировал это как «происки Тегерана». Между тем Москва давно вступила в открытую связь с Русской Православной Церковью. Следовательно, центр подтолкнул возрождение всех видов религиозно-политического исламизма. Модификации ислама укрепляли идентичность мусульманских республик в отношении соседей, но одновременно направлялись против возрождения советского Туркестана и подчинения мусульманских республик Турции, Ирану и Пакистану. Исламская революция

[23] До 1992 г. Москва стремилась замедлить репатриацию армии для сохранения мифа военного присутствия в Центральной Европе.

[24] При Брежневе узбеки руководили Узбекистаном, азербайджанцы – Азербайджаном и т.д. После армянских погромов в Баку Горбачев выразил удивление невмешательством МВД и КГБ республики в эти события. Ему отвечали: «Азербайджанцы не будут стрелять в азербайджанцев ради защиты армян».

[25] Например, министр финансов Павлов (участник государственного переворота) был связан с узбекским госаппаратом и мафией. Т.Гдлян обнаружил множество других связей московских чиновников с узбекскими властно-управленческими кликами, но ему не дали довести дело до конца.

[26] Горбачев хотел сохранить Союз, Ельцин – инициатор республиканского сепаратизма, провозгласивший суверенитет России и ликвидировавший пользу центра для республик. Поэтому руководство мусульманских республик в массе стояло на стороне заговорщиков в событиях августа 1991 г.

[27] Местные секретари КПСС, председатели советов и прочее начальство происходило из кланов прежних ханов, беков, мулл и т.п.

предшествовала распаду СССР и затормозила тягу советского ислама к указанным государствам.

Среднеазиатские республики бывшего СССР являются постколониальными, поскольку исход русского населения предшествовал провозглашению независимости. При других обстоятельствах этот процесс можно назвать удачной деколонизацией, если бы эти республики не задержали представителей российских силовых структур и не согласились на базирование российской армии. В республиках Кавказа возродились прежние этнические конфликты, которые предшествуют господству России в этом регионе. На Кавказе возникла оригинальная ситуация: грузины стремятся освободиться от русских, отрицая собственную колониальную власть над Аджарией и Абхазией. Поэтому современный Кавказ находится в доколониальной, а не постколониальной ситуации. Россия опять выступает арбитром в пограничных конфликтах и стремится выступать посредников в экономических контактах данных республик с Турцией и странами Европы.

Положение мусульманских и кавказских республиках аналогично положению Сибири[28]. Главная проблема современной России (и других стран СНГ) – отрицательное отношение к централизации власти при принятии решений. Но никакой специфики в этом нет. Таково общее свойство всех национальных движений в колониях. В России возродился старый антагонизм исполнительной и законодательной власти[29]. История Российской империи, СССР и Российской Федерации может рассматриваться как аннексия и колонизация низших уровней представительной власти (выразителей непосредственной демократии) высшими уровнями бюрократии (с помощью демократического централизма в СССР и силовых структур в современной России).

За этой дихотомией скрывается реальная проблема: верхи и низы игнорируют разделение властей. Например, Ельцин начал свою деятельность назначением наместников в области и края, губернаторы которых тоже назначаются Москвой. Следует напомнить, что в 1917 г. местные советы состояли из негра-

[28] Весной 1992 г. в Красноярске состоялся Сибирский Конгресс, делегаты которого не требовали отделения от России, а отделения от правительства России, подчеркивая одновременно роль Конгресса как средства давления на Москву. Это событие выявило два обстоятельства: на Конгрессе отсутствовали главы исполнительной власти (представители Москвы), что фиксирует конфликт центра с представительными институтами; автономные республики и округа Сибири (Тува, Якутия-Соха, Бурятия, Эвенкия) объясняли отсутствие на Конгрессе нежеланием отождествления их с «сепаратистами» и требовали перехода от национальной к территориальной автономии в рамках России, а не Сибири. Эти факты показывают принципиальное отличие национальной идентичности от этно-сепаратистских тенденций. Если христианские нации выступают за национальную идентичность, в других районах эта тенденция слабее. Например, Татарстан потребовал суверенитета потому, что его руководство (татары и русские) желает *самостийно* распоряжаться природными ресурсами. В Сибири аналогичное требование выдвигают одновременно русские, якуты и буряты.

[29] В Российской империи роль органов представительной власти выполняли земства, в СССР – советы. Но ни те, ни другие не добились приоритета над администрацией, несмотря на высокую компетенцию (земство) и реальную репрезентативность (советы). В 1988 г. Горбачев пытался возродить советы и вернуть им права законодательной власти. В 1993-1994 гг. Ельцин ликвидировал советы. Известный российский *демократ* и мэр Санкт-Петербурга А.Собчак не постеснялся сказать, что советы бесполезны, бессильны и только торпедируют решения.

мотных людей, которым принадлежала реальная власть. В нынешней России советы состоят из образованных людей, но не имеют никаких законных прав, кроме противостояния исполнительной власти. Тем самым представительные учреждения тоже игнорируют разделение власти. Поскольку они остаются бессильными, центр самостоятельно устанавливает и исполняет законы. Поэтому проблема национальной идентичности России стала подвижным и постоянным элементом проблемы власти.

Итак, конфликт центра и периферии, исполнительной и законодательной власти скрывает множество тенденций воспроизводства колонизации в современной России. Местная власть наиболее сохранилась с советских времен и периода перестройки. Губернаторы и другие областные руководители на 80% состоят из представителей бывшего партаппарата. Номенклатура взяла реванш с помощью представительной власти от имени региональных интересов граждан. Она является носителем превращенного сепаратизма, этноцентризма и антиреформаторских тенденций. Силовые структуры стали носителем национализма, господствующего в центре. Поэтому конфликт центра и периферии в современной России является мнимым. Этим объясняются уступки Ельцина противникам свободного рынка, которые вчера стремились свергнуть Горбачева. Ельцин применял ту же тактику лавирования, но все больше опирался на силовые структуры. Российско-чеченская война закрепила эту тенденцию и превратила ее в постоянно действующий политический фактор современной России.

Означает ли все сказанное, что руководство России в своей политике возвращается к точке зрения В.И.Ленина: «Мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны»[30], высказанной им накануне Октябрьского переворота? Для размышлений на эту тему журнал по любезному согласию автора и издательства публикует две главы из книги Г.М.Дерлугьяна, недавно вышедшей в Москве[31].

В.П.Макаренко

[30] Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.31, с.435

[31] См.: Дерлугьян Г. Адепт Бурдье на Кавказе. М., Вильямс, Гнозис, Территория будущего, 2010

АДЕПТ БУРДЬЕ НА КАВКАЗЕ
(ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ)

Г.М. Дерлугьян
Северо-Западный университет
(г.Чикаго, США)

Глава 1.

ПОЛЕ

> Самое удивительное вознаграждение в ремесле социолога – возможность войти в жизнь других людей и приобрести опыт на основе всех накопленных ими знаний.
>
> Pierre Bourdieu and Loïc Wacquant,
> An Invitation to Reflexive Sociology.
> (Chicago, 1992)

Прежде чем перейти к историко-теоретической реконструкции связей, ведущих из прошлого в настоящее и будущее (что и является главным методом данной книги), следовало бы приобрести практическое чувство сложной и, возможно, даже экзотичной среды, которую нам предстоит исследовать[1]. Практическое восприятие составит нам то, что проницательный австриец Шумпетер называл «видением» поля и немало ценил как «доаналитический акт познания, поставляющий сырьевой материал для аналитического рассмотрения»[2]. В этой вводной главе я постараюсь передать первые впечатления и наблюдения, которые обычно возникали у людей, посещавших в 1990-е годы места вроде Чечни и Кабардино-Балкарии. Эта глава станет социологическим подражанием тому, что естественным путем приходит к опытным журналистам-международникам,

[1] Спасибо Бенедикту Андерсону и Петеру Катценштайну, моим наставникам в Корнелльском университете в 1993-94 гг., настоявшим, чтобы, помимо сбора формализованных чисто научных данных, я им писал письма-отчеты о поездках на Кавказ.

[2] См. Richard Swedberg, *Schumpeter: A Biography*, Princeton: Princeton University Press, 1991, p. 181.

в особенности, когда им предоставляется достаточный простор для выражения. Имеется в виду не повседневная новостная заметка, а более крупные итоговые материалы, которые предполагают обретение значительной глубины и композиционной свободы при написании и последующем редактировании. Именно из такого процесса возникают лучшие журналистские книги или длинные повествовательно-аналитические статьи, подобные тем, которыми славится элитарный еженедельник «Нью-Йоркер». Журналисты основываются на практическом знании реалий, возникающем из опыта многолетнего непосредственно нахождения в определенном районе мира. Высшее мастерство журналиста состоит в умении перевести свое глубокое интуитивное знание необычных реалий в понятные своему читателю образы, ситуативные сценки и поясняющие сравнения, которые позволяют аудитории войти в логику событий и человеческих характеров.

Будучи социологом, а не журналистом, я соотношу полевые наблюдения с теоретическими концепциями, почерпнутыми из современной социологической науки, и строю свою интуицию (без которой никуда не денешься и в науке) более сознательно и рефлексивно, на профессиональном знании исследовательских методов. По ходу дела попробуем выдвинуть некоторые предварительные гипотезы, увязывающие эмпирические наблюдения, собранные на поверхности, с более глубинными структурными процессами исторических изменений, которые могут быть реконструированы лишь теоретически.

Американец или европеец, впервые очутившийся на Кавказе (а точно также, надо признать, будет себя чувствовать и большинство русских), оказывается посреди хаотического потока ярких и порою слишком сильных впечатлений. Поначалу это просто ошеломляет. В качестве нормальной, предсказуемой реакции мозг пытается заузить поток информации, поставить заслон мельтешению все новых впечатлений, прикрыться какими-нибудь привычными стереотипами и схемами насчет иноязыкого разноголосья. Замечу, что одним из самых распространенных способов защиты от избытка впечатлений как раз и выступает переэкзотизация чужой жизненной реальности. За непривычными одеждой, речью, поведением, прочими внешними этническими и классовыми признаками мы нередко отказываемся разглядеть знакомые человеческие типажи – таксист-«водила», старушка, женщина с ребенком, молодой щеголь, уличный жулик, группка зевак, интеллигентного вида прохожий, полицейский-«мент», чиновник, торговка – людей со вполне обычными житейскими заботами, комплексами, слабостями, предпочтениями. Кто-то из них нам может быть полезен, кого-то лучше бы избегать, большинство просто обтекает нас в потоке жизни.

Приведенные в данной главе впечатления представлены в виде серии отдельных «фотоснимков», запечатленных мгновений из повседневности Северокавказского региона, которые нам предстоит исторически контекстуализировать и подвергнуть аналитическому разбору в последующих главах. А пока бу-

дем просто наблюдать и записывать – хотя и это «простое» занятие может оказаться не столь простым, как кажется. Следует сознательно обращать внимание на вещи и явления, которые могут быть сочтены слишком обыденными и общеизвестными, чтобы удостоиться письменного упоминания. Например, путешественник родом из страны, где рис является основой национальной кухни, в своих записках наверняка пропустит то обстоятельство, что местные жители также едят рис. Упоминание о «хлебе насущном» обитателей других стран появится лишь в том случае, если в пищу идут необычные для нашего путешественника продукты – скажем, жареные бананы, либо выпекаемые в печи-тондыре лепешки из пшеничной муки, просяная или кукурузная каша-мамалыга, или такое американское диво, как неделями не черствеющий нарезанный хлеб в пластиковой упаковке. Историки и этнографы, конечно, профессионально подготовлены замечать подобные преломления действительности в письменных источниках. Но это далеко не единственное из грозящих нам заблуждений.

Иногда наблюдаемое явление может быть искажено нашими собственными ожиданиями определенных результатов. (Методологи позитивистского толка на своем жаргоне именуют это «сбором данных по зависимой переменной».) Например, иностранный ученый, приехавший изучать роль ислама в политике на Кавказе, может настолько сконцентрироваться на предмете своего исследования, что не заметит важные вариации и взаимосвязи в более широких рамках социальной среды и исторического контекста. Разумеется, физики или химики, чья область исследований предоставляет роскошь работы в лабораторных условиях, преднамеренно и тщательно изолируют предмет эксперимента от интерференций окружающей среды – с тем, чтобы рассмотреть вещество в клинически чистой и концентрированной форме. В соответствии с подобным сверхнаучным подходом, старательный исследователь, взявшись за изучение нынешнего движения исламского возрождения, может потратить все свое экспедиционное время на посещение мечетей-новостроек и беседы с их муфтиями и активистами, а эксперт по партизанской войне потратит уйму сил и вероятно пойдет на изрядный риск, чтобы пообщаться с боевиками и их политическим руководством. Разумеется, в данном случае мечети и боевики есть наиболее концентрированные проявления избранной проблематики. Такого рода проблематику, конечно, можно заподозрить в юношеском мачизме на грани поиска приключений, чем, надо признать, грешит немало начинающих журналистов, которые видят ценность информации в самой ее недоступности. Тем не менее, ничуть не меньшую сфокусированность на искусственно изолируемой теме и респондентах легко обнаружить и во многих гендерных исследованиях, которые не без интеллектуального апломба начинают и заканчивают абстрактно-идеологической категорией женщин. Это вовсе не означает, что гендер не важен – о чем ниже. Однако какое социальное явление может существовать в изоляции от своей исторической системы? Стоит исследователю воспринять подобный научный педантизм, как она или он оказывается на краю ловушки идеоло-

гического штампа. Тогда в фокусе исследования вместо людей со свойственными им внутренними противоречиями, грузом прошлого, текстурой социальных взаимосвязей, и зачастую парадоксальным сочетанием нескольких с трудом сопрягаемых социальных ипостасей возникают яркие, но совершенно плакатные образы, олицетворяющие те или иные идеологемы: Бойца, Исламиста, Демократа, Женщины.

Примером может служить приводимое ниже описание моей первой встречи с Мусой Шанибовым. Если бы не моя случайная обмолвка, резко повернувшая ход разговора, Шанибов мог бы быть занесен в полевой отчет лишь в качестве пламенного идеолога и вождя горского национализма, гордо носящего свою традиционную каракулевую папаху. Однако в таком случае могла бы ускользнуть от нашего внимания вся предыдущая, глубоко советская жизнь этого незаурядно одетого человека, точнее, его обыденное для брежневского периода существование в карьерном застое и провинциальной ограниченности возможностей, в то же время наполненное дружескими контактами, музыкой, чтением книг, включая ту классику критической социологии, которая была доступна в тогдашнем Нальчике, и нереализованными мечтами об общественных преобразованиях.

Для пояснения метода данной книги также необходимо с самого начала честно оговорить, что я здесь выступаю не только ученым-социологом, но еще и местным «папуасом» (как все мы есть «туземцы» в каком-то родном уголке мира). Я родился и вырос в Краснодаре, одном из наиболее крупных, многонациональных, хотя одновременно и более русских городов Северного Кавказа. По мере взросления я неизбежно приобретал интуитивное практическое знание местных реалий. Однако данная социализация так и не дошла до уровня «естественного» безотчетного габитуса*. Сразу после десятого класса, в шестнадцатилетнем возрасте я уехал на учебу в Москву, где в МГУ изучал африканские языки и культуры. Затем несколько лет работал переводчиком португальского в Мозамбике, где впервые оказался на войне, а как социолог профессионально сформировался уже в Америке после 1990 г.. Честно говоря, самому не верится, что эта книга написалась на изначально мне совершенно иностранном английском языке. Когда я учился в седьмом классе, наша полная собственного значения завуч-«англичанка» без обиняков предложила моим расстроенным родителям перевести их сына, не проявлявшего способностей к языкам, в менее престижную школу для «нацменов», что в Краснодаре означало адыгейцев, греков, ассирийцев и армян. Завуч щедро пожелала мне подучиться нормальному русскому – хотя это мой родной язык, конечно, от рождения я «гыкал» как заправский кубанец. Мой отец-армянин и мама-казачка говорили между собой только по-русски, хотя и неизбежно с мало ими осознаваемыми особенностями местного говора. Впрочем, моя бабушка Еля – Елена Мироновна Тарасенко – до конца своей долгой и очень нелегкой жизни так и не заговорила на норма-

тивном русском. От нее в основном я и унаследовал навык «балакать» по-станичному.

Для социологических целей оказалось неожиданно полезным, что при работе на Северном Кавказе во мне сочетались способность образованного чужестранца подмечать свежим взором местные особенности (например, манеры или блюда национальной кухни) и усвоенное с младых ногтей знание данной социальной среды (скажем, почему именно эти блюда подаются на стол в данном случае). Это означает, что в отличие от антропологов, страноведов, или журналистов-международников, в данном случае мне не требовалось годами вживаться в иноэтническую среду, потому что я и без того в ней вырос. В этой книге я исследую свою собственную родину. Пьер Бурдье называл это «удачной двойственностью» наблюдателя. Он и сам использовал подобное преимущество при изучении провинциальной жизни в юго-западных областях Франции, в горах Беарна, откуда Бурдье был родом[3].

Однако знание местных условий также налагает свои собственные ограничения. Например, в обществе с сильными патриархальными традициями я, будучи мужчиной, зачастую не имел возможности задавать вопросы женщинам. Причем такой возможности может и не представиться. Как гласит местная пословица, гость на Кавказе – пленник хозяев. Представьте-ка, каково сидеть за торжественным столом с хозяином дома (вполне быть может таким же преподавателем университета), тогда как его старший сын молча и с почтением внимает беседе старших, либо того пуще, аспиранты стоят почтительно у стены, как того требуют традиции местного церемониала, будто бы мы пирующие князья, а они – наши молодые оруженосцы, чьей обязанностью является наполнять бокалы, если не кавказский рог-ритон. Женщины появляются из кухни лишь на минуту, чтобы подать новые блюда: мясо с зеленью, домашние соленья, лепешки с сыром, традиционные местные пельмени или галушки в чесночном соусе. Женщины радушно улыбаются, но при главе семейства и госте не проронят ни слова. Как американский социолог, я подозреваю, что они могли бы представить свой, быть может, совершенно неожиданный взгляд на те же проблемы современных исламских движений или на партизанскую войну. Однако для того, чтобы поговорить с ними, следует ждать менее жесткой в плане ритуальной обязательности обстановки.

Такого рода случаи могли представиться порой совершенно неожиданно. Как-то посреди торжественного обеда на квартире у Шанибовых в резко распахнувшиеся двери вдруг хлынули спецбойцы в масках и бронежилетах, наставившие на нас короткоствольные автоматы. Из-за их спин вышел полнеющий милиционер с папочкой подмышкой. Он представился местным участковым, навестившим нас с проверкой паспортного режима. Так я получил подтверждение, что за квартирой Шанибова ведется постоянное наблюдение – меня с иностранного вида спутниками заметили входящими в подъезд. Надо признать, что

[3] Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, Cambridge: Polity Press, 1990, p. 16, и личная переписка в 1997 г.

накануне в окрестностях города был замечен и в очередной раз ушел от преследования Шамиль Басаев, некогда воевавший в Абхазии под началом Шанибова, так что интерес милиции к его гостям не назовешь совсем уж праздным. Хозяин вскочил из-за стола и пустился протестовать на эмоциональной смеси русского и кабардинского языков. Он грозил пожаловаться министру внутренних дел республики, взывал к совести и разуму, стыдил невозмутимого участкового-кабардинца за столь грубое попрание обычаев черкесского гостеприимства. Величественно обходя группу вторжения, из кухни появилась хозяйка дома, благородного вида матрона, неожиданно решительно бросившая своему мужу по-русски: «Шанибов, помолчи! Сколько мы уже мук приняли из-за твоего характера...» Вождь горских народов действительно умолк, обстановка несколько разрядилась, а я не без облегчения достал паспорт и сел писать объяснительную на имя начальника ГУВД г. Нальчика. Из-за спины матери возникла дочь, которая с удивительной прирожденной грацией черкешенки несла серебряный поднос с запотевшими хрустальными бокалами «Нарзана». Последовала поразительно сложная многовекторная пантомима, уже ради которой стоило пережить милицейский рейд. Любезно поднося мне бокал охлаждающей минеральной воды, дочь Шанибова ласково и ободряюще улыбнулась мне одними глазами, одновременно предупреждающе щеря красивые ровные зубки в направлении отца: «Папа, спокойно!» И при этом она острым локотком, как бы походя, прошлась в сантиметре от крупного носа участкового, которому никакого бокала не досталось. Так я уразумел кое-что весьма существенное и ритуально сокрытое о характере гендерной иерархии в советско-национальном семействе Шанибовых. Впрочем, это будет первое и последнее описание семейного быта нашего героя в этой книге. Данный эпизод уже дал нам достаточный эскиз социологического представления, и незачем более вторгаться в личную жизнь Шанибовых.

Одним из методов преодоления вышеуказанного затруднения на гендерном уровне является сознательная проверка и компенсация собственных наблюдений описаниями и анализом журналисток-женщин, таких как Галина Ковальская, Санобар Шерматова, Анна Политковская или прекрасно владеющая русским языком француженка Анн Нива, талант и смелость которых заслуживают глубочайшего уважения[4]. Очень многое мне также удалось почерпнуть из письменных материалов и разговоров с коллегами-женщинами, такими как уроженки Абхазии Рита Мамасахлиси-Кузнецова и Мзия Гочуа, карабахская армянка Нона Шахназарян, и изумительно предприимчивая дагестанка Галина Хизриева

[4] Галина Ковальская, погибшая в 2003 г. при падении вертолета, была, по моему твердому убеждению, одним из лучших российских журналистов. Ее статьи публиковались такими изданиями как «Итоги» (до 2001 г.), а затем «Московскими новостями» и «Еженедельным Журналом». Что до убитой в 2006 г. Анны Политковской, издательство Университета Чикаго некогда оказало мне честь, попросив написать научное предисловие к сборнику ее заметок. См. Anna Politkovskaya, *A Small Corner of Hell: Dispatches from Chechnya,* Chicago: Chicago University Press, 2004.

– они, в отличие от меня, могли задавать вопросы, о которых бы никто не стал говорить с мужчиной. Одним из самых важных информантов, способной не только на тонкие наблюдения, но и последовательное их изложение в первичном обобщении, всегда служила моя мудрая старшая сестра.

Важность и неочевидность гендерных соображений в кавказском контексте может быть продемонстрирована, казалось, простым вопросом: как наиболее последовательно придерживающиеся традиций семьи, в которых господствует отец, относятся к уходящему воевать в горы сыну? Вот отрывок из описания общей модели отношения, полученный от знатока местных реалий: Предполагается, что матери не могут вмешиваться напрямую в обсуждение таких сугубо мужских дел, однако в действительности именно за ними остается последнее слово. Мать может молча появиться из кухни с вещами сына, аккуратно уложенными для долгого пути, а может и громко огласить свой запрет, и в таком случае он сможет уйти только через ее труп[5]. Разумеется, не исключено, что это романтизированная версия происходящего. Однако даже фрагментарные данные о происхождении боевиков, воевавших не только в Чечне, но и в Нагорном Карабахе и Абхазии, свидетельствуют о непропорционально большом числе выходцев из семей, насчитывавших трех и более сыновей. В целом завершившаяся в 1950-1960-х индустриализация страны сделала подобные многодетные семьи сравнительно редким явлением в советских республиках. Лишь в определенных социальных и этнических группах (например, среди чеченцев сельских районов) все еще поддерживался высокий уровень рождаемости. Разумеется, среди воевавших можно было увидеть и единственных сыновей, однако в основном это были идеалистически настроенные студенты из городов.

Очевидно, что в охваченных войной регионах старшие в семьях женщины оказываются вовлеченными в сложнейшие, невысказываемые переговорные процессы в рамках собственных семей и сетевых сообществ (соседей, родственно-клановых связей, конфессиональных групп), где определяются вопросы статуса семьи. Будет ли отсутствие добровольца в имеющей нескольких сыновей семье рассматриваться как постыдная непатриотичность? Но можно ли позволить единственному сыну уйти на войну? Важное обстоятельство для рассматриваемого здесь патриархального уклада: чем больше сыновей, тем выше у женщины положение в обществе. Самоотверженная мать героя патриотической войны достигает наивысшего возможного положения в обществе и, таким образом, вносит значительный вклад в укрепление статуса, как своей семьи, так и рода в целом. Данная гипотеза, очевидно приложимая также к палестинцам, иракцам и афганцам, потребует кропотливой проверки женщинами-исследователями в соответствующих регионах. Скорее всего, именно так недавние межэтнические войны укрепили, начинавший было распадаться, патриархальный тип распределения гендерных ролей. Однако на остальных направлениях во-

[5] Беседа с «Ч.», февраль 1995 г.

просы гендерного порядка остаются весьма неоднозначными, что я далее попытаюсь показать на примере материалов своих наблюдений по статусу женщин в чеченском обществе периода войн. Отчасти это обусловлено всеобъемлющим воздействием на народы Кавказа советских моделей социальной мобильности и обязательного образования. Но ничуть не менее это социальный репертуар выработанных кавказскими женщинами разнообразных гендерных стратегий, служащих для преодоления суровых бытовых тягот, невзгод и многочисленных угроз выживанию.

Непосредственной задачей данной главы является предоставить читателю элементарно практичное этнографическое описание все еще сравнительно малоизученного региона, который вдобавок еще и по-литературному густо овеян флером романтичности либо, наоборот, стал восприниматься в пост-советские времена через грубо упрощающую призму бытовых негативных стереотипов. В самом деле, Кавказ постоянно рисуется весьма цветисто – как иностранцами и приезжими, так и местными обитателями, в особенности когда последние пытаются произвести впечатление на первых[6]. На Западе литературная традиция романтизации Кавказа восходит ко временам дворянских путешественников викторианской эпохи. Ряды странствующих джентльменов XIX в. (в основном англичан и немцев) состояли из географов, офицеров, шпионов, дипломатов, искателей приключений, вплоть до самого Александра Дюма-отца, путешествовавшего по Российской империи в конце 1850-х. Их описания населяющих регион народов (будь то горцы или мои казацкие предки по материнской линии) неизменно сводились к стереотипу благородных дикарей, живущих по своим суровым законам среди первозданной природы[7].

Русская литература создала собственную внушительную мифологию Кавказа, идущую от Пушкина, Лермонтова и Толстого к Солженицыну и Фазилю Искандеру[8]. В конце XX в. традиции романтизации с новой силой возродились в речах националистов Кавказа, а также в симпатизирующих чеченцам и другим кавказским народам художественных произведениях (например, номинированном на «Оскар» фильме «Кавказский пленник», впервые сделавшем знаменитым Сергея Бодрова). Наиболее сильно романтикой пронизано освещение чеченских войн западными СМИ[9]. В этой главе, да и во всей книге я попытаюсь,

[6] Разумеется, антропологам это явление хорошо известно. См. например, Marshall Sahlins, «Cosmologies of Capitalism: the Trans-Pacific Sector of 'The World System'» in Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, and Sherry B. Ortners (eds), *Culture/Power/History*, Princeton: Princeton University Press, 1994.

[7] Невероятные ситуации, биографические подробности и романтическая атмосфера этих путешествий, относящихся к географии восходящего империализма Запада, мастерски представлены в работе Neal Ascherson, *The Black Sea*, London: Johnatan Cape, 1995.

[8] Литературное исследование данной традиции см. у Susan Layton, *Russian Literature and Empire: Conquest of Caucasus from Pushkin to Tolstoy*, New York: Cambridge University Press, 1994.

[9] В конце 1994 г., когда российские войска начали продвижение вглубь Чечни, популярный еженедельник «Аргументы и Факты» опубликовал результаты социологического опроса жителей больших российских городов об источниках их информации и их мнении о чеченцах. Выяснилось, что лишь 7% опрошенных когда-либо лично встречались с чеченцами (причем тогда у большинства остались положительные воспоминания). Около 40% получали информацию из телевидения и газет, и приблизительно столько же назвали в качестве источника своих впечатлений стихи Лермонтова и повести Толстого, являвшиеся составной частью школьной программы.

по крайней мере, повернуть вспять эту тенденцию романтизирования, выставляя против плакатных стереотипов более стереоскопичную и контекстуализированную картинку в усложненной текстуре. Это не означает, что картинка выйдет красивее, но, надеюсь, она окажется ближе к реалиям Кавказа, которые мне довелось наблюдать и пережить.

Чечня, Площадь Свободы

В январе 1997 г. вместе с антропологом Игорем Кузнецовым мы как-то провели добрую половину дня, наблюдая митинг на площади Свободы в Грозном – лежавшей в руинах столице Чечни. Моей основной задачей было наблюдение социальных взаимодействий и, по Эрвину Гоффману, саморепрезентаций и повседневных микро-ритуалов, возникавших на митингах в ходе предвыборной президентской кампании. Пространство огромной площади было четко разделено на выступающих политиков; маленькие группки их активных сторонников, собиравшиеся вокруг импровизированных трибун на платформах грузовиков; значительно более многочисленную группу в несколько тысяч человек, которые могли за несколько минут из внимательных слушателей обратиться в равнодушных скучающих наблюдателей; и, наконец, десятки иностранных корреспондентов, занявших вместе со своей загадочно-внушительной профессиональной теле- и фототехникой позиции по внешнему периметру митинга.

Как выяснилось позднее, это был период лишь временного перемирия. Несколькими неделями ранее российские войска были выведены из Чечни, где в августе 1996 г. они неожиданно потерпели ряд ошеломительных поражений. Было заключено перемирие, а также достигнуто соглашение о проведении президентских и парламентских выборов в Чечне при участии международных наблюдателей. На краткий миг показалось, что это было многообещающее начало новой, мирной эпохи и де-факто независимости Чечни – перспектива, заставившая съехаться две сотни журналистов со всего мира.

В действительности в день нашего приезда в Грозном было холодно и сыро; кругом лежала липкая густая грязь. Несмотря на героические меры по расчистке главных улиц, предпринимаемые новым градоначальником и его командой добровольцев (которым пока только обещали заплатить), шагать нам приходилось по оставшейся от недавних боев хрустящей мешанине из битого стекла, штукатурки, кирпича и стреляных гильз. Сменявшие друг друга у микрофонов чеченские активисты среднего звена часами повторяли стандартные патриотические лозунги того времени. Большинству пришедших на митинг происходящее уже порядком наскучило. Часть из них сбилась в маленькие кучки; в некоторых из них шли жаркие споры, прочие лишь наблюдали за происходящим или просто курили. Однако, несмотря на все это, площадь однозначно была местом основных событий – тем, что Рэндалл Коллинз мог бы назвать

Заметим, что взрослые чеченцы, которые учились по той же школьной программе, хорошо осведомлены о своем литературном имидже и, как правило, им гордятся.

центром эмоционального внимания[10]. Несмотря на плохую погоду и малоинтересных выступающих, люди не могли покинуть площадь. В воздухе витала всеобщая потребность держаться вместе, обсуждать государственные дела и быть свидетелем тому, как делается история.

Вероятно, наилучшим подтверждением данного переживания было присутствие на площади плотно сбитых стаек болтающих друг с дружкой девочек-подростков; почти все они носили модные кожаные плащи турецкой выделки и держали разноцветные пластиковые пакеты магазинов беспошлинной торговли Абу-Даби или Кипра. Выглядели они скорее так, будто направлялись на шопинг или дискотеку, а не присутствовали на политическом митинге. Эти вполне обычные городские девочки, пожалуй, даже превосходили числом более необычно одетых людей – тех, кто пришел в камуфляжной военной форме, традиционных черкесках или папахах, либо предписываемых исламскими нормами шалях на головах у женщин – однако никто, конечно, не замечал слишком обыденного присутствия этих школьниц или студенток.

Разумеется, собравшиеся журналисты не могли упустить мальчика лет пяти-шести, одетого в новехонькое подобие полевого камуфляжа и вооруженного игрушечным автоматом, которого гордые родители торжественно водили по площади. Щелкали затворы фотокамер, сверкали блицы, сияющие родители чуть нарочито позировали, прохожие улыбались и некоторые сюсюкали малышу; атмосфера происходящего имела карнавальный оттенок – вероятно, из-за ангельского личика ребенка и искренней гордости, распиравшей родителей. Позднее я не раз встречал в российской, чеченской и западной прессе снимки этого самого мальчика, сопровождаемые совершенно разными подписями: «Чечня: борьба до конца», «Нация жива!» или же «Бандиты сызмальства», «К джихаду готовы».

В остальном журналисты также выглядели крайне скучающими и обсуждали между собой возможность подыскать место с более активным или живописным действием. Нам с Игорем оставалось лишь бродить по окрестностям площади (избегая руин со множеством неразорвавшихся боеприпасов) и подмечать подробности.

Первым, что привлекло наше внимание, были уличные указатели. Надпись на фанерке, прикрепленной к покалеченному и насквозь простреленному фонарному столбу, гласила: «Штаб Исламского батальона переехал по адресу ул. Розы Люксембург, 12». Вот такое ироническое сочетание восходящей политической силы и легендарного, ныне никому не понятного имени из социалистического прошлого. Другие наименования были абсолютно неожиданным воплощением недавних политических мер правительства Ичкерии: Проспект Михаила Горбачева и Площадь Никиты Хрущева. Где, в каком еще городе, можно было обнаружить площадь, носящую имя Хрущева?! Конечно, это он в 1957 г.

[10] Randall Collins, «Social Movements and the Focus of Emotional Attention,» in Jeff Goodwin, James Jasper and Francesca Poletta (eds), *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*, Chicago: Univeristy of Chicago Press, 2001, pp. 27-44.

отменил сталинский секретный указ о ссылке чеченцев и ингушей и не стал препятствовать их возвращению на родину предков. Эти уличные названия были проявлением публичной благодарности двум добродеятельным российским правителям, двум потерпевшим поражение поборникам демократических преобразований[11].

Важнее всего, это не было исключительно официальной попыткой разглядеть положительные стороны в советской эпохе. Во многих обыкновенных чеченских семьях мы слышали с воодушевлением рассказываемые нам стандартные истории: о русском солдате или железнодорожнике, бросившем буханку хлеба в товарный вагон депортируемым чеченцам; о раскулаченном старом казаке, сосланном в Казахстан еще перед Отечественной войной, который отдал свою бурку чеченским детям в первую холодную зиму; о доброй женщине из поволжских немцев, делившейся молоком от своей единственной коровы. Подобные рассказы (возможно, и сильно приукрашенные) должны были подчеркнуть, что чеченцы никогда не забывают добра – как, впрочем, и зла. Главное, подобные истории о доброте делали для самих чеченцев психологически возможным мирное соседство с русскими сегодня и в будущем.

Во время нашей поездки столица Чечни более не именовалась Грозный – во всяком случае, официальными лицами. Несколькими днями ранее указом исполняющего обязанности президента Зелимхана Яндарбиева Грозный был переименован в Джохар-кала (город Джохара) в честь первого президента генерала Дудаева, годом ранее убитого российской управляемой ракетой. Имя Грозный было не только русским, но и однозначно колониальным. Оно было дано в 1818 г. городу его основателем, Кавказским Наместником генералом Ермоловым, печально известным беспощадными карательными мерами по усмирению горцев.

Смена имени была, однако, явственно направленным на повышение собственного рейтинга Яндарбиева. После революции 1991 г. этот бывший советский поэт стал идеологом, стоявшим за президентом Дудаевым. Большинство чеченцев не особенно принимало Яндарбиева всерьез – что проку в интеллигенте, оказавшемся в тени харизматичного авторитарного лидера? Однако Яндарбиев явно обладал свойственным провинциальным поэтам повышенным самомнением, и густо украсил стены и столбы Грозного-Джохар-калы своими предвыборными плакатами. Все в его образе дышало несколько выспренним символизмом: недавно отращенная длинная борода с проседью, вероятно, символизировала мудрость и набожность; высокая каракулевая папаха должна была свидетельствовать о верности кавказским традициям, камуфляжная куртка указывала на бытность воином, тогда как видневшиеся из-под нее белая сорочка и

[11] Позднее я рассказал Сергею Никитовичу Хрущеву, который давно живет в Америке, о названной в честь его отца площади – что было для него неожиданностью. Подобным же образом, и М.С. Горбачев лишь смутно слышал о носившем его имя проспекте в Чечне. Чеченским националистам не удалось донести до целевой аудитории свое послание. Показательнее, что и журналисты не сумели заметить данный факт, не соответствовавший общепринятому штампу восстания чеченцев против русских.

галстук являлись признаками принадлежности к городскому интеллектуализму. Надпись на плакате подытоживала: «Политик. Поэт. Патриот[12]».

Собственно, и сам генерал Дудаев при жизни также не всегда воспринимался всерьез – во многом благодаря бесконечным громогласным заявлениям, находившимся в очевидном противоречии с реалиями хаоса и развала, последовавшего за крахом СССР и провозглашением Чечней независимости. Это противоречие еще более усугубилось в ходе недавней войны, в которой Дудаев не отличился полководческими способностями. На самом деле сопротивление российским войскам в декабре 1994 г. было организовано совместными усилиями Аслана Масхадова, рассудительно профессионального полковника-артиллериста, в прошлую бытность названного лучшим офицером Советской группы войск в Венгрии, и Шамиля Басаева – бывшего студента, отчисленного из Московского института землеустройства за неуспеваемость, но оказавшегося блестящим самоучкой в партизанских действиях, хотя и мало в чем другом. На президентских выборах 1997 г. герои войны Масхадов и Басаев выступали явными фаворитами и соперниками. Однако Джохар Дудаев оставался мученическим символом проекта национальной независимости Чечни образца 1991 г. Теперь, в зимние дни 1997 г., несмотря на мрачную погоду столь полные воодушевления от недавних побед и надежд на второй запуск чеченской независимости, главным наследником Дудаева стремился выступить временный президент Зелимхан Яндарбиев. Поэту независимости, однако, предстояло побороться за пост с такими полководцами недавней войны, как Масхадов и Басаев. Именно в этом политическом контексте Яндарбиев пытался теперь придать символичность имени первого президента названию чеченской столицы. Может быть, поэтому никто, за исключением крайних националистов и наборщиков официальной периодики, пока не употреблял названия Джохар-кала. Переименования всегда есть форма политической борьбы, пускай и символической.

Более того, сама Чечня уже была не Чечней, а в своеобразной попытке достичь компромисса носила имя «Чеченская Республика Ичкерия», что было типично националистическим измышлением традиции. Слово «Ичкерия» не чеченского корня. Это в действительности два слова на кумыкском, одном из языков Дагестана, унаследованном от некогда господствовавших в степи тюрков-половцев. «Ич кери» приблизительно означает «вон там», по ту сторону какой-нибудь горы. Почти тысячу лет господствовавшие среди народов степи тюркские языки – кумыкский и татарский – служили, подобно суахили в Восточной Африке или французскому среди аристократий Европы, общей lingua franca на многонациональном Северном Кавказе. Когда ввиду геополитических перемен Великая Степь Евразии перестала быть пограничьем, на смену тюркским наречиям в качестве языка межнационального общения пришел русский. Однако в конце XVIII в. кумыкский все еще оставался общеупотребительным

[12] 13 февраля 2004 г. Зелимхан Яндарбиев был убит в результате подрыва машины в Катаре, где он жил в эмиграции после того, как приютившие его талибы лишились власти в Афганистане. Полиция Катара вскоре арестовала сотрудников российских спецслужб, обвиняемых в осуществлении покушения.

на Кавказе, и именно тогда российские военные картографы восприняли от своих местных проводников топоним «ич кери». В 1810-1830-х «Ичкерия» означала горную юго-восточную часть собственно Чечни, а затем постепенно вышло из употребления. Пришедшее ему на смену наименование «Чечня» обязано своим существованием также типично колониальной картографической практике. По названию первого приграничного села Чечен-аул имя «чеченцев» получила языковая группа местных жителей, которые причинили немало беспокойства расширяющейся Российской империи.

Разделив участь многих полузабытых слов, Ичкерия со временем приобрела немного поэтического оттенка, еще более усиливавшегося мелодическим звучанием для слуха, привыкшего к звучанию индоевропейских и тюркских (но не гортанных кавказских) языков. Это название сохранилось в основном благодаря стихам Лермонтова – русского отклика на бунтарский гений Байрона. Показателем разницы между породившими этих двух поэтов империями может служить их судьба – если Байрон сам искал смертельно опасных приключений в войне за свободу Эллады, то поручик столичного гвардейского полка Лермонтов был сослан на Кавказ за написание получившей широкую известность поэмы на трагическую смерть Пушкина в 1837 г. (вполне обычное наказание для своевольных и политически неблагонадежных офицеров в правление приверженца строжайшей дисциплины Николая I).

Минули эпохи. В ноябре 1990 г., когда перестройка вступала в свою последнюю пасмурную зиму, Второй съезд чеченского народа решил вновь предпринять усилия по обретению независимости (заметим, Первый съезд состоялся в 1918 г., в разгар Гражданской войны). При подготовке ко второму съезду выяснилось, что у Чечни нет собственного исконного имени. Единственным наследством было самоназвание народа – нохчи, т.е. просто «люди, народ» – равно как и этнонимы тюрк, банту, или Deutsch изначально имели в соответсвующих языках значение именно «люди», т.е. свои, люди понятного языка (отсюда и славяне или словене – скорее всего от «слово», люди понятного языка). Отсутствие совпадающего с областью расселения данного народа политически независимого образования вполне закономерно стало причиной отсутствия названия всей страны. Однако на дворе был 1990 год, и все русифицированные советские названия (как и дискредитировавшие себя политические институты советского федерализма) отвергались без колебаний: Белоруссия стала Беларусью, Молдавия – Молдовой, Татария – Татарстаном, Якутия – Сахой, Калмыкия – Хальмг Тангч.

Спеша подобрать подходящее имя для своей страны, первопроходцы нового чеченского национализма устремились в разных направлениях. Предлагаемые названия – Нохчи-Мохк (буквально: Страна чеченцев) или Нохчи-чьо (Чечен-ия), быть может, вполне соответствовали грамматике и богатой согласными фонетике северокавказских языков, однако звучали слишком ново, как-то странно и искусственно. Они так и не прижились. В провинциальной по сущно-

сти Чечено-Ингушской АССР ни один ученый или писатель не обладал достаточным институциональным и моральным авторитетом, чтобы настоять на своем варианте.

Гордиев узел был разрублен бравым генералом Дудаевым – чеченцем, большую часть своей жизни проведшим в гарнизонных городках по всему Советскому Союзу. Это мало способствовало совершенному знанию родного языка, однако Дудаев был горячим поклонником Лермонтова и во время офицерских застолий, бывало, пространно и с чувством наизусть декламировал его стихи об отважных чеченских молодцах, во весь опор несущихся на сечу. Возражения, что Лермонтов был типичным европейским романтиком, описывавшим чеченцев как великолепных кровожадных дикарей, совершенно не смущали Дудаева и отметались как излишне педантские, вернее, как любил выражаться генерал, крохоборские. Имя «Ичкерия» дышало славой, историей, объединением нации. Кроме того, такое слово писалось и произносилось куда легче, чем Нохчи-чьо – а это, нельзя не признать, немаловажное обстоятельство в задаче нанести на мировую карту новое государство.

Архитеррорист

В центре дорожной развязки среди типично советских многоэтажных «Черемушек» стояла возведенная еще в советские времена железная стела, ныне испещренная следами от пуль и осколков и покрытая ржавчиной. Горьким ироничным напоминанием о временах (пусть даже и неоднозначных) прежнего процветания были большие потускневшие буквы типично советского лозунга: «Народы планеты! Берегите мир!» Совсем недавно стела была обклеена предвыборными портретами бородатого и украшенного ичкерийскими орденами Шамиля Басаева, сопровождаемыми лозунгами и даже целыми манифестами, к моему изумлению, адресованными русским. Басаев, оказывается, просил прощения за захват Буденновска и призывал к примирению!

Басаевская биография помогает понять, откуда после стольких лет советизации могли взяться на Кавказе нео-исламистские боевики. Насколько известно, он родился в 1965 г. в горном селе Ведено – том самом, где столетием ранее располагалась ставка легендарного имама Шамиля, самого успешного и известного из вождей газавата позапрошлого века[13]. Разумеется, имя Шамиль перекликалось с легендарным имамом, а Ведено было тем местом, где почти каждый камень увязывался с местной легендой, обычно восхвалявшей подвиг героя, принявшего там свой последний бой. Однако Басаев вырос в советские времена, когда Ведено стало большим совхозом, и его первой (и единственной) мирной работой была должность «техника-животновода». Мечтая, как и многие сельские парни, о куда большем, после службы в армии он уехал в Москву

[13] *Газават* есть более узкий синоним *джихаду* (дословн. преодоление). Термин газават получил распространение в период борьбы мусульман с крестоносцами и означает набеговую войну, ведущуюся правоверными рыцарями-*гази*.

учиться сельхоз специальности, очевидно просто, чтобы поступить куда-нибудь, где давали скидку выходцам из села. Учебу он вскоре бросил, то ли разочаровавшись в избранной скромной карьере, то ли оказавшись совсем плохо приспособленным к учебе. Басаев позднее с усмешкой рассказывал, что провалил его на экзамене по математике сам Константин Боровой, впоследствии известный предприниматель и либеральный активист, в советские времена подрабатывавший почасовиком в непрестижных ВУЗах, поскольку его как еврея не пускали на работу в оборонной промышленности. Боровой, впрочем, такого чеченского студента припомнить не мог. Есть и третье объяснение. В последние годы перестройки немало студентов уходило в предпринимательство, которое тогда, как многим казалось, давало фантастические перспективы в сравнении с прозябанием на должности инженера или агронома. Если это и так, бизнесмена из Басаева тогда не вышло.

Люди, знавшие этого архитеррориста в молодости, говорили, что его отчисление из института стало для многих неожиданностью. Шамиль всегда отличался если не прилежанием, то честолюбием, упорством, и способностью руководить сверстниками. «У Шамиля всегда все было четко», – говорили они. На вопрос, кем бы он мог стать, если бы советский строй сохранился и продолжал задавать жизненные возможности, мне отвечали, что Шамиль бы непременно стал начальником чего-нибудь, скажем, родного совхоза или заводского цеха – если только (смешок, переходящий во вздох), учитывая его порывистый характер и авантюризм, до того не сел бы в тюрьму за какое-нибудь хулиганство. Как тут не вспомнить, что некогда и Осама бин Ладен по специальности был инженером-дорожником, его первый заместитель по Аль-Каиде Айман аль-Завахири был врачом, а более половины террористов 11 сентября были студентами различных технических специальностей и вовсе не исламскими богословами[14]. Семейное происхождение и биографии многих современных исламистов напоминают скорее личные данные эсеровских боевиков из царской России.

Возможно самым важным, что вынес из непродолжительной учебы в институте молодой Шамиль Басаев, было его знакомство с кубинскими студентами, подарившими ему портрет Эрнесто Че Гевары. Говорят, что Басаев всегда носил карточку Че в нагрудном кармане своей полевой формы[15]. Во время попытки переворота ГКЧП в августе 1991 г. Басаев был в рядах защитников московского Белого Дома и демократической России. По другой версии, он пришел защищать не демократию, а чеченца Хасбулатова, однако это скорее одно из типичных преувеличений этнической составляющей в поведении чеченцев. Басаев той поры был, судя по большинству добросовестных свидетельств, захвачен эмоциями перестроечной борьбы с тоталитаризмом, как и большинство советской молодежи – стоит ли тому удивляться? Кроме того, до августа 1991 г.

[14] Mark Sageman, *Understanding Terror Networks*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.

[15] Подробнее см. Georgi Derluguian, «Che Guevaras in Turbans», *New Left Review*, I/237 (September-October 1999)

векторы перестроечной демократии и чеченского национализма полностью совпадали.

Уже двумя месяцами спустя эти векторы разошлись. Так же резко сместился эмоциональный фокус и характер басаевской борьбы. Он угнал в Турцию пассажирский самолет, летевший из Москвы в Грозный, в знак протеста против «предательского» отказа «псевдодемократа» Ельцина признать независимость Чечни. Первый террористический эпизод в биографии Басаева разрешился мирным путем всего за несколько часов. Турецкие власти отпустили Басаева вместе с угнанным им самолетом в самостийную Чечню, где он мгновенно приобрел репутацию радикальнейшего националиста. От прочих радикальных националистов, каких тогда появилась уйма, Басаев отличался тем, что он-то оказался, к сожалению, радикалом действия, а не слова. Некоторое время он воевал на стороне азербайджанцев в Нагорном Карабахе, вместе с которыми в основном терпел поражения от армян, однако успел набраться военного опыта. Именно поэтому в августе того же 1992 года Шамиль Басаев возглавил чеченский добровольческий батальон в Абхазии.

Среди прочих добровольческих подразделений, воевавших против грузин в Абхазии, басаевский отряд прославился в первую очередь дисциплиной (у Басаева всегда царили порядок, отчетность и, в отличие от русских казаков, сухой закон), а также смелостью и воинской смекалкой. Перед атакой на грузинские позиции дерзкие, но довольно малочисленные чеченцы дико завывали волками и затем ошеломляюще стремительно бросались вперед, провоцируя панику. Однажды подобная психическая атака едва не стоила Басаеву жизни – грузинские пулеметчики не убежали и открыли огонь с заранее оборудованных позиций.

Наконец, уже в Абхазии Басаев заработал и, несомненно, сознательно культивировал «волчью» репутацию расчетливого и жестокого воителя, готового на самые радикальные меры, вплоть до террористических, чтобы добиться победы. На самом деле нет проверенных свидетельств, что бойцы чеченского отряда после взятия Гагры играли в футбол отрезанными грузинскими головами. Скорее всего, это типичная для такого рода войн мрачная страшилка. Однако факт, что сам Басаев ничуть не стеснялся подобных слухов и действительно предлагал абхазам для устрашения выставить вдоль линии фронта головы, отрезанные у трупов грузинских солдат. Впрочем, и это скорее могло быть проявлением чеченской бравады и черного юмора. Так Басаев «подкалывал» своих абхазских воинских побратимов, ожидая, что те сдрейфят и тем самым признают статусное превосходство чеченцев в «крутости».

Чеченцы, точнее чеченские сельские парни джигитского возраста, наверное, в самом деле самые большие забияки и хвастуны на Кавказе (хотя конкуренция тут, конечно, велика). К этому их подталкивает острая статусная соревновательность, вообще свойственная кавказцам, но особенно горцам из народностей, которые в XVIII-XIX вв. изгнали своих феодальных князей и уста-

новили воинскую демократию[16]. Не вдаваясь в социально-эволюционные дебаты, здесь лишь вкратце заметим, что аналогии между антикняжескими восстаниями горских племен и изгнанием этрусских царей из древнего Рима носят далеко не случайный характер. Науке еще предстоит освоить этот удивительный историко-сравнительный материал. Есть серьезные основания полагать, что на Кавказе в то время возникли воинско-земледельческие сообщества с организацией, вполне сопоставимой с античной. Впрочем, это была воинская демократия скорее брутально спартанского, нежели рафинировано-афинского типа. Беда и слава чеченских джигитов в том, что, как и спартанцы двумя тысячелетиями ранее, они периодически загоняют себя в положение, когда оказываются вынуждены доказывать свое риторическое бахвальство дерзкими до полного безрассудства делами.

Согласно данным вашингтонских экспертов по контртерроризму, в 1994 г. Басаев провел несколько месяцев в Афганистане, где побывал в лагерях боевой подготовки аль-Каиды. Учитывая его способности и навыки войн в Карабахе и Абхазии, можно предположить, что обмен опытом оказался взаимно полезным. Летом 1995 г. диверсионное подразделение с Басаевым во главе взяло в заложники около двух тысяч человек в южнорусском городке Буденновск, и, захватив местную больницу, потребовало прекратить боевые действия в Чечне. Басаев заявил, что поскольку у чеченской стороны нет самолетов и ракет, чтобы ответить на уничтожение российскими военными мирного населения Чечни, то он и его боевики решили стать «живыми ракетами» и перенести войну вглубь России…

Однако зимой 1997 года полный надежд на президентство Шамиль Басаев обещал поехать в Буденновск, чтобы просить прощения.

Рынок символов

На краю площади Свободы, возле руин того, что, судя по закругленной форме больших оконных глазниц, ранее было универмагом сталинской послевоенной постройки, местные торговцы развернули импровизированный рынок. На собранных на скорую руку прилавках из кирпича и досок можно было увидеть полный спектр пользовавшихся спросом товаров и услуг. Предприимчивый владелец спутниковой тарелки обогащался за счет предоставления услуг международной телефонной связи (проводная связь, как, впрочем, и вся остальная городская инфраструктура, по большому счету более не существовала). Пара-тройка столиков специализировалась на торговле патриотическими товарами: чеченскими флагами разных размеров, зелеными бархатными беретами бойцов сопротивления, календарями и плакатами с изображением средневековых крепостей и других исторических памятников Чечни, а также портрета-

[16] См. Агларов М.А. *Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – начале XIX века.* Москва: “Наука”, 1988.

ми национальных героев – шейха Мансура (легендарного вождя восстания в конце XVIII в.), имама Шамиля и первого президента Чечни Джохара Дудаева. Можно было также приобрести фото волка – нового национального символа – как правило, с заносчивой надписью «Подумай дважды, стоит ли связываться со мной», и даже коврики ручной работы со стилизованным изображением волчицы и лозунгами типа «Бог, Свобода, Ичкерия!» Большинство чеченцев не замечало, что от образа волка попахивало язычеством, и что на лозунгах слово «Бог» писалось не «Аллах», а традиционно по-чеченски «Дéла» – еще одно наследие от исторически недавних времен многобожества (сосуществовавшего в Чечне с исламом вплоть до XVIII в.)[17].

Бывший до войны директором Института истории Чечни Вахит Акаев подтвердил, что происхождение волчицы как национального символа Чечни остается загадкой. С перестройкой на читателя хлынул поток публикаций на тему национального прошлого – и вот тогда престарелый историк-любитель, провозглашенный «народным академиком», популяризовал волчицу как мифологическую покровительницу древних чеченцев. После смерти самодеятельного историка Вахит Акаев отправил нескольких аспирантов разобрать архив покойного, однако ни одного оригинального документа о волчице там найдено не было. Однако символ уже как-то прижился, вероятно, оттого, что был довольно удачно геральдически стилизован в круглой кокарде, завоевавшей сердца чеченцев, и затем появился на новом национальном флаге[18].

Участвовавший в разработке флага Лёма Усманов утверждает, что изначальный эскиз предполагал чисто национальный и светский символизм: тонкая красная полоса означала пролитую во многих войнах кровь чеченского народа; более широкая белая полоса означала надежду чеченского народа; темно-зеленое поле знаменовало плодородность родной земли[19]. Трудно поверить, что Усманов не осознавал возможности восприятия зеленого поля как символа ислама. И, тем не менее, Лёма, в самом деле, являет собой типичный пример советского интеллигента-перестроечника: честного бессребреника, страстно преданного идее и довольно наивного на фоне беспринципной и корыстной политики посткоммунистического периода.

Вскоре после чеченской революции в ноябре 1991 г. весьма тогда известный в Чечено-Ингушетии оппозиционер и борец с партократией Лёма Усманов был близок к победе на выборах мэра Грозного. Но, как бывает сразу после революций, с исчезновением прежней власти персонаж народного трибуна-обличителя уже начал стремительно устаревать. Новому президенту Дудаеву, судя по всему, показалось куда полезнее заручиться поддержкой лица более влиятельного и полезного. Так градоначальником стал Беслан Гантамиров – бывший милиционер, в конце восьмидесятых ушедший в бизнес после отчисле-

[17] Рассмотрение чеченского язычества см. у Anna Zelkina, *In Quest for God and Freedom: The Sufi Response to the Russian advance in the North Caucasus,* London, Hurst and Co, 2000.

[18] Личный разговор с Вахитом Акаевым, Москва, июнь 1999г.

[19] Личный разговор с Лёмой Усмановым, Эванстон, октябрь 1999 г.

ния из Московского юридического института, насколько известно, за обычную неуспеваемость. В 1990 г. Гантамиров вернулся в Чечено-Ингушетию богатым человеком и окружил себя группировкой вооруженных последователей из так называемой «Партии Исламского Пути». Они и стали штурмовым отрядом чеченской революции 1991 г., сделавшись после ее победы «муниципальной полицией» Грозного – как только их предводитель стал новым мэром столицы.

Спустя два года, в 1993 г. мэр Гантамиров в союзе с частью нового парламента Ичкерии вступил в вооруженный конфликт с президентом Дудаевым. По мнению местных жителей, причиной конфликта стали планы ре-национализации успешно «прихватизированного» Гантамировым экспорта нефти – президент Дудаев отчаянно нуждался в средствах на строительство армии и государства. Это был типичный для едва ли не всех бывших республик СССР конфликт между новыми президентами и постсоветскими парламентами, которые теряли значение с выстраиванием президентских вертикалей власти, а также между правителями стран и претендующими на самостоятельность мэрами крупнейших городов. В дудаевской Чечне этот конфликт произошел раньше и более открыто, со стрельбой на главных улицах. Дудаев тогда победил, не в последнюю очередь благодаря вернувшемуся из Абхазии отряду Шамиля Басаева. Гантамирову пришлось бежать из Грозного в родное село, которое превратилось в эдакую сепаратистскую мини-вотчину внутри непризнанной дудаевской Ичкерии. В 1994 году, при весьма небрежно скрываемой поддержке российских спецслужб, Гантамиров повел собственную армию «контрас» на Грозный, чтобы свергнуть Дудаева. Неудача похода была столь же жестокой, как и неожиданной. Именно тогда, действуя в растерянности и досаде, московские покровители Гантамирова из кремлевской администрации убедили президента Ельцина наказать своенравного мятежного генерала Дудаева вторжением силами регулярной армии.

Гантамировское вооруженное формирование стало одной из первых групп, придавших значение исламского символизма зеленому полю чеченского флага. Учитывая присущий Гантамирову цинизм наемника, его обращение к религии выглядело не более чем идеологической маской, однако его кураторы в Москве (вероятно, с учетом приобретенного в Афганистане опыта спецопераций) одобрили подобный шаг. Гантамировцы стали воевать под новым чеченским флагом, но без ичкерийской геральдической волчицы. Вместо языческой зверя-праматери стали рисовать исламский полумесяц на зеленом поле.

В данном случае наглядно видно, как религия в Чечне политизировалась с нескольких направлений, притом не только с Ближнего Востока. Раз возникнув, динамика политизации религии стала самовоспроизводящейся, поскольку данная стратегия оказалась эффективнее чисто светского национализма и прочих идеологических практик. Как созданные в 1980-х при поддержке ЦРУ в Афганистане и странах Ближнего Востока новые движения фундаменталистов и сети их тайных ячеек давно вышли из-под контроля спецслужб и приобрели

динамику самостоятельного политического развития, точно также и разрозненная, запутанная и жестокая политическая борьба в Чечне в девяностые годы дала непредвиденно мощный импульс подъему религиозных настроений в обществе. Выражаясь языком социологии, религиозное возрожденчество добавило новый слой каузальности (причинности) к постсоветским процессам переорганизации общества. Однако религия не становится социальной силой сама по себе. Было бы словесным фетишизмом утверждать, будто она является самодвижимым явлением. Скорее, ислам стал средством политической и моральной легитимности, каналом доступа к ресурсам ближневосточных политических кругов, а также источником пропаганды, позволившей постепенно вытеснить дискредитировавший себя национализм. Религия в Чечне стала не «фактором», а целым полем острой конкуренции, переходящей в настоящие сражения по мере того, как различные вожди и их вооруженные формирования стали заявлять о приверженности именно их «истинному» исламу.

Видео развал

После прилавка с патриотикой мы перешли к изучению видеокассет на соседнем столике. Выбор дешевых пиратских копий (приблизительно по доллару за штуку) скверного качества являл собой обычный ходовой набор низшего сегмента постсоветского видеорынка. Иными словами, это были доступные по форме развлекательные фильмы основных киножанров: мексиканские сериалы, примитивные американские мультики, индийские мелодрамы, несколько ностальгических картин советской эры, гонконгские фильмы с мастерами боевых искусств и голливудские боевики со Шварценеггером, Сталлоне и Ван Даммом (неудивительно, что многие чеченские боевики походили скорее на Рэмбо, нежели на своих легендарных предков). Возглавлял в то время список хитов видеорынка фильм «Отважное сердце». Работавшая в то время в Гарварде шотландка по происхождению Фиона Хилл рассказывала, что все тот же Басаев по его собственному признанию будто бы 14 раз смотрел этот боевик и вообще обожал шотландцев как горцев и собратьев чеченцев по вековой борьбе против имперского – русского и английского – господства[20]. Как выясняется, Басаев мечтал умереть с призывом «Свобода!» на устах, подобно сыгранному Мелом Гибсоном герою кинофильма[21]. В самом деле, в арабской киноиндустрии пока

[20] Личный разговор с Фионой Хилл, Эванстон, декабрь 1999 г.

[21] В соседней Ингушетии рассказанную Фионой Хилл историю прокомментировали следующим образом: *«Да, похоже на наших братьев-чеченцев. Но сами мы, ингуши, предпочитаем идеи другого шотландца – Адама Смита».* Ингушский упор на рыночный прагматизм вопреки чеченской браваде шел с самого верха возглавляемого генералом Русланом Аушевым режима просвещенного военного деспотизма. Действия этого профессионального солдата, геройски прошедшего через войну в Афганистане, теперь были направлены на сохранение мира в крошечной, бедной ресурсами Ингушетии, потерпевшей болезненное поражение в недавней войне с соседней Северной Осетией и подозреваемой Москвой в пособничестве чеченским сепаратистам. По не менее прагматическим причинам политическое маневривование генерала Аушева не могло соответствовать рецептам Адама Смита. Относительная стабильность в Ингушетии финансировалась крайне непрозрачными налоговыми

не овладели гибсоновским рецептом коктейля из исторической развлекательной мелодрамы, компьютеризованного гиперреализма и сверх-кровавого энергичного действия. Там, впрочем, возникли свои варианты сверх-кровавого действия, снятого непрофессионально и безыскусно, зато пафосно и невыносимо назидательно.

Потребовалось какое-то время, чтобы отыскать видеофильмы собственного чеченского производства. Мальчик, посланный на их поиски к другому торговцу, прибежал, наконец, с восемью кассетами. Вывезти их из Чечни оказалось довольно опасным и неприятным приключением, поэтому отдельное спасибо бойцам Воронежского ОМОНа, отпустившим нас с умеренными финансовыми потерями и даже в конце-концов поверившим в наши с Игорем Кузнецовым заверения об историко-архивной ценности подобного рода материалов. Позднее просмотр показал, что видеопленки в основном содержали любительскую съемку различных чеченских митингов, заявления различных полевых командиров, которые были записаны в условиях военного подполья или в горных лагерях, неотредактированный материал съемок боев с российскими войсками, а также записанные со спутниковых тарелок новостные выпуски из Чечни (в основном, ITN, BBC, CNN и российского НТВ). Во время войны чеченцы жадно ловили новости о событиях в собственной стране из иностранных (зачастую единственных доступных) источников, и остро переживали, чтобы их борьба и страдания были увидены миром.

Одна из кассет содержала исламистскую пропаганду джихада. Первый длинный отрывок представлял съемку засады на российскую бронетанковую колонну. Подразделением в засаде руководил амир (воевода, командир) Хаттаб – исламистский интернационалист из Саудовской Аравии, который ранее воевал в Афганистане[22]. Комментарий на арабском за кадром вел сам Хаттаб. В переводе одной из моих студенток американо-арабского происхождения, выяснилось, что комментарии Хаттаба были столь же безыскусны, как и видеоряд. Этот примитивизм, однако, создавал по-своему достоверное и страшноватое зрелище. Камера дрожала в руках у оператора, съемка была невыносимо затянута (минут двадцать где-то вдали по горной дороге все ехали и ехали, грохоча, крохотные танки и бронетранспортеры), за кадром раздавалось тяжелое дыхание, хруст веток, выстрелы, крики, и затем протяжным, эмоционально-напряженным речитативом, как будто распевая Коран, арабская речь: «Посмотрите, сколько уничтожено танков! Аллах даровал нам победу. Сколько врагов повержено! Аллах велик!»

Особенно любопытно, что заснятыми оказались эпизоды общения Хаттаба с чеченцами. Арабский командир говорил с ними не на арабском и не на чечен-

---

льготами, которые Москва в тот период предоставляла как плату за лояльность Ингушетии (сопоставить с системой льгот), так и попросту ввиду недостатка средств в центральном бюджете.

[22] Смерть Хаттаба относится к весне 2002 г. Умер он, возможно, от старых ран, хотя в российских газетах того времени распространялись слухи, что он был отравлен письмом, переданным российским двойным агентом или же иорданской разведкой, столь средневековым методом избавлявшейся от своих врагов.

ском, а на простом русском языке. Собственно, на каком еще общем языке могли они изъясняться? Русский поневоле остается языком межнационального общения даже среди антироссийских повстанцев, особенно когда речь заходит о танках, пулеметах, вертолетах и прочей современной технике. Хаттаб вероятно знал русский со времен, когда участвовал в гражданской войне в Таджикистане в 1992-93 гг.

Вторая часть той же «хаттабовской» кассеты являла собой уже более профессионально смонтированный сборник кадров, снятых во время различных боев: чеченский пулеметчик ведет огонь по вертолету в небе; цепочка боевиков на горной тропе; сожженные танки и горящие дома. Видеоряд сопровождался бравурно-помпезными и одновременно как-то невсклад слащавыми маршами явно ближневосточного происхождения, что однозначно не совпадало с чеченскими более «лезгиночными» вкусами. Вкупе с комментариями Хаттаба на арабском, кассета оставляла впечатление нацеленного на зарубежного зрителя материала. Вероятнее всего, где-то она служила исламистской пропагандой всемирного джихада.

Я собрался было расплатиться с чисто выбритым продавцом-мужчиной лет сорока – бритье в те дни становилось признаком не только современной городской культуры, но и определенной оппозиции по отношению к поднимающейся волне исламизации. Этот продавец вдруг попытался удержать одну из кассет и сунуть ее под стол. Несмотря на его протесты и заверения, что эта кассета вовсе не его, и что он никогда не стал бы держать подобное в своем доме, именно поэтому я настоял на своем праве купить и ее. Кадры были, в самом деле, ужасающими: суд и расстрел обвиненного в сотрудничестве с российскими властями учителя-чеченца, а также перерезание кинжалом глоток пленных русских солдат. Когда в годы недавней войны эта пленка начала ходить по Чечне, многие городские чеченцы были потрясены и возмущены подобной дикостью, тогда как российская военная пропаганда указывала на эти кадры в качестве доказательства звериной сущности противника.

В самые первые дни войны, по многим свидетельствам, чеченские командиры обращались с пленными федералами почти как с гостями – скорее всего потому, что пока не возникло иной модели поведения по отношению к той самой армии, в которой недавно служили многие чеченцы (включая бывшего сержанта Басаева, майора ГАИ Арсанова, полковника-артиллериста Масхадова и генерал-майора ВВС Дудаева). Есть и вполне правдоподобные рассказы о рыцарском отношении российских офицеров к раненым боевикам, но также только в самом начале войны. Как показывает британский социолог Майкл Манн, обобщивший в мрачном, но тем более полезном труде массив эмпирических данных о геноцидах и военных преступлениях XX в., во всех случаях злодеяния начинали происходить лишь по мере раскручивания процесса эскалации насилия, состоящего из обмена все большими жестокостями (нередко преувеличенными молвой). Люди не становятся

убийцами в одночасье. Для этого требуется эмоциональная брутализация, мотивируемая страхом за себя, местью за своих, и дегуманизацией образа противника, к которому перестают применяться человеческие нормы. В данном случае считалось, что горло перерезали не желторотым призывникам, и без того настрадавшимся от военной «дедовщины», а матерым солдатам-контрактникам, которые «приехали убивать за деньги». Как бы то ни было, в отличие от горожан (многие из которых едва ли могли знать, как перерезать горло барану или корове), куда более близкие навыкам стародавнего быта малообразованные сельские жители Чечни, особенно безработная молодежь, которая после 1991 г. едва ли вообще ходила в школу, и которая при этом вынесла на себе основную тяжесть боев, расценили эти кадры как вполне оправданные и необходимые акты возмездия. С исчезновением государственного закона в Чечне возрождалась вера в крайнее средство кровной мести.

Выборы

Однако сразу после вывода федеральных войск в Чечне января 1997 года в отношении России преобладали примиренческие настроения, выражаемые как посредством местных газет, так и предвыборных пропагандистских листовок. Наиболее примиренческий характер, как уже упоминалось, носили агитлистовки Шамиля Басаева, ввиду очевидной перспективы обретения государственной власти старавшегося избавиться от репутации террориста. Двумя месяцами позже новоизбранный президент Аслан Масхадов, безуспешно пытавшийся избежать раскола и в первую очередь успокоить набравшего на выборах более четверти голосов Басаева, назначит его главой кабинета министров. Однако малообразованный и импульсивный Басаев окажется непригоден к роли государственного деятеля, тем более управленца в условиях разрушенной Чечни, по-прежнему окруженной Россией. После серии провалов Басаев в крайне разгневанном состоянии подал в отставку и примкнул к радикальной оппозиции. До этого момента крайние националисты и сторонники исламистского возрождения находились лишь на окраине политической жизни Чечни. На президентских выборах 1997 г. их кандидаты, включая Яндарбиева, едва набрали 10% всех голосов, что достоверно отражало взгляды тогдашнего чеченского общества. В отличие от выборов в большинстве постсоветских стран (обыденно сопровождающихся апатией, манипуляциями и подтасовками), выборы в Чечне были грамотно организованы, а избиратели голосовали с энтузиазмом.

Героем дня был бегло говоривший по-русски дипломат из Швейцарии Тим Гульдиманн, в качестве посредника ОБСЕ проведший большую часть войны в самой Чечне[23]. Он принадлежал к новому поколению государственных

[23] Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является институционизированным результатом Хельсинкских соглашений 1975 г., подписанных главами всех тогда существовавших стран Европы и Северной Америки на пике разрядки в годы «холодной войны». В ходе этнических войн 1990-х ОБСЕ стала ка-

служащих Швейцарии, вдохновленному европейской идеологией международной юридической защиты прав человека. Неожиданно для оказавшегося в самой гуще яростной войны дипломата из нейтральной страны, Гульдиманн оказался на изумление дотошным и активным переговорщиком. После окончания войны именно он смог организовать в Европе сбор средств и оборудования для проведения выборов в Чечне, а также прибытие групп наблюдателей, необходимых для обеспечения легитимности нового президента и парламента. Своей активностью Гульдиманн нажил немало врагов со всех сторон и трижды объявлялся persona non grata по трем различным причинам. Во-первых, в годы войны созданное Москвой чеченское правительство бывшего первого секретаря Доку Завгаева было оскорблено своим непризнанием в качестве самостоятельной и полномочной стороны; во-вторых, Гульдиманн рассорился с российским парламентом, вернее, с его великодержавным большинством; наконец, когда в предчувствии своего неминуемого поражения на выборах временный президент Зелимхан Яндарбиев в отчаянии обратился к радикально исламистскому аргументу о том, что без наблюдения Запада выборы в Чечне прошли бы не в пример лучше. Однако большинство чеченцев весьма ценили роль Гульдиманна и были благодарны за его усилия – не потому, что он помог им выбрать конкретного лидера (59% проголосовало за отставного командира и умеренного политика Аслана Масхадова, и этот процент был бы больше, если бы беженцы за пределами Чечни имели бы возможность принять участие в выборах), а в основном потому, что активное присутствие дипломата из Швейцарии было воспринято как подтверждение вовлеченности Европы в построение будущего Чечни. Гульдиманн служил символическим заслоном иному, более исламскому варианту будущего.

Гендер и ислам

В центре новостей из Чечни находились сплошь мужчины самого мужественного вида и боевого возраста – короче, всевозможные бородачи с автоматами. На самом деле там было куда больше заурядных пожилых мужчин уставшего и не очень здорового вида, множество неожиданно веселой детворы и более всего женщин, молодых, зрелых и немолодых, подчас с удивительно благородными и добрыми лицами, несмотря на бедственный быт и ужасы военного времени. В какой-то момент глаз привыкал к Рэмбо-образным лихим парням, проносившимся на внедорожниках, и к многочисленным охранникам перед входами во всевозможные штабы и офисы, с расслабленной ленцой поигрывающим оружием. И тогда становилось видно, что земля чеченская буквально держится на женщинах, что они-то в этих нечеловеческих условиях и составляют структуры жизнеобеспечения.

налом для совместных дипломатических усилий западноевропейских государств.

Там начинался какой-то другой чеченский мир, о котором мне как мужчине судить труднее. Но кое-что все же прорывалось на поверхность. Собственные, для внутреннего потребления чеченские газеты и телепередачи зимы 1997 г. отводили непонятно много комментариев тому, что довольно выспренно и иносказательно именовалось «проблемами возрождения древних национальных традиций». Потребовалось вчитаться повнимательнее, чтобы понять о чем идет речь. Оказалось, о полигамии и умыкании девушек с целью заключения брака. Из разноголосия не всегда внятных мнений постепенно становилось ясно, что это было вовсе не радостным возвратом к исконно горским обычаям, запрещенным коммунистами, а проявлением острейшей нестабильности общества.

Сторонники многоженства, среди которых оказалось на удивление много явно неплохо образованных женщин среднего возраста, утверждали, что в обществе, лишившемся прежних механизмов социальной защиты, особенно при столь высоком проценте незамужних девушек и вдов, освященный религиозным законом полигамный брак предоставлял женщине более стабильный и почетный способ выживания, нежели распространившееся в годы войны негласное сожительство. Неизменно приводился дополнительный аргумент патриотического характера – женщины должны рожать больше детей, чтобы народ восполнил демографические потери после разрушительной войны. В самом деле, есть немало данных о том, что, несмотря на разруху, в Чечне наблюдается мощный рост рождаемости – по крайней мере, в сельских районах. Аргумент сводился к тому, что после такого количества потерь среди чеченских мужчин, наилучшим способом обеспечить законнорожденность детей было бы многоженство.

Вполне предсказуемо, духовенство поддержало подобную точку зрения. Более того, поколением ранее уже имел место убедительный прецедент. В годы сталинской коллективизации и особенно после депортации 1944 г. чеченцев и ингушей в Среднюю Азию, традиционные исламские нормы поведения были пересмотрены с учетом большого числа вдов. В те крайне трудные годы возникали новые подпольные мечети, прихожанами которых были исключительно женщины (этот исторический эпизод остается крайне мало изучен). Еще больше женщин ушло тогда в тайные суфийские кружки, которые давали им духовную и социальную поддержку за пределами их вынужденно неполных семей.

В то же время противники полигамии, среди которых также было много образованных и красноречивых женщин среднего возраста, громко возражали против подобного «возврата к варварству». По их словам, многоженство никогда не было чеченской традицией, а скорее относилось к «персидским шахам и турецким султанам». В прошлом полигамия хоть и имела место, однако была крайне редким явлением в основном ввиду экономических факторов. Крестьяне Северного Кавказа всегда были бедны и скромны в быту. Даже среди князей немногие могли построить себе дворцы. Но главное, гаремы в горском обще-

стве были лишены своего основного социально-статусного значения. Если уж на то пошло, наиболее ценным предметом и показателем социального статуса горца были его конь и оружие, а не обширный гарем жен и наложниц.

Относительно брака способом умыкания выступавшая по ингушскому телевидению учительница сформулировала убедительное (оттого еще более печальное) заключение по данной социальной проблеме. Хотя умыкания случались и в прежние времена, как правило, они совершались с негласного согласия невесты и иногда даже родителей. Подобное джигитство на самом деле прикрывало стыд от бедности и предназначалось для избежания непосильных расходов на выкуп и свадебные торжества. Девушка могла таким образом соединиться с понравившимся ей парнем, даже если тот еще не заработал где-то на шабашке в Казахстане достаточно денег на обзаведение домом и хозяйством. После налаживания семейного быта и рождения первенца происходило торжественно церемониальное примирение с родителями и братьями молодой жены.

Но новая волна похищений конца 1990-х гг. была прямым беззаконием и насилием. Девушек захватывали грубо и нагло, на улице по дороге из магазина или школы, даже порою под угрозой оружия, практически как заложников ради выкупа или обмена. Девушек везли куда-то в тайное место и тут же насиловали, после чего они как «подпорченный товар» автоматически должны были стать собственностью того, кого вовсе не избирали. Корень проблемы, по мнению учительницы, заключался в растущем культурном и поведенческом разрыве между полами и поколениями. Многие девочки прилежно и хорошо учились в школе, приобретали городские манеры, желали бы продолжить образование и затем найти современную работу. Их едва ли привлекала традиционная патриархальная перспектива сделаться годам к восемнадцати многодетной матерью и молчаливой младшей домохозяйкой в подчинении у властной свекрови (которой, конечно, некогда пришлось самой пройти через все это).

Тем временем ни общественная среда, ни сверстники большинства горских парней не способствовали столь же прилежной учебе. Корпеть над учебниками и радовать педагогов, виделось им, как-то не по-джигитски. В итоге, молодые парни не знали ни рамок и ритуалов традиционного ухаживания, ни норм современного городского поведения (как, например, пригласить девушку потанцевать или подарить ей цветы), ни элементарной законности. Ингушская учительница завершила свое печальное выступление риторическим вопросом: «Что же нам теперь делать с целым поколением необразованных хамов?»

Объяснение ингушской учительницы совершенно согласуется с выводами из обширного опыта социологов, изучавших различные этнические гетто в США. Установка на образование и прививаемую им современную самодисциплину возникает среди мальчишек и удерживается только там, где вырисовывается жизненная перспектива стать кем-то значимым в результате приобретения подобного рода навыков и соответствующих видов символического капитала – врачом, адвокатом, инженером-конструктором, предпринимателем. Там, где та-

кая перспектива едва ли видится, поскольку в окружении отсутствуют ролевые примеры взрослых мужчин, добившихся профессионального успеха, начинают действовать противоположные установки на молодеческую развязность, показное рискованное поведение и прочие статусные признаки подростковой «крутизны» – что известный афро-американский социолог Элайджа Андерсон назвал «кодексом улицы»[24]. В лучшем случае это приводит к карьерам, основанным на таланте и успехе в физических, более дворовых видах спорта, как футбол и баскетбол.

Будучи представителем советской, прогрессивно-светской системы образования, ингушская учительница не пошла далее в своих рассуждениях. Тем солиднее показался следующий гость программы, моложавый, но уже степенно держащийся бородатый мужчина, представленный как преподаватель недавно основанного Исламского университета. Он отметил, что нормы шариатского права могут помочь в разрешении данной проблемы. Он обвинил во всем именно советское безбожие, которое и произвело молодых варваров. В шариатском праве, как рассуждал преподаватель ислама, четко прописаны и обязанности мужчины, и права женщины, не говоря уже об освященной религией высокой духовности семейных отношений. Его выступление отличалось спокойствием и уверенностью, знанием подробностей традиций исламского права. На фоне горечи и растерянности учительницы, слова исламиста звучали, надо признать, гораздо более убедительно и обнадеживающе.

Как уже упоминалось, за исключением нескольких более технических видов труда, в которых господствовали мужчины (помимо владения оружием это эксплуатация нелегальных нефтяных скважин и аппаратов спутниковой связи, продажа видеокассет, автомобильный извоз и ремонт, плюс забой скота), женщины преобладали во всех уцелевших после войны сферах экономической деятельности в Чечне. Это в основном было связанно с сельским и надомным трудом и, конечно, уличной торговлей. Большинство торговцев в Грозном составляли женщины в теплых шерстяных платках, каких-то зипунах и резиновых калошах или сапогах, продававшие жвачку, аспирин, авторучки, жареные семечки, сигареты, домашние пирожки, импортные бананы и прохладительные напитки.

Алкоголя нигде не было видно, хотя у некоторых пиво и водка были припрятаны под прилавком. Повсюду висели сделанные второпях большие надписи как ни странно на русском языке, очевидно, все еще ассоциировавшемся с официальной сферой указов: «Не гневи Аллаха, брось пить!» Запрет на алкоголь был проявлением исламского возрождения, своим существованием обязанного вызванной к жизни войной необходимости внутреннего сплочения и жесткой дисциплины. Сухой закон считался также актом культурного сопро-

[24] *Elija Anderson, Code of the Street: Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City*. New York: Norton, 1999.

тивления – в противоположность поведению нередко подвыпивших русских солдат. Однако процесс религиозной морализации шел далеко не бесспорно.

Накануне поездки в Грозный, на одной из советского вида центральных улочек Назрани мы зашли пообедать в маленькое, безупречно чистое, просто неправдоподобно вылизанное кафе, украшенное заботливо накрахмаленными занавесками, гирляндами неестественно ярких пластмассовых цветов и здоровенным никелированным электросамоваром на буфетной стойке. Средних лет оживленно щебечущая хозяйка кафе («Ой, мальчики, зовите меня тетей Асей, а то моего ингушского имени вам все равно не выговорить») была одета столь же опрятно, но и с такими же неестественно ярко окрашенными волосами, выбивавшимися из-под белой кружевной наколки на голове. Пока мы заказывали манты и чай, в кафе вошел сердитый длиннобородый старик в овчинном тулупе и папахе. Размахивая палкой, он гневным тоном обратился к владелице кафе на ингушском. Но та ответила еще более эмоциональной тирадой, сопровождаемой жестами в нашем направлении. После ухода явно непрошенного посетителя, возбужденная недавней перепалкой тетя Ася объяснила нам причину конфликта: «Да это мулла приходил, требовал закрыть кафе на время Рамазана. Пост сейчас у мусульман. А я ему говорю, у меня, вон, клиенты не только мусульмане. Куда я кафе закрою? Я же вдова, понимаете? Мне надо кормить двоих детей и брата-инвалида».

О неочевидности горских кланов

Найти водителя с машиной оказалось делом весьма сложным, поскольку высадившийся в те дни десант международных наблюдателей и корреспондентов ведущих мировых агентств успел произвести на жителей Назрани и Грозного глубокое впечатление. Все эти важные иностранцы очень спешили и имели неосторожное обыкновение расплачиваться стодолларовыми купюрами из объемистых пачек. Местные стали быстро приспосабливаться к внезапно возникшим новым рыночным возможностям, используя их самым разным образом. Наиболее образованные предлагали услуги переводчика, советника или журналиста-стрингера; владельцы хороших автомашин стали шоферами (с оплатой, превосходившей расценки лимузинных служб на Манхэттене); цены на аренду сколь-нибудь целого жилья с удобствами взлетели до умопомрачительных высот. Вскоре, однако, выяснилось, что козырной картой на этом рынке оказался автомат Калашникова, и целые отряды телохранителей приступили к охране зарубежных журналистов и их клади, действуя наперегонки со стремительно плодившимися похитителями заложников и простыми грабителями. Не имея и близко бюджета CNN, оставалось предпочесть метод мимикрии: в поле носить достаточно неприметную одежду и в основном разъезжать, как и большинство местных, на маршрутках. И, тем не менее, легковые машины были не в пример удобнее, а их водители могли нам помочь как переводчики.

Наш водитель был за умеренную плату нанят в соседней Ингушетии. До 1991 г. это была составная часть Чечено-Ингушской АССР, а два коренных языка родственны в достаточной степени, позволяющей называющимся вайнахами (дословно, нашими) народам понимать друг друга. Поездка в Грозный была организована нашим новообретенным ингушским другом и коллегой, который как раз к моменту распада СССР успел получить диплом историка в Чечено-Ингушском университете (впрочем, как он искренне признался, учился он в надежде сделать партийную карьеру). С началом войны этот моложавый столичного вида мужчина был вынужден переехать к сельским родственникам в дом, где уже жило двадцать человек, половина из которых были беженцами из зоны другого, осетино-ингушского конфликта. Этот образованный, ироничный и довольно амбициозный горожанин сильно тяготился однообразным, расписанным требованиями традиций бытом ингушского села. Для моих социологических исследований он стал ценнейшим источником информации, способным одинаково глубоко, хотя и эмоционально неоднозначно понимать обе стороны социального раздела между современным городом и кавказским селом. Наш приятель принадлежал к категории особо ценных информантов, что он быстро уразумел и воспринимал с неподдельно веселым энтузиазмом. Проезжие журналисты, с которыми ему доводилось общаться по работе, интересовались только политическими раскладами и не слишком располагали поговорить по душам о жизни в глуши и грязи, где командовали и захватывали себе все блага неотесанные парни с автоматами и где приходилось прятаться от стариков, чтобы выкурить сигаретку посреди постного месяца Рамазана.

Рано утром мы вместе отправились на стоянку такси близ местного рынка. После ряда переговоров с водителями, наш ингушский друг представил нам скромного пожилого мужчину, к которому он обращался по-свойски «дядя Мухарбек» и прошептал нам по-русски: «Вообще-то я с ним в жизни не встречался, но мы тут немного поговорили и выяснили, что мы однотейповцы. Так что в случае чего... Боже упаси, конечно... ну, вы сами понимаете... он вроде бы несет за вас ответственность как за гостей нашего рода. В такие дурные времена, как сейчас, если честно, родственные традиции уже не та гарантия, что считается, но это все же лучше, чем ничего».

Традиционные патрилинейные кланы, в Чечне и Ингушетии обозначаемые арабским словом тейп (таифа – род, группа), в годы недавних потрясений и войн стали предметом многочисленных спекуляций. Романтически настроенные националисты вновь обратились к идее основанного на традиционном родовом правлении «третьего пути» перехода к современной демократии. Мыслящие ориенталистскими категориями сотрудники российских спецслужб и некоторые претендующие на посвященность журналисты выстраивали подробные схемы сфер влияния кланов. Предполагалось, что это может выявить скрытые пружины политических процессов на Северном Кавказе. В свою очередь, я предложу основанное на двух социологических концепциях практическое

толкование того, как работают тейпы[25]. Во-первых, они являются хранилищем коллективных репутаций, используемых в рамках своей этнической общины в качестве социального капитала. Во-вторых, тейпы служат сетями доверия, которые регулярно оказываются востребованными и задействованными во взаимодействиях вне рамок семейной взаимности.

Однако сети доверия могут оказаться разрушенными в силу многих причин, особенно в трудные времена. Кроме того, социальный капитал трудно измерить, поскольку он не переводится в денежное исчисление. Жители Северного Кавказа обычно ведут долгие беседы о делах своих дальних родственников, отпускают колкие шутки в адрес достоинств того или иного рода, или же (по мнению иностранцев) пускаются в безудержную похвальбу. В действительности, эти ритуалы являются средством установить относительную ценность социального капитала, связываемого с именем того или иного рода. Выпускники Гарвардского, Йельского или Нортвестернского университетов привычно пускаются в аналогичные микро-социальные ритуалы, причем делают это почти ровно в тех же целях. Сети алумниев-выпускников элитных колледжей, так же как и социальные сети горских родов, предоставляют более-менее реальную надежду и пути-цепочки достижения практических целей – поиска работы, партнера по бизнесу, или соответствующей социальному статусу невесты. Подобным же образом родовые сети позволяют оценить доселе ничем не проявившего себя молодого человека, оценить его как потенциального зятя, либо завербовать его в бригаду отходников, отправляющихся на шабашку, или же в отряд боевиков.

Там, где нет эффективной полиции, чтобы заставить выполнять условия соглашений и отсутствует накопленный бюрократическим механизмом архив личных дел и аттестатов, позволяющий оценить достоинства обращающегося, репутация рода остается мерилом решения и позволяет построить доверие. В большинстве случаев коллективная репутация действительно срабатывает, поскольку в плотной социальной среде местных контактов люди стараются не навредить чести своего рода каким-либо проступком, за который им придется отвечать в первую очередь перед собственными родственниками. Однако функция репутации далека от совершенства, поскольку существуют соперничающие формы социального капитала и различные типы сетей доверия, где клановое родство может отступать на второй план, особенно когда этого требует организационная логика более формальной среды. В советские времена это была бюрократия, где своих нередко наивных однотейповцев начинали чураться, чтобы сделать карьеру, а в более недавние времена таковыми стали исламистские братства и отряды боевиков. Немаловажным отличием родов от племен являет-

[25] Тимоти Эрл был крайне добр, оказав мне помощь в уяснении социальных механизмов и функций родов. См. Timothy Earle, *How Chiefs Come to Power: The political Economy in Prehistory,* Stanford: Stanford University Press, 1997. В моей работе я совместил социологическое видение Эрла с идеей Бурдье о социальном капитале и некоторыми концепциями обществоведения о доверии, например, Diego Gambetta (ed), *Trust: Making and Breaking Cooperation Relations,* Oxford: Blackwell, 1988.

ся отсутствие у первых формального руководства или вождя – они представляют собой расширенные семьи, которые можно непосредственно наблюдать разве что на самых важных свадьбах и похоронах.

Выданная нам родом гарантия безопасности стала представляться еще более призрачной, когда мы узнали, что у дяди Мухарбека его предыдущую, почти новую машину отобрали чеченские боевики. (Из-за громких похищений российских журналистов и военных оставался в тени тот факт, что абсолютное большинство и заложников, и жертв ограблений в межвоенной Чечне были местного происхождения – попросту потому, что за ними не надо было далеко ходить, что типично для обыденной преступности во всем мире.) Дядю Мухарбека остановили по дороге на рынок в Дагестан: «Вот так запросто, остановили на шоссе какие-то ребята с автоматами и по-нашему же мне сказали, что моя машина реквизирована на нужды национальной борьбы, ха-ха! И что? Да ничего, пришлось возвращаться домой на попутках. Могли бы и убить, но я никого из этих абреков не узнал, так что кровной мести они не боялись».

Дядя Мухарбек приобрел ту машину на сбережения лучших советских 70-80-х годов, когда работал на нефтяных месторождениях в Сибири. Еще раньше, в казахстанской ссылке сталинских времен, он научился бегло говорить по-русски и водить машину, а женой его стала украинка из раскулаченной семьи, сосланной в Среднюю Азию еще в тридцатых. Она научилась говорить на ингушском, однако на мой вопрос, перешла ли она в ислам, Мухарбек обыденно ответил: «Кому это важно в деревне, где все знают друг друга? Когда нужна помощь, моя жена всегда рядом с другими женщинами, например, на свадьбах и похоронах, но она не читает молитвы. Это молодежь сейчас ударилась в религиозность. В советские времена мусульманин – немусульманин, это было не очень важно».

Пропагандист

Над ведущим к площади Свободы широким проспектом висел «фирменно» выполненный и, наверное, очень дорогой рекламный биллборд с лаконичным призывом на русском: «Исламский порядок: Мовлади Удугов». Прежде малоизвестный местный журналист и министр информации при сепаратистском режиме Дудаева в ходе недавней войны стал гроссмейстером чеченской пропаганды «на зарубеж». Его эффективность была угрюмо признана даже влиятельным российским генералом, заявившим, что один Удугов стоит танкового полка. Призыв к исламскому порядку был хорошим примером его эффективности как пропагандиста: эти навевающие воспоминания два слова увязывали чеченскую мечту о более защищенной, нормальной послевоенной жизни с коллективной самоидентификацией, ярко проявившейся в ходе сопротивления неверным «федералам». Удугов утверждал, что лишь исламское правление могло принести порядок в Чечню, народ которой слишком анархичен, чтобы подчиняться кому-

либо кроме Бога. Это было самым самым продуманным и ярким выражением исламистского проекта в межвоенной Чечне. Тем не менее, нескольким иностранцам удалось заметить удивительно большое число чеченцев, с нескрываемым пренебрежением относившихся к Удугову[26]. В образованных кругах его называли неофашистом или «нашим Геббельсиком», а среди простого народа можно было часто услышать, что Удугов просто «нехороший человек».

Объяснение отчасти может быть найдено в социальной травме его юности. Столь важное в глубоко патриархальной Чечне семейное происхождение Удугова окутано некоей неловкой тайной, намекающей на незаконнорожденность. Юный Удугов, судя по рассказам знавших его в ту пору людей, остро страдал от того, что был лишен доли социального капитала своей семьи и в жизни мог полагаться лишь на самого себя. Однако в отличие от сентиментальных романов, в реальной жизни сиротская доля не обязательно означает вынужденную скромность, сострадательность или становление сильного характера через лишения и страдания. Бывшие однокурсники Удугова вспоминали, что он слыл гордым и замкнутым одиночкой, никогда не пил и не встречался с девушками. Взамен, юный Мовлади был страстным спорщиком и мог ночи напролет вести дискуссии на разнообразные интеллектуальные темы – от философии до современных фильмов и диссидентства. На его книжной полке почетное место занимали биографии Цезаря, Наполеона и Черчилля. С приходом горбачевской перестройки Удугов стал писать на русском статьи для «неформальной» прессы на стандартные радикальные темы того времени: борьба с бюрократизмом, демократизация, идеалы подлинного социализма, экологии, сохранения национальной культуры.

Позднее, в девяностых, когда Удугов стал щедро спонсируемым исламистским идеологом и ведущим провокационно знаменитого сайта www.kavkaz.org, он все еще продолжал писать на тяжеловесном провинциальном русском языке, носившем узнаваемый отпечаток советского пропагандизма и тяготевшем к помпезности. Многослойность различных влияний на этого несомненно талантливого самоучку выражалось в зачастую едва не пародийном смешении в одном абзаце цитат из Грамши (кумира неомарксистов семидесятых-восьмидесятых) о гегемонии, из позднеперестроечного кумира Фон Хайека о свободе, затем из ознаменовавших начало девяностых «столкновения цивилизаций» Хантингтона, и все эти интеллектуальные вехи конца XX столетия венчала более или менее приличествующая цитата из Корана.

Восстановление порядка в послевоенной Чечне было мечтой всех и каждого, однако все больше людей на разоренной войной земле начинали верить в то, что процесс возвращения к общественному порядку требует чего-то значительно большего, чем чем в состоянии обеспечить обычное государство – быть может, возвращения к суровой традиционной вере предков. Постоянно приходи-

[26] Этот факт не избежал внимания наблюдательных Карлотты Голл и Томаса де Вааля. См. стр 36 в их *Chechnya: Calamity in the Caucasus,* New York: NYU Press, 1998.

лось слышать, что чеченцы с оружием в руках не станут слушаться никакого начальника и даже старейшину. Только Бога.

И, тем не менее, искусно прикрепленное к лозунгу Исламского порядка имя Удугова почти повсеместно встречало скептический прием. В ходе предвыборной кампании 1997 г. Басаев, не скрываясь, отпустил шутку о том, как должно быть мило Удугов и его две жены выпили на троих шампанского в новогоднюю ночь. Самому Басаеву не было надобности изображать набожного человека или воина – он и без того вырос в легендарном горном селе Ведено с его крепкими традиционными устоями и куда более всякого другого чеченца отличился в ходе недавней войны. В то время личной стратегией Басаева было создание неожиданно более мирного и европеизированного образа в надежде быть принятым в качестве нормального политика собственными согражданами и, особенно, на международной арене. Однако Удугов, который провел всю войну в интервью и беседах с журналистами, слишком ясно понимал, чего заграница ждет от чеченцев. Для не пользовавшегося популярностью у себя на родине политика единственной надеждой оставалась поддержка из-за рубежа, в основном, с Ближнего Востока. В конце того же 1997 г. разгневанный Басаев оставил политику национального восстановления и вернулся к партизанскому образу жизни. Все это оправдывалось нормами радикальной исламистской идеологии и поддерживалось ближневосточными советниками и спонсорами. Пропагандистские навыки Удугова и здесь подтвердили свою незаменимость.

Изувеченная карьера

Время от времени по площади прокатывались волны оживления, обычно вызываемые раздачей быстро заканчивавшихся агитлистовок, либо группами активистов, которые начинали скандировать лозунги, или, за отсутствием более реальных поводов к поддержанию внимания аудитории, хотя бы слухами о скором прибытии какого-то знаменитого полевого командира, возможно даже самих фаворитов в президентской гонке Аслана Масхадова или Шамиля Басаева, или же впечатляющего оратора и фотогеничного Ахмеда Закаева (при советской власти бывшего актером в грозненском драмтеатре). Однако вместо них появился скандальный «ультра» Салман Радуев.

Enfant terrible чеченского сопротивления был наряжен в причудливую форму, украшенную блестящими пуговицами с эмблемами – по его словам – самого Чингисхана, носил напоминавший головной убор Саддама Хусейна черный берет, арабский мужской платок куфию в шашечках вокруг шеи и закрывавшие большую часть изуродованного пулей лица огромные темные очки. Ходили слухи, что после этого ранения в голову Радуев тронулся умом, или, по крайней мере, пристрастился к болеутоляющим; впрочем, многим другим его действия и до ранения также казались не вполне рациональными. Прошлое Радуева требует определенных усилий по раскрытию сложных переплетенных структур за

фасадом современного образа непримиримого националиста и самопровозглашенного террориста.

Родившийся в 1967 г. Радуев в начале карьерного пути был перспективным комсомольским кадром[27]. При подготовке диссертации по экономике он в течение года стажировался в братской Болгарии, где изучал опыт внутреннего ценового стимулирования с целью повышения производительности труда в агропромышленных комплексах. Подобный путь предполагал дальнейшее продвижение технократической карьеры в системе советского планового управления (конечно, если бы эта структура продолжила свое существование), или будущее руководителя в новом частном секторе или даже в международном бизнесе. Однако с распадом СССР события приняли совершенно иной оборот, и после 1991 г. Чечня стала мятежной территорией.

Когда в декабре 1994 г. президент Ельцин направил войска на «восстановление конституционного порядка», Радуев воспользовался своим статусом образованного человека, задатками руководителя и, как считается, также семейными связями, чтобы выдвинуться в командиры среднего уровня в чеченском вооруженном сопротивлении. Спустя год, в течение которого Радуев ничем особенно не отличился, он вызвался возглавить дерзкий рейд на территорию соседнего Дагестана. Целью было уничтожить на земле эскадрилью российских боевых вертолетов, сильно досаждавших чеченским боевикам, которые не имели достаточных средств для борьбы с авиацией. Акция потерпела неудачу, и застигнутый на рассвете в предместье дагестанского городка отряд Радуева забаррикадировался в местной больнице, взяв в заложники медицинский персонал и больных, не придумав ничего лучшего, чем повторить прием басаевского рейда в Буденновске шестью месяцами ранее. На сей раз Кремль твердо настаивал на уничтожении террористов, однако вновь потерпел неудачу из-за все той же несогласованности в действиях российских силовых структур. Каким-то странным чудом Радуеву удалось вывести сквозь кольцо всевозможных спецподразделений не только ядро отряда, но и несколько заложников – и вырваться обратно в Чечню[28].

В шумихе разразившегося скандала, потока взаимных обвинений и череды отставок российских генералов от большинства обозревателей ускользнуло коренное изменение отношения дагестанцев к своим чеченским соседям. Сочувствие страданиям своих кавказских собратьев сменилось глубокой ненавистью к Радуеву и боевикам вообще. Как сказал бы Талейран, случилось хуже, чем преступление – это была ошибка. Впрочем, как человек достаточно циничный и самовлюбленный, Радуев мог и не осознавать глубины нанесенного соседям оскорбления, как и масштаба последствий для чеченского сопротивления. Вызванный публичным и вопиющим нарушением кодекса добрососедства гнев объединил различные этнические группы Дагестана вокруг отрицания «чечен-

[27] Тимур Музаев, *Чеченский кризис-99,* Москва, «Панорама», 1999.

[28] Печально известная акция и ее политические последствия в подробностях описаны в работе Carlotta Gall and Thomas de Waal, *Chechnya: Calamity in the Caucasus,* New York: NYU Press, 1998.

ского пути» и затем выразился в неправдоподобном для стороннего наблюдателя росте местной поддержки попрежнему неэффективной и по большому счету безразличной к проблемам региона росийской государственной машины. Именно это позволяет понять причину неожиданно упорного сопротивления дагестанцев в августе 1999 г. самовольному «Походу исламского освобождения», предпринятому личной армией Басаева совместно с некоторыми дагестанскими исламистами и религиозными интернационалистами с Ближнего Востока[29].

Чувства неприятия и отторжения вновь оживили унаследованные из прошлого скрытые напряжения, по нескольким линиям разломов разделяющие чеченцев и их дагестанских соседей. Они включали: демографическую экспансию чеченцев, на протяжении нескольких десятилетий лидировавших по уровню рождаемости в регионе; шаткое разделение власти на олимпе дагестанской многонациональной политической элиты и соответствующее распределение ресурсов вроде земельных наделов, торговых льгот, правительственных синекур на различных ступенях властной пирамиды. Немаловажным было также наметившееся в среде появившихся в ходе войны чеченских полевых командиров стремление силой монополизировать и «крышевать» прибыльный оборот контрабанды, шедшей через Дагестан[30]. Вызванные роковым рейдом Радуева эмоции сосредоточили общественное внимание именно на этих факторах, которые и изменили господствующие настроения в различных секторах дагестанского общества. Однако эти изменения до поры оставались незамеченными многими экспертами, которые пространно обсуждали оттенки исламской идентичности или достоинства замысловатой модели «консоциативной демократии», которая предположительно спасла многонациональный Дагестан от участи Чечни.

Личная трансформация Салмана Радуева из восходящего комсомольского технократа в отпетого террориста, вероятно, не так и удивительна. В пределах этих крайностей социального статуса мы видим, однако, работу социальных механизмов, которые Бурдье называл габитус – т. е. набор устойчивых поведенческих черт, присущих определенным классам и группам общества[31]. Как гласит американская пословица, «ставший проповедником навсегда проповедником останется» (Once a priest, always a priest). Габитус пред-рационально выстраивает наши отношение и поведение; именно благодаря автоматичности габитуса отпадает необходимость в длительном обдумывании и рациональной оценке издержек/выгод той или иной поведенческой стратегии, так как реакция возникает почти «спонтанно-естественным» путем. В советский отрезок своей жизни Радуев был, если грубо называть вещи своими именами, типичным начинающим карьеристом – каким он и остался во время войны. Как и многие новички в бизнесе, политике или бюрократии, он являл собой смесь амбиций и

[29] Подробнее см. Georgi Derluguian, «Che Guevaras in Turbans», *New Left Review*, I/237 (September-October 1999).

[30] Галина Хизриева щедро поделилась своими общирными познаниями в этой области.

[31] Здесь я в основном следую обсуждению проблемы у Pierre Bourdieu and Loïc Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*, Chicago: University of Chicago Press, 1992.

нетерпения – откуда и широко известная свойственная начинающим биржевым маклерам тяга к азартной рыночной игре с высокими ставками. На габитусе таких карьеристов большими буквами впечатано их кредо: «Победителя не судят». В подобных случаях бесстрашие является проявлением неопытности в оценке рисков, а также присущего новичкам соблазна предполагать, что безрассудный риск позволит им сорвать большой куш. Однако Радуев на поверку не был ни смертником, ни фанатиком, и вместо славы удачливого воина приобрел печальную известность циничного террориста, берущего гражданских заложников ради собственного спасения из ловушки[32]. Словом, Радуев разбрасывался человеческими жизнями так же бездумно, как и беспощадные сталинские комиссары, ради рапорта обрекавшие на страшный голод крестьян в период коллективизации или посылавшие красноармейцев в атаку через минные поля.

Исламское выступление

На грозненской площади, где я в первый и последний раз воочию наблюдал Радуева, люди голосовали ногами, постепенно отходя от грузовика, с платформы которого тот выкрикивал в мегафон свою фирменную околесицу о духе Чингисхана и о море крови, заверял народ, что Джохар Дудаев жив и объявится в нужный момент, отдавал приказы каким-то легионам смертников и призывал к перманентной войне.

Вскоре на противоположном краю площади начался митинг иного рода, куда и перетекла толпа. Разбитый автобус с патриотическими лозунгами, выведенными попросту тряпкой или пальцем на забрызганных густой грязью бортах, доставил на площадь шумную группу сельчан. Старцы в традиционных папахах, овчинных тулупах и высоких сапогах (у некоторых также висели на поясе кавказские кинжалы) попытались разжечь окружающих на скандирование «Аллах-у акбар!» (Бог велик). Этот клич в то время стал аналогом и противовесом русскому «Ура!». Разогревшись подобным образом, мужчины и женщины в одинаковых национальных костюмах (вероятно, позаимствованных из сценических гардеробов сельских дворцов культуры советских времен) встали в два отдельных круга (мужской оказался больше, но женский – ровнее) и начали танец. Исполняли они не искрометную лезгинку, которая стала известной всему миру благодаря гастролям кавказских и казачьих фольклорных ансамблей. Это был зикр – энергичное притопывание и хлопание в ладоши ставшими в круг исполнителями – центральный элемент в молельном ритуале мистиче-

[32] В 2000 г., вскоре после начала второй чеченской войны, Салман Радуев был взят российскими войсками в плен, судим и приговорен к пожизненному заключению. Приговор был опротестован такими деятелями как Солженицын, скандально потребовавшими публичной казни террориста, однако Россия подтвердила свою приверженность взятым перед Советом Европы обязательствам по отмене смертной казни. Радуев умер в тюрьме в 2002 г. – по официальной версии, от вызванного старыми ранами внутреннего кровотечения и общего ослабления организма после поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Однако, по распространенным слухам, на самом деле кровотечение было вызвано побоями. Согласно новому российскому закону, тело бывшего террориста не подлежало выдаче родственникам.

ского суфийского движения Кадырийя. Необходимо отметить, что сельчане прекрасно осознавали свою телегеничность и держались поближе к камерам. Журналисты также оживились и стали снимать зикристов, которые, в свою очередь, стали еще более энергично выкрикивать патриотические и религиозные лозунги и притопывать с большей силой, приглашая в круг молодежь. Некоторые из зрителей присоединились к ритуалу.

Стоявший рядом с нами среди зрителей обыкновенно одетый чеченец средних лет признал во мне неместного и с горечью прокомментировал: «А ведь это был вполне культурный современный город… Но нас захлестнула деревня, и теперь иностранцы приезжают сюда как будто в зоопарк. Все это начал Дудаев. До него даже в селах зикр никогда не исполнялся на площадях, а только дома или где-то подальше от чужих глаз». Многие ведущие участники чеченской революции 1991 г. позднее подтвердили мне, что зикр стал исполняться на митингах лишь после возвращения в Чечню генерала Дудаева, ранее, напомню, командовавшего авиабазой в Эстонии. Судя по всему, именно под впечатлением массового хорового исполнения народных песен, которое служило мощным средством эмоциональной мобилизации на прибалтийских митингах, Дудаеву и пришла в голову мысль аналогичного использования на своей революционной родине духовной энергетики кадырийского громкого зикра.

На поиски университета

Наши наблюдения вдруг были прерваны группой решительно приблизившихся к нам через толпу чеченских боевиков – строгого вида, хорошо вооруженных и в разномастной, однако идеально отутюженной полевой форме. Ярко выраженный блондин Кузнецов инстинктивно втянул голову в плечи, да и я сам, признаться, на мгновение почувствовал ватность в ногах: «Вот и дождались..» Небольшого роста, но совершенно нешуточного вида и командирской авторитетной повадки чеченец сходу потребовал ответа, не журналисты ли мы? Наш шофер дядя Мухарбек быстро стал говорить ему что-то на вайнахском, от чего молодой чеченский командир, не спускавший взгляда с наших лиц, лишь отмахнулся пренебрежительно. Видимо, стариков он если и уважал, то не всегда, тем более таксиста из ингушей. Надо было срочно спасать ситуацию. Насколько возможно спокойным голосом я отрекомендовался социологом. Боевик явно озадачился таким ответом. Развивая успех, я пояснил, что мы ученые и, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы, еще более озадачил чеченца встречным вопросом, есть ли в Грозном университет? Командир обменялся несколькими отрывистыми словами на чеченском со своими людьми и затем неожиданно предложил проводить нас туда. Позднее я сообразил, что это была охрана митинга или новые чеченские полицейские, выставленные Масхадовым. В тот же момент непрошенная любезность вооруженных боевиков выглядела неприятно подозрительной – Чечню уже охватила эпидемия похищений. Но де-

ваться было некуда. Присутствие двух вооруженных проводников в машине наполнило салон ароматами свежей оружейной смазки и хорошего одеколона. Они очень старались произвести впечатление дисциплинированных военнослужащих.

Ехали мы в напряженной тишине. Заметив среди руин по дороге новенький безвкусный особняк красного кирпича с долженствующими означать шик нелепыми колоннами и огромным флагом Ичкерии на переднем балконе, я нервно пошутил, не местный ли это эквивалент райкома партии? Старший из боевиков бесстрастно ответил: «Нет, это просто дом богатого бизнесмена, который теперь пытается показать, что тоже участвовал в нашей борьбе». Помолчав задумчиво, он неожиданно добавил: «У вас в России есть же свои богатые люди, и у нас есть свои. Вот ваши и наши богачи и устроили эту войну, чтобы отмывать свои деньги». Боевик замолчал, так и не развив свой вариант классового анализа.

После почти часа неизбежно медленных блужданий по испещренным воронками и засыпанным обломками улицам, мы нашли развороченное здание, некогда бывшее университетом. До развала СССР в Грозном было свыше полумиллиона жителей; город был одним из основных центров высшего образования Северокавказского региона, где существовали различные институты, включая, конечно, нефтяной и университет полного профиля. Несмотря на сталинские репрессии и депортацию чеченцев и ингушей в 1944-1957 гг., у этих народов сложился довольно внушительный слой национальной интеллигенции. После возвращения из ссылки чеченские и ингушские образованные кадры повели борьбу за места, статус и соответствующие привилегии с прочно «окопавшимися» за время их вынужденного отсутствия в Грозном русскими профессорами (многие из которых оказались на Кавказе в период эвакуации или послевоенного восстановления). Затяжные позиционные интриги в научно-культурной среде во многом и породили ведущее течение местного национализма, осторожно направляемого, однако, интеллигенцией из коренных горских народов в легитимно советское русло. Это выражалось преимущественно в подаче жалоб и предложений в ЦК КПСС и другие высшие органы советской власти, хотя порою доходило до драк и даже вполне организованных демонстраций протеста на площадях Грозного. Дискурсивно жалобы следовали официальной риторике и не более как указывали на «многочисленные факты» нарушения в Чечено-Ингушской АССР «ленинских норм национальной политики». В самом деле, нормы выдвижения нацкадров нарушались. В то время, как в других республиках и автономиях СССР представители титульных национальностей были скорее перепредставлены на руководящих должностях и в учреждениях официальной культуры, вплоть до самого конца 1980-х гг. первыми секретарями Чечено-Ингушетии назначались только русские, среди директоров заводов, редакторов газет и телевидения, главврачей больниц, университетских деканов, ректоров и проректоров насчитывалось всего несколько чеченцев и почти не было

ингушей. Такое положение дел объяснялось не столько политикой Москвы, сколько сплоченной силой местных советских элит Грозного, сложившихся в период высылки чеченцев и ингушей. Они убеждали центр, что в автономной республике ситуация оставалась слишком сложной, что нацкадры следовало «подбирать разборчиво» и выдвигать лишь очень осторожно в связи с сомнительным прошлым чеченцев и ингушей и их отношением к советской власти. Хотя теперь лишь в закрытых справках и докладных, по-прежнему приводились предупреждения о «фактах политического бандитизма» и «сотрудничества с немецко-фашистскими оккупантами». Так на местном уровне по собственным причинам сохраняли демонологию времен сталинских репрессий. Московские чиновники предпочитали не слишком активно вмешиваться в эти местные дела, которые грозили им одними неприятностями, отчего долгое время в республике сохранялась хронически напряженная, но с виду стабильная ситуация.

Даже импульсы горбачевской перестройки долгое время не проникали в Чечено-Ингушетию, где все выглядело вполне «застойно» до 1989 г. Местная интеллигенция, конечно, помня сталинские репрессии и унизительные проработки брежневских времен, лишь начинала осторожно осваивать либерально-демократическую риторику и новые политические средства борьбы, когда их умеренная программа оказалась сметена куда более радикальным и более простонародным потоком популистского национализма дудаевской революции 1991 г. Часть интеллигенции в союзе с отстраненными от власти горбачевскими технократами и бывшими номенклатурными начальниками участвовала в 1992-93 гг. в создании эфемерных эмигрантских групп в Москве и грозненских выступлениях против режима Дудаева, которые были подавлены силой оружия. После этого чеченская интеллигенция практически исчезает как самостоятельная элитная группа. Российская и западная пресса нигде даже не намекала на то, что во время и после войны 1994-1996 гг. в Чечне все еще существовала университетская жизнь. Однако это было фактом.

Мы, наконец, разыскали университет приютившимся в маленьком двухэтажном здании посреди пятиэтажек, выглядевшем в окружении песочниц и уцелевших деревьев как типичный детский садик советских времен (что и подтвердилось позднее). Боевик-проводник вышел из машины, внимательно и даже с некоторым почтительным любопытством посмотрел на меня и неожиданно спросил: «Вы, наверное, приехали помочь Республике?». Я мог только неловко пожать плечами: «По крайней мере, постараемся, чтобы в мире узнали, что у вас есть университет, и что ему явно нужна помощь». Чеченский командир неожиданно взял под козырек и произнес торжественно: «Мы вас за это благодарим». Они четко, по-военному повернулись кругом и зашагали через развалины к площади Свободы, очевидно на свой пост. Теперь, когда я пишу эти строки, из памяти не идут слова, которыми открывается сборник репортажей рос-

сийской журналистки Анны Политковской: «Большинство людей, упоминаемых в этой книге, уже убиты»[33].

В голом нетопленном кабинете с разбитым окном вокруг старого обшарпанного стола сидели интеллигентного вида мужчины, одетые в пальто и добротные дубленки, указывавшие на былое благосостояние. Это оказался деканат исторического факультета. Узнав, кто мы такие, один из преподавателей-чеченцев весело провозгласил: «Коллеги робинзоны, поздравляю, нас нашли! И кто?! Конечно, эти пронырливые армяне!» Трогательность этой встречи трудно отразить в социологической монографии. Потоком полились рассказы о том, что им довелось пережить за эти годы. Сгорела библиотека, из которой сохранились только труды Л.И. Брежнева – дорогая лощеная бумага не поддалась огню. Один из археологов эмоционально поведал о том, как в передышках между обстрелами («К ним, в конце концов, привыкаешь, как к непогоде. Выглянешь из подвала, посмотришь на небо – вроде ничего – и вылезаешь наружу…») он с маниакальным упорством ходил раскапывать руины бывшего музея, спасая экспонаты, как чуть не поплатился жизнью, стыдя отвязного солдата, натянувшего, смеха ради, средневековую кольчугу. Устыженный собственным бессилием помочь в такой беде, я выложил из сумки все деньги, медикаменты, блокноты и авторучки – все, что было при себе. Со вздохом, дар был принят: «Вы приезжайте в лучшие времена, примем достойно, по-кавказски. В горы поедем, к нашим средневековым крепостным башням. Бардак этот ведь должен когда-то кончиться… Мы скинулись с последней зарплаты, которую дали полгода назад, когда выходили российские войска и администрация, и отправили двух лучших аспирантов в Москву, чтоб сохранилась какая-то чеченская наука, если нас самих тут прикончат. Больше зарплат не было. Пока родня из сел помогает – кто мешок картошки подкинет, кто засоленной черемши».

Как ни странно, в университете шли занятия. Преподаватели недоумевали, зачем студенты вообще приходят? Учебников нет, за отстутсвием мебели и из-за холода многим приходится стоять во время лекций. Кругом непролазная грязь и развалины, нашпигованные минами и неразорвавшимися боеприпасами. Да и какой теперь смысл в профессии историка или химика? Но очевидно остатки городских средних слоев вопреки всему пытались сохранять нормальность существования. Детям при всякой возможности давали современное образование советского образца. В новооткрытом Исламском университете учились почти исключительно сельские парни, которые в былые времена едва ли смогли бы куда-нибудь поступить. «Хотя какие у них там преподавательские кадры? Даже Коран не все могут прочесть по-арабски, что говорить про нормальные нерелигиозные дисциплины?» Подобные скептичные замечания насчет попыток воссоздания исламской системы образования мы уже не раз слышали от разных людей.

[33] Anna Politkovskaya, *A Small Corner of the Hell,* Chicago: Univesity of Chicago Press, 2003.

Декан с усмешкой рассказал, как недавно его пригласил к себе Аслан Масхадов. Будущий президент попросил декана организовать при университете подготовительный факультет, вроде прежнего рабфака, для бывших боевиков чеченского сопротивления: «Надо же их как-то теперь переучивать для мирной жизни, давать профессии». На прямой вопрос декана, дадут ли какие-то средства на организацию такого «бойфака» и стипендии для студентов, Масхадов лишь горько усмехнулся: «Сам знаешь, средств нет. Зато могу тебя произвести в бригадные генералы Ичкерии, чтобы студенческий спецконтингент больше уважал».

«Эх, – вздохнул декан: У нас тут не осталось ни поездов, ни банков, ни магазинов. Что нашим бандитам теперь грабить? Вот и стали воровать людей». И вдруг декан озорно подмигнул: «А что, ребята, украдем и мы американского профессора? Может, дадут за него денег на родной университет?».

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

От Грозного до столицы Кабардино-Балкарии Нальчика всего каких-то сто километров по прямой. И, тем не менее, это оказался совершенно иной мир – без политизированной главной площади, разбомбленных улиц и ютящегося в детском саду университета. В противоположность Грозному, Нальчик образца 1997 г. оставался уютным провинциальным городом с размеренной жизнью, где ничто не выдавало того факта, что в 1991-1992 гг. Кабардино-Балкария пережила собственную фазу революционной ситуации, почти идентичную тогдашней обстановке в Чечне. Обе революции вышли из одного потока протестной политики в период развала СССР. Чеченское и кабардинское национальные движения имели схожие программы, идеологии и руководящие группы, и до критической точки их развитие шло одним путем. Но затем дороги разошлись.

Революция в Чечне одержала в октябре 1991 г. победу, после которой продолжала радикализироваться в послереволюционной борьбе за власть и череде попыток переворота в 1992 и 1993 гг., наивысшей точкой которых стала эпизодическая гражданская война лета и осени 1994 г.. Эти события повлекли за собой массовую миграцию, в результате которой Чечня лишилась большей части прежде многочисленного и образованного городского населения – то есть основы либеральной и умеренно национальной оппозиции режиму генерала Дудаева. Первое вторжение российских войск в 1994-1996 гг. привело к чудовищным разрушениям и почти начисто стерло остатки городской культуры. Реакцией чеченцев на вторжение стало вооруженное сопротивление, основу которого составила молодежь из обширных городских окраин и социально консервативных горных районов. Идеалом героя и вождя для них был Шамиль Басаев.

В Кабардино-Балкарии также были подобные Басаеву люди, и я встречался с несколькими из них. Однако их уделом оставалась относительная безвестность, поскольку революция в их маленькой стране потерпела неудачу, а война так и не состоялась. Кабардино-Балкария осталась лояльной частью Российской Федерации, одной из автономных национальных республик. Одним из показателей присутствия государственной власти в Кабардино-Балкарии является способность вести учет населения и площади ее территории. Подобная практика может показаться само собой разумеющейся для современной страны, однако ни одно чеченское правительство за прошедшее десятилетие так и не смогло достичь чего-либо подобного. Не существует сколь-нибудь достоверных данных ни о населении Чечни, ни о ее точной территории после стихийного раздела с Ингушетией.

В Кабардино-Балкарской республике на тот момент насчитывалось 786 тыс. жителей, из которых кабардинцев – 488 тыс., балкарцев – 90 тыс., а остальные относились преимущественно к так называемым «русскоговорящим». Население КБР крайне неравномерно расселено на площади в 12 тыс. квадратных километров, включающей величественные, но почти незаселенные горы, плодородные холмы и долины, а также собственно Нальчик. По официальным данным, в столице прописано 252 тыс. жителей, однако следует учесть значительное количество неучтенных мигрантов и население слившихся с городом и фактически ставших его окраинами больших деревень[34].

Государственный порядок

Одним из наглядных признаков сохранения государственной власти в Кабардино-Балкарии можно считать повсеместное присутствие милиционеров, зачастую тяжеловооруженных. На подъезде к Нальчику наш водитель-адыгеец был остановлен за превышение скорости. Он выскочил из машины и на родном языке вступил в доверительный разговор с инспектором ГАИ (кабардинский и адыгейский языки находятся в относительно близком родстве, и принадлежат к адыго-абхазской или, иначе, к черкесской языковой группе). Однако вскоре энтузиазм нашего водителя сменился унынием: он был вынужден уплатить штраф и даже получил квитанцию, что является редко соблюдаемой формальностью. Сев за руль, водитель пробурчал: «Вот же чертов службист. Явно не из наших, не черкес. Наверное, из этих балкарцев».

Балкарский язык принадлежит к кипчакской группе тюркской языковой семьи. Остается загадкой, как язык средневековых степняков-половцев оказался в высокогорье, где на нем ныне говорят люди, совершенно непохожие на монголоидных гуннов и притом физическим обликом едва отличимые от своих соседей кабардинцев, чеченцев, либо грузинских горцев-хевсуров с другой стороны

[34] И.Г. Косиков и Л.С. Косикова, *Северный Кавказ: социально-экономический справочник*, Москва: Эксклюзив-Пресс, 1999, стр. 115-117.

горного хребта. В случае с гаишником мы стали свидетелями бюрократического формализма, шедшего вразрез с предполагаемой нашим водителем нормой этнической солидарности. В этом бытовом микро-эпизоде подметим зернышко межгрупповой конфликтности – постовой балкарец отказался признать своего в лихаче-адыге и применил законную санкцию. Впрочем, штраф оказался небольшим, и наш водитель, тут же за поворотом прибавивший газу, вскоре, казалось, позабыл об этом досадном случае. Однако отчуждение при ином раскладе могло и прорасти на почве политического противостояния, добавив свою долю эмоционального горючего в разгорающийся межэтнический конфликт.

Другим показателем стабильности Нальчика была чистота окаймленных аккуратно подстриженными кустами и деревьями центральных улиц и площадей. Типично сталинские здания псевдоклассического стиля благодаря своим сравнительно небольшим, провинциальным размерам не выглядели столь давящими как аналогичные имперские махины в столицах других республик Советского союза. В спальных районах высились неизбежные социальные многоэтажки, а окраины были трудноотличимы от деревень с довольно беспорядочными рядами одно- и двухэтажных домов, выстроенных как из престижного кирпича, так и более дешевых пемзоблоков, или даже из традиционного самана, неизменно скрывавшимися за железными воротами, высокими оградами и фруктовыми деревьями. Трехсоставная модель городской архитектуры почти полностью совпадала с ареалами социальных слоев общества: правящая бюрократия заседала в просторных сталинских зданиях, специалисты и кадровый пролетариат жили в хрущевках и панельных многоэтажках 1960-70-х гг., а население полусельских окраин состояло из людей, уже ушедших из деревни, но пока так и не ставших горожанами.

Лишь неподалеку от въезда в центральную часть Нальчика высилось одно-единственное новенькое здание из стекла и бетона. Несмотря на современные стройматериалы, оно имело совершенно несоветский вид и выбивалось из остальной архитектуры города. Это оказалась новая мечеть, построенная на деньги относительно молодого уроженца республики, сделавшегося крупным бизнесменом в Москве. Мечеть, как нам пояснили, была совершенно официальной – бывшие коммунистические власти республики договорились с доверенным бизнесменом о постройке культового объекта, скорее всего по собственному пониманию требований времени (на манер «Лужков в Москве вон какие церкви строит»). Мечеть казалась купленной и перевезенной прямо из Эмиратов. Остальные мечети в селах и пригородах Нальчика были много дешевле и нередко располагались в каких-то переделанных старых советских сооружениях. Впрочем, и в эту евроремонтную новостройку, как выяснилось, превратился изменившийся до неузнаваемости кинотеатр «Ударник». Новая показательная мечеть Нальчика выглядела совершенно чистой и довольно пустынной.

Наиболее красноречивым показателем характера правящего режима было полное отсутствие альтернативной местному официозу прессы. Вскоре после местных президентских выборов 1997 г. газеты Кабардино-Балкарии, совершенно в традициях советской эпохи, печатали сплошным потоком поздравления от трудовых коллективов, студентов, известных ученых и художников (несколько неожиданно, включая прежде диссидентского скульптора Шемякина из Нью-Йорка, оказавшегося по отцу кабардинцем), а также целых сел, отделов милиции, и, наконец, телеграмму за подписью просто «кабардинских матерей». Эти ритуальные послания адресовались президенту (а ранее председателю Верховного Совета) Кабардино-Балкарии Валерию Кокову по случаю его триумфального переизбрания с 98% голосов избирателей. В постсоветской действительности эта цифра выглядела довольно сомнительным рекордом, однако даже разрозненные оппоненты Кокова нехотя признавали, что действующий президент действительно одержал победу. После всеобщего подъема, великих надежд и страхов революционной ситуации, которую Кабардино-Балкария пережила в 1991-1992 гг., народ, перед лицом надвигавшейся катастрофы, подобной тем, что постигли соседние Чечню и Абхазию, впал в разочарование и конформистскую апатию.

Как и многие российские правители регионов 1990-х, Коков создал обширную сеть патерналистской зависимости, все нити которой вели в его администрацию и лично к Хозяину республики. Этого оказалось достаточно, чтобы восстановить иерархию власти и поддерживать поверхностный порядок, но едва ли достаточно для поддержания стареющей промышленности республики. Реалистично рассуждая, из-за нехватки серьезных инвестиционных программ и капиталов заведомо нельзя было ожидать ее давно назревшей реструктуризации. Поэтому большинство людей пыталось просто выжить в новой действительности. На балконах многоэтажек разводили цыплят, а в дальнем углу городского парка отдыха мы заметили пасущихся коров. В общем, возврат к нормальной жизни по рецепту Кокова означал всего лишь урезанное подобие брежневской эпохи.

Политическая оппозиция в Кабардино-Балкарии была явно разобщена и подавлена. Пар ее негодования продолжающимся правлением Кокова выпускался посредством разговоров в интеллектуальных кругах и единичных акций, приписываемых «горячим головам среди молодежи». В ночь перед нашим приездом в Нальчик в подвальное окно правительственного здания была кем-то брошена граната. Нам также рассказали о взрывчатке, по слухам и завуалированным осуждающим указаниям в официальной прессе, обнаруженной в центре города у подножия статуи средневековой кабардинской княжне Гошаней. В 1557 году для заключения династического брака с Иваном Грозным она была крещена и получила имя Мария. Четыреста лет спустя, в 1957 г., советская пропаганда провозгласила этот исторический эпизод моментом «зарождением вечных уз между Россией и Северным Кавказом»; соответственно недолго прожив-

шая русская царица черкешенка Мария стала «матерью дружбы народов»[35]. Статуя Гошаней-Марии стала периодической мишенью регулярного вандализма местных националистов; городские же власти с не меньшей настойчивостью очищали и ремонтировали ее (а по широко распространенным слухам, даже тайно заменяли поврежденный памятник). После устрашающей вспышки протестов в 1991-1992 гг. национально-освободительная политика в Кабардино-Балкарии свелась к символическому хулиганству.

Черкесская церемонность

Наши коллеги из Кабардино-Балкарского университета, узнав, что мы с Игорем Кузнецовым занимались сбором данных о национальных движениях, радушно предложили свести нас с недавно еще знаменитым местным оппозиционером Мусой Шанибовым, президентом Конфедерации горских народов Кавказа (в начале девяностых это наднациональное движение всерьез всколыхнуло регион). Пока мы ожидали прибытия Шанибова, в полном соответствии с канонами горского гостеприимства преподавательская комната была обращена в зал для импровизированного пиршества.

Этническая культура Кабарды носит четкий отпечаток аристократического прошлого. Со времени распада Золотой Орды в 1390-е гг. и до покорения этих земель Российской империей в начале XIX в., почти четыре столетия кабардинцы являлись элитным черкесским племенем (вернее, по Майклу Манну, «нацией-классом»[36]) рыцарской элиты, обеспечивавшим защиту и контроль над прочими горскими народами центрального сектора Северного Кавказа. За это кабардинские всадники взимали дань с горских общинников, в будущем известных под названиями карачаевцев, абазин, балкарцев, осетин, ингушей, чеченцев. Несмотря на все признаки всепроникающей советизации, гостям на Кавказе оказывается поистине королевский прием, чарующий и одновременно ставящий в неловкое положение своим несколько преувеличенным размахом; и трудно не заметить, что сами хозяева ведут себя с наредкость изысканной церемониальностью и благородством манер. В принципе, не столь уж многие из современных нам кабардинцев являются потомками княжеских родов. Скорее, после уничтожения большевиками исторического дворянства и кардинального преобразования общества в советский период, элементы старого аристократического этикета были восприняты и продолжены бывшим простонародьем. В

[35] Комичность этого перла пропаганды не избежала внимания современников, в популярном анекдоте предложивших посмертно вручить звезду Героя Социалистического Труда отцу Гошаней князю Темрюку за исключительную историческую прозорливость, выразившуюся в весьма заблаговременном присоединении к будущей Родине мирового социализма.

[36] Неовеберианец Майкл Манн в своем анализе феодальной Англии показывает, что дворянский класс с его церемониалом, легендами и социальной солидарностью взаимопризнания, собственно, и стал где-то в ходе Столетней войны и Реформации английской нацией. Однако нижние социальные группы, в особенности крестьяне, войдут в эту английскую нацию и приобретут ее самосознание лишь спустя столетия, с наступлением индустриальной современности и необходимости политически интегрировать нарождающиеся городскую буржуазию и пролетариат. Michael Mann, *The Sources of Social Power*. Vol. I. Cambridge University Press, 1986.

советских условиях этикетные практики задействовались для обживания, облагораживания и ритуализованного (по Эрвину Гоффману) структурирования своей новой жизни в городской среде, для поддержания расширенных сетей дружеских и соседских отношений, патронажа и полезных знакомств. Не в последнюю очередь национальные этикетные практики наделяли поднимающегося по социальной лестнице человека культурными навыками для осуществления новых ролей в современном индустриальном, урбанистическом и бюрократическом социальном ландшафте. Привлечение старинного этикета стало одним из способов, благодаря которым кавказцы могли приспособиться и достойно себя чувствовать в нелегких условиях советской поголовной пролетариатизации.

На Кавказе застолья являются общепринятым социальным ритуалом, и местные жители соблюдают детальные предписания относительно правил рассадки гостей, очередности цветистых тостов и, конечно, прежде всего, избрания тамады, который руководит застольем. (Точным названием должности Шанибова в Конфедерации горских народов было именно тхамада, предполагавшее виртуальное братское застолье коренных народов.) Проведение полевых исследований на Кавказе, как известно со времен кинокомедии об этнографе Шурике, требует от исследователя мужского пола самодисциплины и умения принимать алкоголь в изрядных дозах (Я: совсем не обязательно!).

Исламский морализм

Даже в исторически мусульманских областях Кавказа общественное мнение в принципе дозволяет употребление водки, поскольку в отличие от получаемого путем брожения пива и вина, водка изготавливается путем перегонки, который, как утверждается, был неизвестен во времена Пророка, и, следовательно, не мог быть воспрещен шариатским законом. Находящиеся в меньшинстве новоявленные исламские пуритане считают этот казуистический извинительный довод попросту отвратительным и обвиняют, конечно, во всех грехах разлагающее русское влияние – вот и еще одна яркая иллюстрация того, как фундаментализм противопоставляет себя традиционализму. В действительности фундаментализм (или ваххабитство, как его обзывают противники) является не попыткой возврата к традициям, а вполне современной социально-нормативной критикой давно существующих адаптивных (грубо говоря, приспособленческих) традиционных норм и оправдываемой ими властной практики и иерархии. Фундаменталисты исходят вовсе не из реально бытующих традиций, но из идеализированного и оттого неизбежно протестного, антисистемного пуританства, почерпнутого из буквалистского толкования священных текстов. Несмотря на то, что фундаментализм зачастую представляют в качестве ультраор-

тодоксальности, его оппозиционный характер в религиозном измерении является, скорее, еретической гетеродоксией[37].

Однако преподавательская была не тем местом, где можно было встретить исламистских пуритан, в основном принадлежавших к молодому поколению и являвшихся выходцами из маргинальных групп. Лишь один молодой преподаватель, предупредительно подливавший водку гостям и старшим коллегам, сам не пил и не ел ничего. Сидевший по соседству со мной пожилой профессор, упорно или скорее по привычке употреблявший даже во время банкета советское обращение «товарищ», шепнул мне с оттенком сарказма: «Пожалуйста, не обращайте внимания на бедолагу – он тут у нас недавно Бога обрел и теперь вот постится в Рамадан». Оказалось, этот молодой, но нарочито серьезный преподаватель прежде был секретарем комсомольской организации.

Разговор об исламизации младшего поколения получил более серьезное продолжение на следующий день, за более скромным и трезвым ужином дома у одного из преподавателей, известного своими серьезными работами по истории Северного Кавказа. Печально потупившись, он вдруг немного растерянно начал рассказывать о проблеме в собственной семье, что явно занимало в тот момент все его мысли. Накануне сын-десятиклассник принес домой Коран и категорично объявил родителям, что просит ему не мешать совершать намаз и поститься во время Рамадана. Видя, что сын уходит в «ваххабитскую секту», отец вызвал его на мужской разговор: «Почему? Откуда ты это взял? Я сам в жизни ни разу не молился и знаю довольно много об исламе исключительно как историк. Мой собственный отец, твой дед, был первым председателем колхоза в нашем ауле и мечеть он там закрывал. Эта дурь в тебе, сынок, идет явно не из нашей семьи. Так скажи мне, твоему отцу, откуда?» Ответ сына поставил нашего радушного хозяина в тупик: «Отец, когда ты сам заканчивал школу, ты потом мог пойти учиться на врача, летчика, или историка. А кому это теперь нужно? Посмотри вокруг себя – у кого деньги, власть, кто у нас короли? Бандиты, взяточники, торговцы наркотиками. Остальные – ничто. Если я хочу в жизни чего-то чистого, достойного, справедливого, куда мне обращаться, как не в веру наших предков? Что с того, что дед и ты ее отвергали? Чего вы, в конце концов, добились?» И наш известный историк не нашелся, что ответить собственному сыну.

Сети повседневных обменов

В силу импровизированного характера застолья и повсеместного материального неблагополучия тех лет, основными блюдами на столе были домашний сыр и пирожки с мясом, которыми торговали у входа в университет пожилые

[37] По теме религиозного фундаментализма и распространения гетеродоксий см. S.N. Eisenstadt, *Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: the Jacobin Dimension of Modernity*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999; также см. рассмотрение ересей на христианском Западе в средние века у Michael Mann, *The Sources of Social Power. Vol.1,* Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

женщины, искавшие приработка к своей скудной пенсии. На стол выставили бутылки водки местного производства. Доставали их из ящика, присланного выпускником факультета истории, а ныне преуспевающим водочным бутлегером. Подобные маленькие подношения от выпускников и родителей студентов являли собой этически неясную промежуточную ступень между благотворительностью и подкупом. Поддерживая преподавательский состав в его благородной бедности, подобные подношения, разумеется, могли нередко помочь не слишком усердным младшим родственникам из студенческой массы получить минимальную удовлетворительную оценку.

В российской глубинке взаимный обмен услугами играет значительную роль[38]. На Кавказе подобный тип общественных взаимоотношений особенно ярко выражен благодаря традиционной этнической сплоченности, расширенным узам родства, группам сверстников и соседским взаимоотношениям. Житель подобного Нальчику небольшого кавказского города знаком и общается с гораздо большим числом людей, нежели житель большого и социально разобщенного мегаполиса вроде Москвы. Интерактивные ритуалы совместного проживания в маленьком городе способствуют поддержанию обширных сетей, разветвляющихся далеко и в самых разных направлениях. Для нас это наблюдение важно, поскольку мы собираемся в дальнейшем рассматривать, каким образом структурирующие практики и социальные сети заурядной повседневной жизни могут помочь или наоборот, помешать политической мобилизации в экстраординарные моменты общественных кризисов. Заметим, что эти сети являются скорее каналами, нежели причинами, как их представляет стандартная сетевая теория в экономике. В периоды хозяйственного роста и материального благополучия (какими были 1950-1970-е годы для СССР) социальные сети могут переходить границы этнических и конфессиональных групп, за которыми находятся новообретаемые друзья и брачные партнеры, однокашники и сослуживцы, или попросту всевозможные нужные люди. Но точно также социальные сети могут сжиматься и разрушаться в периоды соперничества или нехватки ресурсов (дальние родственники и приятели перестают «замечать» друг друга), тем самым нередко возводя препятствия между основанными на национальном или классовом признаке общинами.

Встреча с героем

Наконец, прибыл сам Муса Шанибов. Это оказался крепко сбитый и очень подвижный человек, на вид лет шестидесяти, который сразу же наполнил комнату своим харизматическим присутствием. С его приходом стало как-то оживленнее, более шумно, даже веселее. Однако, мрачным контрастом искрометному Шанибову, за ним следовал массивный бородач с громадными ручищами,

[38] Alena Ledeneva, *Russia's Economy of favors: Blat, Networking, and Informal Exchange*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

молча присевший на стуле у плотно затворенной двери, будто телохранитель. Одет этот силач был совсем неброско и на интеллигента никак не походил. Лишь позже я узнал, что его громадные руки были не столько признаком борца, сколько профессионально нажиты работой каменщика на стройке. В противоположность ему, на Шанибове были стильное кожаное пальто и видимо дорогая серая с серебристым отливом каракулевая папаха. Когда старший из профессоров в шутку спросил у него причину появления в костюме чабана, Шанибов весело ответил, что давно пора заново изобретать национальную традицию. В тот момент эта шутка послышалась мне просто случайным эхом названия знаменитой на Западе книги об истории изобретения национальных традиций[39].

С заразительным смехом Шанибов решил развлечь нас, поведав одну из своих баек: «В Анкаре, на входе в турецкое Министерство обороны, дежурный – какой-то совсем молодой лейтенант – потребовал, чтобы я снял папаху, поскольку Турция является светской республикой и ношение мусульманских головных уборов запрещено законом. Разумеется, я отказался. Я, говорю, не турок, и это не феска, а настоящая кавказская папаха. Мы, кабардинские черкесы, не снимали шапок даже перед русским царем! Ну, потребовалось вмешательство турецкого генерала, который меня туда пригласил, чтобы вразумить разозлившегося дежурного лейтенанта. Вот так я стал первым со времен самого Ататюрка мужчиной, который вошел в Министерство обороны Турции в папахе – вот в этой самой». Преподаватели засмеялись и закивали в подтверждение рассказа, который, помимо всего прочего, подчеркивал исключительное положение и неординарные связи Шанибова.

С приходом Шанибова банкет приобрел оттенок политического собрания. С рюмкой водки в руке он вдохновенно произносил бесконечные затейливые речи о национальной гордости, презренной имперской ментальности, о самоопределении и единстве горских народов Кавказа, о жертвах, принесенных на алтарь борьбы в прошлом, и об испытаниях грядущих времен. Раз за разом мне все не удавалось перевести его митингово-тостовую речь в сколь-нибудь более конкретное русло обсуждения местной политики, возглавлявшейся Шанибовым попытки революции в 1991-1992 гг., или же абхазской войны. Становилось жалко потерянного времени и своей угрожающе шумящей головы, и желудка, но не виделось никакой возможности встать из-за стола и покинуть компанию. Да и телохранитель Шанибова молча и все также строго, безучастный к пирушке, засел у двери эдакой кавказской скалой, прямо-таки персонажем из Лермонтова или Толстого.

Мы провели за столом уже несколько часов и, признаться, под все новые тосты изрядно выпили довольно скверной водки, когда, пытаясь задать очередной наводящий вопрос, я допустил, строго говоря, методологическую

[39] Eric Hobsbaum and Terence Ranger (eds), *The Invention of Tradition,* Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

оплошность. Считается, что антропологам и социологам, работающим в поле, не следует говорить с информантами на своем профессиональном жаргоне. Отчасти это профессиональное высокомерие («Они —рыба, мы – ихтиологи»), в основном же все-таки дельное предписание не давить на собеседников ученостью. Но то ли здесь все-таки была университетская кафедра, то ли я достаточно захмелел, однако с языка нечаянно слетели знаковые для посвященных, но бессмысленно-заумные для нормальных людей слова «культурный капитал» и все тот же «габитус». Реакция Шанибова оказалась поразительной. Через разделявший нас стол он вдруг потянулся, чтобы обнять меня: «Наш дорогой гость! Мой армянский брат! Конечно, габитус! Вот теперь я ясно вижу, что Вы никакой не шпион. Простите нас за подозрения, но Вы оказались настолько в курсе местных дел, что моя безопасность не могла понять – то ли Вы, как человек, приехавший из Америки, работаете на ЦРУ, то ли Вы и Ваш друг, как уроженцы Краснодара, все-таки наши чекисты. Но теперь я ясно вижу, что Вы настоящий социолог, так как вы знаете труды Пьера Бурдье!»

Я упал на свой стул: «А Вы?»

«Я?! – воскликнул Шанибов с бьющим через край энтузиазмом, – Если хотите знать, Бурдье я внимательнейше проштудировал еще в госпитале, после ранения в Абхазии».

Похоже, длительное застолье со множеством спиртного было средством развязать мне язык и узнать о моих скрытых намерениях. Что Шанибову вполне удалось. Он вышел из-за стола и увлек нас по коридору и лестницам, как оказалось, в свой маленький кабинет за железной дверью. В более мирной ипостаси, о чем никто нас не предупредил, наш экзотично одетый хозяин оказался преподавателем в том же Кабардино-Балкарском университете и специалистом по социологии молодежи. Он открыл сейф и предъявил нам доказательство: изрядно потрепанную книгу Бурдье, вдоль и поперек испещренную пометками владельца. В глубине сейфа я заметил и другой документ – цветное фото Шанибова в окружении бородатых боевиков, одним из которых был Шамиль Басаев. Перехватив мой взгляд, Шанибов вздохнул: «А, да, это он, Шамиль, во время войны в Абхазии.» После паузы он добавил: «Тогда он еще меня слушался».

Когда я спросил разрешения заснять Шанибова на фото, он согласился, однако неожиданно предложил: «Когда вернетесь на Запад, пожалуйста, покажите это фото Бурдье и передайте, как мы здесь высоко ценим его труды». Я ответил с чувством неловкости, что возвращаюсь в Штаты, а не во Францию, а, кроме того, в Париже не бывал и вовсе незнаком с Бурдье. Однако Шанибов продолжал настаивать – «ну, все равно ведь едете на Запад».

Превращения социального капитала

По здравому рассуждению, не было ничего удивительного в этом случайном открытии научных и интеллигентских ипостасей перестроечного политика и известного националиста Юрия (он же Муса) Мухамедовича Шанибова. Как и повсюду в период посткоммунистических национальных столкновений на Кавказе, в Центральной Азии или бывшей Югославии, среди поколения вождей национальных революций и полевых командиров мы обнаруживаем множество представителей творческой и научной интеллигенции времен позднего госсоциализма.

Ставший президентом Грузии шекспировед Звиад Гамсахурдия был вскоре низложен скульптором-модернистом Тенгизом Китовани и кинокритиком Джабой Иоселиани; Абхазию в годы войны за независимость от Грузии возглавил исследователь древне-антолийской мифологии Бронзового века доктор наук Владислав Ардзинба; руководство революционного режима Азербайджана в 1992-1993 гг. едва не полностью вышло из Национальной академии наук, и даже точнее, из физиков и востоковедов; президент Армении Левон Тер-Петросян прежде был хранителем средневековых манускриптов, а его одиозный министр внутренних дел Вано Сирадегян прежде писал рассказы для детей.

Сам по себе интеллектуализм еще не дает объяснения. Тенденция внесения в политику после подрыва номенклатурной монополии различных форм накопленных в ходе предыдущей карьеры элитных социальных навыков и символического капитала не менее показательна на примере пяти генералов, ставших во главе национальных мобилизаций на Северном Кавказе: чеченца Дудаева, ингуша Аушева, балкарца Беппаева, карачаевца Семёнова и дагестанца Толбоева (последний готовился стать космонавтом и, в конце концов, вернулся к своему призванию, уйдя из все более опасной дагестанской политики в российскую космическую промышленность). Если кому-то покажется, что эта тенденция присуща лишь якобы абнормальному постсоветскому пространству, то стоит вспомнить хотя бы карьеру губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Тот же принцип относится и к харизматическим бизнесменам постсоветской эпохи, силой и деньгами расчистившим себе путь ко власти – подпольному миллионеру и потомку княжеского рода Аслану Абашидзе в Аджарии, более подробно описываемой в седьмой главе; Сурету Гусейнову, сыну кировабадского цеховика-ковровщика и, как утверждается, торговцу наркотиками и оружием, на краткий срок в 1993 г. ставшему контрреволюционным премьер-министром Азербайджана; Кирсану Илюмжинову, первым на европейском пространстве провозгласившему буддизм государственной религией в Калмыкии; ныне покойному черкесскому «водочному королю» Станиславу Дереву; либо сибирскому золотопромышленному магнату Хазрету Совмену, неожиданно обошедшему на выборах в родной Адыгее прежнего номенклатурного ветерана.

Биография Шанибова очевидным образом совпадает с путем, которым за прошедшие десятилетия прошли многие интеллектуалы Восточной Европы и Третьего мира. Везде, где посткоммунистическая демократия имела успех, мы видим на вершине власти кинорежиссеров, музыкантов и ученых. Так почему же критически настроенный социолог Шанибов не мог подобно чешскому драматургу Гавелу или русскому физику Сахарову стать диссидентом и поборником либеральной демократизации?

На самом деле траектория Шанибова оказывается намного интереснее и показательнее для менявшегося климата эпохи, потому что Шанибов вошел в политику уже немолодым человеком, прожившим довольно напряженную жизнь. Шанибов еще успел побывать в ранней молодости искренним сталинистом, затем клубным работником (читатели, знакомые с советской классикой, припомнят обстановку молодежного энтузиазма в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь») и активным реформатором хрущевских времен. После символичной даты 1968 г. Шанибов у себя на малой родине оказывается в роли, насколько это было возможно в условиях глубокой провинции, приближенной к образу интеллектуала-диссидента. В годы горбачевской перестройки он искренне пытался следовать примеру и либерально-демократическим, глубоко западническим идеалам академика Сахарова. Что важно подчеркнуть, Шанибов обратился к радикальному национализму лишь после развала СССР – то есть только тогда, когда надежды на демократизацию и быстрое равноправное вхождение Советского Союза в Европу были утеряны и множество местных «смут» вспыхнуло на руинах советской империи. Это и увязывает историю Мусы Шанибова с нашим главным вопросом – как, где именно, и почему конечная фаза советского развития привела к этническому насилию?

Сумма впечатлений

Давайте попытаемся свести воедино приведенные выше наблюдения и ситуации. В Кабардино-Балкарии – во-многом типично второстепенном субъекте Российской Федерации – люди по возможности поддерживают знакомые структуры и практики жизнеобеспечения в условиях резкого обеднения и авторитарного режима номенклатурной реставрации. Источником и пределом возможностей нового, но в то же время и очень знакомого режима В. Кокова являлась Москва, а сама его легитимность основывалась на подобии восстановления порядка советских времен. Однако в девяностых годах прошлого века Кабардино-Балкария не смогла вернуться к уровню жизни и социально-экономической стабильности советского периода. Режим президента Кокова не мог и, оценивая свои риски и ресурсы, едва ли желал двигаться в сторону капиталистической эффективности. Неоправданно рассматривать этот тип «неосултанистского» (по Веберу и Эйзенштадту) режима в качестве чисто переходного – т.е. неудачной, однако неизбежной промежуточной фазы на историческом пути восхождения к

чему-то более совершенному и, по транзитологической теории демократизации, более западному. Наоборот, этот «восточный» тип власти полностью оформился и создал себе достаточно комфортную нишу, сделав себя нужным для московской сети политического патронажа и управления периферийными кризисами.

В противоположность Кабардино-Балкарии, люди в мятежной Чечне пытаются обрести основы жизнеобеспечения после развала государства. Чеченцы внезапно оказались в буквальном смысле среди руин, что заставило их искать выбор способа выживания между традиционной микро-солидарностью расширенной семьи и рода, националистическим проектом движения к независимому государству, мощными и эсхатологическими обещаниями религиозного фундаментализма (который, как обещалось, привел бы Чечню в международное исламское сообщество) – или же сочетании этих трех стратегий.

Остаются еще два пути, которые, в других обстоятельствах наверняка могли бы стать предпочтительными для значительных слоев чеченского общества, особенно для образованных городских классов и состоявшихся в советские времена людей среднего возраста. Первый путь, предполагающий возврат к переиначенному варианту старого советского порядка, на манер Кабардино-Балкарии, оказался совершенно скомпрометирован в ходе войны, когда представители бывшей номенклатуры вернулись на родину в обозе федеральных войск. Они были не в состоянии оказать сколь-нибудь эффективную защиту, протекцию и патронаж своим соотечественникам, поскольку федералы им совершенно не подчинялись. Второй исторической возможностью, судя по всему наиболее привлекательной для большинства чеченцев, была бы номинальная национальная независимость в неизбежной ассоциации с Россией по какой-нибудь замысловатой юридической формуле, но при фактическом протекторате Евросоюза (что персонифицировал неожиданно упрямый и предприимчивый Тим Гульдиманн). Однако эта возможность исчезла в конце девяностых, когда основной политической силой в Чечне стала еле грамотная, но повоевавшая молодежь, вместе с оружием получившая в недавней войне навыки профессиональных бойцов вкупе со самомнением героических защитников нации и исламской веры.

Уже покидая территорию Чечни, мой спутник антрополог Игорь Кузнецов, задумчиво глядя в окно машины, заметил: «Погляди, какие степенные здесь старики, какая живая и милая детвора! А до чего же работящие и выносливые женщины, причем ведь, если приглядеться, под всеми этими платками и зипунами, чуть не через одну – мирового класса красавицы. Мужики тоже крепкие, дома вон какие содержат, на шабашке пашут. Вот только если б не эти деревенские парубки-джигиты… Эх, парубков, парубков-то куда девать?»

Мой спутник в своих несколько романтических наблюдениях на самом деле выходит на теорию кризисов в социально-демографическом воспроизводстве, которая в последние годы обрела серьезные эмпирические основы в

материалах по истории европейских революций и восстаний XVI-XIX вв[40]. Теоретики до недавних пор редко замечали ослепляюще очевидный факт, что революции совершает молодежь. Молодежь идет и на войну, уходит осваивать колонии и целину, а также, как неопровержимо установлено криминологами, совершает подавляющее большинство преступлений. Точнее, основную массу правонарушителей (по которым, в отличие от революционеров и подвижников, имеется громадная межстрановая статистика) составляют именно молодые мужчины в возрасте от 14 до 18 лет. Следом идут мужчины 18-22-летнего возраста, но к 30 годам практически вся "случайная", ситуативная и хулиганская преступность (кроме узко профессиональной) сходит на нет[41]. Эволюционный антрополог Тимоти Эрл прямо утверждает, что переживающие гормональные всплески молодые мужчины призывного возраста автоматически не должны считаться психически нормальными – поскольку только они могут в порыве группового задора, на "ура" побежать на пулеметы[42]. Это, вероятно, заложено где-то в эволюционно-генетическом развитии приматов[43]. Что вовсе не означает, будто мы обречены нашими генами на антисоциальное поведение. Гены лишь предрасполагают, а общественные структуры направляют и канализируют агрессивную юношескую энергию – например, в спорте или танцах. Более традиционным способом было, скажем, услать молодых мужчин на заработки и немедля по возвращении сыграть свадьбу. Армейская служба с 18-19 лет в большинстве европейских стран начиная с наполеоновских войн, либо сегодня в Америке отбытие детей на учебу в колледж – все те же механизмы инициации молодежи, как и уход в священный лес среди традиционных народов Африки.

В Чечне в результате разрухи и войн общество в значительной мере потеряло власть над молодыми мужчинами. Ослабли основные запретительные ограничители, положительные стимулы, и сами институции и ритуалы, которые направляли молодежь на воспроизводство нормального жизненного цикла. Советское индустриальное развитие подорвало традиционно патриархальное регулирование социума, а распад СССР подорвал и современное бюрократическое регулирование. Вопрос, что тогда может справиться с вооруженной и активной солидарностью молодежных отрядов? Армейская дисциплина полковника Масхадова? Харизма Басаева? Исламизм Удугова? Федеральная оккупация? Или вступление в Евросоюз, но это полная фантастика?

Кабардино-Балкария избегла распада государства, бюрократические и полицейские учреждения так или иначе продолжают определять жизнь общества.

---

[40] Основополагающей является работа Jack Goldstone, *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley: University of California Press, 1991.

[41] Randall Collins, "The Normalcy of Crime", in: *Sociological Insight. An Introduction to Non-Obvious Sociology*. Oxford: Oxford University Press, second edition, 1992.

[42] Timothy Earle and Allen Johnson, *The Evolution of Human Societies.* Stanford: Stanford University Press, second edition, 2000.

[43] Jared Diamond, *The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal.* New York: HarperCollins, 1992.

Однако и здесь явно недостает положительных стимулов материального и этического порядка, которые бы ориентировали социализацию молодежи. Традиционные механизмы сельского уклада в какой-то степени сохраняются, однако это исторические пережитки по простейшему тесту: сколько безработных молодых горожан пойдет сегодня крестьянствовать, даже если им предложить корову и дом в деревне? С распадом советской идеологии, социальных ориентиров и путей мобильности, возник вакуум, который отчасти заполняется исламом, причем религиозное возрождение зачастую происходит в виде типичного для исторических поворотов конфликта отцов и детей.

В остальной книге мы будем исследовать траектории, которые привели к такому положению. Рассмотрев зарисовки с Северного Кавказа и сформулировав несколько предварительных вопросов, в последующих главах попробуем отследить основные направления преобразований советского периода через призму в своем роде исключительно показательной и типично «шестидесятнической» биографии Шанибова.

Глава 6.

Борьба за советские обломки

> “Государство на самом деле никогда никому особенно не нравилось, хотя основное большинство населения и не противилось историческому росту его власти, поскольку в государстве видели проводника прогресса. Однако к чему терпеть государство, если оно оказалось не в состоянии выполнить взятую на себя роль? Но в отсутствие государства, кто мог теперь обеспечить безопасность на повседневном уровне?”
>
> Immanuel Wallerstein,
> "Social Science and the Communist Interlude"
> (New York, 2000).

К 1989 году структурные ограничители ослабли настолько, что действующие лица драмы не могли более с уверенностью предсказывать последствия собственных слов и решений. Чем дальше заходил процесс развала СССР, тем более бурной и хаотичной становилась схватка за то, кому теперь достанутся его политические и экономические активы. Неопределенность, в те дни воцарившаяся в общественных структурах и умах людей, отнюдь не означала наступления полной свободы от ограничителей. Рушащаяся система создавала хаотический лабиринт, который оставлял ограниченный набор ходов. Дальней-

шая череда событий могла определяться калейдоскопически случайным сочетанием основных элементов, таких как место и время действия (вполне по ленинскому «вчера было рано, завтра будет поздно», но как узнать, когда пора?), личные связи, габитус («нрав»), текущее общественное настроение, просто даже одним-единственным случайно удачным или не слишком удачным поступком.

В этой главе мы будем отслеживать извилистые пути политической борьбы начала девяностых в ситуации кризиса и наступавшего распада государства. Спектр вариантов мы находим в примерах национальной революции в Чечне, этнической гражданской войны в Абхазии, а также дважды потерпевшей неудачу революции в Кабардино-Балкарии, что затем обернулось «нормальной» квази-реставрацией номенклатурного режима. Герой нашего повествования Муса Шанибов играл видную роль во всех трех случаях. Кроме того, мало кому даже среди экспертов известное «чудесное избавление» Аджарии в 1990-91 гг. предоставляет ценный аналитический контраст войне в Абхазии и даже куда более известной трагедии Боснии и Герцеговины. Здесь мы столкнемся с весьма драматическими эпизодами – включая убийства, побеги из тюрьмы, батальоны добровольцев и революционные толпы, приступом берущие бастионы государственной власти.

Рассмотрение примеров Чечни, Абхазии и Кабардино-Балкарии предоставит нам достаточно панорамный вид на посткоммунистическую периферию. Ранее Чечня (как теперь ни трудно поверить) была высоко индустриализованной республикой, хотя в основном и анклавно с центром в ее столице городе Грозном. В Абхазии не было ни сколько-нибудь значительной промышленности, ни по-настоящему больших городов. Здесь основой уникального благосостояния служила повсеместная и крайне прибыльная неформальная экономика субтропических курортов и ориентированного на частный рынок цитрусового плодоводства. Кабардино-Балкария находилась где-то посредине по степени индустриализации в советский период и в экономико-демографическом плане, хотя организационно и культурно стояла несколько ближе к Чечено-Ингушетии. В 1990-х гг. государственные структуры Чечни оказались полностью разрушенными вследствие революции и войны; в Абхазии госаппарат после войны за отделение от Грузии оказался полуразрушенным; в Кабардино-Балкарии старый режим устоял против митингующих толп и экономического кризиса, вернув себе власть под покровительством Москвы, хотя и в значительно усеченном виде. Таким образом, мы замкнули аналитический круг и вернулись к темам, поднятым в первой главе, включая две сравнительно-аналитические задачки: почему Кабардино-Балкария непохожа на Чечню, и почему Кавказ в целом вышел из коммунистического периода совершенно иначе, чем Центральная Европа? И, наконец, что все это означает для ближайшего будущего?

Отступательная контрстратегия перестройки

На угрозу утраты контроля над Восточной Европой и республиками СССР во второй половине 1989 г. Москва ответила двумя совершенно разными способами. На внешнем фронте были предложены неожиданно щедрые компромиссы; в то же самое время на внутреннем фронте Центр ответил демонстрациями военной силы и подрывными спецоперациями против национальных движений, приблизившихся к захвату власти в союзных республиках и угрожавших отделением от Советского Союза. В первом случае стратегия компромиссов, упреждающих худшее, вылилась в серию «бархатных» демократических революций в соцстранах Восточной Европы. Во втором же случае стратегия подрывных спецопераций способствовала эскалации межэлитного соперничества по линиям этнической и региональной напряженности в серию войн на южной периферии СССР, от Приднестровья до Закавказья и Таджикистана.

В те лихорадочные дни Горбачева подозревали в лицемерии либо в слабости и утрате контроля над собственными силовиками. По более трезвому размышлению, в действиях Москвы просматривается определенная стратегическая цельность и расчет, хотя и далеко не всегда удачный. Союзников по Варшавскому договору (и тем более Афганистан, Йемен, Никарагуа и Эфиопию) приходилось сбрасывать как балласт. Возврат к силовому контролю над внешним геополитическим периметром сулил колоссальные военные и экономические издержки и означал возобновление глобальной Холодной войны без какой-либо ясной перспективы[44]. Хуже того, воспроизводилась ситуация после 1968 г., что наверняка положило бы конец реформам внутри самого СССР и его продвижению к европейской интеграции. Вот в чем причина демонстративной дозволенности «бархатных» революций 1989 г. в соцстранах Восточной Европы. Маневр выглядел смело и, учитывая резко сокращавшиеся возможности, даже многообещающе. Москва превращалась из исторического угнетателя и покровителя морально устаревших и экономически неэффективных бюрократических диктатур в прогрессивного освободителя и будущего союзника восходящего поколения демократий. К изумлению и замешательству Запада (чего стоило внезапное объединение Германии, так встревожившее прочих членов НАТО), рушился Железный занавес и с ним привычное деление континента на две противостоящие неравные части. Возникало не окно, а громадный пролом в Европу. Вот только хватило бы времени и внутренних сил им воспользоваться…

Вхождение в Европу на равных, безусловно, предполагало сохранение СССР в качестве мощной геостратегической и ресурсно-сырьевой платформы с массой занятого в передовых видах деятельности населения и интегрированным хозяйственным комплексом. Нет особой непоследовательности в том, что Горбачев, красиво разменивая соцстраны, в то же самое время интриговал и не-

[44] Valerie Bunce, "The Empire Strikes Back: The Evolution of the Eastern Bloc from a Soviet Asset to a Soviet Liability." *International Organization*, 39 (Winter 1985).

красиво боролся за сохранение союзного государства доступными ему средствами. Советский реформатор, над которым постоянно довлел печальный пример Хрущева, не мог рассчитывать на безусловную поддержку и даже элементарную лояльность внутренних консерваторов. Но без них было невозможно использовать вооруженные силы, спецслужбы, как и многие хозяйственные ресурсы Союза, поэтому Горбачев с 1989 г. предпринимает сложную игру на правом фланге. Тем самым он отдаляет от себя и приводит в отчаяние возлагавших на него столько надежд, но пока слишком бессильных демократов. Показательно, что и Ельцин, выступавший тогда в силу собственных политических обстоятельств непримиримым демократическим критиком горбачевского союзного правительства, вскоре придя к власти, совершит еще более резкий поворот вправо, и теперь уже сам будет пытаться совладать с региональными и этническими сепаратистами по мере своего понимания задач и значительно уменьшившихся сил. В этом же смысле преемником, а не отступником от стратегического курса Горбачева и Ельцина будет выступать и Путин. Дело не в пресловутой имперской ментальности русских, не в «фантомных болях» по утраченному величию, не только в застарелом и едва скрываемом комплексе неполноценности перед лицом развитого Запада, и тем более очевиднейшим образом не в личных психологических диспозициях столь разных по характеру кремлевских правителей, как Горбачев, Ельцин и Путин. Дело в структурной противоречивости положения России, исторически балансирующей на полупериферии Европы.

Все же не стоит вовсе отрицать присутствия доли социального психологизма в дилеммах Горбачева. Для государственного деятеля иметь дело с Вацлавом Гавелом и Тадеушом Мазовецким вероятно не то же самое, что с личностями типа Звиада Гамсахурдия и подавно с полевыми командирами из недавних крутых мужиков. Венгерские, чешские и польские оппозиционеры доказали не только свою организационную силу, но и политическую вменяемость. Вернее сказать, именно благодаря организационной силе и дисциплине они оказались способны выдвигать вменяемых лидеров и идти на состоятельные компромиссы с реформистским крылом собственной номенклатуры, а также с Горбачевым, который, таким образом, становился внешним партнером межэлитных пактов стран, как теперь выражались, Центральной Европы и ключевым гарантом обновленной классовой гегемонии на основе общих задач и ценностей европейской интеграции. Политически и психологически труднее было признать, что к той же категории придется отнести и Прибалтийские республики. Но и это было сделано, когда прибалтийские движения доказали свою способность оказывать организованное сопротивление акциям запугивания и, в то же время, заключать компромиссные альянсы с собственной номенклатурой и контролировать раздражители в лице националистических радикалов с собственной стороны. Не должно быть никакого сомнения, что ответственные, уравновешенные, политически и организационно талантливые и даже весьма

харизматичные лидеры потенциально существовали также и в оппозиционных гражданских обществах на Кавказе. Многие из них достаточно известны в своих республиках и за рубежом, поскольку даже в 1990-е гг. сумели так или иначе реализоваться – только не в качестве ведущих публичных политиков, а скорее прогрессивных организаторов в бизнесе и науке, правозащитников, независимых журналистов, политических и деловых аналитиков, неизбежно в условиях разрухи проводящих большую часть времени в поездках на стипендии и гранты западных фондов. Однако на Кавказе социально-психологический типаж умеренного оппозиционного интеллигента пришел в несоответствие со стихийной гипер-энергичностью национальных мобилизаций и в то же время не находил себе партнеров среди местной национальной номенклатуры, организуемой коррупционными связями и личным патронажем, а не корпоративной бюрократической культурой и политическим расчетом. Еще и еще раз подчеркну главный тезис – разница между Прибалтикой и Центральной Европой с одной стороны и Кавказом и Балканами с другой стороны была не абсолютной, а относительной. Расхождение их траекторий обусловлено не столько роковыми особенностями национальной культуры, сколько классовым составом обществ и практиками властвования, сложившимися в госструктурах. Различия социальные и институциональные приобрели в бифуркационной точке 1989 г. выраженно дивергентные векторы, которые вели к самоусилению возникшей политической динамики и все дальше разводили бывшие соцстраны и республики по секторам исторических возможностей. Если в Прибалтике умеренные оппозиционеры и реформистские бюрократы совместно оттеснили националистических радикалов, на Кавказе дело оборачивалось ровно наоборот. Последнее и пытался любой ценой предотвратить Горбачев и люди из его окружения, устраивая радикалам препятствия, отвлекающие конфликты и диверсионные провокации. Делалось это, надо прямо сказать, очевидно, не из гуманизма, а по сугубо политической логике тактического отступления и перегруппировки наличных сил на хаотически обрушающемся фланге.

В ближней сфере своих интересов и подальше от соприкосновения с Западом – в союзных республиках и, прежде всего на Кавказе – теряющая прямой контроль Москва теперь регулярно применяла рычаг тайных операций, став закулисным участником переворотов и сепаратистских конфликтов. В целом эта политика была схожей со стратегией Белграда в период войн за выход из состава Югославии: на сепаратизм союзных республик центральное правительство ответило негласной финансовой и военной поддержкой меньшинств и различных оппозиционеров внутри самих республик[45]. Остается неясным, в какой мере лично Горбачев вырабатывал и санкционировал подобную стратегию. Наверняка было приложено немало усилий, чтобы его имя никак не связывалось с

[45] Деатльное сравнение посткоммунистических траекторий Сербии и России дают Valerie Bunce, *Subversive Institutions*, New York: Cambridge University Press, 1998; Veljko Vujacic, «Historical Legacies, Nationalist Mobilization, and Political Outcomes in Russia and Serbia,» *Theory and Society* 25 (1996); Anatol Lieven, *Chechnya: The Tombstone of Russian Power*, New Haven: Yale University Press, 1998, chapters 6 and 7.

подрывными операциями. И все же трудно вообразить, что строго субординированная советская система даже в дни финального кризиса могла приводиться в действие без команд сверху. На этот вопрос ответ предстоит искать историкам будущего.

Первой национальной республикой СССР, где номенклатура капитулировала и разбежалась либо переметнулась на сторону радикальной националистической оппозиции, стала Грузия. В силу этнической пестроты и особенностей истории на территории Грузии могло разразиться с полдюжины внутренних сепаратистских восстаний, однако не всем им выпало состояться. Целый массив сельскохозяйственных районов на юго-востоке Грузии населяют азербайджанцы. (А по другую сторону границы, в Азербайджане, живут грузины-ингилойцы, обращенные в ислам столетия назад – богат Кавказ антропологическими особенностями). В нескольких других горных районах на юге Грузии основное население составляли армяне и выселенные в Закавказье еще при царях общины русских религиозных нонконформистов: молокан и духоборов. Было тут и свое трудное «наследие прошлого». В декабре 1918 г. Грузия и Армения воевали из-за спорных пограничных местностей. Но, во-первых, эти территории в советский период не получили статуса автономии, следовательно, этим глубоко сельским районам недоставало критической массы собственных элит, чьи субординационные конфликты с тбилисским начальством могли бы послужить детонатором, как и организационных структур автономии, которые могли быть использованы в дальнейшей сепаратистской мобилизации. Эти населенные армянами и азербайджанцами районы с распадом грузинской советской государственности в 1990 г. все же стали самоуправляющимися де-факто, на основе сельсоветов, школ, местных газет-многотиражек, бывших колхозов/совхозов и отделений милиции оформились какие-то локальные этнически-окрашенные структуры и их лидеры. Но здесь мы четко наблюдаем (не)действие второго фактора сепаратизма – на фоне разгорающейся войны в Карабахе и Азербайджан, и Армения вполне разумно избегали ввязаться в новые конфликты. Кстати, этот малоизвестный факт невозникновения новых пограничных конфликтов показывает, что пришедшие к власти в этих республиках национальные движения не были вовсе ослеплены идеологией. Кроме того, даже в период наибольшей интенсивности карабахского конфликта, армяне и азербайджанцы на территории Грузии сохраняли нейтральные отношения на бытовом уровне и даже торговали ко взаимной выгоде. Знакомые между собой таксисты и водители грузовиков за определенную плату совершали через Грузию эстафетные рейсы из Баку в Ереван и обратно, передавая пассажиров и товары из рук в руки.

Движения за выход из состава Грузии вспыхнули лишь в тех областях, где наличествовали автономные правительства с более или менее прямым выходом на Москву, отчего сохранялась напряженность, порождаемая соблазном решать

свои проблемы в обход тбилисской бюрократии[46]. Таких автономий в Советской Грузии было три: Абхазия, Южная Осетия и Аджария. Грузинская антикоммунистическая оппозиция в 1989 г. шла к власти под лозунгами возвращения в лоно «европейской христианской цивилизации» и преобразования Грузии в независимое национальное государство. Крупнейшие течения нововозникшего грузинского гражданского общества требовали упразднения национальных автономий, которые в их глазах выглядели навязанным безбожными большевиками имперским институтом, воплощавшим принцип «разделяй и властвуй». Эта мысль была наглядно донесена (а буквально – довезена) до самих этнических меньшинств в 1989 г. пропагандистскими автопробегами радикальных грузинских политиков и их сторонников, регулярно выезжавших проводить митинги в автономных образованиях по периметру Грузинской ССР. Подобные демонстративные акции преследовали три цели. Для тбилисских улиц они служили подтверждением героического статуса крестового похода, т.е. создавали символическую разновидность политического капитала. Во-вторых, они непосредственно создавали политический капитал в виде организационных структур и сетей личных контактов, собирая людей под знаменами единого дела, в том числе «пробуждая» живших в автономиях грузин к факту их эксплуатации с последующим созданием местных отделений тбилисских националистических партий. Следует отдать им должное, грузинские оппозиционеры в отличие от московских, рано и довольно успешно предприняли свое хождение в народ, благо их страна по размерам не превосходила Московскую область. Основными обещаниями стали устранение контроля со стороны негрузинских бюрократов на местах, прежде всего в Абхазии – лозунг крайне заманчивый для людей, вовлеченных в неформальное или «теневое» сельское хозяйствование – и поднятие статуса местных грузин, ранее ущемляемых меньшинствами. Наконец, без слов было понятно, что это были демонстрацией силы, призванной убедить либо принудить этнические меньшинства согласиться с предстоящей унитарностью грузинского национального государства.

В полном соответствии с логикой политической поляризации, демонстративная радикализация грузинского национализма политизировала и этнические меньшинства, которые начали сплачиваться и искать поддержки извне перед лицом грядущей независимости Грузии. До поры риторические действия относились к категории, которую Бурдье называл «символическим насилием». Символическое быстро становится реальным вооруженным насилием, когда оружия оказывается в избытке, а люди, в условиях распада государства, видят в нем крайнее и неизбежное средство для защиты собственной безопасности.

[46] Приднестровье и Гагаузия в Молдавии составляют теоретически исключение, поскольку автономиями в советский период не обладали. Очевидно функцию организации мог исполнить и партхозактив, обладающий достаточно четкой идентичностью и поддержкой извне.

Лорд-протектор Аджарии

Начнем с малоизвестной Аджарии. Мы уже встречали это название ранее при описании событий 1921 г., когда опасавшиеся потерять нефтяной терминал в Батуми большевики решили присоединить Карабах к Азербайджану. Особенностью Аджарии стало то, что это автономия не имела титульной нации. Официально, аджарцев в Аджарии не существовало с 1920-х гг. В языковом и историческом отношении коренные жители Аджарии являются грузинами, однако они приняли ислам после длительного проживания под властью Османской империи (Батумский округ был отвоеван лишь в Русско-турецкой войне 1878 г.) С точки зрения грузинского национализма, чьим символическим основанием служит эпос героического сопротивления древнего христианского народа завоеваниям мусульманских варваров, особый статус Аджарии выглядел едва не святотатством. Точно так же греческие и сербские националисты не могли примириться с мыслью, что часть их собственного народа могла перейти на сторону турок[47]. Полная человеческих трагедий история создания современной Греции и недавняя бойня в Боснии показывают, как политизированное несоответствие между этнолингвистической и конфессиональной принадлежностью может привести к чудовищным последствиям.

В 1921 году большевики предоставили Аджарии автономию с целью успокоить Турцию и мусульманское население области. После семидесяти лет советской модернизации грузины-аджарцы сделались бытовыми атеистами, сохранив от силы ритуальные пережитки религиозности в обрядности жизненного цикла. Они и сами теперь считали себя настоящими грузинами. Женщины давно сняли паранджу, мужчины, отставив религиозные запреты, стали щедро потчевать гостей и сами угощаться вином. Их выдавали в основном унаследованные от дедов и прадедов мусульманские имена, которые советские грузинские власти при выдаче паспортов искренне рекомендовали поменять, особенно если получатель собирался на учебу или служебное повышение в Тбилиси, а то и по собственному усмотрению меняли в документах имена Мехмедов и Рашидов на Михаилов и Ревазов. Покушение на дедовские имена вызывало возмущение вплоть до жалоб в Москву. Старые батумцы полагают, что одной из причин снятия в 1973 г. первого секретаря компартии Грузии Мжаванадзе (которого сменил Шеварднадзе) стали именно протесты аджарских коммунистов на нарушение ленинской национальной политики, проводившееся через паспортные столы. Аджарцев оставили при их именах, хотя уже давно, где-то после жестоко подавленного сельского восстания 1928 г. против советского наступления на мусульманские традиции (вроде ношения женщинами чадры), их, как и прочие «грузинские народности» (сванов, мегрелов), по специальной

[47] В так называемой «мусульманской Грузии», большая часть которой после 1921 г. отошла к Турции, существовали и исламизированные армяне-хемшилы, вместе с христианством целиком утратившие армянскую идентичность. Оставшиеся по советскую сторону границы хемшилы в сталинские времена были высланы в Среднюю Азию вместе с турками-месхетинцами и вскоре практически растворились среди месхетинцев.

инструкции перестали упоминать в переписях населения отдельной группой. На бытовом уровне грузины из внутренних районов не только за глаза обзывали аджарцев «татарами», но сами жители субтропического курортного Батуми относили это на счет зависти к их комфортабельной и зажиточной жизни.

Бурное возрождение грузинского национализма поставило коренное население Аджарии в весьма двусмысленное положение. В 1989 г. Звиад Гамсахурдия, выступая на батумском стадионе перед громадной толпой местных и приезжих грузин, настойчиво призывал: «Аджарцы! Вспомните, что вы – тоже грузины!» Непродуманное (хотя вероятно искренне лишь риторическое) напоминание рассердило тогда и встревожило многих «аджарцев», пришедших к выводу, что их все-таки не считают настоящими грузинами. Чем это могло обернуться при новой демократии? Опасения вскоре нашли подтверждение. В отличие от советской практики хотя бы чисто формального избрания территориальных руководителей, Звиад Гамсахурдия, сам придя к власти на выборах, приступил к прямому назначению префектов по образцу французского централизаторского бонапартизма. Главой новой власти в Батуми он назначил молодого художника. Хотя тот и принадлежал к местной богемной интеллигенции, тем не менее, в Батуми не могли не отметить его происхождение из основных христианских областей Грузии. Оппозиционный стаж молодого префекта сводился к двум годам советской тюрьмы, по официальной биографии за диссидентство, хотя в памяти местного населения приговор связывался с дракой в ресторане. Не самое продуманное назначение (чем особенно отмечено непродолжительное пребывание Звиада Гамсахурдия у власти) послужило прелюдией к скандалу, который разгорелся, как только новые власти приступили к смещению прежнего руководства и раздаче в собственном кругу таких же чужаков и «выскочек» выгодных постов в батумском порту, на таможне, в местных министерствах и далее, вплоть до номинально все еще принадлежащих государству гостиниц и ресторанов. Подливая масла в огонь, большую часть времени новое руководство проводило не в залах совещаний официальных учреждений, а за столом ресторана на набережной в курортном местечке Кобулети. На привычное начальство эти молодые бесшабашно-заносчивые национальные демократы не походили вовсе. Сопротивление старых властей было подавлено грубой силой. Последнего коммунистического главу Аджарии вытащили из его служебной автомашины и показательно избили «неизвестные», которые были замечены в рядах новой «Национальной гвардии».

С точки зрения теорий построения идентичности Аджария 1989-90 гг. являла любопытный пример. Ее коренные жители в отчаянных попытках обеспечения своей групповой и региональной целостности использовали любые доступные им идеологические символы, мало-мальски способные составить противовес грузинскому национализму. На какой платформе могла объединяться уже изрядно подвергшаяся размыванию субэтническая группа, чей общий интерес заключался в защите своей маленькой провинции от нахрапистых при-

шельцев, которым власть и сила вскружили голову? Аджарцы на какое-то время обратились к советской идеологии марксистско-ленинского интернационализма. Развал компартии Грузии стал свершившимся фактом, в тбилисском ЦК напоследок рекомендовали не оказывать сопротивления «патриотическим силам», и, тем не менее, в Аджарии кандидаты-коммунисты все еще опережали националистов по итогам первых демократических выборов. (Отчасти поэтому Гамсахурдия и пришлось полагаться на назначение префектов.) Коммунистическая альтернатива национализму с осени 1989 г. виделась проигранным делом, что в Аджарии вызвало неожиданное подкрепление со стороны ислама. На митингах тех дней в Батуми можно было наблюдать непривычное действо – молящихся под алыми полотнищами убеленных сединами стариков, спустившихся по такому случаю из горных сел. Духовой оркестр местного завода, исполнявший, будто на Первомай, советские марши, гимны СССР и Грузинской советской социалистической республики, добавлял ирреальности происходящему. В подобных обстоятельствах у коммунизма и ислама действительно нашлось нечто общее – оба были преданы анафеме грузинскими националистами. Ходили тревожные слухи, будто в Тбилиси снаряжается вооруженная экспедиция для подавления аджарского сепаратизма.

Аджария вероятно и в самом деле неуклонно катилась к тому, чтобы стать Боснией на Кавказе. Однако не стала. Не будет риторической натяжкой сказать, что возгорание конфликта было предотвращено одной-единственной удачно посланной пулей, которую местная легенда называла не иначе как направляемой самим Аллахом – а мы назовем исторической случайностью на развилке структурных возможностей. Здесь следует упомянуть, что новая власть «звиадистов» не была целенаправленным оккупационным режимом, каким ее представляли противники, уже хотя бы потому, что отличалась крайней разнородностью и формировалась из сочетания случайностей и импровизаций. В нее входили пламенные интеллектуалы и священники, «силовые предприниматели» из авантюристов и крепких субпролетарских мужиков, а также немало оппортунистических перебежчиков из бывшей номенклатуры. Следует также признать, что подбор кадров был слабым местом Гамсахурдия, тем не менее, он и его ближайшее окружение (включая слывшую властной матроной супругу президента) делали какие-то уступки местным условиям и пытались ради обеспечения собственной власти выстраивать сдержки и противовесы. Очевидно поэтому, наряду с богемным префектом в Батуми был направлен и карьерный советский управленец Аслан Абашидзе, к моменту распада советского режима достигший неплохого положения в Тбилиси и затем совершивший удачный побег в стан оппозиции.

Абашидзе начинал в Батуми комсомольским работником, затем стал директором профессионально-технического училища и дошел до зам.министра коммунального хозяйства Грузинской ССР. Должность не самая престижная, однако, одна из хлебных по рентно-коррупционному потенциалу. Абашидзе ни-

когда не кокетничал, признаваясь, что «вовсе не беден»[48]. Имя Аслан (по-турецки означающее «лев») выдает в нем коренного аджарца. Еще более значима фамилия Абашидзе, что, по всей видимости, произвело впечатление на подверженного феодальной романтике Гамсахурдия. Абашидзе многие столетия – и в качестве христиан, и став мусульманами – правили и владели обширными землями в Аджарии. Дедом Аслана был бек (владетель) Мемед Абашидзе, уважаемый также в качестве ведущего местного патриота, народного просветителя и одного из вождей партии социалистов-федералистов[49].

Детали разногласий в звиадистской администрации Батуми не известны, хотя свидетелей должно было быть немало. В новейшей истории Грузии много подобных странностей и загадок, а еще больше запутанных теорий заговора. Но социологу по большому счету незачем искать ответы на загадки интриг и покушений. Нам важнее понять структурную логику событий, отмечая при этом, каким образом люди объясняли происходящее самим себе. Описываемые здесь события, надеюсь, согласуются с таким минималистским подходом.

На фоне проходившего под советскими и исламскими символами митинга протеста, в служебном кабинете наверху между богемным художником и княжеским внуком случился разговор на повышенных тонах, который окончился перестрелкой. (Присутствие оружия на совещании, конечно, деталь показательная.) Новоназначенный префект был убит наповал своим заместителем (или его телохранителем, но это звучит не столь романтично) – конечно, в порядке самообороны. Согласно легенде, пуля прошла столь близко от шеи Абашидзе, что обожгла кожу на сонной артерии хранимого Аллахом местного героя. Ответный выстрел был более меток. Погибшему префекту устроили пышные похороны, однако Абашидзе не только не понес наказания, но и был оставлен править своими владениями. Гамсахурдия очевидно не имел иных надежд сохранить хотя бы подобие контроля над Аджарией. В самом деле, вскоре после перестрелки и захвата власти в Батуми Асланом Абашидзе, митинг прекратился, а старики с почестями были отправлены обратно в свои села (откуда, по распространенному убеждению, их прежде свозили на митинг по негласному указанию того же Абашидзе). Угроза аджарского мусульманского сепаратизма растворилась столь же внезапно, как и возникла. Итогом же запутанных событий стало воцарение на долгие годы Аслана Абашидзе, которого не особенно заботили формальные титулы. Батумцы в 1990-е гг. добродушно шутили о сво-

[48] *Московский Комсомолец*, 17 апреля 1993 г.

[49] Во многом именно благодаря Мемед-беку Аджария в свое время добилась статуса автономии. Советские власти в 1920-х гг. попытались кооптировать столь влиятельную фигуру, но в 1936 году он был расстрелян, как считается, по личному приказу Сталина. Неутомимый исследователь архивов Григорий Лежава нашел в московских фондах НКВД школьную тетрадку с трогательными строчками, которые Мемед Абашидзе написал в ожидании казни. Обращаясь к Сталину, которого знал еще с дореволюционных лет, Абашидзе доказывал, что давно принял власть большевиков (хотя и не некоторые из ее методов), поскольку сам мечтал о светской, современной, образованной и индустриальной Аджарии, входящей в состав всемирной федерации социалистических наций.

ем еще долго сохранявшем популярность спасителе: «Должность Аслана?! Аслан! Лев Аджарии. А проще говоря – Хозяин».

Просвещенность, местный патриотизм и талант к политическому маневрированию, бесспорно, были сильной стороной рода Абашидзе. Оставалась загадкой даже конфессиональная принадлежность Хозяина, которого мусульмане считали своим, местным, а прочие утверждали, что он давно окрестился. Придя к власти, батоно (по-грузински господин, но никогда не бек) Аслан сумел быстро замять расследование обстоятельств своего воцарения и первым же делом нейтрализовал батумских националистов. Прежние коммунистические руководители, многие из которых были старыми друзьями и сослуживцами, получили комфортные должности. На восстановление местных мечетей и церквей самых разных конфессий (грузинских, армянских, русских, греческих и даже польского костела) были щедро выделены средства. Проводя внутреннюю политику патерналистского согласия, Абашидзе при этом без устали повторял, что Аджария никогда согласится на отделение и всегда будет неотъемлемой частью Грузии. Впрочем, знающие лица утверждают, что случаи, когда Аджария при Абашидзе перечисляла собранные налоги и пошлины в центральный бюджет, можно пересчитать по пальцам. Его внушительные вооруженные отряды мудро именовались не армией, ополчением или гвардией, а полицией, таможенниками и пограничной стражей. Когда в 1992 г. вооруженные формирования Госсовета, незадолго до этого свергшие президента Гамсахурдия и преследовавшие его сторонников через всю западную Грузию, попытались было прорваться в Аджарию, на пограничной реке их ожидала убедительная демонстрация сил местной полиции, поддержанных взятой «напрокат» у российской военной базы в Батуми бронетехникой и артиллерией. (Каждого 8 марта Абашидзе отсылал женам всех российских офицеров в Аджарии цветы и корзины с фруктами). Вот, собственно, и разгадка. Аслан Абашидзе сумел успешно предотвратить сползание Аджарии в боснийскую пропасть, превратив автономию в российский военный протекторат и одновременно, фактически, свой частный султанат[50].

В начале 1990-х гг. мне как-то выпала возможность лично увидеть в гараже Абашидзе подтверждение его сказочного по меркам сильно тогда обедневшей Аджарии богатства – «Порше» сына (конечно, «подарок друзей») и несколько бронированных «Мерседесов». Впрочем, мне тут же сказали, что отец запретил сыну гонять на «Порше» по улицам, чтобы не вызывать кривотолков и не распугивать лишний раз коров. Благодаря значительным поступлениям от приграничной торговли с Турцией, восстановленная патронажная сеть Аджарии, казалось, действовала достаточно хорошо. Уголовная преступность упала до самых ничтожных показателей, потому что в эпоху Абашидзе каждый

[50] См. более подробно у Georgi Derluguian, «Why Adjara Is Not Like Bosnia: Historical Determinants, Human Agency, and Contingency in the Chaotic Transition,» in George Katsiaficas (ed.), *After the Fall: 1989 and the Future of Freedom*, New York: Routledge, 2001.

десятый мужчина шел на службу в его полицию и таможню (основной источник патронажа и трудоустройства), а воры, согласно еще одной местной легенде, после доверительной мужской беседы с Асланом предпочли сами покинуть Аджарию. Возникшая среди войн и грабежей частновладельческая автономия, где машины можно было не запирать на ночь, представляла собой компактный вариант среднеазиатской модели патерналистского порядка. Однако ее экономика страдала от свойственных всему Закавказью проблем: рабочих мест вне полиции и госаппарата было катастрофически мало, нефть через Батуми не шла уже давно, фабрики, завязанные на всесоюзные планы и сети смежников, простаивали годами, обшарпанные гостиницы были заполнены беженцами из Абхазии, на набережной и пляжах паслись коровы, а вывезти урожай мандаринов или чая из Аджарии было делом крайне проблемным. Однако Асалану Абашидзе, казалось, прощается все, за то, что он уберег свой маленький бейлик от участи Абхазии.

Такое положение сохранится до мая 2004 г., когда под многократным давлением угроз молодого и энергичного президента Грузии Михаила Саакашвили, внутренних волнений в Аджарии, где вероятно многим к тому времени надоела тотальная монополия семейства Абашидзе на власть и бизнес, и дипломатических маневров внешних покровителей Абашидзе будет вынужден бежать в Россию.

Конфедерация горских народов

В советские времена приезжие курортники и даже московская профессура, как известно из юмористической автобиографии Фазиля Искандера, часто путали Аджарию и Абхазию. В самом деле, и тут и там субтропики, горы, пляжи и мандарины, чача и хачапури, местные нерусские мачо, там Сухуми, здесь Батуми, а если более формально, то обе – автономные республики в составе Грузинской ССР. Однако в одной из них войны не произошло, хотя вполне могла, а в другой война случилась, хотя до последнего сохранялась надежда, что как-то и на сей раз образуется. Так чем же Абхазия отличалась от Аджарии?

До развала СССР эта маленькая автономная республика на берегу Черного моря успешно соперничала с Аджарией в процветании благодаря чрезвычайно прибыльному теневому рынку, строившемуся на монополии субтропических курортов и мандариновых плантаций, которых в Советском Союзе было, прямо сказать, наперечет. Десятилетиями контроль над этими источниками доходов был предметом грузино-абхазского соперничества на всех уровнях – от отдельных крестьянских хозяйств, криминальных организаций и до правительства автономии. Ситуация весьма напоминала «Социалистических предпринимателей: обуржуазивание в сельской Венгрии» – некогда нашумевшую социологическую

работу Ивана Селеньи и его сотрудников[51]. Но здесь требуется поправка на кавказскую практику и институциональные условия, где возможности предпринимательства очень сильно зависели от этнических социальных сетей.

Абхазский крестьянин чувствовал себя гораздо комфортнее и увереннее в общении с чиновником или милиционером-абхазом не только потому, что они принадлежали к одной культуре и говорили на одном языке. Это, по большому счету, этническая романтика. Главным было то, что их, в самом деле, связывали невероятно далеко идущие (с точки зрения москвича или киевлянина) узы семейного родства или, по крайней мере, соседства. Два абхаза, встретившихся в официальной обстановке, либо уже не раз встречались, либо непременно где-то встретились бы и за другим столом, на поминках или свадьбе. Это и позволяло абхазскому крестьянину оказывать в самой радушной форме социальное давление на отдельно взятых госслужащих и милицейских, в основном для того, чтобы воспрепятствовать выполнению ими своих обязанностей, вроде взимания штрафа за превышение скорости или принудительной закупки по государственной цене урожая мандаринов. Как говорил Эрнст Геллнер, человек, погруженный в родственные связи, дает слабый материал для изготовления слуги государства.

Местные старожилы свидетельствуют, что на Кавказе, особенно в сельской глубинке, действительность могла разительно отличаться как от лакированной картины официальных отчетов, так и от тоталитарной карикатуры западных советологов. Командная система либо буксовала и вязла в кавказской семейственности, либо в нее встраивались неформальные практики уступок и поощрительного недосмотра, которые на деле и позволяли машине работать. Примерно с середины 1950-х гг. колхозы закрывали глаза на подспудное приобретение крестьянами больших фактически частных участков при условии, что взамен те отдавали часть урожая для покрытия спущенных сверху норм. Крестьяне, в свою очередь, продавали оставшуюся часть своей продукции на рынках больших городов, вывозя все больше овощей и фруктов в Москву и индустриальные центры России, где цены были очень высокими, а спрос – гигантским и ненасыщаемым. Накопленные в 1960-1980-х монопольные прибыли материализовались, в частности, в форме очаровательных двухэтажных особняков в абхазских деревнях.

За исключением редких случаев непосредственного вмешательства, правление московского центра было обычно опосредствовано патронажными сетями в административном аппарате республик, городов и районов. Повсюду на Кавказе назначения на государственные должности подлежали утверждению свыше, что оказывало непосредственное влияние на изощренные многоуровневые переговоры относительно соотношения официальной и теневой составных экономики (Я: наибольшая степень бюрократизации) . Слияние местных госу-

[51] Ivan Szelenyi, with Robert Manchin et al., *Socialist Entrepreneurs: Embourgeoisement in Rural Hungary*, Madison: University of Wisconsin Press, 1988.

дарственных структур и экономики, как в официальной, так и неофициальной сферах, предоставляло множество поводов для конфликтов, которые, по сути, были экономическими, однако неминуемо приобретали отношение к национальности (nationally-relevant conflicts)[52].

Абхазо-грузинское соперничество в открытую проявлялось в периоды политических потрясений и преобразований в России и СССР: в годы Гражданской войны 1918-1921 гг., коллективизации и чисток 1936-1939 гг., десталинизации 1956 г., социалистического демократического движения 1968 г., диссидентства 1977-1978 гг. при Брежневе, и, наконец, перестройки в 1989 г.[53]. Иными словами, поколение за поколением структурное напряжение наследовалось в моделях землевладения, теневого рынка и советской национальной политики распределения государственных должностей, воспроизводя абхазо-грузинский конфликт на каждом историческом перепутье. Таким образом, столкновения были заранее отрепетированными и их перерастание в войну за отделение в 1992 г. выглядело автоматическим и чуть ли не совершенно естественным.

Но, опять же, все ли так просто? По грубому демографическому счету силы выглядели совершенно неравными. Менее ста тысяч абхазов противостояли четырем миллионам грузин, включая четверть миллиона грузин в самой Абхазии. Впрочем, это были довольно разные грузины: сваны, вероятно со времен Бронзового века засевшие в неприступном высокогорье и со временем выработавшие свой собственный язык, отличающийся от тбилисского литературного до полного непонимания; либо говорящие на собственном диалекте мегрелы, многие из которых очень давно жили в Абхазии (хотя насколько давно – вопрос, как всегда на Кавказе, неясный и взрывоопасный). В некоторых селах население сделалось смешанным настолько, что говорило на абхазском и грузинском в качестве родных языков (плюс русский в качестве lingua franca). Жители таких деревень зачастую затруднялись ответить на вопрос о своей национальной принадлежности. Межнациональные браки считались совершенно нормальным явлением.

В Абхазии было много и грузин, переехавших туда исторически совсем недавно в соответствии с планом развития колхозного сельского хозяйства Советской Грузии в 1938-1952 гг. Характер и география заселения указывают, что помимо официально провозглашенной, вероятно, ставилась цель грузинизации автономной республики. Конечно, тут обычно вспоминается, что Сталин и Берия были грузинами. Однако в таком случае трудно объяснить передачу Закатальского округа в состав Азербайджана, большей части Лори – Армении, и тем более создание и дальнейшее сохранение Юго-Осетинской автономной области. Все это было бы невозможно против воли Сталина, который очевидно все-таки

[52] Miroslav Hroch, *Social Preconditions of National Revival in Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

[53] Г. П. Лежава, *Между Грузией и Россией: исторические корни и современные факторы абхазо-грузинского конфликта*, Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, 1997.

думал как государственный строитель, а не местный патриот. Хотя грузинская национальная легенда считает Абхазию колыбелью средневекового грузинского царства и культуры – подобно образу Косова для Сербии – дело видимо не в национальной мотивации. В сталинской практике национального строительства этнические аспекты неизменно уступали первенство экономическим соображениям. В начале 1930-х гг. на высшем советском уровне было решено превратить «красные субтропики» в советскую Флориду – первоклассный курорт и цитрусовую плантацию, служащую поощрению и отдыху ударников со всего Советского Союза и, конечно, командного состава и номенклатурного руководства начиная с самого Сталина. Абхазия оказалась стратегически слишком важна, чтобы предоставить право распоряжаться ею провинциальным властям и горским жителям малой коренной национальности, тем более что по советской теории в качестве АССР в составе Грузии Абхазия также служила зоной национального строительства грузинской нации.

Со своей стороны, абхазы помнили, что переселение грузинских колхозников началось после таинственной смерти уважаемого народом коммунистического руководителя Абхазии Нестора Лакобы, последовавшей после обеда с Лаврентием Берия, который тогда был секретарем компартии Грузии. Подобно многим старым большевикам на Кавказе, Лакоба начинал карьеру в качестве преследуемого царскими жандармами разбойника-абрека, а его дружба со Сталиным уходила корнями в дореволюционные годы совместной борьбы в подполье. Также подобно многим большевистским национальным вождям первого поколения, Лакоба умело пользовался репутацией смелого мужчины (в частности, меткого стрелка) и патерналистского заступника своего народа. При нем Абхазии удавалось избегать насильственной коллективизации, откладываемой на годы. Считается, что Лакоба мог уговорить Сталина быть помягче с отсталой национальной окраиной. Однако после 1936 года маховик коллективизации набрал полные обороты. Одновременно в Абхазию пришли безземельные крестьяне из центральных и западных районов Грузии, которых тбилисский центр селил обособленно, в новоотстроенных селах. После 1989 г. в основном эти села и стали центрами националистической мобилизации и дальнейшего насилия. В народной памяти аграрные проблемы и государственная политика слились в отражение этнической враждебности: Грузины пришли захватить нашу землю. В результате хозяйственно-демографического роста и целенаправленной перепланировки Абхазия превратилась не только в процветающий советский аналог Флориды, но и в преимущественно грузинскую территорию, где абхазы составляли теперь всего 17% населения по сравнению с более чем сорока процентами грузин (прочее население составляли значительные меньшинства русских и украинцев, а также переселенных еще в конце XIX в. из Османской империи армян и понтийских греков).

После 1989 г. перспектива конкурентных выборов по принципу «один человек, один голос» и рыночных реформ (легализация «кооперативной» соб-

ственности, приватизация госимущества) стала мобилизующей угрозой для абхазов вовсе не потому, что абхазы по природе своей невосприимчивы к демократии и склонны к тоталитаризму (такой тезис более-менее явно присутствует в грузинских нарративах конфликта). В действие немедленно вступал элементарный – и роковой – этнодемографический расчет. Доля грузин приближалась к половине населения Абхазской АССР, абхазов – всего 17%. Соревновательная демократия и отмена национального квотирования становилась совершенно легитимным способом ликвидации прав абхазской титульной национальности и приведения политических структур в соответствие со сложившимся с 1940-х гг. грузинским преобладанием. Таким образом, реакция абхазов на демократизацию была структурно схожей с балкарским сепаратизмом. В отличие от балкарцев, абхазские национальные политики обороняли уже существующую автономию и при этом пользовались скрытой поддержкой Москвы. Ну, и конечно экономические ставки в постсоветском развитии в Абхазии были не в пример выше. Логика структуры общественной власти, основанной на бюрократическом патронаже по этническим и земляческим линиям, теперь дополняемая демократической соревновательностью и приватизационным переделом собственности, создавала устрашающее конфликтное противостояние. Ситуация на самом деле не столь и отличная от Аджарии, где местные и пришлые грузины вступили в конфликт по поводу распределения власти и собственности на фоне автономии, доставшейся от полузабытого прошлого. В Абхазии все еще острее, но не из-за отличия грузинской и абхазской культур (в самом деле, очень похожих, что бы ни утверждали идеологи противоборства), а потому, что конфликт многократно повторялся в течение XX в. и был как бы «отрепетирован», потому, что существовали структуры автономии, организующие абхазское меньшинство, и плюс ставки выглядели устрашающе более высокими. Оказавшиеся в безвыходном численном меньшинстве абхазы не имели шансов на победу в грядущих выборах, а, следовательно, теряли и контроль над назначениями на государственные посты от президента и профессора до постового милиционера. Автоматически это означало, что с осуществлением приватизации и переходом к капиталистической экономике абхазы теряли также контроль над своими плантациями цитрусовых и курортами.

Прелюдией стали столкновения абхазов и грузин, начавшиеся летом 1989 г. в столице автономии Сухуми (где статусные конфликты элит проявлялись в самой концентрированной форме, притом абхазы составляли всего около 7% от населения города). Непосредственным поводом стал спор вокруг национальных квот на приемных экзаменах в местный университет, избыточное и пустое, с точки зрения грузинских противников, финансирование учреждений национальной абхазской культуры (научно-исследовательского института, театра), и такие символические конвенциональности, как применение различных письменностей и транслитераций на дорожных знаках, оттого регулярно замазывае-

мых краской или приводимых в негодность националистами обеих сторон. Например, окончание «и» делало топоним Сухуми грузинским, тогда как абхазские националисты настаивали на написании Сухум. Дело быстро дошло до массовых драк и стрельбы, появились жертвы. Москва отреагировала посылкой внутренних войск, которым, во избежание дальнейшей эскалации насилия, было официально предписано ограничиваться ролью разделительного барьера между сторонами, подобно миротворцам ООН. Очевидно, существовали и менее явные инструкции.

Жарким августом 1989 г. Муса Шаниб и другие активисты национального движения со всего Северного Кавказа (включая молодого поэта из Чечено-Ингушетии Зелимхана Яндарбиева) были приглашены в Сухуми/Сухум/Акуа[54] на учредительный съезд нового межнационального движения, пока не имевшего названия. Съезд был организован абхазскими властями, которые и взяли на себя основные расходы. Упомянем, что по современной лингвистической классификации (как всегда, не вполне бесспорной) абхазский язык представляет отдельную ветвь в черкесской (точнее, адыго-абхазской) подгруппе значительно более широкого Северокавказского семейства. Этническое родство абхазов и коренных народов с северных отрогов Кавказского хребта (кабардинцев, адыгов и, намного отдаленнее, чеченцев, ингушей и дагестанцев) стало общепризнанным лишь недавно. Эти языки похожи между собой не более чем индоевропейские английский, русский, армянский, хинди, персидский и, кстати, осетинский. Кроме того, лингвисты пришли к выводу, что грузинский (и родственные ему языки сванов, мегрелов и лазов) составляет совершенно отдельное семейство, а некоторые черты сходства с абхазским и другими северокавказскими языками, по всей видимости, следует считать заимствованиями и субстратами, накопившимися за тысячелетия соседствования. Лишь где-то с 1960-х гг. эти теории стали упоминаться в местных школьных учебниках. Однако с тех пор общность языка, культуры и истории стала центральным элементом всевозможных научных собраний и культурных фестивалей, объединявших абхазов и народы Северного Кавказа. В основе своей подобные собрания должны были продемонстрировать, что в совокупности горские народы вовсе не являются такими уж малочисленными. И вот теперь посвященные этнической и культурной общности мероприятия переросли в открыто политическую демонстрацию пан-кавказской солидарности. Целью ее было поддержать абхазов против охваченной националистической мобилизацией Грузии и продемонстрировать, что абхазы не одинокое крохотное меньшинство, а часть родственного в этническом отношении материка, чей центр лежит на Северном Кавказе – т.е. вне Грузии, по ту сторону хребта[55]. Активистам же национальных

[54] Акуа – более радикальная попытка ввести чисто абхазское название вместо слова Сухум, которое имеет турецкое происхождение.

[55] Относительно важности для эффективного сепаратизма «национального материка» см. Rogers Brubaker, *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

движений с Северного Кавказа приглашение абхазских властей предоставило возможность создать собственную сеть контактов, зарядиться эмоциональной энергией, повысить статус.

Шанибов предложил назвать новый политический союз Ассамблеей горских народов Кавказа (в 1991 г. ставшей Конфедерацией). Слово «горских» исключало возможность участия живших в долинах грузин и ставило абхазов вровень с горцами – чеченцами и кабардинцами. (Строго говоря, несколько грузинских суб-этнических народностей до недавних пор жили самым настоящим традиционным горским укладом, тогда как большинство кабардинцев или чеченцев издавна предпочитало селиться на предгорных равнинах, но от подобного усложнения попросту отмахнулись). Давший имя горской организации Шанибов и был избран ее первым президентом. Политический проект выглядел поистине грандиозным – союз коренных народов от Дагестана на Каспийском море, и далее Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии – и до Абхазии на Черном море. Призраки мятежного государства имама Шамиля в 1834-1859 гг. и Горской Республики 1918-1919 гг. обрели новую возможность воплощения в историческую реальность.

Когда грузинский прокурор в сопровождении наряда грузинской милиции вошел в здание и попытался закрыть заседание Ассамблеи, навстречу ему выступил Шанибов, сам в прошлом прокурор. Возник шумный и неравный спор, грозивший сорвать учредительное собрание. Но тут из прежде плотно закрытых дверей комнаты президиума появилась группа атлетически сложенных молодых людей однозначно славянской наружности, одетых в одинаковые костюмы. Неожиданная силовая поддержка Шанибова не слишком смутила: «Неважно, были эти ребята из КГБ, спецназа ГРУ или еще откуда-то. Они нам тогда здорово помогли, и пока наши цели совпадали, было бы глупо не использовать их поддержку».

Здесь мы подходим к крайне щекотливому, если не взрывоопасному вопросу, который и далее будет возникать в нашем повествовании. Так была ли Ассамблея горских народов настоящей? Или считать ее диверсионной креатурой советских спецслужб? А насколько были настоящими партии эсеров и большевиков, снизу и до самого верху пронизанные провокаторами охранки и не чуравшиеся принимать деньги и помощь от разведок враждебных держав? Существует ли на самом деле Аль-Каида, или это все злонамеренная выдумка ЦРУ? На кого работал Шамиль Басаев?

Гоняться за скрываемыми фактами и собирать свидетельства предполагаемых очевидцев здесь совершенно бесперспективно. Куда вернее будет принять на вооружение аналитический метод, который предложил мой коллега замечательный ленинградский нейрофизиолог Женя Петров по поводу совершенно другой давней загадки – Лох-несского монстра. Допустим в порядке гипотезы, что в шотландском озере обитает крупное и очень скрытное животное, которое никак не попадается и вообще не поддается наблюдениям. Есть масса

недоказуемых свидетельств и никакой проверяемой эмпирики. Давайте тогда рассуждать эко-логически. Во-первых, животное не может существовать в единственной особи. Для элементарного продолжения рода должна существовать популяция монстров, включающая в себя самок и детенышей. Во-вторых, если мы имеем дело с биологическим объектом, монстры должны с какой-то регулярностью питаться – но чем? Лох-Несс представляет собой изолированное в горах, чистое и холодное озеро, почти начисто лишенное рыбы, планктона и водорослей. Увы, нет оснований считать, что в озерной экосистеме с такой незначительной биомассой на вершине пищевой цепочки могла бы существовать популяция крупных животных. Почему тогда монстров год за годом видит такое количество людей, вопрос уже не биологии, а социальной психологии.

Дисциплинируя наши рассуждения тем же методом, следует перенацелить вопрос с простой и жесткой дихотомии да/нет на более контекстуальное и исторически изменчивое измерение. Где, к примеру, в 1920 г. оказалась дьявольски вездесущая царская охранка или разведка кайзеровского Генштаба с ее деньгами, планами и запломбированным вагоном, а где руководство большевиков? Действительно, современные государства регулярно пытаются влиять в нужном им направлении на гражданские общества, от вполне признанных церквей и союзов пенсионеров вплоть до молодежных неформальных групп и, если таковые имеются, подпольных ячеек. Что-то удается, что-то проваливается, что-то оборачивается непредвиденными результатами. Последнее на сленге американских пожарных и разведчиков называется blowback – обратный выброс – как в случае с Аль-Каидой, первоначально использованной для подкрепления спецопераций (force multiplier) против советского контингента в Афганистане. В противоположность многим сторонникам теории заговора, которые во всем видят претворение – причем без единой помарки – сложнейших планов, скорее следует признать, что интриги времен распада СССР были в основном импровизациями, которые в ту или иную сторону усиливали существующие тенденции и движения. По мере нарастания революционной ситуации и с приближением распада государства становились неясны как цели, так и то, кто же стоит у руля власти – в самой Москве число претендентов множилось, начальство менялось хаотически, агентов бросали и предавали либо они сами пускались в автономное плавание. Политика тех лет, несомненно, включая и ее скрытую часть, представляла собой весьма бессвязную и по-дурному запутанную игру, в которой каждая из преследовавших свои цели сторон считала, что хитро или по необходимости временно использует другую[56]. По ходовому выражению тех лет, наступили «бардак и беспредел».

В истории с созданием Ассамблеи горских народов Шанибов выступал, согласимся, если не агентом спецслужб, то в изрядной мере самозванцем. Он приехал в Абхазию представлять кабардинский народ – тогда как у себя на ро-

[56] Это логичное и простое объяснение динамики игр заговорщиков было предложено Дмитрием Ефимовичем Фурманом, *Чечня и Россия: общества и государства*, Москва: Политинформ-Талбури, 1999.

дине в тот момент слыл лишь известным оратором и участником интеллигентских клубов с покуда эфемерной базой. В Кабардино-Балкарию он вернулся, что называется, при папахе, долженствующей символизировать положение президента внушительно звучащей многонациональной организации (которая в свой черед была пока не более чем клубом самовыдвиженцев и златоустов от оппозиции). Но в те времена политика и нарождавшийся бизнес, по большей части, также были граничащим с блефом импровизаторством новичков, из которых лишь позднее с большой долей непредсказуемости могли возникнуть олигархи и политики.

Пресса эпохи гласности оказала огромную услугу в распространении сенсационных вестей об основании Ассамблеи и щедро раздававшихся заявлений Шанибова о создании «общекавказского дома». Насколько фанфаронской ни покажется сегодня эта попытка создания символического капитала, в свое время она вовсе не была исключительной – многим писателям и младшим научным сотрудникам именно так удалось попасть в центр внимания и даже на какое-то время встать у руля государственной власти. Шанибова тогда называли «Собчаком Северного Кавказа», что на самом деле звучит без особой натяжки – ленинградский профессор юриспруденции, как известно, начал свой головокружительный политический взлет с того, что встал в вечерний час пик возле станции метро с мегафоном в руке и призвал прохожих избрать его своим народным депутатом. Репутация и ресурсы, которые Шанибов привез с собой из Абхазии, позволили ему укрепить организационное ядро Кабардинского Национального Конгресса, который должен был стать местным отделением горской конфедерации. На первом этапе Конгресс все еще оставался группой друзей, коллег и студентов-активистов. Но уже тогда эмбриональная форма Конгресса и Ассамблеи позволяла собрать вместе и сфокусировать энергию и ресурсы положения, которыми обладали их основатели, и создать центр притяжения для дальнейшей национальной мобилизации: университетские профессора и студенты становились активистами; местные журналисты с энтузиазмом (либо возмущением, что все равно подогревало общественный интерес и генерировало эмоциональную энергию) описывали мероприятия Конгресса и выступления Шанибова, на передний план выходило обсуждение программы национальной демократизации и того, что же кабардинцы могут сделать сами, без подсказки либо понукания Москвы; наконец, патриотически настроенные директора автопарков предоставляли автобусы для перевозки участников митингов. Как выразился один из учредителей Конгресса: «Мы, наконец, нашли язык, понятный менее образованным людям. Нас подхватила волна».

В 1990 г. в силу двух новых обстоятельств Шанибов оказался вознесенным на самый гребень волны кабардинской национальной политики. Первым было осознание угрозы отделения балкарцев, вызвавшее кабардинскую контр-мобилизацию; вторым – следующие за общесоюзными выборы в верховные советы национальных республик. На сей раз развернулась настоящая борьба за места в

парламенте, поскольку общесоюзный Съезд народных депутатов с потрясающей наглядностью продемонстрировал резко возросшую ценность депутатского статуса. Отличие выборов 1990 г. состояло в том, что национализм, преимущественно в виде лозунгов суверенизации республик, теперь использовался вовсю и едва не всеми кандидатами. Как и ранее в республиках Закавказья, националистическая идеология на Северном Кавказе подмяла под себя все остальные вопросы повестки дня – демократизацию, экономические реформы, образование, даже экологию. Возникавшие в 1990 г. по всему региону национальные партии и движения казались поначалу эфемерными даже самим основателям. Приведу ёрнические воспоминания одного сведущего чеченского эмигранта, ныне живущего в Америке: «Как возникла идея Вайнахской демократической партии? Да вот у меня дома, на старом продавленном диване, который я никак не мог заменить из-за нехватки денег, сидели мы с Зелимханом Яндарбиевым и Мовлади Удуговым и думали, что же нам дальше делать? Народный фронт в поддержку перестройки помитинговал-помитинговал у нас в Грозном и в Гудермесе против химпредприятия, а потом как-то сошел на нет. А в Москве и в других республиках, смотри, что творится! Надо же и нам поучаствовать в этих выборах хотя бы в Верховный совет своей республики, раз в Москву опоздали. Вдруг, получится? Но не выдвигаться же от лица пары приятелей, вот мы и придумали партию с мощным названием…» Но что значит – пошла волна! Подобные партии быстро обретали массовую поддержку, ресурсы, влиятельных покровителей из числа колеблющихся номенклатурщиков, спонсоров из выходящих из тени (на поверхность) бизнесменов, а также бойцов из вступающих в политическую борьбу молодых суб-пролетариев.

Политика национализации: интересы и союзы

После 1989 г. даже самые осторожные и консервативные представители территориальной номенклатуры советских республик принялись различными обходными и не столь обходными путями поддерживать создание и становление национальных движений. Их целью было отвести от себя оппозиционное давление и направить его для обеспечения выгодных условий в вертикальном торге с патронами в Москве. Вторая часть данной стратегии продолжала в новых условиях давнюю практику корпоративистского торга за выделяемые центром ресурсы. В отличие от брежневской эпохи, теперь руководство советских республик заявляло, что остро нуждается в дополнительных полномочиях и средствах из центра, чтобы суметь обуздать радикальных националистов. Тем временем Москва продолжала политически слабеть и терять возможности долгосрочного планирования, а местные бюрократические и экономические практики межведомственного соперничества приобретали острый и откровенно публичный характер, фокус противостояния смещался в сторону конфликтов с соседними регионами и национальностями. В противоположность вертикально

поляризованной и общесоюзной политике демократизации, которая противопоставляла советский «народ» бюрократической правящей верхушке, политика национализации разворачивалась скорее в горизонтальной плоскости. Выстраивание политических союзов переходило границы классов, поскольку номенклатура на местах стремилась позиционировать себя в качестве защитницы интересов своих регионов и национальностей в противопоставлении, как Центру, так и конкурирующим за ресурсы соседям.

В то же самое время из маргинальных зон социальной иерархии возникает мощный приток суб-пролетарской воинственной активности. Мотивацией политического участия суб-прилетариев (преимущественно молодых мужчин, но также, в зависимости от местных традиций и обстоятельств, на какое-то время и женщин) явилась открывшаяся перспектива обретения новых видов социального, символического и экономического капитала. Прежде считавшаяся «бескультурьем» задиристость и традиционалистская «отсталость» представителей этого класса, которые предпочитали изъясняться на родном языке и являлись выходцами из патриархальных религиозных семей, внезапно стала преимуществом на арене националистической мобилизации. Как мы увидели на примере Армении, вчерашние двоечники из непрестижной школы на городской окраине становились завтрашними защитниками нации. (Добавим, что спустя несколько лет молодые ветераны, обретшие в Карабахе воинскую солидарность, характер и навыки, составят сильнейшую группировку в деловой и политической элите Армении). Если простые суб-пролетарские парни могли полагаться в основном только на свой габитус, что в долгосрочном плане помогло далеко не всем из них, то представители фракций суб-пролетариата, успевшие профессионализоваться в криминального рода деятельности, привносили уже не только габитус, но также свои сетевые ресурсы. Повзрослевший дворовой заводила, удачливый контрабандист, подпольный цеховик, коррумпированный чиновник из нижнего районного звена, кооператор первого поколения[57] в исторической паре с новоявленным рэкетиром из бывших спортсменов – все они, раздобыв посредством денег и связей какое-то оружие, могли быстро преобразовать своих приятелей, уличную банду или клиентуру в отряд национального ополчения и выступить в поддержку подобного Шанибову харизматичного оратора, который на следующий день мог стать президентом новой страны. Склонные действовать силовыми методами предприниматели старались по полной использовать возможности, предоставляемые ослаблением государства и хаотическим переходом к рыночной экономике. Вместо прежней стратегии избегания государства или скрытного присасывания к его ресурсам, теперь забрезжила надежда вломиться внутрь самого государства через образовавшиеся бреши. Поэтому суб-пролетарский криминалитет – старые нелегальные торговцы и тем более новые силовые предприниматели, только что осознавшие свой шанс на превра-

[57] Т.е. поколения, возникшего с принятием в 1988 г. законов о легализации частного предпринимательства под видом кооперативной деятельности и совместных предприятий (предположительно с зарубежным капиталом, что практически всегда служило удобной фикцией).

щение силы в деньги и славу – активно искали и с готовностью заключали лишь несколькими месяцами ранее, казалось, совершенно немыслимые политические союзы поверх классовых и статусных границ[58].

Здесь возникает необходимость упомянуть об очередной теории заговора – тайном мафиозном спонсорстве этнических конфликтов. Это объяснение всего и вся было широчайше представлено в сенсационной репортерской журналистике тех лет, в насыщенной слухами общественной среде, обиняками и оговорками постоянно возникало в сумбурном дискурсе официальных лиц и, наконец, сделалось idée fix самиздатовской аналитики, в изобилии производившейся неформальными активистами национальных и демократических движений. Функционально и структурно, теория мафиозного заговора работает по аналогии со старинной легендой об эротико-магнетических злых чарах Распутина и «черном кабинете», обуревавшей воображение российского общества в период первой бесцензурной гласности весны-лета 1917 г. Потрясение от военных неудач и ошеломительно внезапного крушения царской империи порождало в массовом сознании запрос на равно потрясающее и доходчивое объяснение. Распутинская легенда строилась на отзвуках некоторых реальных скандалов, но еще более на совершенно выдуманных эпизодах, призванных по законам повествования подтвердить главную линию, и волшебных преувеличениях (вроде неуязвимости «чорта Гришки» к яду и пулям), художественно преодолевающих ограничительную логику реальности. От регулярного повторения в бульварной прессе и слухах, возникал фольклорный эффект самоусиливающегося эхо. Составные элементы легенды, многократно слышанные с разных сторон, начинали восприниматься как самоочевидные, совершенно общеизвестные, «естественные» и, в силу этого, не нуждающиеся в доказательствах. Со временем, из первоначально обрывочных элементов, которые в ходе передачи утрировались, перекомбинировались и обрастали подробностями, составилась своего рода каноническая версия, еще долго поставлявшая сюжеты и образы для популярных романов и кино[59].

К культурологическому комментарию следует добавить то, что наука сегодня может рационально и с вескими основаниями сказать об организованной преступности. Организованная означает лишь наличие устойчивой группы с внутренней иерархией и обычно с функциональным разделением специально-

[58] В разных формах и степени организованная преступность давно была важной составной частью общественной реальности на Кавказе. Особой славой в криминальном мире советских времен пользовались азербайджанские и армянские цеховики (нелегальные капиталисты под покровительством прикормленных чиновников) и грузинские воры в законе, достигшие совершенно непропорционального, от трети до половины, представительства в этой своеобразной подпольной элите. Увы, нет сколь-нибудь достоверного и систематического знания по данной теме. Однако относительно России после развала СССР см. прекрасные работы Federico Varese, *The Russian Mafia. Private Protection in a New Market Economy*, Oxford: Oxford University Press, 2001; Vadim Volkov, *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002. Русский вариант: Вадим Волков, *Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ.* Москва: Высшая школа экономики, 2005.

[59] Mark Kulikowski, *The Sources of Rasputin's Legend: Conspiracy Theories in the Culture of Russian Revolution*. State University of New York in Oswego, 1992.

стей, чьей профессиональной активностью (заработком, проще говоря) является регулярное совершение неких противоправных с точки зрения государства операций: игорный бизнес, контрабанда, но наиболее типичны (ибо выгодны) охранные услуги по «решению проблем», предоставляемые/навязываемые в частном платном порядке, т.е. «крышевание» других бизнесов[60]. Организованная вовсе не означает централизованная. Классическая сицилийская мафия традиционно делится более чем на сотню локальных семейств[61]. Это локальные монопольные образования, строящиеся вполне в соответствии с практиками семейных фирм или, если применить совершенно здесь уместную архаическую метафору, «вождеств» и «вотчин». Нередко они враждуют между собой по обычным клановым и феодальным поводам (завоевание земель и торговых путей, наследование престола, межевые тяжбы, кровная месть), но периодически могут собираться в союз или рыночный картель для урегулирования внутренних проблем (обычно прекращения междоусобных войн), совместной обороны (в периоды антимафиозных кампаний властей), дележа либо совместной эксплуатации новых рынков (контрабандных сигарет, хлынувших в 1990-е гг. в Италию через распавшуюся Югославию). Даже в Нью-Йорке, где все вырастает до размера небоскребов, итальянская мафия в течение большей части XX столетия оставалась поделена на пять крупных семейств. В Чикаго с его селящимися в собственных кварталах иммигрантскими общинами, которые хронически соперничают в коррумпированной политике вокруг патронажа городской мэрии, мафиозному картелю так и не суждено было возникнуть. Поэтому гангстерская биография Ала Капоне была настолько полна громкими покушениями, погонями и перестрелками с ирландскими конкурентами – и длилась всего несколько лет.

Теперь совместим перспективу культурологического анализа теорий заговора с криминологической перспективой анализа мафии и направим эти стереоскопические фильтрующие окуляры на исследуемую нами панораму распадающейся государственности. Мы увидим площадки, кишащие разнообразными претендентами на обломки власти и собственности бывшего СССР. Становится, надеюсь, четко видно, что это не единый всеохватный заговор, а довольно бессистемная и бестолковая толкотня. В этом хаосе нет организации и, следовательно, не может быть Великого Заговора (а мелких краткосрочных заговоров полным-полно). Если бы присутствовала цельная институциональная сила – будь то легальное Государство или нелегальная, но имеющая строгие понятия Мафия – то куски собственности и власти, которые удалось урвать, оставались бы надежно в руках урвавших. На них можно было бы навесить табличку «мое!» и заверить эту заявку печатями и судебными распоряжениями либо поцелуем руки Верховного Дона, что было бы крепче печатей. Однако теперь, с распадом государства и его монополии на насилие, печати, судебные распоря-

[60] Вадим Волков, *Силовое предпринимательство.* Москва, 2005.
[61] Diego Gambetta, *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection.* Harvard University Press, 1993.

жения и даже «малявы» воров в законе немного значат. Для их исполнения всякий раз требуются свои крутые исполнители. На них же могут найтись исполнители и покруче, откуда возникают переделы и дальнейшая борьба, которая во многих случаях продлится еще годы, до тех пор, пока кому-то не удастся стать убедительной властью и, со временем, признанным государством.

Но как все-таки быть с достоверными фактами обнаружения коррупционеров и криминалитета в национальных мобилизациях на Кавказе? Их не следует стыдливо преуменьшать, однако не следует и раздувать в бездоказательные легенды о «закулисных кукловодах». Здесь мы наблюдаем, в сущности, формирование разнородных альянсов для захвата политической арены и собственности, заключение пактов по поводу временного или более длительного сотрудничества в процессе перехода от диктатуры к демократии – только участники этих пактов, их расчеты и способы достижения целей несколько отличаются от центральноевропейского расклада. Главное отличие в резком ослаблении государственной монополии на легитимное принуждение, что делает самодеятельных поставщиков средств насилия необходимыми участниками коалиций[62]. Политики из националистически настроенных интеллектуалов, чьи дела в 1990-1991 гг. шли в гору, и сами более-менее откровенно искали союза с местной номенклатурой и вожаками суб-пролетариата, поскольку нуждались в доступе к их ресурсам и патронажно-клиентным сетям. Стратегия подобных пактов при переходе от диктатуры к национальной демократии предлагала в сложившейся ситуации гораздо более эффективный способ обрести новый политический капитал, нежели абстрактная и дискредитировавшая себя либеральная риторика московской интеллигенции.

Новые провинциальные законодатели вознаграждали своих спонсоров и союзников принятием законов, поправок, подзаконных актов и служебных инструкций, выдачей лицензий, наделявших тех различными льготами и привилегиями при приватизации госсобственности и осуществлении экспортно-импортных операций (которые приносили фантастическую прибыль, извлекаемую из разницы между смехотворно низкими внутренними плановыми ценами в рублях и мировыми рыночными ценами в иностранной валюте). Перетекание власти из центральных и областных комитетов КПСС в избранные в 1990 г. верховные советы республик сопровождалось распространением новой практики законотворчества в частных целях. Это вызвало целую серию острых конфликтов и столкновений в процессе реализации: кто мог приобретать по остаточной цене магазины и бензоколонки? Выдавать и получать разрешения на вывоз нефтепродуктов и цветных металлов? Судите сами, к чьей юрисдикции отнести, например, расположенный на территории Абхазии санаторий, который в советские годы состоял на финансовом балансе какого-нибудь металлургического комбината, расположенного в идущей к собственной независимости

[62] См. примечательно озаглавленную статью с добротными эмпирикой и анализом Robert Hislope, “Organized Crime in a Disorganized State” in *Problems of Post-Communism*. (May/June 2002) vol. 49, issue 3.

Украине? Где и через какие кабинеты будет проходить его приватизация: в Москве, Киеве, Тбилиси или Сухуми? И ведь везде наверняка будут использоваться аргументы национального суверенитета и рыночной экономики. Дополнительной альтернативой в подобных условиях становился новоявленный местный «национальный конгресс» (комитет, сход, рада, хасэ, хурал, терё), также провозгласивший себя полномочным раздавать права и привилегии.

Вскоре репертуар политических действий существенно пополнился фальсификацией результатов выборов, шантажом, «черным пиаром», заказными убийствами и мобилизацией протестующих толп. Сети местной солидарности и патронажа задействовались путем распространения слухов, посылки ходивших из дома в дом вестников и агитаторов, призыва собирающихся в аульской мечети стариков, предоставления транспортных средств для доставки протестных масс на митинги, раздачи еды и карманных денег митингующим, и пр. Доходило до почти курьезов, когда директор нефтебазы или дома отдыха на побережье Краснодарского края постановлением собрания трудового коллектива мог попытаться объявить вверенный ему объект «казачьей станицей» и, апеллируя к тому или иному из возникавших тогда казачьих «войск» и ассоциаций (в свою очередь ориентирующихся на того или иного влиятельного покровителя в краевой администрации или законодательном собрании), на основании этнокультурных интересов возрождения казачества провести закрытую безналоговую приватизацию в качестве фольклорного заповедника или благотворительного фонда. В случае появления судебных исполнителей и милиции с предписанием в пользу другого претендента на собственность, их могли встретить наряженные в традиционную казачью форму мужчины с ногайками и толпа голосящих баб.

В 1990 г. Шанибова, как и большинство нальчикских оппозиционеров, не допустили к участию в выборах в верховный совет автономной республики. Взамен он провозгласил возглавляемую им самим горскую Ассамблею и ее национальные отделения подлинными представителями северокавказских народов. Эта политическая заявка со стороны обойденных оппозиционеров звучала не слишком убедительно, поскольку реальная власть вполне очевидно оставалась сосредоточенной в руках местной номенклатуры. Однако положение дел внезапно изменилось во второй половине 1991 г. Провал августовского путча в Москве, ставившего целью реставрацию СССР, лишь ускорил его развал. Неожиданный триумф оппозиционного блока Ельцина и скандально явное поражение не только верхушки коммунистических консерваторов в Москве, но и всего советского истеблишмента включая президента СССР Горбачева, разом обрушили позиции консервативного руководства краев и республик Северного Кавказа. Один из местных демократических лидеров (в недавнем прошлом археолог), лишь немного преувеличивал, пошутив в нашем разговоре: «Если бы в те дни мы поставили гильотину на главной городской площади, наша номен-

клатура послушно бы выстроилась в очередь на собственную казнь. Они были в ужасной растерянности и готовились к самому худшему».

Однако вместо эпической трагедии революционного террора случился политический театр абсурда. Возмущенные активисты кабардинского движения разбили лагерь на площади напротив здания местного правительства и объявили голодовку в знак протеста против реакционного путча в Москве и его сторонников в Нальчике. Протестантам оставалось неведомо, что начальство Кабардино-Балкарии уже и так бежало в панике. Лишь пару дней спустя проникшие, наконец, в здание молодые борцы за демократию обнаружили там всего нескольких вконец растерянных милиционеров и излишне прилежных служащих, зачем-то продолжавших являться на работу. Ошеломительная новость о бегстве старого режима внесла смятение в планы уже самих голодовщиков. Организаторы акции протеста настаивали на следовании демократической процедуре, хотя и не могли внятно объяснить, что бы это означало в сложившихся обстоятельствах. Самым простым объяснением, предложенным участниками и обозревателями тех событий, было то, что никто и не мог предположить столь внезапного крушения коммунистического режима. Как ни удивительно, но революции осени 1989 г. в соцстранах Восточной Европы даже два года спустя, очевидно, так и не дошли до сознания провинциальных оппозиционеров как нечто из их собственного ближайшего будущего. Застигнутая врасплох демократическая оппозиция в регионах России в большинстве своем оказалась морально и организационно еще менее готова взять власть, нежели консервативные путчисты августа 1991 г. Впрочем, возникает дополнительное соображение, которое усложняет картину и во многом оправдывает нальчикских оппозиционеров. Это соображение возвращает нас к спорам о том, почему демократическая оппозиция на Съезде народных депутатов в 1989 г. не смогла или не решилась заручиться внепарламентской активной поддержкой за пределами Москвы. Двумя годами позднее, в 1991 г., ячейки демократов на местах, подобные шанибовским сетям друзей, коллег и бывших студентов, выросли в спектр политических движений. Однако эти революционные силы все еще оставались нескоординированными, разделенными границами различных областей России, и не имели ясного видения политических целей и стратегии помимо противостояния «партократам». Активисты глубинки связали свои надежды с ельцинским правительством Российской Федерации и стремительно набиравшими влияние политическими патронами из бывшей оппозиции, отныне почти безраздельно господствующей в переходном парламенте России образца 1990-1993 гг. Надеждам было не суждено оправдаться. Ельцин и сам вскоре после провала августовского путча престранным образом исчез из вида почти на два месяца (злые языки утверждали, что президент России ушел в запой после нервного перенапряжения в августе). Как бы то ни было, вполне ясно, что Ельцин и его на скорую руку собранная пестрая группа соратников сами были ошеломлены свалившейся на них властью и ответственностью за управление громадной стра-

ной с пока неясным статусом и границами, буквально на глазах разваливающейся среди экономических проблем и политико-административного хаоса. Только где-то к концу осени 1991 г. Ельцин решился пойти на роспуск СССР с тем, чтобы консолидировать платформу власти в избавившейся от союзных республик России и взять курс на осуществление неолиберальной шоковой терапии в отчаянной надежде догнать Польшу и другие центральноевропейские страны бывшего соцлагеря на пути к капиталистическому Западу.

Осень 1991 года действительно грозила катастрофой. Жестокий экономический и продовольственный кризис мог обернуться настоящим голодом уже предстоящей зимой. Вооруженные силы были парализованы возникновением нескольких центров принятия политических решений в Москве и в столицах одна за другой провозглашавших независимость республик. Еще, казалось, немного – и армия ядерной сверхдержавы встанет перед угрозой полного распада. Ее растаскиваемое вооружение и бывшие военнослужащие в качестве патриотических добровольцев либо наемников сильно подбавили горючего в топку подобных Карабаху конфликтов, которые стали перерастать в полномасштабные войны с артобстрелами, танковыми прорывами и линиями траншей. Рыхлый альянс нечаянных победителей, скоротечно собравшихся вокруг харизматичного, но малопредсказуемого Ельцина, не имел не только четкой программы действий, но и ясных позиций в госаппарате, который еще только предстояло завоевать, привлечь на свою сторону. То было время политических импровизаций, которые в большинстве своем оставались пустопорожними декларациями в отсутствие средств и механизмов реализации, либо сиюминутными экспериментами в попытках создать новые учреждения и производить собственные политические назначения. В хаосе тех дней, оказавшиеся у руля в Москве, пребывали в замешательстве либо противоречили друг другу в отношении к потоку проектов и просьб о поддержке, поступавших с мест от различных именующих себя демократами деятелей и движений. Зачастую в Москве просто не знали, кем в действительности являлись эти люди или какова реальная политическая ситуация в их регионах. Те или иные фигуры на хаотичной московской арене по каким-то личным земляческим причинам и патронажным амбициям могли предпринимать собственные политические и аппаратные интриги, оформляя их декретами, мандатами либо даже конституционными поправками. Но в целом осенью 1991 г. противоестественно сосуществующий в неловком двоевластии горбачевско-ельцинский Центр отделывался расплывчатыми призывами соблюдать конституционный порядок и защищать демократические принципы.

В итоге, начатая в последние дни августа 1991 г. протестная демонстрация в Нальчике вылилась в удивительное примирительное обращение к бывшим коммунистическим властям с просьбой продолжать исполнение своих обязанностей до проведения свободных и демократических выборов; у Москвы же попросили обеспечить справедливость на грядущих выборах в Кабардино-Балка-

рии. Посланцам оппозиции потребовался целый день, чтобы отыскать-таки верхушку свергнутого было коммунистического режима, укрывшуюся в селении с занятным названием Кызбурун-3. Руководство вернулось в Нальчик, а Верховный Совет собрался, чтобы назначить выборы президента республики на январь 1992 г. Так разрешилась первая революционная ситуация в Кабардино-Балкарии. На новосозданный пост президента Кабардино-Балкарской республики осенью 1991 г. претендовали четыре кандидата. Все четверо были кабардинцами – видя полное отсутствие шансов на успех, балкарцы бойкотировали выборы. Интеллектуалы из кабардинской демократической оппозиции, упустившие момент в августе 1991 г., потерпели неожиданное поражение. Их кандидат – почтенный филолог и литератор-фольклорист – не прошел во второй тур выборов. Даже многим из своих сторонников престарелый профессор виделся слишком неубедительной политической фигурой, неспособной возглавить республику в столь бурные и тяжелые времена. Попытки найти ему замену в лице более энергичного кандидата натолкнулись на фракционную раздробленность и личное соперничество в стане оппозиции. Одни казались слишком молодыми, что играло роль в обществе сильных патриархальных традиций. Не столь молодого Шанибова подозревали в радикализме и бонапартистских тенденциях.

В конце концов, президентство досталось Валерию Кокову – последнему первому секретарю Кабардино-Балкарского обкома КПСС, вовремя ставшему спикером местного парламента. Этот закаленный представитель правившей республикой с пятидесятых годов патронажной группировки старой номенклатуры за предшествовавшие президентским выборам четыре месяца сумел мобилизовать местное начальство всех уровней – а может, вернее будет сказать, что это местное начальство сплотилось вокруг статусного человека из «своих», в царившем хаосе обещавшего восстановить порядок и обеспечить сохранение их положения. На фоне слабости оппозиционеров реализовалась модель консервативной контр-мобилизации, ставшая в тот момент типичной для многих областей России и большинства республик бывшего СССР (будь то Украина или Узбекистан), где государственные структуры не успели подвергнуться разрушению. После периода паралича от неопределенности и страха, местная номенклатура поняла, что ее выживание более не зависело от одной лишь Москвы, и начала действовать самостоятельно. Обычно ее действия приводили к успеху. Однако в Кабардино-Балкарии постсоветскому реставрационному режиму Кокова еще предстояло пережить второй и гораздо более сильный революционный шквал всего лишь несколькими месяцами позже первого.

Среди автономных республик Российской Федерации только в Чечне (которая в середине 1991 г. все еще была Чечено-Ингушетией) августовский взрыв в Москве привел к победе местной революции. Структуры власти коммунистического периода в Грозном были полностью повержены. Вероятность революционного исхода в Чечне была обусловлена особенностями ее более чем проти-

воречивого социально-демографического состава и отклонений во внутренней политике советского периода, к чему мы обратимся в следующем разделе. Анализ причин чеченской революции важен не только в силу ее особо трагических последствий, но и по контрасту с событиями, потрясшими Кабардино-Балкарию.

Этнодемографический взрыв

Когда в 1957 году чеченцы и ингуши начали свое массовое возвращение из ссылки на родину, им предстояло вернуться на далеко не пустое место и буквально отвоевывать позиции. У себя дома они долго оставались отмечены коллективной печатью «неблагонадежного народа», что в массе переживалось крайне болезненно. В частных беседах даже облеченное ответственностью местное советское руководство не особо стеснялось называть их изменниками и пособниками фашистов. В сущности, это служило предлогом для обычного городского и поселенческого шовинизма. За время ссылки коренных национальностей на территории упраздненной в период 1944-1956 гг. автономии произошло мощное послевоенное восстановление стратегически важной для советской экономики нефтяной промышленности. Это стало причиной переезда, прежде всего, в город Грозный многих тысяч славянских рабочих и специалистов, эвакуированных сюда в последние годы войны и затем направляемых по централизованной разнарядке и распределению из вузов. Они устроились и обжились, и как-то сама собой установилась фактическая монополия мигрантов на основные сферы городской жизни, тем более, что и до депортации вайнахов в Грозном их было лишь незначительное меньшинство. Прежняя гарнизонная крепость, затем превратившаяся в нефтехимический индустриальный анклав, развивалась в отрыве, если не полном протиповопоставлении сельской местности – не только вайнахской, но даже и гребенской казачьей. Сложившееся положение регулярно подкреплялось советской практикой административно-милицейского ограничения прописки в городской черте.

До 1989 г. ни один чеченец (и тем более ингуш) так и не стал главой автономной республики, формально носившей название двух титульных национальностей. Большинство руководителей ведомств городской и республиканской исполнительной власти, промышленных предприятий, проектных институтов, учебных заведений, больниц, редакций газет и телевидения Грозного, не говоря об органах милиции и КГБ, вплоть до конца перестройки составляли пришлые кадры[63]. Кроме того, после депортации 1944 г. большинство мечетей в селах было разрушено или по распространенной советской атеистической практике использовалось под клубы и складские помещения. В 1960-1970-х их восста-

[63] По основанным на открытых советских данных подсчетам американского советолога Майкла Рывкина, в 1970-е гг. доля русских в партийном руководстве Чечено-Ингушетии составляла порядка двух третей – совершенно исключительные показатели даже для автономных республик и областей Северного Кавказа, тем более для союзных республик. Michael Rywkin, *Moscow's Lost Empire*. Armonk: M.E. Sharpe, 1994.

новление оставалось фактически под запретом – хотя в соседнем Дагестане одних только легально действующих мечетей насчитывалось более сотни. Депортационный опыт коллективного выживания с сохранением достоинства вкупе с особо ревностным проведением русскими властями Чечено-Ингушской АССР общесоюзной атеистической политики загнали чеченский и ингушский ислам почти что в подполье, где действовали плотно спаянные мистические суфийские братства-тарикаты. Официальные атеистические ограничения в итоге способствовали не секуляризации общества, а наоборот, усилению сокрытой религиозной традиции, мощно подпитывающей сельскую этническую идентичность в противостоянии пришлым горожанам.

Не меньшим оскорблением и, следовательно, генератором негативной эмоциональной энергии служила установленная на одной из площадей Грозного статуя основателя города – царского наместника на Кавказе генерала Ермолова. В 1818 г. по его указанию на военной линии вдоль реки Сунжи была заложена крепость Грозная, перекрывавшая чеченцам выход из гор на равнину. Харизматичный, амбициозный и неумолимый Ермолов, бравировавший своей солдафонской суровостью (и одновременно читавший в подлиннике «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря), провозгласил свое намерение «запереть чеченское зверье в их глухих голодных трущобах», пока голод не принудит «туземцев» просить о мире, законопорядке и цивилизации. Современник Ермолова поэт и дипломат Александр Грибоедов не без восхищения назвал подобный стратегический подход к установлению государственной власти на колониальной периферии «барабанным просвещением»[64]. В 1982 г. состоявшее преимущественно из русских переселенцев правительство Чечено-Ингушской АССР отпраздновало двухсотлетие «добровольного вхождения» в состав России. Даже по меркам брежневских времен юбилей многим (включая работников партаппарата) тогда казался никчемно помпезным и насквозь фальшивым. К чему, спрашивали они, сыпать соль на едва затянувшиеся раны? Причины, конечно, были. Юбилей способствовал созданию показной отчетности и выбиванию званий и ресурсов в московских кабинетах. Это обычная для тех времен мотивация. Однако просматривается и дополнительный специфичный мотив. Участие в праздновании послужило (более в сталинских, чем брежневских методах) принудительным тестом на лояльность чеченской и ингушской номенклатурной и культурной элиты автономии. Сомневающихся запугивали, несогласных прорабатывали вплоть до оргвыводов, снимая с должностей и исключая из партии, что означало если не арест и смерть, то очень крупные неприятности и конец карьере.

[64] Яков Гордин, *Кавказ: земля и кровь*, Санкт-Петербург: «Звезда», 2000, стр 121. Классическим реалистическим описанием русского восприятия Кавказской войны являются такие рассказы молодого Льва Толстого, добровольцем пошедшего в артиллерийские офицеры на Кавказе, как *«Рубка леса»* и *«Набег»*. Совсем иная по тональности повесть *«Хаджи Мурат»* была написана полвека спустя и отражает переход Толстого к антиавторитарному пацифизму последнего периода его жизни.

Торможение выдвижения лиц коренной национальности на руководящие посты, ограничение городской прописки по фактически этническому признаку, чреватые шовинизмом атеистические перегибы и «нечуткое отношение» к истории местных народов, проработки в парткомах по малейшему подозрению в нелояльности (вспомним случай с поэтическим кружком «Прометей») даже по меркам советской действительности вполне могли рассматриваться как «нарушения ленинской национальной политики». Именно на это постоянно указывалось в письмах, адресованных Центральному комитету КПСС от «истинных коммунистов» и ветеранов из чеченцев и ингушей (среди которых, как ни удивительно, сохранялось немало твердокаменных сталинистов, считавших, что жесткость великого Вождя была совершенно необходима и оправдана во всем – кроме, конечно, ошибок, допущенных по отношению к ним самим, чеченцам и ингушам, в которых, впрочем, целиком винили Лаврентия Берия). Письма и жалобы, однако, не получали ожидаемого ответа, а то и подавно передавались по инстанциям обратно в Грозный, к тем же самым «чинушам и перегибщикам». После воцарения брежневизма с его консервативной внутренней политикой «стабильности кадров» Москва крайне редко и неохотно утруждала себя вмешательством в дела местных сетей патронажа[65].

Задолго до исключительного исхода национальной революции ситуация в советской Чечено-Ингушетии отличалась от положения дел на остальном Кавказе. Она скорее напоминала Алжир под властью Франции. Большой современный город, населенный в основном переселенцами из Европы, довлел над аграрной местностью с населением, придерживавшимся, в целом, традиционного патриархального уклада и мусульманских диспозиций, притом сохранившим память о воинских доблестях и длительном жестоко подавленном сопротивлении. На 1989 г. чеченцы составляли всего 17% жителей Грозного и притом 54% населения автономной республики. В большинстве своем это были либо полупролетарии, селившиеся в разрастающихся селах на окраинах столицы, либо крестьяне в этнически гомогенных селах. В населенных пунктах, где чеченцы и ингуши оказывались в соседстве с сельским русским населением (преимущественно из бывшего терского казачества) возникала демографическая конкуренция, чреватая бытовой конфликтностью. Это вело к постепенному миграционному выдавливанию и без того естественно стареющего русского населения (что отчасти напоминает процессы этнической гомогенизации окружавшей Грозный сельской местности). В противоположность промышленным центрам, на селе предоставление государством набора социальных услуг и жилья оставалось минимальным – что в среде чеченского народа углубляло засевшее после депортации отчуждение от власти и приучало (вынуждало, заставляло) их полагаться только на себя и на своих в решении проблем жизнеобеспечения помимо и в обход государства. Отсюда большие сельские семьи, объединявшие под одной крышей несколько поколений, и их необычно высокий уровень рождаемо-

[65] Джабраил Гаккаев, *Очерки политической истории Чечни.* Москва, 1997.

сти. На это накладывается и мощная субъективная мотивация. Свойственная крестьянским и особенно суб-пролетарским домохозяйствам демографическая стратегия роста, объединения родственных ресурсов и взаимопомощи в случае с большими чеченскими семьями отражала также культурно-субъективное стремление к восполнению людских потерь, понесенных во время высылки. Многодетность воспринималась с похвалой не только как патриархальная добродетель и божья благодать, но и как патриотическая обязанность. Цифры весьма красноречивы. В 1944 г. депортации подверглось, по ныне уточненным данным, 407,9 тысяч чеченцев и 95,3 тыс. ингушей, из которых, как считается, до двадцати процентов погибло от болезней и тягот[66]. Несмотря на это, к концу 1980-х гг., всего пару поколений спустя, численность чеченцев выросла в четыре раза и приблизилась к миллиону. Они стали крупнейшей коренной национальностью на Северном Кавказе, более чем вдвое превосходящей вторых по численности кабардинцев. При этом большинство чеченского этноса составила активная молодежь.

Демографическая экспансия произвела минимум три значительных последствия, отразившихся в национальной революции. Первое, чеченцы составляли больше половины населения Чечено-Ингушской АССР и, таким образом, стали единственным титульным народом на Северном Кавказе, обладавшим численным большинством в своей автономной республике – и это, конечно, вселяло уверенность в том, кому должна принадлежать Чечня. Во-вторых, общая молодость чеченского населения (так контрастирующая с быстро стареющими русскими и, в определенной степени, даже кабардинцами)[67]. К началу чеченской войны готовых стать под ружье молодых людей оказалось более чем достаточно – и вдобавок, многие из мужчин призывного возраста были малообразованными и нетрудоустроенными суб-пролетариями, ищущими самореализации. Здесь мы подходим к третьему этническому отличию, на самом деле относящемуся не столько к национальному менталитету и культуре, сколько к категории социально-демографического давления. Экспансивная демографическая динамика предшествующих десятилетий напрямую связана с высокой структурной безработицей в государственном сельхозсекторе Чечено-Ингушетии и одновременно с возможностями полу-официальной трудовой миграции, в основном строительной «шабашки», в более нормальные советские годы приносившей неплохой семейный доход. Уже к моменту возвращения из ссылки чеченцев и ингушей оказалось вдвое больше, чем имеющихся на их родине свободных рабочих мест, включая даже непрестижные места в колхозах и совхозах. К концу советского периода структурная безработица не только не была преодолена, но даже возросла в силу снижения промышленного роста. По подсчетам грозненских социологов и экономистов, проведенным в середине 1980-х гг., около 40% сельских тружеников колхозов и совхозов Чечено-Ингу-

[66] http://www.polit.ru/research/2004/02/27/demoscope147.html

[67] Anatol Lieven, *Chechnya: The Tombstone of Russian Power*, New Haven: Yale University Press, 1998, pp.322-323.

шетии получали лишь минимальную зарплату (порядка 80 рублей в месяц), поэтому едва ли следует удивляться, что почти 60% взрослых женщин на селе официально считались нетрудоустроенными (т.е. работали, наверняка, от зари до зари, в домашнем хозяйстве)[68]. По большинству официальных показателей общественно-экономического развития, Чечено-Ингушетия регулярно занимала последние места в списке национальных республик и автономий СССР, соревнуясь в негативном смысле с Таджикистаном. Однако на месте положение дел представало взору непосредственного наблюдателя несколько иным. Чеченские села сохраняли патриархальную культурную среду (что, подчеркнем, было не пережитком архаики, а социальной адаптацией к субпролетарскому положению), однако материальная среда отнюдь не выглядела архаичной и нищей. Да, детей много и женщины связаны традиционными обязанностями по домохозяйству, но это вовсе не страна Третьего мира. В селах строилось немало зажиточных кирпичных особняков, обставленных цветными телевизорами, холодильниками, коврами и современной мебелью; замыкал обязательный список хорошего домохозяйства автомобиль в гараже. Основная часть этого благосостояния была заработана тяжелым трудом на отходных работах (все на той же шабашке) или рискованной деятельностью в теневой сфере советских времен (например, в контрабандном вывозе неучтенного золота с сибирских государственных приисков). Сравнительно суровый и нередко засушливый климат не позволял чеченцам полагаться на прибыльное приусадебное огородничество и садоводство, в 1960-х ставшее основой народного благосостояния Абхазии и западных районов Северного Кавказа.

По экспертным оценкам, каждой весной примерно сорок тысяч мужчин из Чечено-Ингушетии выезжали на сезонные заработки в Казахстан и Сибирь, где у многих сохранились личные связи еще со времен ссылки. Обычно это была временная работа на строительстве и в сельском хозяйстве, привлекавшая участников возвратной миграции, которые создавали устойчивые артели с четкой внутренней иерархией и земляческие общины, группирующиеся по отраслям экономики и географическим областям. Миграция рабочей силы чеченцев и прочих коренных обитателей горных зон Северного Кавказа основывалась на вековой традиции. В принципе, во все времена и во всех странах горцы, жившие в условиях ограниченных ресурсов своих ландшафтных зон, были вынуждены искать дополнительных приработков в качестве сезонных работников (пастухов, копателей колодцев, сборщиков урожая), военных наемников и охранников («мамелюков» в широком смысле), или традиционных разбойников (коно- и скотокрадов, захватчиков пленников на продажу и за выкуп, грабителей с большой дороги). Заметим, однако, что среди трех ипостасей горца-ми-

[68] Г.С. Гужин и Н.В. Чугунова, *Сельская местность Чечено-Ингушетии и ее проблемы*, Грозный: Чечено-ингушское книжное издательство, 1988.

гранта о пастухах и батраках гораздо реже говорится в песнях, легендах, и тем более в военных сводках.

Сезонная миграция создавала особую подкультуру, нормы и ритуалы которой в основном относились ко внутренней организации мигрирующих групп. Группы (артели) обычно сплачивались вокруг опытных мужчин, наделенных почти родительской властью и обязанностями. Члены группы формировали своеобразное братство с внутренней градацией в зависимости от старшинства и признания личных достоинств. Традиционные узы кланового родства, сельской общности и религиозной принадлежности сообщали дополнительную прочность внутригрупповым дисциплине и сплоченности. Для понимания чеченской революции и войны важно, что подобные трудовые группы создают многоцелевую и высокоадаптабельную модель микроорганизации, которая в изменившихся обстоятельствах могла быть приспособлена к решению совершенно иных задач – например, создания ячейки националистического движения или отряда боевиков. По моим полевым наблюдениям, наиболее организованные боевые подразделения «артельного» типа в недавних войнах на Кавказе можно было наблюдать не только в Чечне, но и в Нагорном Карабахе, чьи армяне-христиане также горцы и регулярные мигранты. Несмотря на конфессиональные и культурные различия, у воевавших армян прослеживается нечто общее с чеченскими добровольцами первой, еще патриотической войны (1994-96 гг.). Это не только личный героизм и глубокая убежденность в том, что они воюют за спасение своего народа от повторного геноцида, но также и неожиданно высокая дисциплина, подчинение старшему, четкое и вполне рациональное разделение труда и почти семейная сплоченность в группе. Воевали эти партизаны лучше регулярных армий, во всяком случае, на тактическом уровне и за исключением особо профессиональных спецподразделений. Однако в случае добровольцев профессионализм не мог быть военного происхождения. Это был скорее профессионализм многоцелевых, взаимно дисциплинированных и изобретательных шабашников. Воевали так, как работали, с оружием и техникой обращались, как со своим собственным трудовым инструментом. Было бы интересно изучить в сравнительном плане, в какой мере трудовая миграция и военная служба оказали влияние на характер организации войн и в бывшей Югославии, откуда в прежние времена миллионы мужчин ходили на заработки строителями и автосборочными рабочими в Германию и Скандинавию.

Руководствуясь этими ориентирами, мы можем также найти рациональное объяснение скандально известного взлета чеченской мафии в ходе российской приватизации конца 1980-х и первой половины 1990-х. По параметрам социально-демографического состава и культурного капитала, чеченская и другие «южные» этнические мафии мало отличаются от групп, занимающихся обычной трудовой миграцией. Они в основном состоят из молодых, малообразованных и при этом статусно-ориентированных чеченцев, которые в одиночку либо ма-

ленькими спаянными группами уезжали из родных деревень в надежде получить хорошую работу или высшее образование. Некоторые, подобно Беслану Гантамирову или Шамилю Басаеву, оказались малопригодными для университета и были исключены; другим так и не удалось найти работу, поскольку традиционные для предыдущих поколений чеченцев рабочие места в строительстве и сельском хозяйстве теперь, с разрушением советской экономики, либо исчезли, либо оказались занятыми работниками из Украины, Молдовы, Таджикистана. Эти молодые чеченцы предпочли постепенному сползанию в прозябание на чужбине или возвращению домой жалкими неудачниками пробить себе путь в опасный, но крайне прибыльный и романтизированный мир «силового предпринимательства». Традиции родственно-клановой солидарности, чеченской маскулинности, подросткового и воинского и ритуализированного насилия («джигитства»), несомненно, сыграли значительную роль в подобном выборе, снабдив их готовым набором необходимых навыков и групповой солидарности, которые предоставили значительное преимущество в криминальном мире[69]. Это лишь самое предварительное эскизное обозначение подхода к проблеме. Потребуется особое исследование для изучения механизмов переноса традиционных социальных институтов и практик с гор Кавказа на беззаконные рынки посткоммунистической России. А пока загадочный чеченский национальный характер продолжает занимать воображение российских и западных журналистов, писателей популярных триллеров, сценаристов и режиссеров телесериалов, а также немалого числа экспертов по этнополитологии и культурологии. Но стереотипы как-то совсем не замечают того факта, что Чечня более не является клановым обществом горцев.

Чеченская революция

Только в 1989 г. предпринятая Горбачевым замена брежневского поколения аппаратчиков и общая атмосфера демократизации, наконец, позволили небольшой ущемленной в своем росте элите чеченских административных кадров и образованных горожан пробиться через «стеклянный потолок». Оговорюсь сходу, такого рода заявления неизбежно относительны. Существовала и чеченская номенклатура, и интеллигенция, порою с еще досоветскими корнями. Однако наиболее успешные из них жили за пределами автономной республики.

[69] Ходит множество героических, хотя, в основе своей, быть может, достоверных рассказов о том, как горстка чеченцев брала на испуг или первой атаковала многократно превосходящих числом русских гангстеров. Распространение подобных историй (особенно самими чеченцами), очевидно, служит целям поддержания образа совершенно лишенных чувства страха, свирепых и приверженных своим кланам экзотических варваров. Эти типично кавказские бравада и блеф могут действительно сработать – особенно при случайных и неподготовленных противостояниях. В то же время бытует иллюстриеруемое другого типа рассказами мнение, будто чеченские гангстеры любой ценой, по «Закону гор», держат слово перед врагами, друзьями и деловыми клиентами. Разумеется, репутация особо опасных конкурентов и одновременно надежных партнеров служит преимуществом в мафиозном мире, равно как и в банковском деле. Подобные рассказы следует воспринимать не как достоверные этнографические данные, а как своего рода репутационный «бизнес-пиар». См. Diego Gambetta, *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection.* (Harvard University Press, 1993).

Помимо низкостатусных трудовых мигрантов, немало выпускников чеченских школ подавали документы в вузы за пределами ЧИАССР, пытаясь избежать считавшихся неминуемыми при поступлении в Грозном местного шовинизма и интриг, и сделать карьеру на просторах Советского Союза. Многие из них преуспели и достигли высоких постов за пределами «малой» родины. Среди них доктор наук Саламбек Хаджиев, последний министр нефтяной промышленности СССР, и преподававший экономику в Москве спикер переходного парламента России в 1991-1993 гг. Руслан Хасбулатов, и генерал-майор ВВС Джохар Дудаев. Подобные успешные личности служили ролевыми моделями для соотечественников и достигшими вершин покровителями, отчего они обладали значительным потенциальным влиянием на дела у себя на родине.

Теперь же, в начале 1989 г., чеченец Доку Завгаев, дотоле постепенно выдвигавшийся по линии руководства сельским хозяйством, сменил на посту первого секретаря обкома своего русского и весьма консервативного предшественника, который благоразумно предпочел избраться на союзную депутатскую должность в Москве. В Чечено-Ингушетию, наконец, пришла перестройка. (Прежде местному филиалу Союзпечати было негласно предписано не ввозить в автономную республику популярные перестроечные издания, вроде «Огонька» и «Московских новостей».) Вскоре под предлогом небольшой по новым перестроечным меркам волны местных жалоб и протестов Завгаев устроил чистку районного звена, которую в те дни весело называли «весенним листопадом» райкомов[70]. Большинство новых назначенцев принадлежало к коренным национальностям, и при этом было личными клиентами Завгаева. После таких перестановок все на какое-то время, казалось, стихло. Еще весной 1991 г. Завгаев мог с гордостью сказать заезжему московскому репортеру: «Зато поглядите, как мирно и спокойно в нашей Чечено-Ингушетии!»

Вслед за восходящей чеченской номенклатурой, в новообразованное поле местной политики двинулись сразу несколько соперничающих фракций молодых интеллигентов, среди которых тогда было немало местных русских специалистов. Они следовали стандартной схеме времен перестройки: вначале, и довольно долго, была экология (тем паче в районе Грозного и Гудермеса хватало вредных химических производств), реформа образования, затем экономическое «ускорение» и кооперативы, демократизация, следом сохранение памятников старины (знаменитых средневековых башен в горах), возрождение фольклора и возвращение к преступлениям сталинизма, но пока никакого радикального национализма и, тем более, исламизма. К 1990 г. «неформальная» фаза общественной активности, проявлявшаяся в основном в прессе и на периодических митингах местного Народного фронта в поддержку перестройки, как-то сходит на нет. На выборах 1990 г. в верховные советы России и Чечено-Ингушетии с огромными трудностями прошли лишь единичные представители оппозиционной интеллигенции (либо, как подозревали местные наблюдатели, по негласно-

[70] Тимур Музаев и Зураб Тодуа, *Новая Чечено-Ингушетия.* Москва: Группа «Панорама», 1992.

му соглашению с хитроумным Завгаевым, предпочитавшим играть в несколько игр сразу). Возникшая в оппозиционной среде неловкая пауза длилась вплоть до лета 1991 г.

Отдельным «застрельщикам» из перестроечной интеллигенции никак не удавалось добиться союзов ни в среде местной номенклатуры, ни среди массы населения. Завгаев успел быстро подчинить себе патронажные сети внутри автономии и перехватить у оппозиции потенциально наиболее мобилизующие лозунги суверенизации республики и реабилитации народов, пострадавших от сталинских репрессий. Осенью 1990 г. завгаевская администрация провела в грозненском цирке Конгресс чеченского народа под своим более-менее очевидным аппаратным контролем. Бурное, подчас хаотичное собрание приняло, в конце концов, декларации о суверенитете и реабилитации, которые Завгаев затем мог использовать в качестве аргумента уже в своем торге с Москвой за ресурсы и статус. Таким ярким личностям и ораторам, как поэт Яндарбиев, журналист Удугов и талантливый самоучка с тюремным прошлым Юсуп Сосланбеков оставалось вместе с Шанибовым заниматься риторической политикой на символической площадке Ассамблеи горских народов. Впрочем, одно, тогда мало кем распознанное, «но». Президентом Конгресса чеченского народа был избран исключительно харизматичный генерал авиации Джохар Дудаев. Тогда это выглядело очередным закулисным маневром завгаевских аппаратчиков. Считается (во всяком случае, так неизменно любили повторять завгаевские кадры), что своим недавним производством в генералы Дудаев был во многом обязан лично Завгаеву, ратовавшему за него в Москве во имя повышения общего престижа чеченцев[71]. Избрание генерала, который никогда не жил в Чечено-Ингушетии и не имел там связей, делало его номинальной фигурой и одновременно отсекало местных радикалов от символической должности. Казалось, Завгаев действительно «контролировал обстановку» скорее по аналогии с республиками Средней Азии, нежели Кавказа. Он не раз признавал, что пример берет с главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Взрыв в Грозном случился еще более неожиданно, чем в Нальчике. Чеченская номенклатура оказалась в одночасье скомпрометированной своим предполагаемым сотрудничеством с путчистами в августе 1991 г. На самом деле в Грозном в дни попытки переворота, как и повсюду, царила напряженно-выжидательная атмосфера, однако, Завгаева якобы видели в Москве, входящим в Кремль, о чем немедленно разнеслись слухи. Роль субъективного «детонатора» сыграли две совсем разные личности, оба чеченцы с экстраординарным символическим капиталом из-за пределов республики. В Москве это был стремительно набиравший влияние спикер Российского парламента профессор Руслан Хасбулатов, который, очевидно, строил собственные планы насчет политического руководства на своей малой родине. С другой стороны ход истории активно изменял генерал Дудаев, который вышел в отставку и перебрался жить в

[71] Carlotta Gall and Thomas de Waal. *Chechnya: Calamity in the Caucasus.* New York: NYU Press, 1998.

Грозный всего за несколько месяцев до внезапных бурных потрясений. Дудаев, ставший харизматическим центром притяжения для масс и игравший совершенно аналогичную Ельцину роль «убедительного» начальника и вождя среди оппозиционных интеллигентов, буквально на ходу формировал собственный политический альянс. Несколько недель в сентябре и октябре более статусная чеченская интеллигенция и прагматичные промышленные руководители, вероятно поддерживаемые из Москвы Хасбулатовым, боролись доступными им преимущественно аппаратными средствами за овладение обезглавленным и парализованным механизмом власти. Однако обладавшим несравненно более низким формальным статусом радикалам во главе с политическим одиночкой генералом Дудаевым удалось обойти складывающийся союз либералов и консерваторов, поддерживая в течение этих критических недель перманентную, стихийную и оттого с неизбежно карнавальным оттенком, то празднующую, то негодующую мобилизацию толп на улицах Грозного.

Откуда пришли в центр города эти чеченцы? Из высокогорных сел, но все же куда более из разросшихся вокруг Грозного полусельских окраин. Чем больше участников собирали митинги, тем больше остальные чувствовали себя обязанными присоединиться к ним. Один из ведущих участников тех событий Зелимхан Яндарбиев описывает в своих мемуарах, как 19 августа, в первый день провозглашенного путчистами в Москве чрезвычайного положения, на главную площадь Грозного вышло от силы два-три десятка самых отчаянных активистов. Цели их были неясны даже им самим. Ожидание у себя дома неминуемого (как они считали) ареста казалось им просто невыносимым. Психологически все выглядит, надо отдать должное Яндарбиеву, вполне достоверно. Милиция, к изумлению протестующих, лишь вежливо попросила их разойтись и «не нагнетать». На второй день, когда стала более заметна нерешительность реакционных сил, на площадь пришло несколько сотен. На третий день приказ о выводе танков с московских улиц и весть о скором возвращении Горбачева в Кремль позволили вздохнуть спокойно – и пришло более двух тысяч демонстрантов. На следующий день на площади шел многотысячный митинг, число участников которого дальше росло подобно лавине[72]. Даже если приведенные Яндарбиевым цифры не отличаются точностью, описание вполне передает общую динамику событий.

Митинги в Грозном на фоне наблюдаемых по телевизору невероятных событий в Москве стали главным центром эмоционального внимания. В эти дни практически все испытывали небывалое облегчение после схлынувшего напряжения. Здесь следует упомянуть затем почти забытый факт. Всего лишь двумя месяцами ранее, на выборах российского президента в июне 1991 г., Ельцин получил весомое большинство голосов в республике (почти столько же, сколько у себя в родной Свердловской области), а в ингушских селах этот показатель достигал 98%. (Неудивительно, что и хитроумный Завгаев, не теряя рассудка, ис-

[72] Зелимхан Яндарбиев, *В преддверии независимости*. Грозный: Издательство «Ичкерия», 1994, стр. 41-51.

подволь заигрывал тогда с Ельциным.) Чеченцы и ингуши поверили в знаменитые предвыборные обещания лидера российских демократов передать республикам столько суверенитета, сколько они «смогут унести», добиться полной «реабилитации» репрессированных народов и предоставления им долгожданной компенсации за жертвы и страдания сталинской депортации. В ретроспективе видится почти невероятным, что летом 1991 г. большинство чеченцев связывали свою судьбу с Ельциным. В дни путча они замерли, ожидая, что теперь придет страшная расплата за поддержку главного московского демократа, ставшего главным врагом ГКЧП. На фоне драмы в Москве по республике поползли слухи о загадочной концентрации грузовиков неподалеку от границ Чечено-Ингушетии. По всей видимости, это была обычная практика сосредоточения транспорта перед, выражаясь «советским русским» языком, очередной «битвой за урожай». Однако в травмированной коллективной памяти чеченцев и ингушей колонны грузовиков ассоциировались с вереницами «Студебекеров», на которых людей свозили под конвоем в день роковой депортации 1944 года. Поражение путчистов повсеместно праздновалось не только как конец старого коммунистического режима, но и как внезапное избавление от угрозы новой депортации и от страха вообще. По словам участников тех событий, их главной мотивацией стала возможность – нет, даже необходимость публичного отречения от старых стигматизирующих стереотипов и унижений, отчаянно неодолимое желание выйти на улицы и скандировать «Мы чеченцы! Это наша страна!». Это было именно тем, что Эрнест Геллнер назвал ключевой эмоциональной мотивацией национализма – подтверждение достоинства группы[73].

Многие приходили сами. Других привозили автобусами, которые предоставлялись чеченцами – промышленными руководителями и новоиспеченными частными предпринимателями (включая ряд личностей весьма сомнительных), которые пытались приобрести политический капитал в новых обстоятельствах. Конечно, здорово скандировать хором, но ведь, кроме того, кто-то же должен был вынести на площадь платформы и громкоговорители, ранее приберегаемые на Первомай. В такой момент громкоговоритель становится ценнейшим орудием борьбы за власть. Вскоре еще более важным орудием станет хотя бы зачаточная организация, способная сконцентрировать и повести толпу, а затем уже и всамделишное оружие. Милиция исчезла с улиц или явно не желала принимать участия в политическом противостоянии после того, что все увидели в Москве. Ударной силой чеченской революции стали отряды наскоро сформированной Национальной гвардии. (Ведь и в самой Москве тогда было, по крайней мере, провозглашено формирование Национальной гвардии, на которую собирался опереться Ельцин и демократы, пока не осознали, что им и так досталась российская милиция и, вскоре, армия.) Чеченские гвардейцы, впервые возникшие из частной охраны нескольких бизнесменов, в том числе гангстероподоб-

[73] Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*, Oxford: Blackwell, 1983.

ных, проявили себя полезными в перекрытии улиц и расчистке пространства для митингов.

Не забудем, однако, о демографии и социальных проблемах. Летом 1991 г. вышеупомянутые сорок тысяч или около того сезонных рабочих не смогли выехать из Чечено-Ингушетии. Советская экономика разваливалась, и рабочие места для мигрантов внезапно исчезли. Этим мужчинам и их близким теперь предоставилось внимать на митингах Дудаеву и другим радикалам, объяснявшим, что трудовая миграция за пределы республики была на самом деле частью дьявольского плана Советов, имевшего целью унижение и ассимиляцию чеченского народа. Дудаев очень красочно обещал, что стоит Чечне стать подлинно независимой, как она сумеет задействовать свою нефтяную промышленность для создания новых рабочих мест, обеспечения благосостояния и возрождения нации. Обещание было простым, эмоционально заряженным – и удивительно похожим на программы национально-освободительных движений и догоняющего развития 1950-1960-х гг. Дудаев действовал и говорил вполне подобно Ататюрку, Насеру, Сукарно, Перону, Пак Чжон Хи и многим другим военным национальным модернизаторам из стран Третьего мира задолго до него[74]. Его излюбленным аргументом было, однако, сравнение Чечни с Эстонией, где до 1991 г. он служил командиром советской стратегической авиабазы. Если маленькая Эстония после веков царской и коммунистической оккупации смогла обрести независимость и войти в семью европейских стран, спрашивал он, то почему этого же не могла достичь и Чечня? Сочетание уверенного генеральского облика и пророческого видения вызывали у простых чеченцев такой всплеск гордости и надежды, что ни либеральные реформисты, ни коммунистические консерваторы не могли даже мечтать о соперничестве с ним в открытой борьбе.

Дудаев одержал победу на поле популистской риторики, но его революционный захват власти был достигнут, конечно, не словом единым. Каждая победа уличных вожаков приносила им все новые ресурсы, которые, в свой черед, придавали воодушевления для очередных шагов. Захват местного телецентра предоставил радикальным лидерам основной пропагандистский инструмент, а штурм горсовета, парламента и других правительственных зданий лишил элиту советских времен ее символически легитимизирующих пространств. Как и в Восточной Европе, сигналом успеха революционных толп стал захват управления Комитета государственной безопасности. Повстанцы вдобавок открыли двери тюрьмы, чьи обитатели немедленно сформировали вооруженное движение под названием «Нийсо» («Справедливость»)[75].

---

[74] Бывший советник Дудаева вспоминает, как он кинулся убеждать генерала отказаться от идеи национализации нефтяной промышленности Чечни и разъяснять, что новые времена требовали, скореее, ее приватизации и привлечения западных инвесторов. См. Таймаз Абубакаров, *Режим Джохара Дудаева: правда и вымысел. Записки дудаевского министра экономики и финансов.* Москва: ИНСАН, 1998.

[75] Тимур Музаев и Зураб Тодуа, *Новая Чечено-Ингушетия*. Москва: «Панорама», 1992.

Еще один удар по старым государственным структурам был нанесен отделением Ингушетии, провозглашенным в сентябре 1991 г. собранием ингушских народных депутатов всех уровней (хотя присутствовали не все депутаты). Фактически это был политический пакт сельских должностных лиц, интеллигенции (в основном учителей) и специалистов (инженеров, ветеринаров, агрономов). Ингушетия была создана на основе трех сельских районов, где не было городов. Кроме того простого факта, что ингушские села были слишком далеко от любых властей, чтобы воспрепятствовать отделенческому собранию, спешка сельских политиков объяснялась двумя соображениями. Во-первых, они прямо заявляли, что ингуши не собираются стать меньшинством в независимой Чечне. Во-вторых, был еще один фактор, который в открытую ими не признавался: радикализм сельского руководства в Ингушетии далеко превосходил настроения живших в Грозном и других городах более влиятельных и высокостатусных ингушских должностных лиц и интеллектуалов, которые предпочитали следить за событиями издалека. Уступавшие им статусом сельские радикалы намеревались решить проблему отсутствия городов в новопровозглашенной Ингушетии, потребовав фактического раздела Владикавказа, ближайшего большого города и столицы соседней Северной Осетии. Многие ингушские семьи по возвращении из ссылки в 1957 г. старались селиться в самом городе либо близ Владикавказа, где проживали до депортации. Они были убеждены в историческом праве владения этой землей и требовали восстановления прежних административных границ в качестве реабилитации репрессированного народа[76]. Здесь налицо параллели с Балкарией; однако, точно так же как чеченцы пошли дальше, чем их кабардинский «эквивалент», ингушский сепаратизм опередил балкарский. Эмоциональным поводом послужил приток в оспариваемые села на территории Северной Осетии югоосетинских беженцев, спасавшихся от вооруженного конфликта с грузинскими вооруженными силами по другую сторону Кавказского хребта. Помимо быстрого изменения этнодемографического баланса не в их пользу, ингушам это неприятно напомнило о том, что в период сталинской депортации их дома и села заполняли по разнарядке переселенцами из Южной Осетии. Вспыхнула скоротечная, но крайне ожесточенная война, длившаяся около недели в конце октября 1992 г. в оспариваемых ингушами селах и пригородах Владикавказа. Несмотря на отчаянные действия ингушских ополченцев, верх одержали превосходившие их числом и организованностью осетины. Значительными преимуществами владикавказской элиты также служили традиционная репутация лояльности России, вкупе с налаженными отношениями с Москвой и расквартированными на территории республики военными гарнизонами. (Ингушская катастрофа, заметим, сыграла роль в снижении радикальности созвучного проекта балкарского сепаратизма).

[76] Добросовестный и подробный анализ дан Артуром Цуциевым в работе *Осетино-ингушский конфликт (1992-...?), его предыстория и факторы развития*. Москва, РОССПЕН, 1998.

В революционные дни ранней осени 1991 г. видные демократические политики из Москвы не раз приезжали в Чечено-Ингушетию, чтобы найти в этом растревоженном улье компромисс, способный вернуть Москве хоть какой-то контроль над событиями. Внезапно лозунг суверенизации, использовавшийся российской оппозицией против горбачевского центрального руководства, теперь оборачивался против них самих. Страшила угроза «эффекта домино», когда вслед за чеченским восстанием могли успешно выступить радикальные национальные движения в остальных автономиях Российской Федерации, особенно в центрально расположенном, экономически важном и политически активном Татарстане. В соответствии с принципом гомологической подобности, новоиспеченные государственные мужи из Москвы ощущали большую близость к «серьезным» представителям чеченского политико-технократическо-культурного истеблишмента, нежели к простонародной толпе на улицах и ее популистским вожакам. Влиятельный и властный спикер российского парламента Руслан Хасбулатов в ходе осенней революционной бури 1991 г. оставался в Москве, где у него хватало опасных противников. Тем не менее, его участие в грозненских политических маневрах едва ли подлежит сомнению. Хасбулатов преследовал несколько целей одновременно: обеспечить лояльность будущего правителя своей малой родины не только российской демократии, но и лично себе, тем самым, создав электоральную базу для своего гарантированного переизбрания и в будущие парламенты России. Главным орудием Хасбулатова было парламентское право законодательной инициативы, которое он искусно применял для поддержки своих протеже. Однако чеченские умеренные реформисты, не защищенные государственным аппаратом принуждения, не могли эффективно воспользоваться декларативными заявлениями и стремительно теряли опору. Радикалы же видели, что их сила – во внепарламентском прямом действии и массовой мобилизации.

Довольно суетливые и противоречивые попытки политического манипулирования со стороны московских демократов окончательно отвратили Дудаева и его радикальных соратников, которые с достаточным на то основанием ощущали, что их не считали способными управлять посткоммунистической Чечней. Подобно ингушским сельским начальникам и интеллигентам, чьи поспешные действия и заявления радикализовало внутриэтническое межэлитное соперничество с видными (но организационно разобщенными) ингушами из больших городов, лидеров чеченской революции подтолкнула к скорым действиям угроза оказаться совершенно не у дел, когда высокостатусные политики в Москве и Грозном с успокоением обстановки перестали бы с ними считаться. Харизматичный одиночка Дудаев решил пренебречь хасбулатовскими заклинаниями о необходимости поддержания конституционного порядка и закрепить свои политические достижения путем полной ликвидации верховного совета республики и скорейшего проведения новых парламентских и президентских выборов в Чечне (теперь без груза этнически родственной, но во всем «младшей» и имен-

но потому ревниво настроенной Ингушетии). Плану Дудаева нельзя отказать в смелости и институциональном видении. Форсированное проведение выборов в условиях пока несхлынувшего революционного азарта обещало закрепление достигнутого в ходе массовой мобилизации политического статуса ее радикальных вожаков. Вспомните персонажи из первой главы: поэта-патриота-политика Зелимхана Яндарбиева; молодого журналиста и впоследствии исламского пропагандиста Мовлади Удугова; бывшего инженера, историка-самоучку, неформала и впоследствии калифорнийского политэмигранта Лёму Усманова; наделенного талантом и внешностью кинозвезды актера грозненского драмтеатра Ахмеда Закаева, еще одного будущего политэмигранта и переговорщика повстанцев; бывшего милиционера, превратившегося в кооперативного «силового предпринимателя» и затем главу отряда боевиков под громким названием «Партии исламского пути» Беслана Гантамирова; неудавшегося студента, антипутчистского защитника Московского белого дома в августе 1991 г. и, увы, вскоре гораздо более успешного угонщика самолета Шамиля Басаева; комсомольского работника и многообещающего экономиста-международника Салмана Радуева; а также бывшего заключенного и зажигательного оратора Юсупа Сосламбекова – соратника и заместителя Мусы Шанибова в руководстве Конфедерации горских народов. (Честно говоря, впоследствии наблюдая этих людей и реконструируя их причудливые, зачастую трагичные биографии, я не мог отделаться от предположения, что вот этот в российском политическом спектре наверняка бы стал типичным «яблочником», вон тот бы со временем сделал карьеру в партии власти, а другой бы вписался в партию Жириновского, если бы, конечно, не сделался исламистом.)

История в бифуркационной точке осени 1991 г. распорядилась иначе. Выдвинутое в российском парламенте предложение Хасбулатова о признании грядущих чеченских выборов недействительными, Дудаев парировал утверждением, что Чечня не находится в юрисдикции Российской Федерации. (Хотя и остается, коварно добавлял Дудаев, в составе СССР.) Вместо того чтобы представить свои решения на суд московских правовых экспертов, Чечня заявила о необходимости заключить вначале мирный договор с Россией (Дудаев позаимствовал это требование у Эстонии), который, как утверждалось, должен был положить конец «Трехсотлетней войне» между Российской империей и чеченским народом. 27 октября 1991 г. Дудаев был избран президентом 85-ю процентами голосов, хотя либеральная оппозиция и попыталась оспорить итоги выборов. 2 ноября Чечня провозгласила свою независимость[77].

В то время в Москве президент России Ельцин пытался вырвать власть из рук президента угасающего СССР Горбачева, что объясняет позорно нескоординированную демонстрацию силы против сепаратистского восстания в Грозном. 9 ноября несколько подразделений внутренних войск приземлились на во-

[77] Chritopher Panico, *Conflicts in Caucasus: Russia's War in Checnya*, Conflict Studies 281, Washington: Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism, 1995, p. 7.

енном аэродроме неподалеку от Грозного, чтобы ввести в действие объявленное той же ночью ельцинским правительством чрезвычайное положение. Дудаев незамедлительно появился на телеэкранах чеченских зрителей с крайне эмоциональным воззванием к народу, заявив в очередной раз не менее как об угрозе повторения сталинской депортации – на сей раз со стороны предавшего идеалы демократии и самоопределения народов нового руководства России. Дудаевское воззвание могло показаться, по меньшей мере, излишне драматизированным стороннему наблюдателю, но не большей части чеченцев. Печальное высказывание Милана Кундеры о том, что малые нации знают, как легко могут исчезнуть, для этого народа звучало жестокой правдой. На 1991 г. почти каждый третий чеченец пережил выселение или родился в ссылке; все знали, как 23 февраля 1944 г. в один день части НКВД и армии загнали целый народ в товарные вагоны – такова была убийственная эффективность сталинской бюрократии в ее зените. Отдаленные горные деревни, дороги к которым зимой оказались непроходимыми, уничтожались авиацией и артиллерией. Еще раз призову серьезно воспринимать психологический отпечаток, накладываемый экзистенциальным ужасом геноцида на нации, чьи страхи и самозащитные реакции без учета данного комплекса могут показаться совершенно чрезмерными. В не меньшей мере, чем к чеченцам-мусульманам, сказанное относится к армянам-христианам и евреям, и очевидно не восходит ни к цивилизации, ни к религиозной традиции. (Этносоциальные культурные диспозиции, организационные практики, политические обстоятельства играют роль на следующих этапах, придавая реакции ту или иную направленность и форму.) Это легко политизируемый порыв к преодолению чудовищной и унизительной травмы коллективной виктимизации в прошлом и обеспечения выживания в будущем, что и отразил фундаментальный легитимирующий лозунг государства Израиль «Больше никогда!» Именно по причине крайней силы эмоций постгеноцидного синдрома эти коллективные переживания обычно благоприятствуют политическим экстремистам.

Чрезвычайное положение, бездумно объявленное Ельциным в ночь на 9 ноября 1991 г., возымело совершенно противоположный эффект[78]. В одночасье угроза силового вмешательства, воспринятая, как насилие против нации, сплотила чеченское большинство и, тем самым, лишила политического будущего всех, кто по той или иной причине выступал против провозглашенной Дудаевым независимости. Когда ночью первые военно-транспортные самолеты совершили посадку в Чечне, их окружили вооруженные революционеры и тысячи

[78] Авторство неудачного указа, как обычно, оспаривается. Называется также вице-президент России генерал Руцкой, незадолго до этого летавший в Грозный и, кстати, обнимавшийся там с собратом-летчиком Дудаевым. Это вызвало среди чеченцев возмущение столь циничным вероломством. Руцкой, которого можно обвинить во многом, но не в политическом хитроумии, скорее всего, сам поверил в свою особую способность договориться с Дудаевым по-геройски. Тем большим, вероятно, было его унижение и гнев, когда по возвращению в Москву политические недоброжелатели выставили вице-президента дураком. Как бы то ни было, исхода дела это не меняет, хотя и помогает понять истоки глубокого недоверия чеченских повстанцев к московским переговорщикам.

шумно протестующих гражданских. Деморализованные политической неразберихой подразделения, не имевшие ни четкого приказа, ни подготовленного защищенного плацдарма для высадки, ни даже достаточно огнестрельного оружия, фактически сдались на условиях предоставления им возможности вскоре покинуть бушующую Чечню. Узнав о происшедшем позоре, российский парламент подавляющим большинством проголосовал за отмену режима чрезвычайного положения в Чечне и осудил президента Ельцина за возвращение к «тоталитарным» методам. Чтобы усилить пропагандистский эффект, чеченские революционеры настояли на вывозе подразделений внутренних войск автобусами, вынужденными медленно продвигаться через многотысячные ликующие толпы. Провалившаяся операция стала первым крупным унижением ельцинского президентства. Муса Шанибов, активно участвовавший в этих невероятных событиях в качестве главы Ассамблеи горцев и личного друга многих чеченских радикалов (благо из Нальчика в Грозный можно было домчаться на машине за пару часов), считал случившееся заслугой как собственной, так и своих чеченских друзей. Однако, представляется, что в те дни главной (хотя и едва упоминаемой) проблемой президента России Ельцина оказался президент СССР Горбачев, у которого Ельцин все еще не мог отнять верховное главнокомандование вооруженными силами, и лишь затем президенты горской ассамблеи и самопровозглашенной Чечни Шанибов и Дудаев. В результате, прибывшие в Чечню внутренние войска оказались вооружены лишь щитами и резиновыми дубинками, а были встречены повстанцами с «Калашниковыми» и даже танками[79].

Вооруженные силы чеченской революции создавались на разнородной основе групп телохранителей теневых предпринимателей, освобожденных из тюрьмы уголовников, плюс романтических студентов (к которым, как ни крути, относился и Шамиль Басаев, скандально вернувшийся из Москвы на угнанном рейсовом самолете) и жаждущей действий суб-пролетарской молодежи из пригородов и сел. Вначале довольно спонтанно они собирались под экзотическими знаменами Партии исламского пути, Национальной гвардии, Общества бывших заключенных (Нийсо) и др. Это изначально были и надолго останутся самостоятельные группировки, собранные на основе того или иного социального типажа и разновидности групповой солидарности, подчиняющиеся собственным вожакам. Совместно они выступали в моменты эмоционального возбуждения нации и общей опасности, в остальном действуя совершенно независимо друг от друга, как, впрочем, и самих Дудаева и Шанибова. Разговоры о старинных дедовских схронах и немецких стволах, отыскиваемых в горах «черными археологами», более имеют отношение к романтике, нежели реальности массового самовооружения. Современное, в хорошем состоянии оружие либо похищалось с военных складов, либо, что много вероятнее, приобреталось у подкупленных военнослужащих Советской армии, причем подкуп, очевидно, происхо-

[79] Carlotta Gall and Thomas de Waal, *Checnya: Calamity in the Caucasus*. New York: NYU Press, 1998.

дил на всех уровнях, от министерского и генеральского до прапорщиков, имевших ключи от складов, и даже якобы их охранявших рядовых. Более точно сказать что-либо просто смертельно опасно (предпринимавшие расследования журналисты погибали, парламентское расследование родило мышь) и, для наших задач, ни к чему. Результат и без того налицо. Причины следует искать в суммарных последствиях быстрого распада советских командных структур на территории Чечни, общей аморализации и расхитительства периода обрушения советской государственности в сочетании с маскулинными статусными представлениями горских народов и стихийной фрагментацией прежнего классово-национального преимущественно городского общества на этно-семейные преимущественно негородские ячейки. В самом деле, оружия в Чечне уже вскоре после развала СССР ходило столько, что на толкучке в Грозном можно было купить ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный) или ручной противотанковый гранатомет по цене телевизора. Зрелище подобного рынка и его своеобразный шум (когда потенциальные клиенты на месте опробовали оружие) притягивали в дудаевскую Чечню специфических визитеров едва не со всего бывшего Советского Союза. Перед затуманенным экзотизмом происходящего взором российских журналистов, во множестве приезжавших в мятежную республику, проносились сцены из кавказских рассказов Толстого, тогда как их западные коллеги, в зависимости от личного опыта, регулярно сравнивали чеченцев с корсиканцами и басками либо курдами и пуштунами. Президент Дудаев, риторически превращая зло во благо, пообещал, что независимость и демократия Чечни будет иметь защитой поголовное вооружение своих граждан – как он выразился, «по швейцарской модели демократии».

На практике это означало, что «ичкерийцы» взяли в свои руки защиту своих собственности и жизни. Возникший режим дисперсной власти вовсе не был равен для всех граждан, а благоприятствовал лишь тем, кто в социальном и психологическом отношениях был готов уповать на силу, а также на поддержку родственников и друзей. Чеченская молодежь из сельских и суб-пролетарских районов находились в гораздо более благоприятном положении, нежели верхние слои городского населения, тем более, русские переселенцы и специалисты. Наглые и жестокие преступления, совершенные в тот период вторгавшимися в город вооруженными чеченцами в отношении не успевших его покинуть русских, имели основой корысть, а не национальную или религиозную нетерпимость и тем более геноцид, о котором в пропагандистском запале писали впоследствии московские националистические публицисты. Русские и даже многие чеченцы-горожане запросто могли пасть добычей тех, кто пожелал завладеть их имуществом или квартирой[80]. В сравнении с ними суб-пролетарии и сельские

[80] Таймаз Абубакаров приводит в своих воспоминаниях два показательных эпизода. Уличные менялы-валютчики, отпихнув пассивных охранников, врываются в здание Центробанка Чечни, чтобы проучить его главу-чеченца, попытавшегося регламентировать и обложить налогом обменные операции. Избитому и униженному главному государственному банкиру приходится бежать в родное село и искать защиты у родственников. В другом эпизоде президент Дудаев на заседании своего правительства вменяет членам кабинета выходить пара-

чеченские парни имели куда больше автономных от государственности навыков и средств выживания в условиях обвала. Они могли прожить на урожай с приусадебного участка, бартерный обмен, средства от работающих за рубежом родственников или даже мгновенно разбогатеть на прибылях от хищений, захватов и контрабандной торговли (которая оказалась крайне выгодной с отмиранием пограничного контроля в последние годы советской власти). Если сельчане и суб-пролетарии и так были мало связаны со старым государством и зачастую считали его досадной помехой, то жившие на государственную зарплату, привыкшие к механизмам социального обеспечения и к защите со стороны правоохранительных органов инженеры, учителя и нефтяники попросту не знали, что им теперь делать.

Неудивительно, что одностороннее объявление независимости Чечни привело к исходу не только русских специалистов, но и почти всей чеченской технической и управленческой элиты[81]. Уже в 1992 и 1993 гг., еще до российского военного вторжения и войны, насчитывалось 200 тыс. горожан, бежавших от беззакония. В то же самое время численность официально зарегистрированных в Москве чеченцев подскочила с трех до более чем девяноста тысяч человек. Большинство из них не могло состоять в чеченской московской мафии – всем им и при желании не хватило бы там ролей и добычи. В большинстве своем это были те самые специалисты-«бюджетники», которым из-за отмирания бюджетного сектора в Чечне оставалось искать заработков где-то в России. Их исход физически убрал из дудаевской Чечни практически всех претендентов на политическую власть – кроме тех, кто смог и вскоре привык прокладывать себе путь оружием.

Трагическая история постсоветской Чечни подводит нас к мысли, что случился худший из всех возможных исходов – революционные потрясения не привели к возникновению нового режима власти какого угодно характера. Артур Стинчкомб дает революциям определение «периодов, когда частота изменений властных позиций между фракциями, социальными группами или вооруженными структурами становится чрезвычайно высокой и происходящие изменения непредсказуемы. Революции завершаются тогда, когда политическая неопределенность существенно понижается путем заключения достаточно твердых договоренностей, которые соблюдаются постольку, поскольку встроены в политическую структуру, способную своей силой обеспечить исполнение

ми на ночное патрулирование против расхитителей. Министр финансов Абубакаров оказывается в паре с министром внутренних дел ночью на товарной станции, где они видят, как неизвестные выкачивают бензин из железнодорожной цистерны. Оказывается, это подчиненные самого министра внуренних дел – чеченские милиционеры, которые, в лучшем случае, согласны не повторять подобные действия, но на сей раз настаивают докачать остатки, потому что бензин уже кем-то куплен. См. Таймаз Абубакаров, *Режим Джохара Дудаева: правда и вымысел.* Москва: ИНСАН, 1998.

[81] Большую ценность имеют материалы, собранные активистами правозащитного общества «Мемориал» Олегом Орловым и Александром Черкасовым, *Россия и Чечня: цепь ошибок и преступлений*. Мосва: Звенья, 1998; см. также Дмитрий Фурман (ред.), *Чечня и Россия: общества и государства,* Москва: Политинформ-Талбури, 1999; Джабраил Гаккаев, *Очерки политической истории Чечни.* Москва, 1997.

договоренностей»[82]. Стинчкомб подытоживает свое теоретическое эссе о том, чем обычно завершаются революции, перечислением шести видов политических структур, способных снизить политическую неопределенность: консервативное авторитарное восстановление (или «Термидор»), независимость, оккупационный режим, тоталитаризм, демократия и, наконец, дробление власти на личные уделы и «вотчины», что в западной политологии обозначается латиноамериканским словечком каудильизм. Чечня после 1991 г. двигалась во всех вышеуказанных направлениях, и ни в одном из них не дошла до конца.

Чечня служит наглядным исключением из общей тенденции консервативной авторитарной реставрации на постсоветском пространстве (включая Кабардино-Балкарию). До августа и даже ноября 1991 г. (провалившейся попытки Ельцина ввести режим чрезвычайного положения) консервативный исход казался наиболее вероятным и в случае Чечни – если бы в завершающей фазе революции силы, которые могли осуществить номенклатурно-олигархическую реставрацию, не оказались дискредитированы и вынуждены бежать из Грозного в свои родные села или в Москву. Провозглашение Дудаевым независимости (второй в списке Стинчкомба вариант исхода) не привело к созданию нового государства, обладающего необходимыми политическими, силовыми и экономическими возможностями. Независимое государство не состоялось, потому что Россия объявила Чечне блокаду, пускай в текущих делах совершенно коррумпированную и пористую. Однако тем самым была предотвращена возможность международного признания независимости Чечни подобно бывшим союзным республикам и исключена возможность поступления зарубежной государственной помощи, кредитов или инвестиций, которые, так или иначе, послужили бы для финансирования дудаевского государства. По той же причине не могли возникнуть ни тоталитарный, ни демократический режимы, поскольку оба исхода, каждый по-своему, нуждаются в наличии эффективно действующих бюрократических учреждений и полиции. Без дисциплинированного и привилегированного корпуса полиции и чиновничества не состоится подлинной диктатуры, но то, что возникнет в остатке, не сможет стать и эффективной демократией. Возникнет, скорее всего, то, что и возникло в дудаевской Ичкерии – фрагментарная вооруженная анархия.

Российское военное вторжение в свой черед не смогло насадить эффективное оккупационное правительство. В 1995-1996 гг. Москва послала в Грозный остатки номенклатуры во главе с Саламбеком Хаджиевым и, после его скорой эмоциональной отставки, с тем же Завгаевым, свергнутым четырьмя годами раньше. Но эти люди оказались неспособны заручиться политической поддержкой населения, поскольку общественное мнение ассоциировало их номинальную власть с чудовищными разрушениями и жестокостями федеральных войск, а, главное, неспособностью предотвратить злодеяния и защитить кого-либо от

[82] Arthur Stinchcombe, «Ending Revolutions and Building New Governments,» *Annual Review of Political Science* 2 (1999), p.49.

произвола. Вдобавок, они мало что могли предложить в экономической и социальной областях, поскольку средства, направленные ельцинским правительством на восстановление разрушенной войной республики, скандальным образом исчезли где-то по дороге между различными кабинетами власти в Москве и в оккупированном федералами Грозном.

В ходе второй чеченской кампании Москва применила иной подход, амнистировав и взяв на службу перебежчиков из лагеря чеченского вооруженного сопротивления. Наиболее значимым из них был Ахмад Кадыров – официальный духовный глава мусульман (муфтий) при Дудаеве, которому многие припоминали объявление в 1995 г. джихада против России. Кадыров, принадлежавший к традиционному суфийскому течению в исламе и начинавший профессиональную религиозную карьеру еще в советские времена, к началу второй чеченской войны оказался в смертельном противостоянии с воинствующими исламистами «ваххабитского» пуританского толка (впрочем, далеко не по-пуритански обильно финансируемыми из источников в аравийских нефтяных монархиях), которые сумели обратить в своих приверженцев значительную часть разочаровавшихся боевиков.

Прежде Кадырова стратегическим союзником Москвы потенциально мог стать и легитимно избранный в 1997 г. начальник главного штаба ичкерийских сепаратистов бывший советский полковник Аслан Масхадов. Для его усилий по восстановлению чеченской государственности не меньшей угрозой оказались воинствующие исламисты, которые подрывали с религиозно фундаменталистских позиций не только идеологическую легитимность и институциональную управляемость Чеченской республики, но и, используя свои вооруженные отряды, силой захватывали или создавали большей частью нелегальные финансовые потоки. В Москве, переживавшей собственный опутанный интригами кризис на закате ельцинской эпохи, Масхадова винили в унизительных поражениях недавней войны и опасались, что в случае успеха Масхадов станет слишком самостоятельным. Однако подлинная трагедия и беда Масхадова состояла в том, что он был отличным строевым офицером, но оказался слишком прямолинейным и наивно честным политиком. Вот именно, Масхадов проявил себя недостаточно циничным и коррумпированным, чтобы выжить в ситуации, когда власть приходилось обеспечивать не как командиру налаженного гарнизона, а, скорее, подобно феодальному владетелю, раздачей кормлений, сбором дани, кровной местью врагам и отступникам. В конечном итоге его убрали, освободив площадку для далеко превзошедшего ожидания наследника своего отца Рамзана Кадырова и его уже совершенно неполитических противников. По теоретической схеме Стинчкомба, прошел, наконец, последний из вариантов – неинституционализированная, целиком личная власть с опорой на практически частную военную дружину, или каудильизм. Стинчкомб, впрочем, замечает под конец, что каудильизм (или, с более восточным оттенком, султанизм) в струк-

турных основаниях настолько нестабилен, что едва ли его можно считать надежным и окончательным завершением революций.

Кабардино-Балкария: уход от революции

Кабардино-Балкария и Чечено-Ингушетия до осени 1991 г. выглядели так, будто были намеренно выстроены для сравнительного политологического анализа: похожая география, культурные традиции, формальный статус автономных республик. Но, как мы увидим ниже, пропорции соотношения классов и этнических сообществ, местная история, время действия или социальная конфигурация политического патронажа могут сыграть значительную роль во времена хаоса. Последовательность событий также до определенного момента выглядела схожей: подобно ингушам в единой до сентября 1991 г. Чечено-Ингушетии, балкарское меньшинство в Кабардино-Балкарии провозгласило свой выход из единой административной единицы. Последний коммунистический руководитель автономии, кабардинец Валерий Коков, под давлением демонстраций протеста ушел было в отставку, оставшийся с советских времен верховный совет был дезорганизован и стоял на грани роспуска. Возникли альтернативные центры политической власти, оппозиция принялась создавать вооруженные отряды. И внезапно все прекратилось. Как самокритично выразился Шанибов: «Если бы мы тогда пошли до конца, то сегодня я бы стал каким-нибудь диктатором, а наша республика, скорее всего, лежала бы в развалинах, как Чечня. Конечно, большинство наших бюрократов воры, но свергни их – и могло быть намного хуже».

Местные наблюдатели и сам Шанибов единогласно относят эту разницу в исходах на счет этнических характеров – разумеется, почтительные и церемонные кабардинцы, в отличие от чеченских сорвиголов, знали, где остановиться. Многие на Северном Кавказе усматривают особую мистическую иррациональность в чеченском стиле ведения войны или исповедования ислама. Это мнение подкрепляется авторитетными цитатами из произведений русских классиков, таких как Лермонтов и Толстой, в середине XIX в. молодыми офицерами воевавших на Кавказе и оставивших нам романтизированные портреты благородных или неукротимых и коварных горцев. Литературные произведения, в самом деле, могут приобретать актуальное значение – но, скорее, потому, что поэзия Лермонтова и проза Толстого служит источником национальной гордости на Северном Кавказе, где все изучали русскую классическую литературу в школе. Возможно также, история чеченского сопротивления и кабардинских, в целом, примирительных отношений с Российской империей в XIX в. имеет большое значение. Однако позвольте спросить, посредством каких именно социальных механизмов дальние исторические явления могут воздействовать на настоящее? Иначе легко впасть в идеологическую романтизацию.

Оставим поэтому Толстого, который мало чем мог бы помочь в построении социологических гипотез. Со свойственной науке занудной дотошностью поищем лучше доказательств, согласующихся или несогласующихся с выстраиваемой теорией. Предположим, что расходящиеся после 1991 г. траектории северокавказских республик, в первую очередь, обусловлены относительным различием значений двух переменных: а) классовой структуры; и б) промежутка времени между возникновением и исчезновением исторических возможностей. Ну, и так трудно поддающиеся формализации случайности на уровне личного фактора. Хронологическая реконструкция событий в Грозном, Нальчике и Москве ясно указывает на временной промежуток как на наиболее вероятную причину. Однако время для нас является социальной категорией, определяющей продолжительность возникновения или завершения процесса. Выше я уже пытался объяснить, почему революционная мобилизация в Чечне оказалась столь упорной и эмоциональной, и почему она затем принесла столько насилия. Здесь же я попытаюсь развить несколько дальнейших наблюдений и гипотез относительно того, почему схожая мобилизация у кабардинцев разворачивалась более медленно, почему она (за исключением нескольких моментов) не была столь эмоциональной, и почему старый номенклатурный режим удержал власть и сумел отвлечь революционное насилие, «экспортировав» его в соседнюю Абхазию.

В советские времена кабардинцы всегда возглавляли правительственные структуры автономной республики, что можно объяснить двумя историческими факторами. Во-первых, старая кабардинская культура феодальной лояльности неплохо вписалась в этику государственно-бюрократической и военной службы, в силу чего кабардинцы в советском офицерском корпусе оказались представленными значительно выше процентной доли народа в населении СССР (что, конечно, пополнило список кабардинских поводов для национальной гордости и направляло молодые поколения на достижение советской начальственной карьеры). Практически всегда в советский период кабардинские национальные кадры стояли у руля власти в своей автономии. Со времен десталинизации в местных бюрократических структурах установились значительная стабильность и преемственность (или же, с другой точки зрения – закостенелость и недостаток мобильности, жертвой чего оказался и наш эталонный кабардинец Юрий Шанибов). После своего возвращения из ссылки в 1957 г. представители балкарцев были относительно пропорционально включены в номенклатурный эшелон, где пользовались фактическим правом на вторые места во всех формальных учреждениях и иерархиях. Благодаря устойчивому преобладанию нацкадров, которые блюли свои корпоративные интересы вместе с идеей национального представительства, в Кабардино-Балкарии советская национальная политика применялась последовательно, без свойственных Чечено-Ингушетии «перекосов». Сказывалось и отсутствие сверхважных промпредприятий, подоб-

ных грозненскому нефтекомплексу. В итоге лишь немногие этнические русские оказывались на высших властных позициях в этой автономии.

Временной промежуток, разделяющий революцию в Чечне и неудачную мобилизацию в Кабардино-Балкарии, имел, таким образом, исторические и структурные причины. Проще говоря, мобилизовать кабардинцев на борьбу со своей властной элитой оказалось сложнее, поскольку довольно многие кабардинцы были либо частью истеблишмента, либо близки к его членам. Кроме того, не было исторически недавней национальной трагедии, которая могла бы вызвать сильные общие эмоции, сравнимые с чеченским переживанием трагедии 1944 г. Еще раз подчеркнем, что это условие является культурно конструируемым и потому подвижным в ту или иную сторону. На протестную мобилизацию работали усилия кабардинских и других черкесских историков и литераторов «приблизить» или «разбудить» трагедию мухаджирства – движения мусульманских беженцев, в 1860-х гг. под давлением русских штыков ушедших в изгнание в Османскую империю. Разумеется, балкарцы перенесли гораздо более недавнюю коллективную травму депортации 1944 г., и их национальное движение мобилизовалось с быстротой и эмоциональностью, сравнимой с опытом Чечено-Ингушетии. Однако сепаратистские требования балкарского меньшинства, шедшие вразрез с притязаниями кабардинского большинства, не усилили, а наоборот, раскололи потенциально революционный блок на враждующие течения.

Временной промежуток также совершенно очевидным образом обусловил разницу в реакции Москвы. Возглавлявшаяся в 1992 г. Шанибовым попытка революционного захвата власти развернулась спустя целый год после свершившейся революции и отделения Чечни. Ельцин, который осенью 1991 г. пытался отобрать власть у Горбачева, теперь уже сам стоял перед необходимостью сохранения российского государства. Повторяя горбачевский поворот вправо, Борис Николаевич быстро преодолел демократические предрассудки и предоставил кабардинской номенклатуре поддержку (с благодарностью принятую), чтобы не допустить новой Чечни – и политически обезопасить рыночные реформы, от которых в те дни ждали скорого чуда.

Но поддержка Москвы не могла быть достаточно действенной. Российское государство и его политическая верхушка выглядели крайне дезорганизованными в месяцы, последовавшие непосредственно за развалом СССР и союзной экономики. Национальная мобилизация кабардинцев на фоне нестабильности и экономических потрясений все еще набирала обороты и с новой силой вспыхнула в августе 1992 г., когда грузинские боевики вторглись в братскую для черкесов Абхазию. Вторжение создало огромный эмоциональный повод. В центре Нальчика собрались огромные разгневанные толпы, которые, на сей раз, встретили милиция, войска и бронетехника. Революционные массы, как известно, способны творить чудеса. На самом деле, чудеса случаются, когда обороняющиеся военные не уверены в твердости и правоте отдающих им при-

казы политиков, а толпу несет волна эмоциональной энергии, возникающей, когда под угрозой оказывается нечто (или некто), воспринимаемое как важнейшая ценность – например, будущее родственных черкесских народов, которые на протяжении последних столетий уже потеряли столько людей и родных земель. Солидарность с борющейся за выживание Абхазией для кабардинцев, адыгейцев, черкесов стала эмоционально настолько же неотделима от собственного прошлого и будущего, как ранее судьба Карабаха для всех армян. Эффект травмы геноцида, актуализируемый абхазо-черкесскими национальными интеллигенциями вначале в литературных произведениях, а затем на площадках гласности и перестройки, все-таки, сработал и в этом случае. Воодушевление и бешеная решимость наступающих кабардинцев заставили оцеплявшие площадь войска отступить и искать убежища в правительственных зданиях. Революционеры завладели в бою щитами, дубинками, касками и даже несколькими стволами оружия, что подвинуло их к дальнейшим шагам. А ведь это были вполне обыкновенные вчера еще советские люди. «Знаете, я никогда не мог вообразить себя делающим что-либо подобное, например, забраться на танк, стучать в люки и требовать, чтобы солдаты вылезли и отдали нам оружие», – вспоминает молодой, застенчивого вида преподаватель в очках с огромными толстыми линзами.

Победа Кокова на президентских выборах в январе 1992 разрушила множество иллюзий. Кабардинская оппозиция осознала, что им от Ельцина не следует ожидать никакой помощи, а остается продолжать мобилизацию народа и возможно, прибегнуть к революционному устрашению силой. Шанибов скрытно выехал в Чечню, надеясь привезти оттуда хотя бы полсотни автоматов, с помощью которых планировалось завладеть арсеналами оружия в Кабардино-Балкарии. Присмотрели и место для базы кабардинских боевиков в одном из недостроенных горных туннелей. Там же, на горно-строительных работах, разжились взрывчаткой. Метод разграбления арсеналов к тому времени был хорошо известен: офицеров войсковых частей либо подкупали толстыми пачками наличных, либо запугивали демонстрацией решимости гражданских, лучше всего женских толп, подкрепляемых сзади отрядом боевиков. Чаще всего имело место сочетание обоих методов, поскольку взявшим деньги офицерам нужно было иметь видимую оправдательную причину, чтобы избежать трибунала[83].

Больших денег у Шанибова не было, так что автоматы были необходимы в качестве «начального капитала» для захвата необходимого для революции оружия. Однако президент Дудаев отказался предоставить даже несколько стволов. Указав на окно, он печально спросил у Шанибова, хочет ли тот, чтобы его родной Нальчик уподобился до зубов вооруженному и погрузившемуся в анархию Грозному? В данном эпизоде трудно судить о степени искренности Дудаева. Может, он не желал вызвать дополнительный гнев Москвы, с которой все еще

[83] Anna Matveeva and Duncan Hiscock (eds), *The Caucasus: Armed and Divided.(Small arms and light weapons proliferation and humanitarian consequence in the Caucasus)*, London: Safeworld Report, April 2003.

надеялся достичь компромисса, или же, как генерал, просто не доверял кандидату наук Шанибову. Возможно, по каким-то своим соображениям отсоветовал Звиад Гамсахурдия, который после свержения в январе 1992 г. жил в изгнании у Дудаева в Грозном[84]. Существовало еще одно объяснение – желание чеченского руководства встать во главе Конфедерации горских народов. Чечня была единственной составной Конфедерации, отделившейся от России, и на этом основании Дудаев мог видеть себя в качестве законного главы движения за большое горское государство, а в Шанибове с его черкесским национализмом видеть соперника. Подобного рода напряженность хорошо засвидетельствована в анналах пан-националистических и международных революционных движений – стоит посмотреть на сложные отношения Бисмарка с пан-германистами, роль Советского Союза в Коминтерне, насеровского Египта в пан-арабском национализме, Ганы времен Кваме Нкрумы в пан-африканизме, или даже кастровской Кубы в Латинской Америке[85].

Шанибова отказ Дудаева раздосадовал, но не остановил. Революции представляют собой моменты в истории, когда самые странные импровизации способны внезапно изменить ход событий. У себя в Нальчике в штаб-квартире теперь уже не ассамблеи, а Конфедерации народов Кавказа Шанибов получил факс от вице-президента Конфедерации и одного из лидеров парламента Чечни Юсупа Сосламбекова[86]. Это был проект официального заявления Конфедерации, осуждающего грузинское вторжение в Абхазию и содержавший ряд пунктов, которые Шанибов вначале отверг как проявление типичной чеченской бравады. Предлагалось объявить не только состояние войны с Грузией, но и интернировать всех грузин на Северном Кавказе в качестве заложников до вывода грузинских войск из Абхазии. Изменить первоначальное мнение, по словам Шанибова, его заставила секретарша, указавшая на толпу, собравшуюся под окнами на улице. И тогда он собрался с духом, и добавил последний параграф – приказ на выступление «добровольческих миротворческих батальонов Конфедерации горских народов», санкционировавший применение силы против всякого, кто попытался бы воспрепятствовать их выдвижению в Абхазию. Поскольку Абхазия имела границы лишь с Грузией и Россией, последняя строчка шанибовского приказа фактически предполагала нападение на российских пограничников и милиционеров, если те попытались бы закрыть границу. Вспомним, однако, прокурорскую молодость, Шанибов на всякий случай попросил

[84] При этом Дудаев, никогда не упускавший возможности напомнить о своем звании генерала авиации, грозился бомбить Тбилиси с воздуха, а Гамсахурдия уже после поражения осенью 1993 г. грузинских гвардейцев – которые его и свергли тремя годами ранее – вернется в западную Грузию для организации восстания, но вскоре загадочно окажется мертвым. Загадки оставим их любителям, сказав лишь: все это больше напоминает хаотичную импровизацию, в которой трудно разглядеть логику.

[85] Louis Snyder, *Macro-Nationalisms: A History of the Pan-Movements*, Westport: Greenwood Press, 1984.

[86] Юсуп Сосланбеков, как уже упоминалось, не имел высшего образования и провел несколько лет в тюрьме по уголовной статье (то ли за драку, то ли за изнасилование). Однако он оказался способным политическим самоучкой и митинговым оратором. В Чечне Сосламбеков считался серьезным соперником Дудаеву, что позже привело к ссоре между ними. Еще до первой чеченской войны Сосламбеков добровольно покинул Чечню и обосновался в Москве. Там в 2001 г. он был убит при, как обычно, загадочных обстоятельствах.

секретаршу вместо него подписать грозный приказ – чтобы, в случае чего, отказаться от него. Оценим шанибовскую откровенность. Он сильно, наверное, боялся – но и бездействовать не мог. Его бы смели собственные бунтари. Надежда была на то, что война в Абхазии вскоре угаснет. Разумеется, не было ни батальонов, ни оружия, однако, решил Шанибов, «серьезный блеф следует доводить до конца». Но кто в разгаре революционной ситуации, включая тех, кто стоит вроде бы во главе, может с уверенностью сказать, что является блефом, а что нет?

Несколькими днями позже в районе Пятигорска российские гаишники остановили на транскавказской автомагистрали колонну из двух грузовиков и нескольких легковушек без номерных знаков. Выскочившие из них молодые люди потребовали права проезда на том основании, что являются … передовым отрядом миротворческого батальона Конфедерации горских народов! Когда милиционеры в сомнении запросили по телефону начальство из города, командир добровольцев вынул листок бумаги и, указывая на него, с мрачной решимостью заявил, что на основании приказа президента Конфедерации Мусы Шанибова милиционеры и спешно прибывший из города руководитель горсовета берутся в заложники и при попытке бегства будет применено оружие. Молодым вожаком добровольцев был дотоле неизвестный чеченский тракторист Руслан Гелаев, позже ставший одним наиболее известных лидеров чеченских боевиков. А тогда он вынудил взятых в заложники милиционеров и местных руководителей сопровождать его колонну до горного перевала на границе с Абхазией.

Подобное самоуправство происходило во многих северокавказских республиках, особенно в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, где этническое черкесское родство с абхазами ощущалось особенно сильно. Повсюду возникали группы молодежи, именовавшие себя добровольческими батальонами Конфедерации горских народов. Наиболее решительные демонстрировали чудеса выносливости, спешно переходя горные перевалы пешком, другие ехали к абхазской границе автобусами, чтобы на свой страх и риск пересечь пограничную реку Псоу вброд или добраться до абхазских зон контроля на катерах. Оставшиеся бушевали на площадях столиц своих республик, требуя от местных властей оружия и транспорта для выезда на защиту абхазских братьев от грузинских агрессоров. Северокавказская (вернее общечеркесская) революция внезапно вспыхнула от искры, которой стала Абхазия.

В Нальчике Шанибова пригласили в Министерство внутренних дел республики – как он полагал, для обсуждения путей снижения напряженности и предотвращения дальнейших стычек между митингующими, войсками и милицией. Вместо этого Шанибова без обиняков спросили, является ли Конфедерация горских народов общественным движением или же государственным образованием? Если это общественная организация, то должно подать заявление для регистрации соответствующими государственными органами РФ. Но поскольку Конфедерация объявила войну Грузии и начала ставить под ружье ба-

тальоны, то, следовательно, шанибовская организация начала присваивать себе атрибуты и суверенные права независимого государства, что является прямым нарушением российской конституции. Этот увлекательный теоретический диспут завершился арестом Мусы Шанибова, которого усадили в крытый тентом кузов грузовика и под конвоем отделения солдат на бешеной скорости повезли в аэропорт, где его уже дожидался вертолет.

Несколькими днями позже Шанибов бежал из тюрьмы. Московские (и, тем более, грузинские) журналисты сходились в циничной оценке побега как результата некой негласной сделки. Но может, все было проще, хотя и в этом случае едва ли героично. Шанибова не удержали по причине царившего в то время бардака – именно так оценивает приводимую ниже историю один из военных разведчиков. Попробуем разобраться.

Арест Шанибова поставил Москву перед типичной для контрреволюционных сил дилеммой: на свободе его деятельность выглядела раздражающе и достаточно опасной, и в то же время, держать народного трибуна в заключении, означало делать из него героя и мученика режима. Новость об аресте Шанибова действительно вызвала гигантскую вспышку негодования в Кабардино-Балкарии. Правительственное здание в Нальчике оказалось осажденным зло и всерьез. В свою очередь, президент Коков, на сей раз, также отреагировал всерьез, даже, в какой-то момент, раздав своей номенклатуре каски, бронежилеты и стрелковое оружие – вполне в соответствии с горской традицией мужской доблести (правда, в современных доспехах). Впрочем, один из помощников Кокова привел в пример последний бой президента Сальвадора Альенде во время военного переворота 1973 г. в Чили, а именно знакомую всем советским гражданам фотографию Альенде в каске. Каким бы не был источник, решение вооружить бюрократов послужило отчаянным сигналом, адресованным сразу нескольким сторонам: митингующим, президенту Ельцину, находившимся в Нальчике русским военным, и, в не меньшей мере, самим чиновникам, которых в буквальном смысле этого слова поставили под ружье. В не уступающем по символичности ответном послании митингующие пригнали на площадь бензовоз и пригрозили сжечь «логово воров», т.е. бывший республиканский комитет компартии, ныне именуемый домом правительства (то самое элегантное и внушительное здание сталинских времен, на стройке которого некогда едва не погиб отец Шанибова). Находившийся в здании российский генерал милиции Куликов (позднее министр внутренних дел РФ, отвечавший за первую войну в Чечне) вышел к народу и сурово пригрозил, что если к 21:00 митингующие не очистят площадь, то он вышлет бойцов спецподразделения «Альфа» и профессионалы раскидают толпу голыми руками. Недооценка Куликовым местной культуры оказалась вопиющей. На расчищенное для драки место перед зданием стали выстраиваться кабардинские борцы-разрядники, боксеры, каратисты, ветераны-афганцы и просто хулиганы покрепче. Дабы не быть обвиненными в несправедливом численном преимуществе, кабардинские повстанцы благородно

прекратили прием желающих померяться силами с «Альфой», когда их число достигло шестисот; десятки тысяч демонстрантов и сочувствующих в соседних дворах и скверике ждали исполнения генеральского слова с азартом болельщиков. Об этом эпизоде кабардинские активисты вспоминают с самым большим удовольствием. Смех, конечно, смехом, но с обеих сторон на этот раз чувствовалась готовность применить силу. Если в Грозном чеченская революция обошлась только одной человеческой жертвой – чиновником, который то ли в попытке бегства выпал из окна штурмуемого толпой здания, то ли его подтолкнули – в Нальчике кровопролитие могло быть нешуточным. Но обошлось. Возвращение Шанибова сыграло в этом ключевую роль.

Шанибовская версия побега в кратком пересказе звучит примерно так: сразу после задержания, его вертолетом вывезли за пределы Кабардино-Балкарии и затем несколько дней переводили из одной тюрьмы в другую, не покидая, однако, Северного Кавказа. В одних тюрьмах начальство встречало его едва ли не с почтительным гостеприимством, предлагая принести печенья и кефира из магазина, в других его бездушно помещали в вонючую камеру с уголовниками. Не было ни последовательности в оказываемом приеме, ни допросов вообще. В конце концов, на легковой машине без опознавательных знаков в сопровождении двух офицеров милиции и водителя Шанибова повезли, как он догадался, в Ростов-на-Дону. Переезд оказался нелегким и занял почти весь день, отчасти потому, что на замену спустившего колеса понадобилось время. Пока меняли колесо, рядом притормозила машина с чеченскими номерными знаками. Вмиг побледневшие милиционеры полезли было за пистолетами, однако чеченцы, не знавшие о том, что те конвоируют вождя горских народов, просто остановились предложить свою помощь. В Ростов добрались уже ближе к полуночи, когда тюрьма, как и более нормальные учреждения, была закрыта. Два офицера, сопровождавших Шанибова, прошли с бумагами внутрь и долго не возвращались. Тем временем, усталый водитель начал клевать носом; Шанибов тихонько открыл дверь и выскользнул из машины. Вначале он притворился, что ищет укромного места справить малую нужду, а, отойдя подальше, рванул к ярко освещенным центральным улицам. Район ростовской тюрьмы ему был хорошо знаком с бытности районным прокурором в 1960-х; тот же опыт подсказывал, что искать его будут в темных переулках, а не в самом центре города. Притворившийся пьяным гулякой Шанибов добрался до квартиры друга, одолжил денег, переоделся, и на следующий день тайком, запутывая следы, все же отправился из Ростова в Кабардино-Балкарию – вначале на частной автомашине, затем автобусом. Тем временем в Нальчике жене Шанибова звонили из милиции и КГБ, добиваясь сведений о местонахождении ее мужа и, сокрушаясь, уверяли, что его и так бы освободили, без всех этих неприятностей с побегом. Бегство нашего революционера не слишком похоже на знаменитый хорошо подготовленный побег главы анархистов князя Кропоткина из лазарета Петропавловской крепости и, тем более, на похождения графа Монте-Кристо. Лично я

склоняюсь к мысли, что можно верить в достоверность этой версии, а не очередной «теории заговора», которая вполне может оказаться и дезой, подброшенной самим милицейским начальством в покрытие их упущения.

Как бы то ни было, история с шанибовским побегом позволяет нам оценить масштаб разброда в российском государстве летом 1992 г., через полгода после роспуска СССР и гиперинфляционного отпуска цен в порядке шоковой терапии в экономике. В политическом плане бежал ли он, или был выпущен на свободу, не имело особого значения. Шанибов вернулся в Нальчик, где ликующая толпа на руках вознесла его на импровизированную трибуну (кажется, козырек над входом в магазин на первом этаже многоэтажки), с которой он с жаром и поведал историю своего ареста и побега, народным пересказом незамедлительно снабженную различными романтическими подробностями. Он вновь повторил призыв к продолжению борьбы за смену правительства «чинуш, воров и московских пешек», за свободу народов Северного Кавказа в выборе их исторического будущего; однако, прежде всего – все силы на оборону братской Абхазии!

Предлагаемая посылка добровольцев на абхазский фронт неожиданно предоставляла сидевшей в осаде номенклатуре своеобразный предохранительный клапан, позволявший выпустить перегревшийся пар в другом направлении. В очередной раз следует упомянуть, что неизвестны или окутаны слухами детали многосторонних закулисных переговоров между Москвой, Тбилиси, абхазским правительством в Гудауте, российским военным командованием, властями северокавказских республик и вожаками горских добровольцев. Но, также в очередной раз, это не имеет особого аналитического значения. Прецедент уже возник весной 1992 г., когда на выручку Приднестровской молдавской республики с Кубани, Дона и Терека отправлялись отряды казачьих добровольцев, которые, как вполне обоснованно считается, негласно курировало Главное политуправление Внутренних войск. Руководство северокавказских республик, очевидно, осознало, что в их же интересах было просить у федерального правительства, которое само ежечасно ожидало волны восстаний на кавказской периферии, разрешения на пропуск добровольцев в Абхазию.

Что касается президента Ельцина, то после обретения центральной власти ему в наследство, несомненно, достались и тайные операции конца эры перестройки. Их продолжению он едва ли мог противиться, следуя своему недюжинному политическому инстинкту – и вызывая многочисленные обвинения в вероломстве[87]. Летом 1992 г. Ельцин, очевидно, все еще надеялся на скорый

[87] Заметим, что главой Грузии, хотя пока и довольно номинальным, весной 1992 г. стал Эдуард Шеварнадзе, вернувшийся из Москвы на разоренную и раздираемую гражданской войной родину в ореоле ее спасителя и миротворца. Действительно, вскоре удалось подавить остаточное сопротивление звиадистов в Мегрелии и затем, при российском посредничестве, надолго притушить войну в Южной Осетии. Считается, что Шеварнадзе вернулся к власти не без помощи, если не по прямой просьбе Ельцина – своего давнего и, говорят, доброго знакомого по горбачевскому Политбюро и объективного союзника в период противостояния горбачевскому правому повороту 1990-91 гг. В августе 1992 г. новоформируемые грузинские войска, незадолго до этого получив-

успех рыночных реформ и последующую стабилизацию. Он видел свою историческую миссию в исполнении роли верховного «гаранта», авторитетно (и авторитарно) разруливающего возникавшие со всех сторон конфликты, предоставляя делать свое дело команде молодых и политически неискушенных неолиберальных реформатов. Ельцин не мог допустить вслед за Чечней нового обвала власти в остальных республиках Северного Кавказа. Это грозило ему катастрофической потерей позиций в трудном торге с номенклатурными сепаратистами Татарстана и Башкирии, дало бы козыри оппонентам во все более националистически настроенном Верховном совете России, и, как многие тогда ожидали, могло подтолкнуть генералитет армии и госбезопасности, чья политическая лояльность оставалась неясной, на новую, более решительную попытку переворота во имя спасения отечества. Как всегда в политике, ожидание угроз является сложным комплексом рационального расчета, предрациональной интуиции, общих идеологем и личных габитусных диспозиций. Все московские реформаторы, начиная с Хрущева, неожиданно для себя столкнувшегося осенью 1956 г. с вооруженным восстанием в Венгрии, оказывались в какой-то момент перед острейшей дилеммой между развинчиванием гаек (продолжением реформ) и их поспешным завинчиванием, когда дальнейшие последствия либерализации приводили к неконтролируемым всплескам конфликтов и, по обратной связи, панически растущим опасениям за сами основы власти. Возобновление Ельциным неофициальной (хотя в сумятице не слишком тщательно скрываемой) поддержки абхазского сопротивления войскам госсовета независимой Грузии исходило не столько из империалистических идеологем и не из геополитических планов обеспечения «незащищенного южного фланга», сколько из стихийно возникавшей по ходу неконтролируемого развития событий политической многоходовки.

шие в качестве своей доли советского наследства тяжелое вооружению с ныне российских баз в Грузии, немедленно предприняли марш-бросок в Абхазию под предлогом прекращения грабежей проходящих из России поездов. Фактически это вторжение грозило ликвидацией абхазской автономии/сепаратизма, на что, по распространенному убеждению грузинской стороны конфликта, имелось негласное согласие Ельцина. Вторжение с первых часов сопровождали внесудебные расправы, грабежи и погромы, которые чрезвычайно возбудили не только абхазов и их собратьев на Северном Кавказе, но также проживавших в Абхазии многочисленных армян и русских, немало из которых вскоре встало на сторону абхазского сопротивления. По рассказу одного из советников российского президента, сопровождавшего его в августе 1992 г. во время отпуска в Сочи, он услышал, как в телефонном разговоре с Шеварнадзе Ельцин жестко-иронично бросил: *«Ну, что, подставили нас твои бандиты?»* Тем не менее, считается, что именно российские военные осенью 1993 г. спасли Шеварнадзе из горящего Сухуми после морального и военного поражения грузинского вторжения, и следом десант Черноморского флота пресек очередную попытку звиадистского восстания на западе Грузии, после чего Шеварнадзе согласился на формальное присоединение к СНГ (откуда в 2009 г. выйдет свергнувший Шеварнадзе Михаил Саакашвили). Вот такие хитросплетения к отчаянию ответственных историков и на радость сочинителям легенд и шпионских триллеров.

«Отечественная война народов Абхазии» и горских добровольцев

Именно так официально называется в Абхазии вооруженный конфликт с грузинской стороной, длившийся с августа 1992 по сентябрь 1993 г. Публичные упоминания горских волонтеров, однако, сделались проблематичными уже вскоре после войны по достаточно понятным причинам, в том числе потому, что в Абхазии впервые заявили о себе чеченские командиры Шамиль Басаев и Руслан Гелаев[88]. Участие горских добровольцев было весьма существенным в политико-психологическом и военном плане. В некоторых операциях они составляли до половины и более сил, противостоявших грузинам. Называются различные цифры, обычно порядка трех-четырех тысяч бойцов, несколько сот из которых погибло, хотя четкой общей статистики, по всей видимости, не существует – добровольцы держались своих этнических отрядов и дружеских групп, составлявших, особенно в неразберихе первых этапов войны, именно конфедерацию, а не единую армию, приезжали без предупреждения и некоторые из них так же внезапно уезжали. У отрядов горцев, по всей видимости, были и резоны политического и военно-стратегического характера, побуждавшие их держаться самостоятельно. Абхазскую армию, особенно в середине войны, негласно консультировали российские военные советники, которые следовали своим, полученным в военных академиях, схемам ведения регулярных и массовых боевых действий, отражавшим советскую стратегию и тактику времен Великой отечественной войны. Предписываемые ею фронтальные атаки с применением всех родов войск не соответствовали составу и вооружению добровольцев, плохо вписывались в горный ландшафт и приводили к чудовищным для малых народов потерям. (Чего стоили попытки форсирования протекающей в глубоком каньоне речки Гумиста весной 1993 г.) Горцы предпочитали скрытные партизанские вылазки, обходные маневры по крутым склонам хребтов, обманные движения и психологические трюки (например, чеченский волчий вой перед атакой), что для профессиональных военных советников, зачастую, звучало дикостью.

Руководители государственных структур Северного Кавказа отправляли добровольцев в Абхазию, снабдив их своим благословением, и не без чувства облегчения. Экспорт революционных смутьянов на другую сторону Кавказского хребта разряжал обстановку и давал надежду на политическую передышку. В свою очередь, Шанибов, добившийся официального согласия на формирование «миротворческих» батальонов Конфедерации при условии их немедленного выдвижения в Абхазию, искренне надеялся, что ценой временного соглашения с политическими противниками его Конфедерация сможет приобрести

[88] Отряд Гелаева, превративший во время второй чеченской войны Панкисское ущелье на территории Грузии в свою тыловую базу, в 2003 г. по многочисленным свидетельствам участвовал уже с грузинской стороны в вылазках на территорию Абхазии. Основным мотивом здесь следует полагать плату грузинским властям за постой в Панкиси и прочие негласные взаимные одолжения, хотя не стоит исключать эмоциональный элемент мести абхазским властям за проявленную неблагодарность и союз с Россией.

стратегический рычаг собственной, овеянной славой и закаленной в боях армии. Если первые добровольцы были вынуждены проходить горными тропами через перевалы в обход пропастей и ледников или пробиваться силой, как чеченский отряд Гелаева, Муса Шанибов и набранные им бойцы прибыли в Абхазию уже в длинной колонне автобусов в сопровождении российских военных вертолетов.

Кабардинцы составляли большинство конфедератов. По подсчетам Шанибова и нальчикской организации ветеранов Абхазии, в совокупности на той войне повоевало от полутора до двух тысяч кабардинцев; на памятнике погибшим в Нальчике выбито 56 имен. Точный социальный состав кабардинских добровольцев неизвестен, однако по итогам бесед с участниками тех событий можно с достаточной уверенностью заключить, что, особенно на первом этапе, встречались и романтичные молодые интеллигенты, но основную массу все же составляли более простые и сельские парни, в том числе, имевшие боевые навыки и диспозиции: молодые ветераны войны в Афганистане либо борцы и боксеры (эти мужественные виды спорта, не требующие сложного снаряжения и инфраструктуры, давно пользовались исключительной популярностью на Северном Кавказе, особенно в среде суб-пролетариев). В ходе бесед с бывшими добровольцами выяснилось еще одно показательное обстоятельство: среди них оказалось на удивление много сыновей из больших семей, где было четверо и более детей. Подобные семьи стали крайне редки в городских советских условиях, однако остались типичны в сельской и суб-пролетарской среде на Кавказе. Кроме того, повторю высказанное в первой главе предположение, что матери, у которых было несколько сыновей, с большей долей вероятности благословили бы того из них, кто решил пойти на войну.

В Абхазии мне как-то предоставили возможность ознакомиться с канцелярской папкой, содержавшей документацию чеченского отряда, которым, вероятно, командовал Шамиль Басаев. Из привлекших внимание нескольких особенностей первой была однородность басаевского подразделения: за редкими исключениями все были рождены в 1967-1973 гг., т.е. в годы абхазской войны им было от 19 до 25 лет. Практически все, за исключением самых младших, прошли срочную службу в советской армии. Все они были уроженцами лишь трех районов Чечни: двух горных (Шатой и Ведено, где родился сам Басаев), и города Грозного. В списке также значились две русские фамилии, плюс одна по звучанию немецкая или еврейская, и еще одна, судя по месту рождения и написанию, волжско-татарская. Об этих вероятных не-чеченцах никто не мог мне сказать ничего определенного. Сомнительно, чтобы они были наемниками, поскольку в басаевском отряде по всем свидетельствам поддерживалась высокая дисциплина и не практиковались грабежи. Хотя было полно бесхозных автомашин и телевизоров из оставленных грузинами домов, чеченцев интересовало только оружие. Возможно, бойцы с русскими, еврейскими и татарскими фамилиями все-таки были чеченцами из смешанных семей или детдома (такие слу-

чаи известны), либо могли быть чьими-то друзьями, а может романтиками, знакомыми с Басаевым еще по совместной учебе в Москве. Несколько бойцов значились как имеющие неоконченное высшее образование, и еще у нескольких имелись дипломы техникума. Образование остальных – только средняя школа. Но самое большое впечатление произвели не списки, а бухгалтерская и прочая хозяйственная документация. Она старательно подражала официальному языку советских учреждений и войсковых частей, однако написанные на русском отчеты и расписки пестрели вопиющими и порой забавными ошибками (например, в соответствии с фонетикой кавказского произношения, самолет мог написаться как «самалот», бензин – «биндзин»). Тем более поражало стремление к скрупулезному ведению и хранению боевой документации, совсем как в настоящей Советской Армии[89].

Абхазия в какой-то мере стала для националистов Северного Кавказа тем, чем послужила Гражданская война в Испании для социалистических и коммунистических партий, или же Афганистан последних десятилетий для радикальных исламистов Ближнего Востока. Это была возможность получить оружие и боевой опыт, выковать политическое мировоззрение, принять непосредственное участие в борьбе против общего идеологического противника, но также и испытать громадный эмоциональный прилив в романтическом повстанчестве, невозможном у себя на родине, под властью консервативных элит, ощутить в экстремальной обстановке узы взаимной поддержки, преодолевающие границы, приобрести уверенность в себе – словом, все то, что в будущем могло помочь распространить борьбу на свои собственные страны[90].

Важным поворотом событий стало прибытие в Абхазию подкреплений ресурсами и людьми из Турции и некоторых ближневосточных стран (в основном Сирии и Иордании), где внушительные этнические меньшинства вели свой род от легендарной черкесской стражи-мамелюков и мусульманских изгнанников-мухаджиров времен завоевания Кавказа Россией. Ислам, помимо чувства этнического родства, создавал этому межнациональному союзу символическое обрамление. Рост роли ислама среди добровольцев горской Конфедерации в военное время имел и самое практичное значение. С первого дня Шанибов и его командиры пытались наладить строгую дисциплину среди своего воинства – например, запретить употребление спиртного и ввести систему наказаний провинившихся подчиненных. Можно было, конечно, воспользоваться моделью советской армейской дисциплины и пропаганды, что, как видели, также находило применение. Однако нормы шариата казались строже, духовно чище, авторитетнее, более соответствующими духу предков и совершенно уместными

[89] Анатоль Ливен, неоднократно наблюдавший Басаева и в Абхазии, и позднее в Чечне, т.е. на протяжении его эволюции из чегевариста в боевика и затем моджахеда, рассказывает, что во время самых тяжелых боев за Грозный в январе-феврале 1995 г. он наблюдал, как в штабе Басаева дневальный продолжал мыть пол во время бомбежки. Anatol Lieven, *Chechnya, The Tombstone of Russian Power.* Yale University Press, 1998.

[90] На стороне грузин в боевых действиях принял участие немногочисленный отряд украинских националистов, искавших возможности сразиться с «российским империализмом».

на войне. После первых боевых потерь возникли вопросы относительно ритуалов погребения павших товарищей. (И тут выяснилось, что у абхазов вовсе не было мусульманских кладбищ и мечетей, которые конфедераты начали создавать своими силами под довольно настороженными взорами абхазов.) Начиная с харизматичного Басаева, другие молодые командиры также стали сдвигать идеологию движения в сторону ислама, тем более что он символически противостоял всячески демонстрируемой принадлежности грузинских националистических формирований к христианству. Подобный военный прагматизм не следует считать циничным манипулированием. Законы шариата восходят ко временам Пророка, которому (в отличие от ранних христиан или буддистов), в первую очередь, требовалось воодушевить, дисциплинировать, символически упорядочить повседневную жизнь и посмертное существование своего разноплеменного воинства[91]. Именно эти практики раннего ислама впоследствии так помогли дагестанскому имаму Шамилю организационно и идейно структурировать созданное им в 1830-1850-е гг. повстанческое государство. Наконец, еще одним дополнительным объяснением может быть неловкость, испытываемая северокавказскими добровольцами при получении российской поддержки – особенно в присутствии своих ближневосточных собратьев – откуда и желание подчеркнуть исламскую общность. Исламизм, однако, не помог, а скорее способствовал расколу. Во-первых, ближневосточная религиозность культурно и лингвистически удаленных союзников стала сильно беспокоить самих абхазов как по культурно-конфессиональным (большинство абхазов мусульманами никогда не были), так и по политическим причинам (совсем ни к чему было отчуждаться от России). Возникало и все более опасное соперничество между кабардинцами и чеченцами, которое от джигитского азарта и взаимной демонстрации доблестей сдвигалось в религиозную и ритуальную сферу, где братские компромиссы были уже куда менее возможны. Кабардинцев могло, к примеру, глубоко оскорбить надменное отношение чеченцев к их старинному обряду воинского погребения, предписывающему завернуть убитого в бурку, что с точки зрения исламских ортодоксов можно счесть язычеством. Кабардинцев же и прочих горцев не прельщали чеченские «песни-пляски» вокруг могилы – на самом деле зикр, экстатический ритуал кадырийских суфиев. Различия в поведении и мировоззрении отражалось все более отчетливо в конфликте политических проектов. Как воспринимать оборону Абхазии – шагом к воссозданию Великой Черкесии? Мифической Конфедерации всех горцев? Исламским джихадом? (Это в защиту фактически язычников абхазов?!) Или же борьбой вместе с Россией против грузинского антисоветского сепаратизма? Но тогда что тут делают чеченцы? (Некоторые из воюющих чеченцев в разговорах с собратьями-добровольцами других национальностей невозмутимо признавали, что судьба абхазов их не слишком волнует, но эта малая война дает хороший

[91] Вероятно, наилучшим описанием раннего ислама является работа Олега Г.Большакова *История халифата*, т.1, Москва: Наука, 2000.

случай попрактиковаться перед будущей большой войной с Россией, что воспринималось собеседниками как «типично чеченское» смертолюбивое сумасшествие.)

Кризис горского конфедеративного проекта и сдвиг от демократизаторского национализма времен перестройки в сторону военизированного ислама ознаменовал начало заката траектории Шанибова-политика. Он оставался совершенно невоенным человеком. На довольно забавном фото, снятом в одном из санаториев Абхазии, у цветника перед входом в курортного вида корпус солидный Шанибов в фетровой шляпе и костюме при галстуке являет разительный контраст молодым бородачам из кабардинского отряда, пестро наряженным в камуфляж, джинсы, головные банданы, разгрузки, лихо перепоясанным пулеметными лентами – типичные Рэмбо-образные боевики начала девяностых. Шанибов также остается слишком узнаваемо советским интеллигентом, чтобы выглядеть вполне естественно при отправлении исламских обрядов. Его риторика, при всем национальном уклоне, была слишком сродни риторике российских демократов Собчака и даже Ельцина, но никак не риторике исламистов.

Война в Абхазии стала тяжелейшим периодом в жизни Шанибова. Его юный сын был подло убит, и что хуже всего, вне поля боя, уже после изгнания грузин. Говорили о сведении счетов. Сам Юрий Мухамедович о мотивах этого преступления и преступниках предпочитает не говорить. Возьмем и мы скорбную паузу.

Сам он был тяжело ранен дурной (уместнее слова не подобрать) пулей: молодой абхазский часовой у входа в кабинет, где шло совещание, играясь, уронил на пол автомат с патроном, досланным в патронник; на предохранитель автомат, разумеется, поставлен не был, и очередь прошила стену, ранив в ноги Шанибова и абхазского генерала. Местные хирурги рану залечить не смогли, и тогда за дело взялся кабардинский доброволец из Сирии, практиковавший народные снадобья на травах – рецепт, унесенный его семьей с Кавказа во времена мухаджирства. Подобный романтический способ лечения помог было Шанибову нарастить плоть, однако проблемы с поврежденной костью заставили его, затем, провести почти два года в российских военных госпиталях. Там он и стал читателем работ Бурдье, только что впервые переведенных на русский.

Фактически, ранение поставило крест на политической карьере Шанибова. Но даже до этой нелепой случайности он уже многим казался анахронизмом. В Москве Шанибов терял политические связи по мере консолидации власти Ельцина в конфронтации и, окончательно, после разгона Верховного совета. Для краткости скажем метафорично, что изобиловавшие водоворотами течения московской политики оказались слишком мутными и бурными для Шанибова, не сумевшего избежать промахов. Его политическая среда исчезла вместе с аналогичными ораторами от оппозиции образца 1990-93 гг. В Абхазии и Чечне молодые и напористые полевые командиры прибирали к рукам как планирование операций, так и поступающие финансы. Роль Шанибова (недаром его называли

тамадой Конфедерации) свелась к провозглашению идеологических лозунгов и участию в публичных мероприятиях в поддержку Абхазии. Но одних символических ресурсов для обеспечения политической позиции уже явно недоставало, да и война в Абхазии подошла к концу.

Война, пусть не самая большая по масштабам, была очень жестокой и сопровождалась мстительными преступлениями с обеих сторон: грабежи, поджоги, убийства, пытки и изнасилования взвинтили спираль взаимной мести до, казалось, массового умопомрачения. (Сразу хочу подчеркнуть, сказанное относится далеко не ко всем участникам войны. Война, однако, будто бы преднамеренно беспощадна к благородству чувств. Идеалистически настроенной молодежи и студентам, первыми поспешившим на помощь Абхазии, достались и самые тяжелые потери. Сказалась, очевидно, готовность рисковать ради высоких целей. Такие же романтики погибали первыми со всех сторон постсоветских этно-гражданских войн.) Но даже в самом чудовищном насилии прослеживается определенная логика. Ощущавшие себя загнанными в угол, перед лицом угрозы полного уничтожения, абхазы дрались сплоченно и отчаянно. По той же причине они выказывали порою параноидальную жестокость в поиске шпионов и предателей, особенно среди оказавшихся не по ту сторону фронта грузинских семей и в селах смешанного этнического состава, каковых было очень много. Грузинские шпионы и диверсанты, в самом деле, случались, как и направленные на превентивное запугивание зверства грузинских боевиков, что порождало в абхазах жажду немедленной мести. Но большинство попавших под руку грузин, несомненно, не имело к вторжению прямого отношения, а многие были сторонниками Звиада Гамсахурдия, свергнутого теми самыми боевиками «Мхедриони» и Национальной гвардии, которые теперь бесчинствовали в Абхазии. Абхазская реакция не вдавалась в детали политических предпочтений численно значительно их превосходивших потенциальных и реальных противников. Срабатывал механизм «наступательной паники» (forward panic), когда острое чувство страха, казалось, загнанных в угол людей, вдруг, сменяется возможностью преодолеть страх и минутную слабость нанесением врагу бешеной, крайне эмоционально интенсивной ответной жестокости[92]. Поиски в своем селе предателей и шпионов также скорее сродни архаичной охоте на ведьм – ритуальной борьбе за насильственное очищение социального организма, хорошо знакомой антропологам и историкам средневековой культуры. Это, увы, оборотная сторона крестьянской сельской общины, в силу соседской кооперации и перекрестного родства пронизанной разветвленными отношениями дружбы – что, в периоды кризисов, оборачивается переходом от плюса к минусу, острейшим страхом и насильственным полным отторжением «плохих» соседей[93].

[92] Randall Collins, *Violence: A Sociological Theory*. Princeton University Press, 2008.

[93] Литература, рационально исследующая источники крайне жестокого поведения людей, достаточно обширна. На мой взгляд, наиболее полезными работами являются, соответсвенно, с био-эволюционной, антропологической, и культурно-социологической точек зрения: Jared Diamond, *The Third Chimpanzee: The Evolution of*

Если насилие со стороны абхазов носило более крестьянский характер, выражавшийся, в том числе, в «охоте на ведьм», то грузинские формирования в те дни скорее напоминали феодальный рыцарский поход – не в смысле рыцарского благородства, но поведения реальных крестоносцев при захвате Константинополя и Иерусалима. Свидетели злодеяний с грузинской стороны постоянно упоминают высокомерие и презрительно-отстраненное безразличие, с которым творилось зло. Это, скорее, аристократические комплексы. Люди, вероятно, воюют так же, как работают или играют, что в теоретических понятиях актуализирует роль социального габитуса как постоянного принципа в генерировании самого различного рода деятельности – от работы до досуга и войны. Грузинские националистические добровольцы зачастую вели себя на поле боя подобно феодальной знати, соревнуясь друг с другом в зрелищных до безрассудства актах личной доблести. Храбрецы могли выйти покурить под пулями на передовой, устроить пикник в зоне боя – вспомните завтрак мушкетеров при осаде Ля Рошели. По той же причине в повседневной фронтовой работе царили аристократические лень и расхлябанность. Никто не желал натирать руки в рытье окопов или обслуживании и ремонте доставшихся от советских времен танков. Бойцы грузинских отрядов, с которыми я разговаривал вскоре после окончания войны в Тбилиси, Батуми (однажды даже в самолете во время долгого перелета из Нью-Йорка в Москву), с поразительной откровенностью, смешанной с горечью и негодованием (очевидно в качестве психологической компенсации после позора поражения) описывали воинство, которое, в самом деле, трудно считать армией. Употребление наркотиков было едва ли не повальным. Бойцы корпуса «Мхедриони» («Всадники») под командованием харизматично-колоритного бывшего грабителя банков, доктора искусствоведения и неплохого романиста Джабы Иоселиани, охарактеризованные одним из знающих собеседников как «плохие мальчики из хороших тбилисских семейств», по его же словам отличались более изысканными и дорогими пристрастиями к морфинам, в то время как менее элитарные, в массе своей сельские и суб-пролетарские нац.гвардейцы бывшего скульптора Тенгиза Китовани довольствовались анашой. Значительную часть времени бойцы проводили за вином и яствами, собранными в ближайших домах или отобранными у их обитателей (многие из которых также были грузинами). Приказы оспаривались или не выполнялись из демонстрации собственного достоинства. (Пример: в ответ на приказ отправляться на пост, боец игриво снял с офицера его форменную кепку, нахлобучил ее обратно под общий гогот товарищей, и лишь после того отправился на пост.) В периоды нудного окопного сидения иногда больше половины личного состава подразделений могло попросту уехать отдохнуть домой (по уважительной причине, вроде свадьбы друга), прихватив в подарок «трофейный» ковер, люстру или телевизор.

Human Animal. (New York, 1996); Timothy Earle and Allen Johnson, *The Evolution of Human Societies.* (2nd. Ed., Stanford University Press, 2000); О.В. Хархордин (науч.ред.) *Дружба: Очерки по теории практик*. (Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009).

Но здесь нас в который раз поджидает опасность скатиться к абсолютизации этнической культуры и излишней историзации. Президент Абхазии Владислав Ардзинба, в советской жизни доктор наук и признанный специалист по протохеттской мифологии, вскоре после взятия Сухума фаталистично признал в интервью журналисту, что разграбление захваченных городов является неизбежной традицией войны еще с Бронзового века. Возможно и так – однако это означало также, что иррегулярные отряды боевиков и ополченцев в абхазской и прочих недавних гражданских войнах на территории бывшего СССР не выказали организационной дисциплины, выучки и иерархической сплоченности, отличающих современные вооруженные силы от воинств эпох и стран, не испытавших рационализующей модернизации. Провал был и моральным, и институционным; командиры, которые не могли опираться на профессиональную военную идеологию, субординацию и практику карьерного поощрения своих людей, в качестве вознаграждения дозволяли им насилия и грабежи.

В последние дни войны абхазские ополченцы и их союзники по Конфедерации изгнали из Абхазии практически всех грузин, т.е. почти половину довоенного населения автономии. Конец войны ознаменовался не меньшими жестокостями, чем начало – со множеством кровавых разборок и вендетт, причем, необязательно национального или политического характера. Убивали друг друга из-за споров по поводу «трофейного» имущества, за старые довоенные обиды, по совершенно необъяснимым «отвязным» поводам. В то же время было бы неверным видеть в насилии последних дней войны лишь месть, опьянение успехом или атавистическую жестокость. Явственно проглядывает наличие целенаправленной стратегии, стремящейся максимизировать воздействие устрашения на противника. Подобно всем стратегиям террора, запугивание есть оружие слабых (в организационном отношении). Маленькая полурегулярная армия не имела возможности осуществления полицейского надзора над грузинским гражданским населением и предпочла изгнать потенциально враждебных жителей (а, следовательно, в долгосрочном отношении изменить демографический баланс). Подобные действия вынудили грузинское население бежать из зон, которые абхазские и добровольческие силы оказались достаточно сильными, чтобы захватить – и слишком слабыми, чтобы контролировать.

Итогом войны в Абхазии стал позиционный тупик. Грузинское воинство потерпело поражение, и вслед за ним было изгнано гражданское население. Затем и само грузинское государство едва не кануло в очередной гражданской войне. Однако на международном уровне Грузия смогла ответить на военную победу Абхазии ее политической и экономической блокадой. Международные нормы признания государств действуют на основе консенсуса и легко могут быть блокированы наложением вето со стороны государства, столкнувшегося с угрозой отделения его части. На следующие два десятилетия некогда процветавшая Абхазия осталась в изоляции среди сожженных прибрежных кафе, заброшенных вокзалов и многоэтажек, сорняков, забивших сады – как будто ил-

люстрация к ставшему в те годы модным тезису о «демодернизации» как нативистской реакции на глобализацию. Нам, однако, теперь должно быть более понятно, какое зло на самом деле посетило эту землю.

Губернаторская реставрация

В конце 1993 г. вернувшиеся из Абхазии кабардинские добровольцы встретили дома совершенно иные политические реалии. Революционная ситуация остыла до такой степени, что о ней стало даже неловко вспоминать. В ходе короткой гражданской войны в октябре 1993 г. президент Ельцин разогнал засевшую в переходном парламенте России оппозицию и стал единоличным правителем. Кровавые октябрьские события в Москве, за которыми последовало принятие новой конституции, наделявшей президента почти императорскими бонапартистскими полномочиями, положили конец затянувшейся революционной ситуации в России (впрочем, полномочия оказалось не так-то легко употребить в крайне ослабленном государстве). Кабардино-Балкария вновь оказалась под руководством Валерия Кокова и сплотившей свои ряды бюрократической патронажной сети. Балкарцы поутихли, разгневанные кабардинцы ушли с улиц, все погрузились в трудные заботы экономического выживания в неопределенно длительной депрессии, вдвое превзошедшей по глубине знаменитые американские бедствия 1930-х гг. Казалось бы, такие страдания должны были поднять народ против властей. Но произошло ровно наоборот – общественная активность иссякла. Демократия для «простых людей» стала едва не бранным словом. Национализм как движущая сила исчерпал себя. Политика российских провинций, включая Кабардино-Балкарию, стала определяться режимами бюрократической реставрации, вылившейся в коррумпированный олигархический патронаж. Давайте посмотрим, как сложилась подобная конфигурация.

После роспуска СССР в декабре 1991 г. новое и слабое правительство Ельцина находилось под давлением на трех уровнях: извне Запад требовал дальнейших геополитических уступок и большей открытости глобальным капиталистическим потокам в обмен на предоставление займов Всемирного Валютного Фонда; окружавшие Кремль московские неолиберальные технократы и финансисты (будущие олигархи) стремились стать теми, кого венгерский академик Иван Селеньи назвал идеологизированной по западным образцам «компрадорской интеллигенцией»[94] – фактически посредниками между мировым капитализмом и российской промышленностью и ресурсами; в провинциях же у власти в основном оставались номенклатурные руководители прежнего второго эшелона. В этом треугольнике – Запад, московские чиновники и олигархи, провинциальные губернаторы – теперь будет разворачиваться практически вся политическая интрига.

[94] Gil Eyal, Ivan Szélényi, and Eleanor Townsley, *Making Capitalism without Capitalists*. London: Verso, 1998.

Важно понять, кто тем временем не смог или перестал быть политической силой. Некогда преобладавшие в советской экономике промышленные пролетарии и специалисты оказались неспособны оформиться в классовую политическую партию. Социал-демократический проект потерял массового носителя. Потрясающе быстро сошла со сцены интеллигенция – ее аудитория стремительно исчезала, а лозунги демократии и национализма были перехвачены и эффективно использованы новыми правителями. Не стали партией и в целом консервативные «красные директора», которых еще недавно так опасались радикальные демократы и неолиберльные рыночники. Так же, как и с интеллигенцией, никто не ожидал, что депрессия так быстро подорвет позиции этого класса. Все еще направляемые своими советскими связями и габитусом, советские управленцы пытались, как и прежде, лоббировать в Москве продолжение ресурсопотока, однако наталкивались даже не столько на идеологическое сопротивление младореформаторов, сколько на грубо осязаемый факт, что объем поступавших в распоряжение российского правительства средств упал до трети предыдущего уровня[95]. Перспектива массовых банкротств в значительной мере лишила управленцев переговорных и перераспределенческих рычагов, как и ослабила решимость пролетариата к действиям. Собственно, на это и рассчитывали неолиберальные реформисты – банкротства и реструктуризация на всех уровнях должны были привлечь иностранных инвесторов. Однако вместо бурных потоков с Уолл-стрит, где как раз начинали постигать баснословные возможности освоения Китая, интернета и новых финансовых схем, потек лишь ручеек. С прекращением плановых капвложений и с несостоявшимся приходом иностранных концессионеров оставалось отложить перевооружение заводов и довольствоваться советским техническим наследием. Кроме природных ископаемых на внешний рынок предложить оказалось почти нечего.

Главы областей и провинций оказались перед лицом непосредственных общественно-политических последствий неолиберальных реформ. Чтобы осознать размеры угрозы и найти способы с нею совладать, им не требовалось быть знакомыми с классической работой Карла Поланьи и его теорией «двойного шага» в ответ на рыночное разрушение общества[96]. Главы регионов вернулись к старым политическому габитусу и практикам бюрократического патронажа, на сей раз задействованным против нависшей угрозы уничтожения рынком самих основ провинциального общества и, следовательно, их власти. Человека, знакомого с подлинной политэкономией государственного социализма, подобный поворот событий не удивил бы, однако неолиберальные реформаторы оперировали понятиями непреложных рыночных законов, предположительно свободных от наложенных историческим опытом и географическим местоположением особенностей. В отличие от Латинской Америки, в СССР воплощенное в аппарате коммунистической партии институционое слияние политики

[95] Vladimir Popov, "Shock Therapy Versus Gradualism: The End of the Debate." *Comparative Economic Studies* Vol. 42, no 1 (2000), pp. 1-57.

[96] Karl Polanyi, *The Great Transformation.* New York: Farrar & Rinehart, 1944.

и экономики сделало первых секретарей обкомов ключевыми фигурами в обеих областях. Ельцинская конституция 1993 г. фактически признала эту власть губернаторов, автоматически предоставляя им места в верхней палате нового парламента России. Совет Федерации, этот sui generis сенат, стал клубом губернаторов и платформой для политического лоббирования. Таким образом, сенат ельцинской эпохи воспроизвел основные черты властных функций и состава прежнего Центрального Комитета, но за исключением декоративного представительства депутатов из рабочих, колхозников и женщин[97]. По ходу дела губернаторы, которые учились действиям в новых условиях и активно перенимали друг у друга опыт, достигли заключения двух соглашений. Первым была номинальная приватизация предприятий с сохранением прежнего руководства, что позволило установить контроль над ресурсами. Во-вторых, губернаторы стали во главе промышленных руководителей в создании сетей бартерного обмена, обеспечивавшего выживание обанкротившихся предприятий, несмотря на замораживание их банковских счетов[98]. В итоге, это не только прочно привязало промышленных руководителей и рабочих к «своим» губернаторам, но и перекрыло поток местных ресурсов к московскому Центру.

К середине 1990-х губернаторы разработали несколько исходивших из местных особенностей, но взаимопересекающихся стратегий для обхода рынка. Здесь нам не стоит задерживаться на рассмотрении частностей, поскольку исход в каждом случае был одинаковым: неопатримониальный политический капитализм протекционистского толка[99]. Выходило, что покуда центральное правительство в Москве номинально выказывало приверженность выполнению требований МВФ по обузданию инфляции и монетарным ограничениям, губернаторы на местах создали множество заменителей денег (чеки, векселя, налоговые расписки местного обращения, платежные обязательства), которые позволяли проводить постоянную девальвацию де-факто и спасли от передела и реформ стоявшие на грани банкротства предприятия. Таким неожиданным образом распад плановой экономики и коммунистической партии не похоронили, а, напротив, подтвердили центральное значение бывших секретарей обкомов и новых губернаторов в ключевых региональных сетях. Эти социальные сети удерживались лишь тем, что можно назвать доверием отчаяния, поскольку заключаемые неэффективные договоренности выглядели приемлемыми лишь в сравнении с тотальным разрушением хозяйства, позиций местных элит и зависимых от них коллективов работников. Скоропалительно набросанные схемы бартерных обменов нарушались бесчисленными конфликтами, повальной коррупцией и бегством множества прихвативших украденное «политических капи-

[97] В 2001 г. Совет Федерации был реформирован Путиным с целью замены децентрализированного патернализма централизованным.

[98] David Woodruff, *Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999; Lawrence P. King, «Making Markets: A Comparative Study of Postcommunist Managerial Strategies in Central Europe», *Theory and Society* 30 (2001).

[99] Valerie Bunce, «The Political Economy of Postsocialism», *Slavic Review* 58: 4 (Winter 1999).

талистов» и «силовых предпринимателей» в оффшоры Кипра, Испании и Эмиратов. Вот откуда постоянно звучавшие в дискурсе Кокова и многих других провинциальных руководителей 1990-х гг. призывы объединиться и помнить о местном патриотизме.

В отсутствие действенных судов и правоохранительных органов повсеместно стало процветать предоставление частного права и защиты. Силовые предприниматели возникали из множества социальных групп, обладавших необходимыми сплоченностью и опытом насильственных действий: бывших заключенных, сообщества профессиональных воров, банд «оборотней в погонах», суб-пролетарских молодежных шаек, нашедших новое применение своим физическим данным и командной спайке спортсменов, этнических мафий. Все они попытались урвать свой кусок от сверхприбыльного пирога частной защиты. Позднее, в конце девяностых, восстановившиеся власти на местах значительно потеснили криминалитет, позволив лишь некоторым выжившим в годы повсеместной стрельбы везунчикам сохранить свою специфическую нишу на нижних уровнях рынка частного права и защиты. Но это пока вовсе не означает торжества закона – профессиональные корпорации сотрудников госбезопасности, правопорядка и связанные с ними официально зарегистрированные частные охранные агентства просто взяли под свой контроль наиболее прибыльные сектора и заняли над-рыночные охранные ниши, ранее захваченные рэкетирами [100]. Какое отношение это имело к политике? Объем откупных и сама доступность защиты от произвола (либо негласная лицензия на произвол) также находились в прямой зависимости от губернаторского либо президентского аппарата.

Теперь мы можем понять, почему после стольких потрясений Валерий Коков остался центральным действующим лицом, в целом, той же самой хозяйственно-политической элиты Кабардино-Балкарии. Подобно многим российским губернаторам, он сумел выстроить мощную сеть патерналистических зависимостей, концы которой сходились у него в кабинете. Еще в 1992 г., когда шанибовские добровольцы уезжали воевать в Абхазию, Коков сумел достичь прочного компромисса с ельцинской администрацией в Москве. Козырной картой в торге с Москвой стала Чечня и угроза дальнейшего сепаратизма на нестабильном Кавказе (с 1998 г. добавится угроза ваххабизма). По мере восстановления множества внутриэлитных договоренностей, Коков преодолевал свой прежний имидж едва не свергнутого коммунистического чиновника, преображаясь в патриархальную фигуру заслуженного государственного деятеля, воплощение местного патриотизма и консерватизма. Более того, теперь в Москве к нему относились как к надежному партнеру (пусть и склонному к культу своей личности). Новая власть Кокова зиждилась на его исключительном положении сразу в нескольких сетях: он был вхож в московские центральные органы

[100] Vadim Volkov, *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in Making of Russian Capitalism*, Ithaca: Cornell University Press, 2002.

власти, откуда добывал политическую и экономическую поддержку (т.е. благосклонность Москвы предоставила Кабардино-Балкарии возможность частично пользоваться доходами России от экспорта сырья и иметь опосредованный доступ к распределению зарубежных кредитов); он имел возможность направлять бартерные и лоббистские выгоды от заключенных с коллегами по Сенату ельцинской эры межрегиональных союзов; он же контролировал чиновников местного аппарата власти, а их посредством и местные потоки ресурсов; наконец, это избирательно-целевой патронаж над группами местного населения в зависимости от их статуса и относительной важности на данный момент. Но и это еще не все. Как и все губернаторы девяностых, Коков тщательно взращивал и опекал нарождавшееся «деловое сообщество» постсоветских предпринимателей. Большинство были все те же хозяйственные номенклатурные кадры либо (и даже скорее) кто-то из числа их близких родственников и подчиненных. Но некоторые в прошлом были студентами и национальными активистами под началом Шанибова. Во время перестройки они стояли у входа в номенклатуру, затем надеялись воспользоваться для следующего взлета энергией волны революционного противостояния 1991-1992 гг., но в итоге соглашались принять сделку с официальным истеблишментом. В девяностые годы стало казаться, что Кокову удалось все, и он закрепился на долгие годы – как правители республик Средней Азии.

Конец пролетариата

К концу советской эры экономика Кабардино-Балкарии основывалась на довольно индустриализированном сельском хозяйстве, здравницах и домах отдыха у источников минеральных вод, цветной металлургии на сырье из местных вольфрамомолибденовых залежей и нескольких предприятиях всесоюзного военно-промышленного комплекса. Все четыре экономические отрасли непосредственно зависели от контроля и капиталовложений союзного Центра (во многом даже дома отдыха, поскольку группы отдыхающих направлялись сюда советскими профсоюзами), и именно поэтому оказались в числе наиболее пострадавших в результате отказа от центрального планирования и перехода к рыночной экономике. Однако кончина центрального планирования вовсе не означала автоматического возникновения рыночных механизмов, поскольку масштаб, характер и специализация советских промышленных объектов вовсе не способствовали легкому проведению приватизации. Что, к примеру, делать с используемым обычно в производстве броневой стали и бронебойных снарядов молибденом, когда российское правительство не могло позволить себе купить ни то, ни другое, а Запад бдительно следил, чтобы ни то, ни другое не стало объектом экспорта в страны Третьего мира?

Обеспечение жизненных потребностей работников теперь почти не работающих производств, даже в сельских областях, оставалось зависимым от

рабочих мест. Зависимость эта имела множество материальных воплощений: заработную плату (пусть даже нерегулярно выплачиваемую), предоставляемые колхозами взамен зарплаты корма и удобрения, детские сады при предприятиях, водоснабжение и отопление от теплоцентралей соседних промышленных предприятий и т.д. Зависимость выходила за рамки чисто материальной и охватывала практически все стороны общественной жизни, включая идентичность, социальный статус и ожидания, семейную жизнь и каждодневное общение[101]. Профессиональный капитал пролетариев является коллективно зависимым и привязанным к рабочему месту: ценимый оператор доменной печи должен стоять близко к печи и находиться среди своих коллег. Со времен сталинской индустриализации советские предприятия задумывались в качестве плавилен для трансформации бывших крестьян в современных советских граждан – ядро новых обществ – и, таким образом, в явственное выражение советской цивилизации в действии[102]. Однако, по излюбленному выражению Майкла Манна, каждая цивилизация становится клеткой своих субъектов[103].

Миллионы бывших советских трудящихся не могли и не желали порвать со своим индустриализированным образом жизни. В 1990-х ВНП России упал более чем наполовину (в Кабардино-Балкарии даже больше), по официальным данным в 1991-2000 гг. уровень реальных зарплат снизился на 60%. Тем не менее, рабочие продолжали ходить на предприятия и в учреждения, где им платили унизительно смехотворные зарплаты или не платили месяцами. Забастовки при этом были редки, носили символический характер и, как правило, длились не более трех дней. Старые заводы продолжали работать на четверть или половину своей мощности, причем как без качественного перевооружения технических мощностей, так и без перемен в стиле управления[104].

Чтобы хоть как-то смягчить последствия повсеместно распространенной вопиющей бедности, задействовались три механизма компенсаций (хотя все они толкали пролетариев к суб-пролетарским условиям существования). Первым было подсобное приусадебное хозяйство на маленьких клочках земли вокруг городов и во дворах частных домов – пасущихся коров можно было видеть даже на центральных улицах Нальчика. Вторым была расцветшая буйным цветом «челночная» торговля с заграницей. Как только стало возможным чартерными рейсами отправляться в Стамбул, города Китая или беспошлинную зону Эмиратов, от тридцати до сорока миллионов (!) российских граждан, преимущественно женщин, стали огромными сумками ввозить дешевые товары для последующей перепродажи на вещевых рынках. Этот вид предпринимательства

---

[101] Подробное рассмотрение постсоветской зависимости работников от их предприятий можно найти у Stephen Crowley, *Hot Coal, Cold Steel: Russian and Ukrainian Workers from the End of the Soviet Union to Postcommunist Transformation*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997; Также см. А.М.Никулин, "Кубанский колхоз – в холдинг или асьенду?", *Социологические исследования*, н.1 (213), январь 2002, стр. 41-52.

[102] Завод как ключевой объект в советском цивилизационном процессе прекрасно рассматривается у Stephen Kotkin, *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*, Berkeley: University of California Press, 1995.

[103] Michael Mann, *The Sources of Social Power.* Vol 1. Cambridge University Press, 1986.

[104] Ростислав Капелюшников, «Ненужный спасательный круг», *Эксперт* N 22 (16 июня) 2003, стр. 64-66.

был ненадежным и зачастую опасным, однако оставался одной из редких возможностей как-то заработать на жизнь. Третьим компенсационным механизмом были разнообразные формы взаимопомощи у родственников, соседей и друзей. Однако необходимые для нее сети могли разрушаться, что отражается в звучащих повсюду жалобах на то, что отношения с друзьями и родственниками (в Нальчике эти категории охватывают крайне широкие круги) ныне не являются столь тесными и прочными, как прежде.

Данные социологических опросов 1990-х гг. регулярно показывали, что в национальных республиках, как и в русских областях и краях Российской Федерации, основной причиной обеспокоенности населения (40-50%) являлся экономический спад[105]. Вслед за ним идут, в различной последовательности, обусловленные социальной нестабильностью уличная преступность (хулиганство), ухудшение уровня образования, нестабильность работы и карьерного роста, кражи, распад семьи, плохое здоровье и старость. Примечательно, что озабоченность сохранением национальных культур, а также возрождение религиозных ценностей следуют далеко позади – на уровне около 10% или немногим менее.

Здесь-то мы и сталкиваемся с парадоксом – подавляющее большинство населения озабочено экономическими и социальными проблемами, однако крупные протестные акции случаются редко и, как правило, оказываются не социальными, а националистическими. Неверно сказать (хотя нам часто приходится это слышать), что эти люди апатичны, что им недостает гражданского самосознания, что они провинциальны, вороваты, неспособны к совместным действиям. Это неубедительные стереотипы. Всего лишь несколькими годами ранее те же люди весьма активно участвовали в дебатах и протестных событиях перестройки. Почему же они вдруг утратили веру в политику и интерес к дебатам? Частично, ответ состоит в том, что СССР развалился, а в то же время вроде бы и нет. Многое стало хуже, кое-что улучшилось (доступность импортного ширпотреба и продовольствия), но в целом окружающий мир остался привычно узнаваемым – только как-то подкосился, вынудив людей искать индивидуальные, семейные и частно-коррупционные стратегии выживания и решения возникших проблем. Население в какой-то момент перестало воспринимать себя народом и классами, оно атомизировалось, стало фаталистично покорным либо безразлично разочарованным во всякой политике. Эмоциональных поводов и организационных авангардов для возникновения мобилизующего чувства общности стало меньше. Насколько меньше и почему – задача, которую мы здесь не решим, но ее надо обозначить для будущих исследований. Скажем, вместо идеологических сетований публицистов, стоило бы обратить аналитический взор на то, как социально-психологические комплексы согласуются с изменением или преемственностью структур повседневности. Благодаря бартеру и про-

[105] Дмитрий Фурман и Киммо Каариайнен, *Старые церкви, новые верующие: религия в массовом сознании постсоветской России,* Москва: Летний сад, 2000. См. также данные, регулярно публикуемые в *Мониторинге общественного мнения*, Москва: ВЦИОМ.

чим патерналистско-защитительным действиям губернаторов, массовой открытой безработицы так и не возникло, забастовки или народные протесты оставались минимальными, рутина повседневной жизни истончилась, но сохранилась непрерывной. После обрушения советской власти и шквала рыночных реформ, страна вернулась к повседневности, странным образом напоминавшей дни брежневизма – что Майкл Буравой окрестил «индустриальной инволюцией» России[106].

Основная же часть объяснения, вероятно, состоит в том, что внутриэлитная политика новой эпохи, ставшая непрозрачной и безыдейной, и притом явно корыстной, оставила у большинства постсоветского населения ощущение обманутых надежд, беспомощности, и, как ответной реакции – цинизма (увы, далеко не безосновательного). В девяностых круг политических соперников резко сузился до нео-номенклатурных чиновников и олигархических предпринимателей. Интеллектуалы и пролетарии более не значили ничего – ни в качестве протестной массы, ни как производители материальных или символических товаров. Прибыль и власть отныне создавались не в областях промышленного производства, а путем связанных с глобальными потоками торговых обменов и финансовых спекуляций. Устраивать революции стало некому, незачем, не из кого. Дискредитированными оказались все масштабные программы мобилизации: социалистическое догоняющее развитие, пролетарская социальная демократизация, борьба за обретение национальной независимости и неолиберальное обещание рынка – все они прошли чередой за прошедшее десятилетие, чтобы каждое из них обернулось жесточайшим разочарованием. Ведущие общественные классы, когда-то бывшие в авангарде социальной мобилизации – капитаны промышленности и реформистская номенклатура, интеллигенция, специалисты, индустриальные рабочие – казалось, исчезли вообще или навсегда погрузились в бессильное, не находящее слов молчание.

Откат на периферию

Оглянемся на то, что мы наблюдали в этой и предыдущей главах. Парадоксальным образом, резкое ослабление деспотического государства ускоренного развития сделало практически невозможным его реформирование – потеря управляемости исключала проведение сложных маневров с заржавевшей, а затем и развалившейся машиной, чьи «винтики» обрели собственные стратегии. Без государства, не менее парадоксально, оказалось невозможным и закрепление гражданских обществ. Составлявшей их интеллигенции и специалистам помимо чтения запоем публицистики и хождения на митинги прежде требовалось где-то получать источники к существованию и статусные позиции для фор-

[106] Michael Burawoy, *The Great Involution: Russia's Response to the Market*. University of California, Berkeley. Unpublished paper, 1999.

мирования достойных идентичностей. После 1991 г. все это вдруг сделалось унизительной неопределенностью. В условиях дезорганизации оказалось крайне трудным, если не совершенно невозможным, демократизировать системы государственного управления и перенацелить экономические активы на достижение общественно рациональных целей. Созидательные программы подобного рода потребовали бы сильных институциональных основ и ясного, долгосрочного политического видения[107]. Происходил же ровно обратный процесс катастрофически быстрого сжатия горизонтов. В надвигающемся хаосе задачи стали ограничиваться самыми ближними пределами как в смысле резко сжавшегося горизонта времени, так и крайней узости и причудливой нестойкости человеческих групп, вовлеченных в социальное взаимодействие. Иными словами, и старая номенклатура, и питавшие большие надежды интеллигентские оппозиционеры, и зарождающийся слой частных предпринимателей могли преследовать лишь самые непосредственные, сиюминутные задачи, и при этом надеяться лишь на круг знакомых, сослуживцев, родственников, или подчиненных личных клиентов. Доверие стало сильно зависящей от обстоятельств переменной величиной. Вот почему составные части политической мозаики зачастую стали складываться на традиционной основе географической и этнической общности.

В данной главе мы до сих пор фокусировали наш анализ преимущественно на рассмотрении переменчивого и поверхностного уровня политической истории и деяний личностей, который Фернан Бродель снисходительно называл «заурядной историей событий». Бродель, конечно, бравировал историографическим максимализмом, бросая свое знаменитое «События – это пыль!»[108]. На уровне индивидуального человеческого бытия успех или провал в войне или попытке овладения властью может означать разницу между жизнью и смертью. Однако в долгосрочном плане Бродель оказался прав, настаивая на устойчивой безличной силе исторических структур. Саморазрушительность рассматриваемых в данной главе различных политических стратегий не была, вопреки распространенному стереотипу, результатом иррациональности неких этнических традиций, древней вражды или криминальных наклонностей. Главный вопрос, сформулированный в структурно-исторических терминах, мог бы звучать примерно так: какие общесистемные и местные процессы, какие силы и ограничители отбросили на периферийные орбиты государственные образования, появившиеся после развала СССР? Вопрос не праздный, учитывая, что всего за несколько лет миллионы людей, прежде живших на уровне, приближавшемся к

[107] О взаимосвязи исторической демократизации на Западе с институциональным расширением горизонтов социального пространства и времени лучше всего говорит обзорная статья Arthur Stinchcombe, “Tilly on the Past as a Sequence of Futures” у Charles Tilly (ed.), *Roads from Past to Future,* Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1977.

[108] Fernand Braudel, *Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism,* Baltimore: John Hopkins University Press, 1986.

социально-экономическим показателям Европы, оказались вдруг посреди опасностей и невзгод, более свойственных Латинской Америке или даже Африке.

Возникшая в период революционной ситуации 1989 г. историческая развилка, увы, наглядно подтвердила теоретический постулат насчет структурной устойчивости разделения современной миросистемы на ядро, периферийные и полупериферийные зоны[109]. Регионы, бывшие полупериферийными и до коммунистического периода – а именно, пояс стран, протянувшийся от Эстонии и далее через Польшу и Венгрию до Словении – после 1989 г. быстро вернулся к своему полупериферийному состоянию, выразившемуся на новом витке в экономически подчиненной интеграции в Евросоюз[110]. Ни одно из этих государств не достигло мощи и благосостояния развитых капиталистических держав, но, по крайней мере, они оказались напрямую ассоциированы с капиталистическим ядром посредством вхождения в изначально западноевропейские политические учреждения, сети экономических и информационных обменов. Это выглядит достаточно удачным исходом крушения советского геополитического блока особенно на фоне катастрофических траекторий большинства бывших республик СССР и Югославии. В данной главе мы сравнительно-эмпирически проследили варианты траекторий различных областей Кавказа после распада СССР. Однако, при всей ценности этого материала для сравнительно-политологических теорий конфликта, вслед встает другой, куда более масштабный вопрос: почему даже избежавшие военно-революционных разрушений Аджария и Кабардино-Балкария все равно в итоге оказались столь бедными и глубоко периферийными для глобальных рынков?

Теоретическая проблема причин социально-экономической отсталости «незападных» стран и путей ее преодоления уже полвека находится в центре очень активных теоретических и политических дискуссий. В 1960-х быстро нараставшее тогда движение молодых леворадикальных политэкономистов (лидерами которого выступали такие незаурядные личности, как Андре Гундер Франк, Самир Амин или будущий президент Бразилии Энрике Кардозу) подвергло мощной критике дотоле господствовавшие теории культурной модернизации. Взамен леворадикалы попытались аналитически увязать состояние социально-экономической «недоразвитости» со структурной зависимостью Третьего мира (впервые названного ими «периферией») от «развитых» стран Запада, или центра/ядра. Подобный поворот открыл многообещающую теоретическую перспективу, поскольку позволял встроить траектории бывших колоний и полуколоний в целостную и динамическую общемировую модель постоянно развивающихся взаимоотношений, регулярно воспроизводящих отставание большинства и преуспевание немногих.

---

[109] Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins, and Immanuel Wallerstein, «1989: The Continuation of 1968,» in George Katsiaficas (ed.), *After the Fall*, New York: Routledge, 2001.

[110] Варианты возобновленной полупериферийности в Центральной Европе суммирует Lawrence King, «Making Markets: A Comparative Study of Postcommunist Managerial Strategies in Central Europe», *Theory and Society* 30 (2001).

Ранние формулировки теории зависимости, однако, страдали прямолинейным экономическим и политическим детерминизмом. Вместо тонкого анализа они скорее предлагали сильные политические лозунги, которые были тогда востребованы националистическими элитами постколониальных стран. Изначальным объяснением периферийного состояния выступал европейский колониализм – т.е. прямое политическое господство и грабеж ресурсов, подобные имевшим место в испанском Перу и британской Индии. Однако обретение независимости бывшими латиноамериканскими колониями в 1820-х и афро-азиатскими после 1945 г. доказало, что само по себе колониальное господство не является удовлетворительным объяснением. В 1950-1960-х гг. усилия аналитиков были сосредоточены на таких разнообразных факторах, как недостаток современного образования, тяжелой промышленности, транспортной инфраструктуры, или же нео-империалистической политике Запада и неэквивалентном товарообмене с бывшими метрополиями. Однако новейший эмпирический пример бывших социалистических стран Восточной Европы, которые в 1990-х откатились на позиции периферийных, явно противоречит большинству из предпринимавшихся ранее попыток научно объяснить неудачи развития. Выяснилось, что можно быть независимым национальным государством, даже какое-то время геополитической и идеологической сверхдержавой, отстроить города с самым образованным населением и едва ли не переразвитой тяжелой промышленностью, создавать технику передового уровня, обладать мощнейшей современной армией, плюс меркантилистским автаркическим режимом, на протяжении многих лет не жалеющим усилий для достижения силового паритета в отношениях с Западом – и в конце концов вновь оказаться страной с типично периферийными социальными комплексами и практиками, откатившись на позиции Индонезии и Мексики. На сегодня основной неразрешенной проблемой теорий отсталости, требующей трезвого и комплексного аналитического подхода, являются причины многообразия исходов коммунистических стратегий догоняющего развития в бывшем советском блоке – и ничуть не менее в недавно еще отставшем Китае и Вьетнаме.

Еще в начале 1980-х левый французский экономист Алэн Липец подверг внутренней критике упрощенческие подходы теорий зависимости Третьего мира. Он задался вопросом, отчего на самом деле эмпирически так сложно доказать, будто бы империалистические правительства и транснациональные корпорации Запада всегда и неизменно злонамеренно тормозили развитие остальных стран мира[111]. Вместо постулата об империалистическом диктате Липец предложил сосредоточить внимание на структурном дифференте между капиталистическими метрополиями и периферийными странами в мировой топографии экономических, геополитических и культурных позиций. Подобная ситуация “объективно”, без чьей-либо конкретно определяемой злой воли, предрас-

[111] Alain Lipietz, *Mirages and Miracles: The Crises of Global Fordism*. London: Verso, 1987.

полагает к ведению властных игр, в рамках которых разрозненные периферийные элиты могут в узко рациональной манере преследовать краткосрочную выгоду за счет общественно иррационального подрыва потенциала развития собственных стран и, следовательно, долгосрочного ослабления своих коллективных позиций в миросистеме. Страны постсоветского пространства дают множество подобных примеров.

Намного глубже событийного уровня политических интриг, идеологической моды и международных финансовых махинаций, где-то вне поля зрения обычных людей (как, впрочем, и комментаторов текущих политических новостей) находится источник причин, невидимый в силу того, что является внеличностным, до предела абстрагированным и исторически унаследованным, оттого кажущийся от веку данным, если даже не исторически роковым. Читателя, знакомого с русской литературой, должно, по крайней мере, озадачить, насколько перекликается с давними горькими размышлениями Чаадаева философский роман современного западноафриканского писателя Айе Квеи Армы с горько ироническим названием «Отчего мы так благословенны?». Переводя эту дилемму на социально-аналитический язык, речь здесь идет о структурных ограничителях, заложенных в глубинной морфологии капиталистической мировой экономики. Они действительно возникли и структурировались в ходе военно-коммерческой экспансии Запада на протяжении прошлых столетий. Времена менялись, но mutatis mutandi дифферент мирового неравенства, так или иначе, оставался устойчивым условием. Без чьего-либо осознанного воздействия, динамическая «игра за власть» продолжала раз за разом приводить к периферийному «недоразвитию» на каждом новом историческом витке. Даже если феноменальный экономический рост восточной Азии в скором будущем обернется перемещением центров мировой экономики и политики, остается вопросом, даст ли такая эпохальная подвижка шанс прочим районам мира изменить и свое положение в глобальной иерархии. Предположим, как обнадеживают вполне серьезные аналитики, уже в относительно близком будущем такая возможность просматривается[112]. Чтобы не угодить в ловушку, тем более важно понять, как возникали, воспроизводились и функционировали структуры периферийной зависимости, препятствовавшие развитию.

Теоретический прорыв в понимании причин зависимости начинается с середины 1970-х, и был связан в первую очередь (хотя и не единственно) со школой миросистемного анализа, основанной Иммануилом Валлерстайном и впоследствии развиваемой Кристофером Чейз-Данном и Джованни Арриги. Сила прорыва определялась широким и неортодоксальным синтезом неомарксистской политэкономии господства (в том числе теорий зависимости), культурологической интуиции Грамши, неовеберианского анализа государственной власти с экономическими идеями Шумпетера, Поланьи и Калецкого – объединяемыми

[112] Джованни Арриги, *Адам Смит в Пекине. Что получает в наследие двадцать первый век.* Москва: ИнОП, 2008. Ha-Joon Chang, *The East Asian Developmental Experience: The Miracle, the Crisis, and the Future.* London: Zed Press, 2006.

историческим макро-видением Броделя. Разумеется, еще предстоит немало сделать для заполнения лакун, оставленных первопроходческими усилиями Валлерстайна и Арриги. Требуется увязать достижения миросистемной перспективы с теориями, действующими на других, менее глобальных уровнях причинно-следственных связей, прежде всего, микроэтнографии и культурологии повседневности и, на среднем уровне, сравнительного изучения государств и нишевых структур рынков. Это будет основной задачей следующего поколения исследователей. Здесь же давайте попробуем набросать эскиз того, как могут выглядеть подобные мостики от миросистемного уровня до ежедневно наблюдаемой реальности.

На обширном пространстве от Балтики до Тихого океана Советский Союз в ходе своего догоняющего развития насильственно и энергично насаждал совершенно однообразные, как сталинские заводы и хрущевские многоэтажки, изоморфные институты политического и экономического управления, равно как и социальные структуры, порожденные бюрократическо-индустриальной моделью[113]. В Белоруссии, Армении или Узбекистане возник стандартный набор номенклатуры и национальной интеллигенции, райкомов партии и государственных университетов. Однако бывалый современник, мало-мальски знакомый с положением дел в союзных республиках, мог вполне обоснованно утверждать, что колхоз или райком в Эстонии весьма своеобразно отличались от своих аналогов где-нибудь в Грузии в смысле внутренних норм, ритуалов общения и социальных функций. Подобные «бытовые» этнографические отличия между советскими учреждениями, очевидно, могут быть объяснены характером и композицией неформальных внутренних бюрократических сетей, видов местных ресурсов и стратегиями перераспределения средств, и, соответственно, в немалой степени спецификой повседневного образа и «стиля» властвования, питаемого местной культурой и социальной структурой.

Следует сознательно сопротивляться соблазну легко выразить и объяснить подобные вариации в абсолютизирующих категориях, восходящих к давним предубеждениям насчет цивилизационной пропасти между (якобы унитарными) Востоком и Западом. Например, распад советской власти в номинально исламском Азербайджане скорее отразил политическую лихорадку в соседних христианских Армении и Грузии, однако к худу ли, к добру ли, отличался от сценариев центральноазиатских республик. Вразрез с предположениями экспертов по региональным цивилизациям и в противоположность политической риторике самих национальных движений времен перестройки, исламское наследие, турецкая этнокультурная общность либо, в противовес ей, персидская имперская традиция сыграли, по трезвому размышлению, не самую главную роль в постсоветской траектории Азербайджана. Что в действительности имело значение, так это нефть, регионально-земляческая патронажная клановость, и исключи-

[113] Истоки и противоречия советского бюрократического изоморфизма проницательно исследуются в первопроходческой монографии бывшего советского социолога: Victor Zaslavsky, *The Neo-Stalinist State*, Armonk, NY: M.E.Sharpe, 1982.

тельное доминирующее положение столицы страны Баку с ее высокой плотностью претендующих на власть элит, но также и со значительными массами этнически различных рабочих промышленности и маргинальных суб-пролетариев. За контроль над столицей и нефтью вели и ведут ожесточенную борьбу различные бюрократические группировки, интеллигентские круги, полукриминальные предприниматели – которые все возникли в последние десятилетия советского периода. После всех кровавых и подчас непонятных перипетий 1990-х, и несмотря – а, скорее, даже благодаря – монополизации власти и привилегий в руках номенклатурно-султанистского семейства Алиевых, Баку остается центром политического активизма, что может еще привести к новым революциям и, возможно, возникновению конкурентной демократической политики. Остальные более традиционные по жизненному укладу районы Азербайджана остаются глубоко в тени Баку и активной роли играть до сих пор не могли. Оттуда лишь появлялись новые волны амбициозных провинциалов, ищущие завоевания почетных мест в столице. Достаточно ясно, что типологически Баку и новое азербайджанское государство остается ближе остальному Кавказу и, шире, Восточной Европе, нежели гипотетическому «Исламскому миру». Но положение это не жестко фиксированное: страна может двигаться в направлении большего либо, напротив, меньшего приобретения периферийных черт. Будущее Азербайджана просматривается в достаточно широком секторе возможностей от закрепления на какой-то период (скажем, еще на поколение) неопатримониального нефтяного «султанизма» до каких-то форм вероятного националистического популизма (наиболее чреватого возобновлением войны за Карабах, в которой Азербайджан, между прочим, отнюдь не поддерживается исламским Ираном) и более устойчивой капиталистической демократии, скорее всего, в той или иной стабилизирующей ассоциации с объединной Европой. В любом случае, сектор возможностей Азербайджана не определяется кардинальной дихотомией Восток/Запад.

Понятие периферийности в рамках мирового разделения труда, власти и ресурсов дает более надежный и аккуратный аналитический инструмент, нежели любая модель, исходящая из примата экзистенциального «столкновения цивилизаций». Периферия есть системный, взаимоотносительный и подвижный определитель, который противостоит широко распространенному предрассудку насчет предопределенности культурных традиций. «Национальная» культура является сложным, исторически приобретенным и, в силу этого, изменчивым и изменяемым (пускай нелегко) набором социальных практик. Более того, культура является областью, которая не может существовать в отрыве от измерений власти, экономического производства и социальной иерархии. То, что теоретики модернизации обычно подразумевают как связанные с отсталостью культурные свойства, в более материалистической перспективе предстает в основном как функция трех факторов.

Первым является поверхностное проникновение государства в общество. Иначе говоря, периферийным государствам недостает того, что Майкл Манн назвал «инфраструктурной властью», способности изменять поведение своих граждан, отчего в основном и кажутся незыблемыми традиционные практики самоорганизации. Подобное положение дел американский политолог Джоэл Мигдал охарактеризовал в заголовке влиятельной среди политологов развития монографии как сосуществование в Третьем мире «Сильных обществ и слабых государств»[114]. Подобные государства нередко применяют к своим гражданам грубую силу именно потому, что у них в распоряжении нет других, более тонких и нормализованных методов воздействия. Соответственно, слабые государства вынуждены опираться на сложную полуформальную сеть служащих себе на благо функционеров, корыстных чиновников, региональных предводителей и прочих «значительных лиц» на местах. В отсутствие эффективного надзора со стороны центральной власти и, как правило, по негласной договоренности властителей и привилегированных подчиненных, подобные госслужащие имеют тенденцию частично, если не целиком присваивать собранные ими формальные ассигнования, налоги и пошлины и тем более разнообразную мзду. В итоге выбор финансовых возможностей периферийного государства сводится к выпрашиванию зарубежной помощи или банковских кредитов, монополизации легко контролируемых главных отраслей неэластичного спроса (продовольствия, топлива или в наши дни мобильной связи) и, если такая удача дана геологией, экспорта ископаемых богатств, особенно нефти.

Периферия представляет собой зону, где государственные учреждения в большей степени работают на основе личных связей, нежели формального бюрократического продвижения, и являются в основном своекорыстными синекурами. Находящиеся под влиянием Макса Вебера ученые называют подобные модели правления неопатримониализмом, т.е. частно-семейным владением государственными должностями[115]. Как мы увидели в предыдущих главах, неопатримониализм подтачивает структуры внешне вполне современного формального государства и, в момент кризиса, может сделать их крайне хрупкими. Сочетание во многом лишь фасадных современных учреждений (формального

[114] Michael Mann, *The Sources of Social Power, Vol. 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760-1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Joel Migdal, *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World.* Princeton: Princeton University Press, 1988.

[115] Основополагающей работой по неопатримониалистической модели правления в странах современной постколониальной периферии является статья Гюнтера Рота, известного американского переводчика и комментатора наследия Макса Вебера. См. Guenter Roth, «Personal Rulership, Patrimonialism, and Empirebuilding in the New States,» *World Politics*, vol. 20, no. 2 (1968), pp. 194-206. Дальнейшие теоретические и эмпирические последствия были вскрыты израильским социологом Шмуэлем Айзенштадтом S.N.Eisenstadt, *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*, London: Sage, 1973; Jean-Francois Medard, «The Underdeveloped State in Tropical Africa: Political Clientelism or Neopatrimonialism,» in Christopher Clapham (ed.), *Private Patronage and Public Power*, New York: St. Martin's Press, 1982, pp 162-192. Относительно неопатримониальных моделей в советской партийно-государственной системе см. Ken Jowitt, *New World Disorder: The Leninist Extinction*, Berkeley: University of California Press, 1992. Ясное и теоретически эрудированное описание концепции неопатримониализма в применении к посткоммунистической Украине находим у Александра Фисуна, «Политико-режимная трансформация Украины: дилеммы неопатримониального развития», *Стилос,* Киев, 2002, стр. 4-14.

правительства, парламента, даже избирательных процедур, что требуется для международного признания) и по сути личной, неопатримониальной модели власти делает периферийные государства дисфункциональными, а их демократии – имитационными. В самом деле, они нередко вопиюще неэффективны в предоставлении общественных благ, которые мы связываем с современным государством – основополагающей безопасности граждан и их собственности, образования, строительства и поддержания дорог, медицины, общественного транспорта и т.д. Но в тоже время, если допустить в наш анализ неизбежную долю сарказма, приходится признать, что подобные государства являются весьма эффективными механизмами, производящими богатых правителей в бедных странах. Околовластная олигархия – типичнейший показатель и родовой признак неопатримониальной модели правления.

Во-вторых, государства, которые не могут обеспечить эффективное управление, координацию и защиту, создают неблагоприятную среду для конкурентного рыночного предпринимательства. В странах, где чиновники склонны к присвоению предназначенных на исполнение госпроектов бюджетных средств, всякое предпринимательство автоматически рассматривается в качестве потенциального объекта вымогательства. В результате местная экономика оказывается поляризованной на два практически несвязанных сегмента. На верхних уровнях мы находим гипертрофированно крупный бизнес, контролируемый зарубежными институциональными инвесторами либо местными олигархами, поскольку только они обладают влиянием и силой, чтобы обеспечить собственную безопасность и действовать в неблагоприятной среде, заискивая перед правителями в закулисных сделках, подкупая или запугивая алчных чиновников, полицейских и просто бандитов. На другом полюсе находится большинство простых граждан, которые пытаются как-то выжить за счет мизерных зарплат, семейной взаимопомощи, подсобного хозяйства, временного трудоустройства, мелкой торговли и случайных приработков вплоть до люмпенской преступности – словом, того, что перуанский социолог Анибал Кихано совокупно называет «простонародная экономика» (la economia popular)[116].

Третий набор условий относится к социальной структуре периферийной «отсталости» и замыкает причинно-следственный круг. Распределение власти в таких странах крайне неблагоприятно для многочисленных и плохо структурированных маргинальных групп, находящихся в самых низах общественной пирамиды. Они могут постоянно нарушать законы и даже периодически бунтовать, но у них мало навыков и возможностей для последовательной политической мобилизации с целью долгосрочного институционального закрепления своих требований перед правителями, олигархами и чиновниками на местах. В то же время периферийная экономическая структура оставляет недостаточно места для формирования среднего класса и кадрового пролетариата, которые теоретически могут обладать достаточными ресурсами для реального воздей-

[116] Aníbal Quijano, *La economia popular y sus caminos en America Latina*, Lima: Mosca Azul Editores, 1998.

ствия на существующий режим и преобразования государства в нечто более приемлемое для общества, управляемое законами и менее хищническое. Образованные средние классы специалистов и индустриальный пролетариат, конечно, эпизодически возникают, поскольку современная экономика не может существовать вовсе без них. Однако они остаются меньшинством, как правило, изолированным в городских центрах либо связанных с мировой экономикой анклавах (шахты и нефтепромыслы, прибрежные экспортные зоны, научные городки, куда транснациональные корпорации все более выносят черновую часть своих производственных процессов). В результате эти классы не могут, а нередко и не желают, реализовать свой гипотетический потенциал проводников рационализации общества и основных требователей законных политических преобразований, поскольку они невелики численно, несвязно разбросаны по социальной иерархии, территориально ограничены анклавами, уязвимы перед лицом репрессий, или же подкуплены зарплатами, которые на фоне местного обнищания выглядят заманчивыми.

Наиболее многочисленным классом периферий современности являются суб-пролетарии, быстрыми темпами сменяющие крестьян по мере того, как традиционные структуры сельского уклада буквально на наших глазах отмирают по всему миру[117]. Массовое присутствие в трущобных пригородах уже ушедших из села, но так и не влившихся в городскую среду суб-пролетариев сегодня приводит к колоссальному потопу дюркгеймовской социальной аномии со всеми сопутствующими комплексами и патологиями, либо к отчаянному возрождению казалось архаичных семейно-соседских практик и религиозных верований. Демографически стесненные в своих хозяйственных нишах и социально уязвимые крестьяне и суб-пролетарии, не контролирующие и чаще всего просто непонимающие внешние для них истоки нестабильности существования, особенно подвержены популистской мифологии светского или религиозного характера и могут время от времени учинить шумные беспорядки. Однако это едва ли приводит к конструктивному преобразованию государства и общества, если восстания не сопряжены с политическими проектами более образованных и дисциплинированных групп, наделенных навыком политического предвидения и закрепления своих политических достижений. Но что вообще остается преобразовывать на более гуманистический лад, если государства безнадежно неэффективны и хронически коррумпированы? Чего остается ждать от социалистических, национальных, или либеральных интеллигентских призывов после того, как все предыдущие попытки авангардного преобразования общества и достижения уровня современного Запада окончились деморализующим провалом и возвращением на круги своя? Жителям (гражданами их назвать можно с натяжкой) периферийных стран остается выбор между повседневным приня-

[117] О связи «раскрестьянивания» (de-ruralization) с миграционными, религиозными, и классовыми конфликтами времен нынешней глобализации имеется показательный и в основном крайне мрачный обмен мнениями между звездами мировой макросоциологии и истории: Charles Tilly, Immanuel Wallerstein, Eric Hobsbawm, Aristide Zolberg and Lourdes Beneria in *International Labor and Working-Class History* 47 (Spring 1995).

тием подчиненного положения по отношению к правителям, которые сами являются подчиненными в системе мировой экономики и международной политики, либо эмиграции в государства «ядра», что для многих видится теперь наилучшим выходом даже без всякой визы. Для некоторых, впрочем, остается еще вариант обращения к, казалось, полузабытым религиозным практикам, освященным традицией и дающим, по крайней мере, ощущение коллективной принадлежности, взаимовыручки и моральности земного существования.

Итак, можно подытожить, что периферия является зоной, где вместо идеального типа бюрократа, по Максу Веберу преданного исключительно учреждению и рациональному правовому кодексу, мы обнаруживаем слишком много «коррумпированных» чиновников, которые, следует признать, совершенно рационально преследуют собственную выгоду в отсутствие публичной морали и надежды на достойную комфортабельную отставку по выслуге лет. Не в силу неких местных традиций (ибо мало в современном мире практик, более распространенных на всех континентах, чем бюрократическая коррупция), и также вполне рационально эти чиновники неизменно состоят в сетях семейного, этнического, служебного и какого угодно личного патронажа – поскольку в нестабильных государственных структурах только личные связи обеспечивают их относительную (и всегда лишь относительную!) безопасность и комфортное существование. Соответственно, чиновники просто обязаны изыскивать способы собирания мзды, поскольку им необходим капитал для достижения и сохранения привилегированных позиций, для дальнейших обменов в своих социальных сетях и «кланах», ну, и конечно для собственного показного потребления, приятно подтверждающего их элитный статус.

Экономика, вернее, хозяйственная деятельность, поскольку об интегрированной экономике говорить здесь неправомерно, в случае полной периферизации оказывается разорвана на неравные сегменты. Господствуют гипертрофированные «белые слоны» показного государственного развития и толстокожие «носороги», крупные бизнес-конгломераты, способные интернализовать за счет своего веса охранные и политические издержки. Их нередко трудно отличить от госсобственности, хотя частное присвоение прибыли более или менее легальными путями указывает на скрытое присутствие реальных бенефициариев. Выходя на мировые рынки, эти гиганты местного масштаба регулярно оказываются в положении заведомо младших партнеров мирового бизнеса. Они недостаточно сильны на этом уровне, чтобы определять условия сделок, и в результате фактически платят ренту старшим партнерам, контролирующим глобальные финансовые потоки, передовые технологии, и, самое важное, доступ на емкие рынки стран «ядра». Из неэквивалентного обмена, в самом деле, возникает значительная часть типично периферийных черт. В таком положении остается снижать издержки за счет собственной рабочей силы, поэтому периферийный капитализм склонен более к явной диктатуре либо к фальшивой, имитационной демократии. Действенная демократия на периферии грозит трудовы-

ми конфликтами и общей непредсказуемостью, особенно в случае прихода к власти перераспределительных популистов социалистического или иного толка. Как правило, периферийный олигархический бизнес вполне способен и желает закулисно договариваться с авторитарной властью. О законности вспоминают, в основном, когда внутриэлитная конкуренция или обрыв связей при смене правителя более не позволяет решать «свои вопросы» полюбовно. В этом случае возможны даже демократические революции при поддержке проигравших олигархических фракций.

Борьба за государственную власть может оказаться также источником важнейших конкурентных преимуществ на мировом уровне, поэтому неверно говорить, что олигархия всегда противится и саботирует укрепление власти. С одной стороны, достаточно сильное государство может оградить внутренние рынки протекционистскими барьерами и создать монопольные заповедники для своего крупного бизнеса. В недавнем прошлом это обычно именовалось стратегией замещения импорта и поощрения национального производства. Вполне предсказуемо, как верно указывают неолиберальные экономисты, признанный своим бизнес теряет стимулы к инновациям и пускает прибыли на роскошное потребление и подкуп чиновников, поскольку государственные преференции и монополии дают куда больший, предсказуемый и «ленивый» доход[118]. Страну со временем постигает хозяйственный застой и непроизводительная коррупция.

В намного более редком варианте, бизнес выстраивается за государством (или его выстраивают) с тем, чтобы единой силой пробиться на мировые рынки. Эта стратегия, более всего известная на примере Восточной Азии, именуется экспортной ориентацией. Она, кстати, не менее предрасполагает к коррупции, поскольку место в строю дорого стоит. Отличие в том, что в перспективе оказывается выгоднее вкладывать коррупционные доходы в общее дело, поскольку оно сулит новые и, в основном, легальные доходы. Так Япония некогда выходила с полупериферии в ядро капиталистической мироэкономики, так Южная Корея, Тайвань и Сингапур выбивались из периферийного положения, тем же путем теперь, похоже, двинулся и все еще коммунистический Китай. Возможно, данный анализ применим и к полупериферийной Финляндии, изобретательно и успешно преодолевшей кризис, вызванный распадом своего гигантского соседа. Но у этой успешной стратегии при внимательном и трезвом исследовании обнаруживается такая масса своеобразных структурных и чисто случайных «деталей», что восточноазиатский феномен, в самом деле, начинает выглядеть чудом – а чудо по определению уникально[119]. Теоретики пока не сходятся во мнении, как и насколько возможен перенос экспортно-ориентированной стратегии в другие страны. В любом случае, для целей нашего исследования может иметь значение только сама теоретическая возможность альтерна-

[118] Vivek Chibber, *Locked in Place. State and Markets in India*. Princeton University Press, 2002.
[119] Bruce Cumings, *Korea's Place in the Sun*. New York: Norton, 2005.

тивных стратегий повышения статуса страны в миросистеме и тот факт, что государственная организация всегда играет в этом ключевую роль[120].

Самостоятельные предприятия крепкого среднего уровня в условиях периферии, как правило, не выживают. Прочая же хозяйственная деятельность протекает на уровне кустарей, отходников-мигрантов, извозчиков-таксистов, микро-мастерских и лавочек, крестьянских и семейных приусадебных участков. Слишком многочисленный и неустойчивый слой оторванных от села людей обращается в неуправляемые массы суб-пролетариев. При этом условия типично периферийной концентрации власти и использования ее для монополизации автономных от общества экспортно-импортных потоков (тех же минеральных ресурсов) либо экстенсивного понижения издержек за счет применения дешевого труда оставляют слишком мало пространства для возникновения внутренне организованных классов индустриального пролетариата и специалистов с высшим образованием. Эти классы, которым на самом деле уже есть, что терять, и которые могут эффективно отстаивать свои интересы перед лицом государства и привластного бизнеса только выработав классовую культуру и организации, кумулятивно, в течение девятнадцатого и двадцатого веков, оказались главными двигателями возникновения современных демократий Западной Европы[121]. Вопреки Марксу, западный пролетариат не стал могильщиком капитализма, поскольку по мере институционализации своих достижений именно наемным работникам, массовой интеллигенции, специалистам и малым предпринимателям, оказалось, более целесообразно настаивать на последовательном применении правовых и долгосрочных методов разрешения конфликтов. Шаг за шагом, они институционализировали свои совокупные достижения в структуру политического гражданства и современного государства благосостояния. В этом направлении в 1960-80-х годах двигался и СССР вплоть до катастрофического развала, как минимум на поколение отбросившего его осколки в периферийное состояние деиндустриализации, распада наиболее организованных социальных групп, и «султанистского» правления.

Данное описание неминуемо отмечено импрессионистским упрощением, которое в целях обобщения жертвует реальной исторической многогранностью. Однако берусь утверждать, что оно выводит нас на правильное направление при анализе тяжких, но не настолько уникальных последствий развала СССР. Усложняющим является то обстоятельство, что в XX веке существовало множество самых разнообразных государств ускоренного развития. Советский Союз был среди них одним из ранних, крупнейших и хронологически длительных примеров диктатуры развития, достаточно долго выглядевшей успешной. Однако сегодня диктатуры развития видятся уделом прошлого. (Но, опять-таки, невероятные темпы и масштабы развития коммунистического Китая ставят исследователей перед исключительно серьезным затруднением). Сегодня, когда

[120] Alice Amsden, *The Rise of the Rest*. Cambridge: MIT Press, 1998.
[121] Charles Tilly, *Roads from Past to Future*. Rowman and Littlefield, 1997.

вновь встает задача анализа отсталости и меркнет идеологический оптимизм глобализации, насущным становится критический пересмотр и новая операционализация концепций периферии и стратегий догоняющего развития.

Несмотря на риск впасть в еще одно упрощенческое обобщение и вызвать критику ортодоксальных левых либо державных оборонцев, берусь заявить, что миросистемная периферия уже давно не является зоной империалистического господства. В своей основе периферия представляет собой зону различных структурных слабостей, а слабость привлекает несчастия самого различного рода. Даже если нельзя полностью сбрасывать со счетов уязвимость перед лицом иностранной экономической и геополитической экспансии – не это главное. Двадцатый век дал нам массу различных впечатляющих примеров успешно организованного сопротивления, чей опыт в той или иной мере применим и сегодня. Наиболее распространенной угрозой для периферийных обществ является их беззащитность перед хищническим поведением собственных элит, которые могут посчитать выгодным осуществление стратегий, в итоге приводящих к коррупционному размыванию государственной власти и деиндустриализации. И в то же время эти элиты не являются ни самоубийцами, ни безумцами – по крайней мере, на индивидуальном уровне. Эти люди определенно знают, что на самом деле означает политическая власть в их уголке мира. Однако на коллективном уровне сами властвующие субъекты все время останавливаются перед неразрешимой задачей собственной организации в качестве сплоченного, представляющего свои интересы господствующего класса – что и является их главной слабостью. Плохи элиты? Допустим, плохи, но куда важнее понять, почему настолько плохи?

Если мы захотим охарактеризовать периферийную государственность эпохи глобализации одним словом, то им может быть безответственность. Причем это вовсе не обязательно личная безответственность, а структурная – правители и элиты не отвечают на главные вызовы государственной власти. На уровне внешней политики периферийные государства наших дней на самом деле не особенно озабочены проблемами своего военного выживания, поскольку вполне защищены от угрозы полной аннексии более сильными иностранными хищниками. В противоположность прошлому, с 1945 года право на территориальное завоевание было достаточно эффективно исключено из кодекса поведения на международной арене. Даже тот грубо властный факт, что Соединенные Штаты и Европа оставили за собой право военного вмешательства для противостояния тому, что считают угрозой коллективной безопасности и правам человека, в целом, служит обеспечению существования большинства слабых государств, выражающих готовность хотя бы в порядке имитации следовать нормам, предписываемым «международным сообществом» – т.е. государствами капиталистического центра/ядра[122].

[122] Hendrik Spruyt, «The Origins, Development, and Possible Decline of the Modern State,» *Annual Review of Political Science* 5 (2002).

Во внутреннем отношении, современные периферийные государства могут позволить себе различную степень безответственности по отношению к собственным гражданам. Пресловутая «институциональная неэффективность» (lack of institutional capacity) является скорее предлогом, нежели причиной крайне неудовлетворительного уровня предоставляемых образования, здравоохранения, правоохранения или дорог. Проблема заключается в отстраненности и автономности периферийного государства от собственных граждан, которые в глазах властей не имеют значимости ни как призывники (поскольку такие государства массовых войн не ведут), ни как налогоплательщики (поскольку источником поступлений является помощь, кредиты из-за рубежа или монополия на опять же зарубежную торговлю)[123].

Преобладающие версии анализа глобализации лишь походя, скорее как обнадеживающее новшество на пути к космополитической гармонии, замечают, в самом деле, удивительную по историческим меркам действительность, в которой большинство мира теперь получает из-за рубежа самые традиционные основы государственности – оборонный потенциал и финансовую систему. Однако это наблюдение влечет за собой масштабные аналитические и политические последствия.

Начиная с теоретических прорывов Баррингтона Мура, Перри Андерсона, Стайна Роккана, Чарльза Тилли и Майкла Манна, специалисты в области исторической социологии и сравнительной политологии достигли сегодня убедительной и детализированной теории, объясняющей реальный ход развития современных государств в Европе[124]. Новая теория выделила два взаимосвязанных фактора, сыгравших основную роль в формировании современного государства. Во-первых, это продолжительные войны, попросту убравшие с геополитической арены Европы большинство некогда многочисленных феодальных владений, которые не успели или не сумели создать постоянные армии и развитую бюрократию, требуемые для выживания в условиях постоянной эскалации масштабов, технической вооруженности и элементарной стоимости военной активности. Во-вторых, это было неуклонное на протяжении последних четырех веков увеличение налогообложения, поставлявшего ресурсы для последовательного наращивания государственных армий и флотов, связанных с ними отраслей промышленности, и самих гражданских бюрократий. Процесс европейского государствообразования был далеко не мирным не только на уровне геополитического соперничества, но также и внутри нарождающихся государств современности.

Восстания и революции, вызванные ростом королевской власти в ущерб всевозможным местным привилегиям и традициям, в долгосрочном плане и без чьего-либо сознательного плана послужили делу рационализации современных государств. Сам Тилли и его многочисленные последователи (прежде всего

[123] William Reno, *Warlord Politics and African States*, Boulder, CO: Lynne Reinner Publishers, 1998.

[124] Randall Collins, «Maturation of the State-Centered Theory of Revolution and Ideology,» in his *Macrohistory*, Stanford: Stanford University Press, 1999.

Джон Маркофф, автор виртуозно аргументированной, колоссальной по массе статистически обработанных материалов, и, судя по всему, во многом уже окончательной интерпретации Французской революции), равно как и разнообразные их конкуренты (Джек Голдстоун, Хендрик Спрайт, Ричард Лахманн, Фил Горски, Брюс Карратерс и Джулия Адамс) на впечатляющем архивном материале показывают, каким причудливым образом в европейской истории циклы анти-налоговых восстаний, их показательного подавления королевскими войсками, за которым обычно следовала неявная торговля между комиссарами из центра с местными нотаблями по поводу менее конфликтного изъятия будущих налогов, в итоге раз за разом, хотя и без особого плана, выстраивали все более устойчивую и глубоко укорененную структуру государственной власти. Демократизация возникла не столько из абстрактных идеалов свободы и деяний легендарных трибунов (относящихся к самому драматичному, но и поверхностному уровню истории), сколько из того же цикла роста государственной власти – бурного сопротивления – нового уровня договоренностей о предотвращении гражданских конфликтов. Демократия на Западе, пройдя за последние столетия через несколько исторических взлетов и падений, в конечном счете, закрепилась, поскольку оказалась сопряжена с вековой тенденцией рационализации государственной власти. Парламенты, свободная от цензуры конкурентная пресса, партии и профсоюзы превратились в институциональные механизмы сложных переговоров по поводу отчуждения определенной части жизненных ресурсов населения в виде налогов и военного призыва молодых мужчин.

Теория Тилли не применима к миру наших дней. Запад в 1945 г. наконец прервал длительную череду своих внутренних войн и создал на сегодня весьма прочные механизмы их предотвращения, что также подразумевало де-факто коллективный протекторат над периферией. В подобном миропорядке периферийные государства могут черпать военную безопасность и финансовые средства извне – тем самым, избавляясь от хлопот и рисков эффективного управлением внутри. Их траектория ни в коей мере не повторяет путь, создавший Запад таким, какой он есть сегодня[125]. Если взять метафору из зоологии, периферийные государства вовсе не являются растущими хищниками с активным метаболизмом и усложняющейся анатомией, подобно былым европейским государствам. Мы скорее наблюдаем здесь элементарное строение паразитарных организмов или поведенческую стратегию падальщиков.

Прежние государства ускоренного развития, особенно в фазе подъема, зачастую преследовали свои экономические и политические цели посредством тотальной пропаганды и насилия вплоть до массового террора. Однако и крушение модели государственного девелопментализма приводит к иным, пусть более мелким, но оттого не менее отталкивающим явлениям и

[125] Чарльз Тилли прямо, хотя без деталей указывает на разницу в развитии между странами Запада и современными периферийными государствами в заключении к своей работе *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992*, Oxford: Blackwell, 1992.

жестокостям. Наличие эффективного современного государства, как показывает пример Восточной Азии, особенно важно там, где рынки и капиталистические институты могут оказаться слишком слабыми и неустойчивыми к спекулятивным колебаниям, недопустимо хищническими, или настроенными на компрадорское обслуживание иностранных интересов и собственных традиционалистских олигархий. Однако, исчерпав потенциал диктаторской модели ускоренного развития еще в 1960-х гг. и затем, исчерпав также и стабилизационные ресурсы 1970-х гг., советский геополитический блок к 1989 г. утратил не только официальное единство, но и управляемость. Неуправляемый откат тянул его бывшие составляющие назад, на периферию, хотя и в разной степени, определявшейся относительной степенью сохранения/восстановления управляемости на уровне бывших стран-сателлитов и союзных республик. В свою очередь, степень разрушения государства зависела в основном от двух взаимопересекающихся процессов. Во-первых, «пожарное» бегство номенклатуры, вместе с СССР терявшей свои позиции, вело к неопатримониальному и к уже практически явному подкреплению командных цепочек личными назначенцами и захвату административных активов, которые превращались в новые базы власти и привилегий. Девизом тут служила знаменитая строка из сицилианского романа-эпопеи графа Томазо ди Лампедузы: «Все теперь должно измениться, чтобы остаться по-прежнему» [126]. Вторым определяющим фактором была интенсивность и классовая составляющая протестных мобилизаций. Одни результаты были возможны там, где западнически настроенные национальные средние классы быстро (и можно сказать отрепетировано) идеологически подавили или привлекли на свою сторону оппортунистическую часть номенклатуры. Это открывало путь ко вхождению в европейские структуры. Иные результаты возникли там, где уже номенклатура вовлекла в свои неопатримониальные сети отношений оппортунистически настроенных вождей протестующей или потенциально протестной массы. Самые разрушительные примеры дают и прежде менее индустриализованные республики, где основу протестных блоков в какой-то момент составил суб-пролетариат, способный сломать государство и выживатъ без государства – но не построить его заново.

[126] Giuseppe di Lampedusa, *The Leopard*. New York: The Limited Editions Club, 1988.

Научная жизнь

НЕЗАВЕРШЁННАЯ ДИСКУССИЯ В РАМКАХ СЕМИНАРА ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ[1]

А.И. Субботин
Педагогический институт
Южного федерального университета

3 декабря 2009 г. в ЮФУ состоялась дискуссия на тему «Проблема элиты в современной России». В качестве основы обсуждения была предложена книга: Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. «Проблема „элиты“ в сегодняшней России» (М., 2007), а также статья ведущего, проф. В.П. Макаренко «Цинники. Элитные политологи ничего не забыли и ничему не научились», опубликованная в «Политическом журнале»[2].

Присутствовало человек 20 профессорско-преподавательского состава, аспирантов (и, возможно, студентов, но они себя не проявили). После краткого и бодрого вступления ведущего, объяснившего актуальность темы и призвавшего начать дискуссию, повисло глухое молчание. Ведущий, в воспитательных целях, попросил поднять руки тех, кто прочел рекомендованную книгу, после чего 2-3 человека признались, что читали только введение.

Молчание нарушил автор этих строк, задав следующий «проблематизирующий» вопрос: «В книге, предложенной для ознакомления по теме, я нашел такие признаки элиты, как возможность использовать в свою пользу властный, политический, сословно-организационный и финансовый ресурсы. Между тем, интеллигенция всегда претендовала на эксклюзивное владение интеллектуальным ресурсом, и это давало ей ощущение собственной значимости и, в этом смысле, элитности. В статье же проф. В.П. Макаренко подвергается резкой критике „холуйство“ некоторых известных, уже ушедших с политической сцены, политологов, как людей, продающих свой интел-

[1] Настоящая заметка не является подробным отчетом, но лишь описанием впечатлений, анализа и выводов автора.

[2] См.: http://www.politjournal.ru/index.php?POLITSID=672a14b251b4ec28aad2ac3471d4b7c5&action=Articles&dirid=67&tek=8428&issue=225

лектуальный ресурс за „чечевичную похлебку“. Мой вопрос: является ли интеллигенция элитой, и кто из присутствующих причисляет себя к ней?»

Прямо ответить на этот вопрос никто не решился, и тогда аспирант РИНХА Маслов А.И. смело высказал свои соображения по данной теме, из которых следовало, что классовая точка зрения на элиту устарела, а нужно искать признаки элиты среди сословий.

Это вызвало возражения преп. Петрова М.А., так как, по его сведениям, в разных странах распространено разное понимание природы сословий, и надо еще уточнять критерии выделения элитных сословий.

Проф. Венков А.В. привлек внимание аудитории идеей о казачестве как некоей разновидности элиты, но эту тему никто не поддержал.

Тогда проф. Владимирский Б.М. выступил с вопросом (за ответом на который он и пришел на этот семинар) о непонятной для него востребованности этой темы вообще. Почему она возникает? Неужели в России не стало настоящих профессионалов, талантов – в любой сфере деятельности? Конечно, нет, и дело сводится только к тому, чтобы их мотивировать и стимулировать.

Его поддержал доц. Кравцов Н.А., прямо задавший вопрос: «Зачем мы вообще здесь обсуждаем эту тему?». Смысл вопроса, очевидно, был в том, что, прежде чем обсуждать, неплохо было бы определиться, кому и зачем это вообще интересно. После этого обсуждение перешло из чисто теоретического в более практическое русло.

Отвечая на эти вопросы, проф. Вольчик В.В. напомнил, что и сейчас ни о стимуляции, ни о мотивации профессионалов, заслуживающих внимания, говорить не приходится, а в рыночных условиях интеллигенция вообще не выживает, так что говорить приходится не об интеллектуальной, а о политической элите, способной повести за собой политически активные массы и народ в целом. Это вызвало здоровый смех у демократически настроенной части аудитории, что, впрочем, не смутило выступающего, и он пояснил, что формирование отсутствующей в России, но столь необходимой, политической элиты невозможно без соответствующего политического образования потенциальных политиков и масс в целом, а это является нашим делом, чего ради и затеян настоящий семинар.

Продолжая эту мысль, автор этих строк, высказался в том плане, что сущность политической элиты – организационно-управленческая, т.е. системная: не бывает начальника без подчиненного как и господина без раба (Г. Гегель). Но критерий жизненности такой системы – функциональный – в ее способности эффективно решать социальные проблемы: если управленческая система этого не делает, она вырождается в бюрократическую. Тогда надо ставить вопрос более широко: почему в России не решаются социальные проблемы?

Отвечая на этот вопрос, проф. Венков А.В. вышел в исторический контекст и отметил, что в истории всегда наблюдаются циклические процессы взлета и падения востребованности интеллектуального потенциала интеллигенции, в зависимости от стабильности или нестабильности состояния общества.

По логике обсуждения, здесь можно было бы поднять тему о критериях, характере и режиме перехода от нестабильного к стабильному состоянию общества, в том числе – на примере современной России, о действительной роли интеллигенции, с ее интеллектуальным ресурсом, в этом процессе, о вкладе каждого… Но – время поджимало, и ведущий, взяв, наконец, слово, вылил на спорщиков ведро холодной интеллектуальной воды, подробно, с надлежащими разъяснениями, процитировав присутствовавшим аспирантам те места из Введения к книге Гудкова и др., которые могли бы быть использованы ими для постановки и анализа политологических проблем. Распалившаяся профессура, оказавшись вдруг снова в положении студентов, вежливо молчала.

После этого автор этих строк потребовал подвести итоги и, воспользовавшись разрешением ведущего и молчанием аудитории, попробовал сформулировать результат этого обсуждения в виде следующего вопроса ведущему: «По ходу обсуждения лично мне было очевидно, что имела место попытка коллективного построения политологического концепта „элита“, каковое построение шло по гегелевской схеме развития понятия (от фиксации базового смыслосодержательного контекста к рефлексии над ним для выявления нового контекста с последующим его присоединением к базовому). Эта схема сработала несколько раз: мы начали с обычных качественных (социально-политических) определений термина „элита“, затем перешли к деятельностному (профессиональному) контексту, затем – к системному, затем – к функциональному, и наконец – к историко-про-цессуальному, как наиболее общему. Можно ли сказать, что тем самым мы, в общих чертах, выявили смысловую (логическую) структуру концепта „элита“?».

На это ведущий ответил, что, конечно, нет, так как полноценное определение концепта требует гораздо больших усилий и объема содержания. К сожалению, автор этих строк не смог (из-за нехватки времени) выяснить, как ведущий понимает различие *понятия* и *концепта*.

Тогда проф. Венков А.В. подвел свой итог обсуждению: он сказал что, на его взгляд, наблюдалось рассогласование установки проф. Макаренко В.П. на теоретическое обсуждение темы и стихийно возникшей дискуссии, выявившей противоречия и разные позиции среди аудитории. Но он не объяснил, хорошо это или плохо. Очевидно, имелось в виду, что попытка проф. Макаренко В.П., устроителя и ведущего этого семинара, одним ударом убить сразу двух зайцев, а именно – 1) привести на обычный аспирантский семинар профессоров и побудить их высказаться по теме, что имело бы не-

сомненную учебную пользу для аспирантов, и 2) устроить дискуссию по теме именно для профессоров, – имела неоднозначный эффект: профессора остались неудовлетворенными (как всегда), а что вынесли из обсуждения аспиранты – известно одному Богу и проф. Макаренко В.П., их научному руководителю.

НАШИ АВТОРЫ

Гудков Лев Дмитриевич – доктор философских наук, профессор, директор Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр).

Дерлугьян Георгий Матвеевич – кандидат исторических наук, Ph.D. по социологии (Университет штата Нью-Йорк в Бингамтоне), доцент Северо-Западного университета г. Чикаго (США).

Макаренко Виктор Павлович – заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, доктор политических и философских наук, профессор, Южный федеральный университет.

Субботин Александр Ильич — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Педагогического института Южного федерального университета.

Чукин Сергей Георгиевич – доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД.

Contents

Editorial
MAKARENKO V.P. Idea and Concept of National Self-criticism.....4

General Problems of Political Conceptology
The Modernity: Dilemmas and Paradoxes (Round Table Discussion).....25
CHUKIN S.G. The Prospect of the Parish Bell Tower against the Statue of Liberty: the Debate between Communitarians and J. Rawls's Followers.....103

National and regional context
GUDKOV L.D. Are there Any Reasons in Theoretical Sociology in Russia?.....137
Reproduction of Absurdity (Editorial).....162
DERLUGUIAN G.M. Several Chapters from the Book «Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus».....174

Science Reports
SUBBOTIN A.I. Incomplete Discussion at the Seminar on Political Conceptology.....321

Our Authors.....325
Contents.....326
Summaries.....327
Notes for contributors.....329

Summaries

Makarenko V.P. – Idea and Concept of National Self-criticism

Abstract: The paper seeks to develop a theory of political criticism. To accomplish this task, the author analyzes the historical, theoretical and philosophical premises of national self-criticism. The M. Walzer's theory of social criticism is analyzed as a philosophical and theoretical foundation of national self-criticism. The author proposes to add to this theory the concepts developed by J. Benda (radical dualism between the nation and critic), R. Bourne (the need for critical distance), M. Buber (domestic criticism by clarifying the concepts of nationality, ethnicity and nationalism), Antonio Gramsci (trench warfare with everyday life), Beauvoir S. (feminist criticism), etc. The theory of national self-criticism, in author's opinion, should facilitate the release from "religious-mystical national egotism."

The Modernity: Dilemmas and Paradoxes (Round Table Discussion)

Abstract: Roundtable, held in Rostov-on-Don July 17, 2009, was devoted to discussing the concept of "modernity" proposed by B.G. Kapustin. The discussion was centered around the seven theses, in which B.G. Kapustin formulated his concept: 1) Conceptually "modernity" can be described in terms of knowledge, which Aristotle called *phronesis*; 2) The problems of "modernity" presented in such a context become life's problems which are not amenable to a final decision; 3) The consequence of understanding of the foregoing problem is rejection of Kant's "doubling of the Worlds" in the interpretation of "freedom", namely in favor of the Nietzsche's unity of freedom and discipline; 4) The result is a rethinking of the concept of "freedom" as an endless process of "liberation"; 5) "Modernity" as a problematic situation can be interpreted as a "tightly knit constellation of different institutions" and emancipatory processes of this "institutional cohesion"; 6) This allows us to rethink the relations between the concepts "modernity" and "modernization" - the latter is understood not as a movement toward some kind of model of modernity, but a way of life in modernity, in accordance with the logic of "challenge-response"; 7) Problematization of modernity is at the global level, and "modernization" is set in different historical and cultural contexts.

Chukin S.G. – The Prospect of the Parish Bell Tower against the Statue of Liberty: the Debate between Communitarians and J. Rawls's Followers

Abstract: This article analyzes the debate on justice in the 80-90-ies of XX century, namely, the discussion took place between communitarians and Rawls's followers. The author considers the arguments of the three main critics of Rawls's theory of justice from 'communitarian camp' – M. Sendel, A. McIntyre and M. Walzer, and concludes: all communitarian projects are united by the desire to prove that any attempt to create a social theory in which the normative elements absent, doomed to failure. The theories of "good society" presented by communitarians differ both in signs of "good" and in ways to justify these signs. To date, the projects by A. Etzioni, A. Honnet, N. Fraser and A. Margalit are the most recognized ones. However, critical analysis of these projects allows the author to conclude: the inclusion of regulatory elements in the political theory of "good society" requires solving the fundamental problem of the epistemological status of values.

Gudkov L.D. – Are there Any Reasons in Theoretical Sociology in Russia?

Abstract: This article is based on a report at the XVI Symposium "Paths of Russia: a Modern Intellectual Space." The author captures the "creeping empiricism" of sociological research in contemporary Russia without any meaningful attempt of theoretical generalizations and criticism. One of the main signs of lack of theoretical and methodological interests by sociologists is deficit of analysis of paradigmatic contradiction in interpretation of research results. In order to overcome this situation, in the author's judgment, it is necessary to realize the four key objectives: to develop the theory of meaning generation act for the analysis of highly differentiated structures and forms of interaction; to solve the problem of rationality and its types as well as problem of cultural substantiation of synthesis of ideas and interests; to set the interaction between sociology and humanities; to develop the apparatus for translation of analytical and conceptual languages of humanities into the language of sociology. However, the solution of tasks listed above is possible only if de-etatisation of Russian sociology takes place.

Reproduction of Absurdity (Editorial)

Abstract: In an editorial that precedes the publication of two chapters from the G.M. Derluguian's book «Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus», it is proposed to proceed from assumption that the social and political history of the Soviet Union / Russia is the epitome of absurdity, namely as a process of degeneration of professionalism in all spheres, including politics. The second point to which attention is drawn in the article: the entire history of the USSR / Russia could be represented as a process of multiple formation and collapse of the empire. To analyze the conflict in Chechnya, the author suggests using the concept of "modified separatism" by M. Ferro, and concludes: Conflict between center and periphery, the executive and legislative branches hides a multitude of trends towards reproduction of colonization in contemporary Russia.

Derluguian G.M. – Several Chapters from the Book: Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus. A World-System Biography (The University of Chicago Press, 2005)

Abstract: In his book, G. Derluguian narrates the story of one of prominent leaders in the Chechen revolution who transformed himself from dissident intellectual into a nationalist warlord. Exploring globalization, democratization, ethnic identity, and international terrorism, Derluguian contextualizes personal trajectory of his protagonist from de-Stalinization through the nationalist rebellions of the 1990s, to the recent rise in Islamic militancy. Drawing on the work of Ch.Tilly, I.Wallerstein, and P.Bourdieu, author's explanation of the recent ethnic wars and terrorist acts in Russia succeeds in illuminating the role of human agency in shaping history.

Subbotin A.I. – Incomplete Discussion at the Seminar on Political Conceptology

Abstract: The author analyzes the results of the discussion «Problem of the Elite in Contemporary Russia» held in the framework of a permanent seminar on political conceptology. The discussion was centered on the following critical issues: what is the «elite» in general, and the Russian «elite», in particular? What are the functions of the elite? What is the role of intellectuals in the process elite building etc.? The author believes that the discussion was left unfinished because the unambiguous answers to these questions have not been received.

К сведению авторов

Требования к оформлению статей:

1. Статья должна быть объемом не более 1,0 п.л. – 40 тыс. знаков, набрана в формате .doc (Microsoft Word или OpenOffice.org).

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и английском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, ученые степени и звания, должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный адрес (обязательно).

3. Параметры текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1, поля: сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ (красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в текст.
3а. Допускается использование шрифтов Arial и Courier New для обособленных фрагментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста, имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым.

4. Сноски обычные (не концевые!) автоматические. Нумерация начинается с цифры «1». (Просим не делать нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!).

5. Текст сносок оформляется следующим образом: Фамилия И.О. Название работы. Город, год издания. С. 23; Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. Год. Номер. С. 15. (без дополнительных тире).

7. Статью следует отправлять в электронном виде по адресам: politconcept@mail.ru, konstantinov-ms@mail.ru (просьба дублировать на оба адреса). В теме письма укажите: «Статья для электронного журнала «Политическая концептология».

Рукописи не возвращаются. Редакция не знакомит авторов с текстом внутренних рецензий, а только уведомляет по электронной почте о своём решении относительно публикации по запросу автора.